М. ГОРЬКИЙ

М. Горький

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

12

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

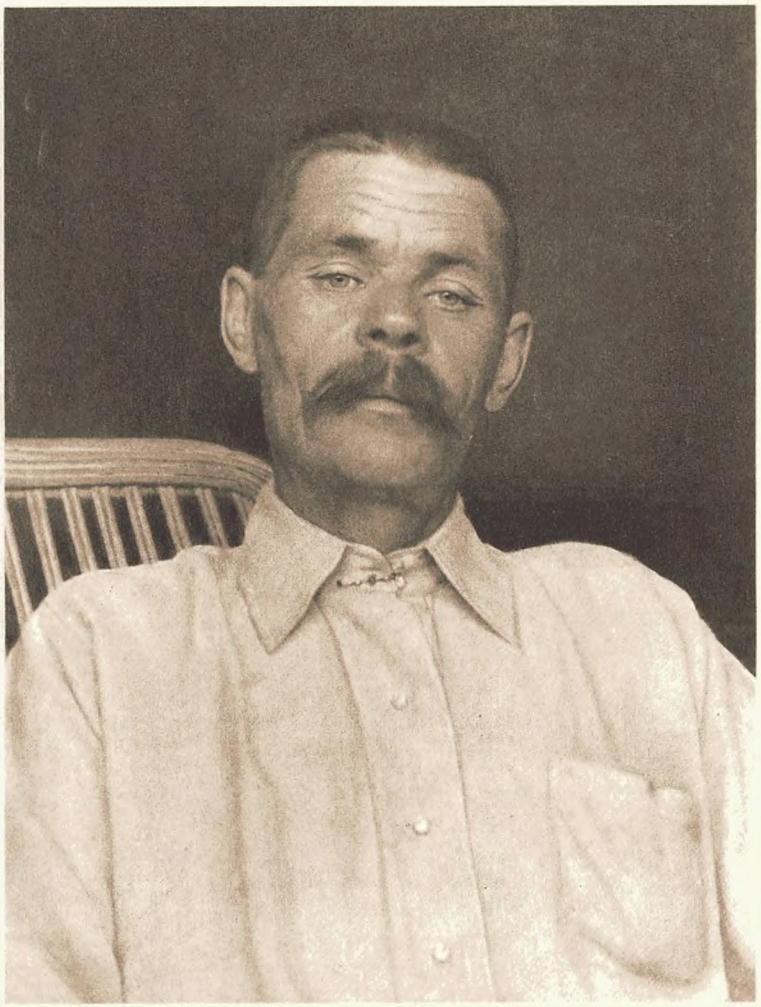
ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

СКАЗКИ, РАССКАЗЫ
‹АВТОБИОГРАФИЯ Ф. И. ШАЛЯПИНА›

1909—1917

МОСКВА · 1971

7-3-1
Подписное



А. М. ГОРЬКИЙ
Капри, 1910 г.

I

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

Нет сказок лучше тех,
которые создает сама жизнь.
Андерсен

I

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кияия вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов — всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки — полуголые дети неаполитанских улиц — скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орга́н; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулкими ударами,— точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но

среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

— Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров, с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания — всё вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние,— забастовщики смотрят угрюмее и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

— Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки,— они стали еще угрюмее и в ответ на возгласы толпы — сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.

Толпа отхлынула от вагонов — солдаты, точно серые

бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

— Последний раз... Ultima volta! [1] Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову; к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и — раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным — вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас — погас, и люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжко отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами,— он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров,— вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но — вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвы-

---

[1] Последний раз! *(Итал.)*.

ла, хлынула на рельсы,— человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать точно им ноги подрезали — какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы всё сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груду тел под колесами и — хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь — они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

— Бильетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.

II

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа — преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы — члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики — на площади тихо, душно и всё облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов — женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив — толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезны, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,— по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселою рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, пред ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей,— они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг — как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди, крикнули:

— Viva Italia! [1]

— Да здравствует молодая Парма! — гремит толпа, опрокидываясь на них.

— Evviva Garibaldi! [2]— кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Всё стало праздничным, всё ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и

---

[1] Да здравствует Италия! *(Итал.)*.

[2] Да здравствует Гарибальди! *(Итал.)*.

приветствуя, и всё гремит в воздухе непрерывный мощный крик:

— Viva il Socialismo! [1]

— Evviva Italia!

Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А — так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ощетинился,— они смотрели на него серьезно,— нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал всё, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая, идет черноволосая генуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках

---

[1] Да здравствует социализм! *(Итал.)*.

и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову,— весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь,— если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжествующе хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— Evviva Parma-a! [1]

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфект, веселая группа факино и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

---

[1] Да здравствует Парма! *(Итал.)*.

III

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка — мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее, острей пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретою пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город — празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и стонах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город — храм, возведенный трудами людей, всякая работа — молитва Будущему.

Солнце — в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море,— смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек — всё это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей,— вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков — серые, сухие и крепкие

камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный, зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой, апостольской головою, и его длинный нос попугая сопит, раздуваются ноздри.

Рядом с ним на теплых камнях лежит, вверх грудью, бронзовый и черный, точно жук, молодец; на лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса,— точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют.

К ним идет мальчик с фьяской вина в руке и небольшим узлом в другой, идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина.

Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика:

— Скорее, слепой! Смотри — вино!

Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам — они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фьяску, а мальчишка стрелою умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках.

Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую струю,— четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают.

Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая:

— О, ма, о, ма, о, миа ма-а...[1]

---

[1] O, ma, o, ma, o, mia ma-a... — О, ма, о, ма, о моя ма-а... *(Итал.)*.

Остановясь за спиною старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню.

Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную, точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина.

Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы — девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами, сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка — хохотал, перегибаясь, а в чаше, по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов.

Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал:

— Ничего, синьора! Дар ребенка — дар бога... Ваше здоровье, красивая синьора, и твое тоже, дитя! Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива...

Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу.

Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качáлась, шаркая ножонками по камню, и кричала, щурясь:

— О, ма-а... о, миа, миа-а...

Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу.

А в чаше, на поверхности темно-красного вина, качаются алые лепестки цветов.

Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки.

IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском тунеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом — она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану,— земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости,— это испытано мно-

гими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень,— забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы, люди,— такие маленькие, и она, эта гора,— до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли,— надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать! — продолжал он с гордостью.— О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать,— непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну,— говорил он,— это против бога, разделившего землю стенами гор,— вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога»,— это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек,— «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его,— оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше

врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше...— «Разве я не прав? — говорил он.— Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло,— сказал он мне однажды ночью.— Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор! — «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?»

Я — верил.

— «Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца — это

был безумный день, синьор! О, когда мы услыхали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею — вы поймите, синьор,— под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний,— это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человечьими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости,— о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно,— хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,— не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал,— как он желал этого:

— «Отец — сделано! — сказал я.— Люди — победили. Сделано, отец!»

V

Молодой музыкант, пристально глядя в даль черными глазами, тихонько говорил:

— Музыка, которую я хотел бы написать, такова:

«По дороге к большому городу не спеша идет мальчик.

Город лег на землю тяжелыми грудами зданий, прижался к ней и стонет и глухо ворчит. Издали кажется, как будто он — только что разрушен пожаром, ибо над ним еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера — раскалены докрасна.

Края черных туч тоже в огне, на красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стекла; разрушенный, измученный город — место неутомимого боя за счастье — истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом.

Мальчик идет в сумраке поля по широкой серой ленте дороги; прямая, точно шпага, она вонзается в бок города, неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам ее, точно незажженные факелы, их черные большие кисти неподвижны над молчаливою, чего-то ожидающей землей.

Небо покрыто облаками, звезд не видно, теней нет; поздний вечер печален и тих, только медленные и легкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомленном молчании засыпающих полей.

А вслед мальчику бесшумно идет ночь, закрывая черною мантией забвения даль, откуда он вышел.

Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии своем покорно приникшие к земле белые и красные дома,

V

мужикамъ.

Молодой [redacted], пристально глядя въ даль черными глазами, тихонько говоритъ:

Музыка.

-[redacted], которую я хотѣлъ-бы написать, такова!

По дорогѣ къ большому городу не спѣша идетъ мальчикъ.

Городъ легъ на землѣ тяжелыми грудами зданій, прижался къ ней и стонетъ, и глухо воетъ. Кажется какъ будто онъ - только что разрушенъ пожаромъ, ибо надъ нимъ еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башенъ, флюгера - раскалены до красна.

Одна черная тучъ тихо въ огнѣ, на красныхъ пятнахъ зловѣще [redacted] рисуются уродливые куски огромныхъ строеній, тамъ и тутъ точно глубокія раны сверкаютъ стекла, разрушенный, измученный городъ - чьего неутомимаго боя за счастье - истекаетъ кровью, и онъ дымится, горячая, желтоватымъ удушливымъ дымомъ.

Мальчикъ идетъ въ сумракѣ поля по широкой сѣрой лентѣ дороги; прямая, точно шагъ, она вонзается въ бокъ города, неуклонно направленная могучей неумолимой рукою. Деревья по сторонамъ ея, точно не зажженные факелы, изъ черныхъ большія вѣтви неподвижны надъ молчаливою, чего-то ожидающей землей.

Небо покрыто облаками, звѣздъ не видно, тѣней нѣтъ, поздній вечеръ печаленъ и тихъ, только медленные и легкіе шаги мальчика едва слышны въ сумеречномъ, утомленномъ молчаніи заснувшихъ полей.

А вслѣдъ мальчику безшумно идетъ ночь, закрывая черною мантіей забытыя даль, откуда онъ вышелъ.

Сгущаясь, сумракъ прячетъ въ таинственномъ объятіи своемъ покорно принявшія его дали, отдыхъ и красныя дома, сиротливо разбросанные по холмамъ.

«СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ».
Страница машинописи с правкой М. Горького.

сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы — всё вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи,— точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от нее или играя с нею.

Он же идет молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются встречу ему голубые, желтые и красные огни.

Закат — погас. Расплавились, исчезли кресты, флюгера и железные вершины башен, город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле.

Над ним вспыхнуло и растет опаловое облако, фосфорический, желтоватый туман неравномерно лег на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город не кажется разрушенным огнем и облитым кровью,— неровные линии крыш и стен напоминают что-то волшебное, но — недостроенное, неоконченное, как будто тот, кто затеял этот великий город для людей, устал и спит, разочаровался и, бросив всё,— ушел или потерял веру и — умер.

А город — живет и охвачен томительным желанием видеть себя красиво и гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жизни, и в темное молчание полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушенных звуков, а черная чаша неба всё полнее и полней наливается мутным, тоскующим светом.

Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно, смелыми глазами смотрит вперед и, покачнувшись, пошел быстрее.

И ночь, следуя за ним, тихо, ласковым голосом матери сказала ему:

— Пора, мальчик, иди! Они — ждут...»

— ...Это, конечно, невозможно написать! — задумчиво улыбаясь, сказал молодой музыкант.

Потом, помолчав, сложил руки ладонями и воскликнул, негромко, тревожно и любовно:

— Пречистая дева Мария! Что его встретит?

VI

В синем небе полудня тает солнце, обливая воду и землю жаркими лучами разных красок. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит сталью, крепкий запах морской соли густо льется на берег.

Звенят волны, лениво оплескивая груду серых камней, перекатываются через их ребра, шуршат мелкою галькой; гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, и пены нет на них.

Гора окутана лиловой дымкой зноя, седые листья олив на солнце — как старое серебро, на террасах садов, одевших гору, в темном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсин, ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, цветы.

Любит солнце эту землю...

В камнях два рыбака: один — старик, в соломенной шляпе, с толстым лицом в седой щетине на щеках, губах и подбородке, глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара. Высунув далеко в море гибкое удилище, он сидит на камне, свесив волосатые ноги в зеленую воду, волна, подпрыгнув, касается их, с темных пальцев падают в море тяжелые светлые капли.

За спиной старика стоит, опираясь локтем о камень, черноглазый смугляк, стройный и тонкий, в красном колпаке на голове, в белой фуфайке на выпуклой груди и в синих штанах, засученных по колени. Он щиплет пальцами правой руки усы и задумчиво смотрит в даль моря, где качаются черные полоски рыбацких лодок, а далеко за ними чуть виден белый парус, неподвижно тающий в зное, точно облако.

— Богатая синьора? — сиплым голосом спрашивает старик, безуспешно подсекая.

Юноша тихо ответил:

— Мне кажется — да! Такая брошь, с большим синим камнем, серьги, и много колец, и часы... Думаю — американка...

— И красива?

— О да! Очень тонкая — правда, но такие глаза, как цветы, и — знаешь — маленький, немного открытый рот...

— Это — рот честной женщины и такой, что любит однажды в жизни.

— Так и мне кажется...

Старик взмахнул удилищем, посмотрел, прищурив глаз, на пустой крючок и заворчал, усмехаясь:

— Рыба не глупее нас, нет...

— Кто же ловит в полдень? — спросил юноша, опускаясь на корточки.

— Я,— сказал старик, насаживая наживу.

И, закинув лесу далеко в море, спросил:

— Катались до утра, ты сказал?

— Уже всходило солнце, когда мы вышли на берег,— охотно ответил молодой, глубоко вздохнув.

— Двадцать лир?

— Да.

— Она могла дать больше.

— Она много могла дать...

— О чем же говорил ты с нею?

Юноша печально и с досадой опустил голову.

— Она знает не более десяти слов, и мы молчали...

— Истинная любовь,— сказал старик, оборотясь и обнажая широкой улыбкой белые зубы,— бьет в сердце, как молния, и нема, как молния,— знаешь?

Подняв большой камень, юноша хотел бросить его в море, размахнулся и — бросил назад, через плечо, говоря:

— Иногда совсем не понимаешь — зачем нужны людям разные языки?

— Говорят — этого не будет когда-то! — подумав, заметил старик.

На синей скатерти моря, в молочном тумане дали, скользит бесшумно, точно тень облака, белый пароход.

— В Сицилию! — сказал старик, кивая головой.

Достал откуда-то длинную и неровную черную сигару, разломил ее и, подавая через плечо одну половинку юноше, спросил:

— Что же ты думал, сидя с нею?

— Человек всегда думает о счастье...

— Оттого он и глуп всегда! — спокойно вставил старик.

Закурили. Синие струйки дыма потянулись над камнями в безветренном воздухе, полном сытного запаха плодородной земли и ласковой воды.

— Я ей пел, а она улыбалась...

— И?

— Но ты знаешь — я плохо пою.

— Да.

— Потом я опустил весла и смотрел на нее.

— Эге?

— Смотрел, говоря про себя: «Вот я, молодой и сильный, а тебе — скучно, полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью!..»

— Ей — скучно?

— Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело?

— Браво!

— «Обещаю именем девы Марии,— думал я,— что буду добр с тобою и всем людям будет хорошо около нас...»

— Экко! — воскликнул старик, вскинув большую голову, и засмеялся басовитым смехом.

— «Буду верен тебе всегда...»

— Гм...

— Или — думал: «Поживем немного, я буду тебя любить, сколько ты захочешь, а потом ты дашь мне денег на лодку, снасти и на кусок земли, я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда, всю жизнь буду хорошо помнить о тебе...»

— Это — не глупо...

— Потом, к утру — думал уже — что, пожалуй, ничего не надобно мне, не нужно денег, а только ее, хотя бы на одну эту ночь...

— Так — проще...

— На одну только ночь!..

— Экко! — сказал старик.

— Мне кажется, дядя Пьетро, что маленькое счастье — всегда честнее...

Старик молчал, поджав толстые бритые губы и пристально глядя в зеленую воду, а юноша тихонько и печально запел:

О, солнце мое...

— Да, да,— вдруг сказал старик, покачивая головой,— маленькое счастье — честнее, а большое — лучше... Бедные люди — красивее, а богатые — сильнее... И так всё... всё так!

Шуршат и плещут волны. Синие струйки дыма плавают над головами людей, как нимбы. Юноша встал на ноги и тихо поет, держа сигару в углу рта. Он прислонился плечом к серому боку камня, скрестил руки на груди и смотрит в даль моря большими глазами мечтателя.

А старик — неподвижен, он опустил голову и, кажется, дремлет.

Лиловые тени в горах становятся гуще и ласковее,

— О, солнце мое! — поет юноша...

Родилось солнце
Еще прекрасней,
Еще прекраснее, чем ты!
О, солнце, солнце!
Свети на грудь мою!..

Звенят веселые зеленые волны.

VII

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика.

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

— Позволите?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

— Далеко, дед? — спросил мой товарищ.

— О, только три станции! — охотно ответил кривой.— На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

— Я — лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится — хорошо, не правда ли?

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

— Вот сколько дал я людей стране и королю!

— Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но

за обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

— Тогда не было так много докторов и люди жили глупее,— о да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

— Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

— Когда умер отец — мне было тринадцать лет,— вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это всё, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так?

— В девятнадцать лет встретилась девушка, которую мне суждено было любить,— такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я,— работала где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел.

— «Женимся?» — сказал я ей.

— «Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело.— Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?»

— Святая правда: ни у меня, ни у нее — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

— «Да, пожалуй, ты прав,— сказала наконец Ида.— Если святая матерь помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

— Мы пошли к священнику.

— «Это — безумие! — говорил священник.— Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе — дорого заплатите за вашу слабость!»

— Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упряма и по-своему — умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

— «Мы уйдем в поле! — сказала Ида.— Почему это плохо? Матерь божия везде одинаково добра к людям».

— Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо!

— Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания,— это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джиованни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках!

— «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем!»

— Вот у нас и дом!

— Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

— «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя».

— А когда я шел к нему, сердитая Мария — лавочница — закричала:

— «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...»

— А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

— «Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, тряся изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

— О, синьоры, синьоры! — сквозь смех, задыхаясь, говорил он,— на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома,— статуя мадонны, посуда, белье, мебель — всё, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись — нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

— Синьоры! Это дьявольски хорошо иметь право назвать людей — наши! И еще более хорошо *чувствовать* их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь — не шутка, твое счастье — не игра!

— И была свадьба — э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... У нас было всё: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

— И священник был. «Вот,— говорил он, строго и хорошо,— вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа — выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги — исчезают, работа — остается... Эти люди — и веселы и скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить еще труднее и не застонут — вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...»

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

— Вот, синьоры, кое-что о людях,— это вкусно, не правда ли?

VIII

Весна, ярко блестит солнце, люди веселы, и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа — тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки,— все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все — как одно здоровое тело — насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли.

Бледно-зеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастия, вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя — в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально — заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной прошел высокий, крепкий человек; наверное — не старше тридцати лет, но — седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое здоровое лицо спокойно и — печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза

смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им.

— Обрати внимание на эту пару людей,— сказал мне мой товарищ,— особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые всё чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

— Этот человек — социалист, редактор местной рабочей газетки, он сам — рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал,— видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему!

— Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них эту способность много веков и добились чего хотели,— кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной — она только любит, жалеет, прощает,— ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь.

— Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто — страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках,— каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чем-нибудь — ее слова звучали враждебно и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

— Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и — до последнего времени — итальянки давали много оснований для

этого; не интересуясь ничем, кроме церкви, они — в лучшем случае — чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения.

— Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

— Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренно свободен,— он видел ее перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его, тоже волшебно сложной, душою.

— Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

— Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но наконец он первый подошел к ней.

— «Синьорина — мой постоянный оппонент,— сказал он,— не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?»

— Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь как место, где замученный человек может отдохнуть душою, где, пред лицом доброй мадонны,— все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

— С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем всё более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований.

— Для него жизнь — борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума — самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

— Пораженный, он спрашивал:

— «Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждете от социализма?»

— «Да, я знаю, что грешу и противоречу себе! — грустно сознавалась она.— Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!»

— Она была не очень красива — тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шёлка, жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотою вещей и, глядя на них, говорила:

— «Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое должны видеть все, только тогда оно живет!»

— Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее, они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери; он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть, ему казалось, что девушка слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека,— народа, человечества — из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их.

— Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что

любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и — был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова: пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиною к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его, почти с ужасом сказала:

— «Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но — боже мой,— что же будет теперь?»

— «Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы!» — воскликнул он.

— «Нет,— сказала девушка, опустив голову.— Нет! Нам не надо говорить о любви».

— «Почему?»

— «Ты станешь венчаться в церкви?» — тихо спросила она.

— «Нет!»

— «Тогда — прощай!»

— И она быстро пошла прочь от него.

— Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом сказала:

— «Я, моя мать и отец — все верующие и так умрем. Брак в мэрии — не брак для меня: если от такого брака родятся дети,— я знаю,— они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой».

— Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись, прощаясь, девушка сказала:

— «Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я — не могу, я так бедна...»

— «Я не дам никаких обещаний»,— ответил он.

— И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде, встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и всё разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она — в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что

черная стена людей в тонзурах становится всё выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть.

— Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей — не угрожая, а просто думая вслух:

— «Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...»

— Она промолчала.

— «Ты слышала, что я сказал?»

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

— «Да».

— И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее, она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

— Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но — как слепая — она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

— Однажды она сказала:

— «Я понимаю иногда, что всё, что ты говоришь,— возможно, но я думаю, это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но — не верю, не могу! И когда ты уходишь, всё твое уходит с тобой».

— Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела; он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем всё прозрачнее, и как всё ярче пылает в глазах ее огонь болезни.

— «Говори мне о будущем»,— просила она его.

— Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья.

— Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно,

останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

— «Я — умираю?» — спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно.

— Он не ответил ей, опустив глаза.

— «Я знаю, что скоро умру,— сказала она.— Дай мне руку».

— И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала:

— «Прости меня, я виновата перед тобою, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх пред тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой — или твой — ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...»

— Через несколько дней она умерла, а он поседел за время агонии ее,— поседел в двадцать семь лет.

— Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице; это они идут на кладбище, к той,— они каждое воскресенье ходят туда, положить цветы на могилу ее.

— Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему — «ты прав!» — она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер.

...Льется под солнцем живая, празднично пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но — все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее — всё быстрей пойдем!

IX

Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани — счастливом завоевателе, о Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек — он хотел отнять у нее все жертвы — да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых джеттов одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре, где она поборола его,— тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся — так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было: пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда назвали

«Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они — как тюльпаны, и над каждой — сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в средине их — палатка Гуругана-Тимура — как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копья в высоту, ее средина — на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении,— пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга — не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается — сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя — серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет,— триста золотых кувшинов с вином и всё, что надо для пира царей, сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним — никого, у ног его — его кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему — пьяный Кермани-поэт, тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

— Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? — ответил сеятелю смерти и ужаса:

— Двадцать пять аскеров.

— Но это цена только моего пояса! — вскричал удивленный Тимур.

— Я ведь и думаю только о поясе,— ответил Кермани,— только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них — навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних — ужасными и смешными — других,— в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса,— в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе,— оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует — она требует! — видеть его, повелителя трех стран света.

— Приведите ее! — сказал царь.

И вот пред ним женщина — босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее, как бронза, а глаза повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

— Это ты победил султана Баязета?— спросила она.

— Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

— Слушай! — сказала она.— Что бы ты ни сделал, ты — только человек, а я — Мать! Ты служишь смерти,

я — жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину,— мне говорили, что девиз твой «Сила — в справедливости»,— я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я — Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их,— он сказал:

— Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села — как нашла удобным — в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

— Я — из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь где! Мой отец — рыбак, мой муж — тоже, он был красив, как счастливый человек,— это я поила его счастьем! И еще был у меня сын — самый прекрасный мальчик на земле...

— Как мой Джигангир, — тихо сказал старый воин.

— Самый красивый и умный мальчик — это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты — победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми!

— Она — безумна! — сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением Тамерлан.

— Она безумна как Мать! — тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь — враг мира — сказал:

— Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди — которые часто злее злейших зверей — не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать всё это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя!

Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери,— вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

— Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое — дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? — я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

— Гора становится долиной, когда любишь!

— Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я — Мать, и уходили, вздыхая,— им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

— Так, женщина! — сказал Тимур.— И часто — я знаю — они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

— Люди,— продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать — сто раз дитя в душе своей,— люди — это всегда дети своих матерей,— сказала она,— ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, ты знаешь это,— родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

— Так, женщина! — воскликнул Кермани, бесстрашный поэт.— Так,— от сборища быков — телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери — нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

— Отдай мне моего ребенка, потому что я — Мать и люблю его!

Поклонимся женщине — она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но — как сказал Шерифэддин — он еще

воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана,— вся гордость мира — от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

— Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — жил я, уже много лет, земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой,— для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но — никто, никогда — за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я — кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно — пред богом ничто государства и люди, смотри — он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты — кривой, я — хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастии, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина,— она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои — слабыми? О, Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе суждено было согреть землю, засеять ее счастьем — я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец:

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею, тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив — говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

— Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе полуночи — знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень лета — знаю!
Очи моей милой всех цветов прекрасней — знаю!
И ее улыбка ласковее солнца — знаю!

Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

— Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость!

— Э! Бог сам — хороший поэт! — молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее — Мать!

Всё это — правда; все слова здесь — истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

— Да, всё это вечная правда, мы — сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем всё, чем он славен!

X

Знойный день, тишина; жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце — огненный зрачок его.

Море гладко выковано из синего металла, пестрые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, яркий, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями,— вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе.

Мреет даль; там в тумане тихо плывет — или, раскален солнцем, тает — лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.

Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в темной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фиг, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающий в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а желтые и оранжевые плоды напоминают о звездах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен.

В небе, море и душе — тишина, хочется слышать, как всё живое безмолвно поет молитву богу-Солнцу.

Между садов вьется узкая тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идет к морю высокая женщина в черном платье, оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова ее не покрыта — блестит серебро седых волос, мелкими кольцами они осыпают ее высокий лоб, виски и темную кожу щек; эти волосы, должно быть, невозможно причесать гладко.

Лицо у нее резкое, суровое, увидев однажды — его запомнишь навсегда, есть что-то глубоко древнее в этом

сухом лице, а если встретишь прямой и темный взгляд ее глаз — невольно вспоминаются знойные пустыни востока, Дебора и Юдифь.

Наклонив голову, она вяжет что-то красное; сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крута и капризна, слышно, как шуршат, осыпаясь, камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги ее видят путь.

Вот что рассказывают про этого человека: она вдова, муж ее, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вернулся, оставив ее с ребенком под сердцем.

Когда ребенок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери, держала его в темном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный,— видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на желтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждою неутомимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чем-то думала, хмурясь и глядя на всё сквозь туман печали странным взглядом, который как будто спрашивал о чем-то.

Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали ее горе: ребенок родился уродом, вот почему она прятала его, вот что угнетало ее.

Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью урода; никому, кроме мадонны, не известно, справедливо ли наказана она этой жестокой обидой, однако ребенок не виноват ни в чем и она напрасно лишает его солнца.

Она послушала людей и показала им сына — руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы, голова, раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой, дряблой шее, а лицо — точно у старика, всё в морщинах, на нем пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мертвую улыбку.

Женщины плакали, глядя на него, мужчины, брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли; мать урода сидела

на земле, то пряча голову, то поднимая ее и глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чем-то, чего никто не понимал.

Соседи сделали для урода ящик — вроде гроба, набили его оческами шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое, жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, совершится и еще одно чудо.

Но время шло, а он оставался всё таким же: огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками; только улыбка его принимала всё более определенное выражение ненасытной жадности да рот наполнялся двумя рядами острых кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой, горячий рот.

Он был нем, но когда где-нибудь близко от него ели и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжелой головою, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок.

Ел он много и чем дальше — всё больше, мычание его становилось непрерывным; мать, не опуская рук, работала, но часто заработок ее был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно — всегда молча — принимала помощь соседей, но когда ее не было дома, соседи, раздражаемые мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты — всё, что можно было есть.

— Скоро он тебя всю обгложет! — говорили ей.— Почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют, в больницу?

Она угрюмо отвечала:

— Я — родила его, я и должна его кормить.

Была она красива, и не один мужчина искал ее любви, все — безуспешно, а одному, который нравился ей больше других, она сказала:

— Я не могу быть твоей женою, боюсь родить еще урода, это было бы стыдно тебе. Нет, уйди!

Человек уговаривал ее, напоминал ей о мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сестрами своими,— мать урода ответила ему:

— Я не знаю, в чем виновата, но — вот, наказана жестоко.

Он умолял, плакал и бесился, тогда она сказала:

— Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди!

Он ушел куда-то далеко, навсегда.

И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть, он пожирал плоды ее трудов, ее кровь и жизнь, голова его росла и становилась всё более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бессильной, тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь с боку на бок.

Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, пораженный, содрогаясь, не умея понять — что он видит? У стены, заросшей виноградом, на камнях, как на жертвеннике, стоял ящик, а из него поднималась эта голова, и, четко выступая на фоне зелени, притягивало к себе взгляд прохожего желтое, покрытое морщинами, скуластое лицо, таращились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые глаза, вздрагивал широкий, приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие, звериные уши — эту страшную маску прикрывала шапка черных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра.

Держа в руке, короткой и маленькой, как лапа ящерицы, кусок чего-нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы, а глаза его сдвигались к переносью, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумертвом лице, движения которого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперед и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал.

Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая всё дурное, что пережито ими, все несчастия, испытанные в жизни.

Старик кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил:

— Когда я вижу этот всё пожирающий рот, я думаю, что мою силу пожрал кто-то, подобный ему, мне кажется, что все мы живем и умираем для паразитов.

У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугающие сердце.

Мать урода молчала, прислушиваясь к словам людей, волосы ее быстро седели, морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смотрит в небо и точно ждет кого-то; они говорили друг другу:

— Чего ей ждать?

— Посади его на площадь у старой церкви! — советовали ей соседи.— Там ходят иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день.

Мать испуганно вздрогнула, говоря:

— Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран,— что они подумают о нас?

Ей ответили:

— Бедность — везде, все знают об этом!

Она отрицательно покачала головою.

Но иностранцы, гонимые скукой, шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и к ней: она была дома, она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей, слышала, как они говорили о ее сыне, кривя губы и прищурив глаза. Особенно ударили ее в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством.

Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, в которых ее сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл; в тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его — что значат эти слова?

— Смотря по тому, кто их сказал! — ответил он, нахмурясь.— Они значат: Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь?

Она, не ответив, ушла.

А на другой день ее сын объелся чем-то и умер в судорогах.

Она сидела на дворе около ящика, положив ладонь на мертвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то, вопросительно глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего.

Все молчали, никто ни о чем не спрашивал ее, хотя, быть может, многим хотелось поздравить ее — она освободилась от рабства,— сказать ей утешительное слово— она потеряла сына, но — все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всем можно говорить до конца.

После этого она еще долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чем-то, а потом стала такою же простою, как все.

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вкруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе,— а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубили сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом,

с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали ее сердце с древними камнями, из которых предки ее построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей — теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, но, взвешивая любовь к сыну и городу, не могло понять — что легче, что тяжелей.

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидала другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю ее!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот

страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она.— Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие,— матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и, не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подошли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель — мой сын,— сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца,— в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки.— Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился,— напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком,— сказала она.

— Камни — немы, если человек не заставит их говорить,— пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он.— Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но — точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город.

— Который пережил все имена, — напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям,— ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь за-

чатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шёпота людей, ожидающих смерти,— она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью,— говорил ее сын,— если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов,— говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, наклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отмстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния,— сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины всё, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его — ее крови,— она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце,— если оно болит, в него легко попасть.

XII

Звенят цикады.

Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это — еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и всё время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.

Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море — всё в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И, словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; всё это — напоминая давний, полузабытый сон — не похоже на жизнь.

— К ночи разыграется крепкий ветер! — говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.

Прибой набросал на камни волокна пахучей морской травы — рыжей, золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.

Старый рыбак похож на птицу — маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи.

— Полсотни лет тому назад, синьор,— говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад,— был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда всё смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне — шестнадцать, и я был влюблен, это — неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.

— «Поедем, Гвидо, за пеццони»,— сказал отец.— Пеццони, синьор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая рыба.

— И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал — болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом — болезнь рыбаков.

— Это очень хитрый и злой ветер, вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море,— там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вы оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы — в воде. Это случается в одну минуту, вы не успеете выругаться или помянуть имя божие, как вас уже кружит, гонит в даль. Разбойник честнее этого ветра. Впрочем — люди всегда честнее стихии.

— Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега — совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.

— «Гвидо! — сказал родитель, хватая весла изуродованными руками.— Держись, Гвидо! Живо — якорь!»

— Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь — вырвало весла из рук у него — он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала — всё делается быстро: когда я сел на весла — мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.

— «Это серьезно, сын мой! — сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега.— Это — надолго, дорогой мой».

— Если молод — не легко веришь в опасность, я пытался грести, делал всё, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер — дыхание злых дьяволов — любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием.

— «Сиди смирно, Гвидо, — сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы.— Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома».

— Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты — а берег убегает от нас всё дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:

— «Ты, может быть, вернешься на землю, я — нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе...»

— И он стал рассказывать мне всё, что знал о привычках тех и других рыб,— где, когда и как успешнее ловить их.

— «Может быть, нам лучше помолиться, отец?»— предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.

— «Бог видит всё! — сказал он.— Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям — бог понимает это...»

— И, рассказав мне всё, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.

— «Время ли теперь учить меня? — сказал я.— На земле ты не делал этого!»

— «На земле я не чувствовал смерть так близко».

— Ветер выл, как зверь, и плескал волны — отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:

— «Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже,— это будет верно! Дворянин и

рыбак, священник и солдат — одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего,— думай, что хорошего больше в нем,— так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

— Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете, точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху сквозь брызги воды я слышал эти слова. Многое уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многого я не мог понять — время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать — тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца.

— Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли. Я думаю — от боли.

— «Слушай! — кричал мне.— Эй — слышишь?»

— Иногда я отвечал ему:

— «Слышу!»

— «Помни — всё хорошее от человека».

— «Ладно!» — отвечаю я.

— Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня — юность самолюбива.

— Его крики укрощали мой страх, должно быть, поэтому я так хорошо помню всё.

Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:

— Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить — это всё равно, что понимать, а чем больше по-

нимаешь, тем более видишь хорошего,— уж это так, поверьте!

— Да, так вот — помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза — смотрели они на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда — мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.

— Нас, конечно, опрокинуло. Вот — мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам всё, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила, но — держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, глохнешь и слепнешь — глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее.

— Это тянулось долго — часов семь, потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут я обрадовался, закричал:

— «Держись!»

— Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:

— «Разобьет...»

— Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело,— мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега — всё пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши,— раз, раз — подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом — над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиною и разбитым, до мозга, черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан,

но лицо — чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.

— Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи — чужое место, но, конечно, свои люди — тоже рыбаки, такие случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!

— Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один год держу в сердце,— это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но — мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.

— Тут всё дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне всё, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что всё, что он внушил мне,— верно!

Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:

— Всё верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им — тоже, от этого они станут еще лучше, вы — тоже! Это — просто!

Ветер становился всё крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они всё торопливее плывут в даль, а два корабля с трехъярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.

Крутые берега острова в пене волн, буяня, плещет синяя вода, и неутомимо, страстно звенят цикады.

XIII

В день, когда это случилось, дул сирокко, влажный ветер из Африки — скверный ветер! — он раздражает нервы, приносит дурные настроения, вот почему два извозчика — Джузеппе Чиротта и Луиджи Мэта — поссорились. Ссора возникла незаметно, нельзя было понять, кто первый вызвал ее, люди видели только, как Луиджи бросился на грудь Джузеппе, пытаясь схватить его за горло, а тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую красную шею и выставил черные крепкие кулаки.

Их тотчас розняли и спросили:

— В чем дело?

Синий от гнева, Луиджи крикнул:

— Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал о моей жене!

Чиротта хотел уйти, он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и, качая круглой черной головой, отказывался повторить обиду, тогда Мэта громко сказал:

— Он говорит, что узнал сладость ласк моей жены!

— Эге! — сказали люди.— Это — не шутка, это требует серьезного внимания. Спокойствие, Луиджи! Ты здесь — чужой, твоя жена — наш человек, мы все тут знали ее ребенком, и если обижен ты — ее вина падает на всех нас,— будем правдивы!

Приступили к Чиротта.

— Ты сказал это?

— Ну да,— сознался он.

— И это — правда?

— Кто когда-нибудь уличал меня во лжи?

Чиротта — порядочный человек, хороший семья-

нин,— дело принимало очень мрачный оборот — люди были смущены и задумались, а Луиджи пошел домой и сказал Кончетте:

— Я — уезжаю! Я не хочу знать тебя, если ты не докажешь, что слова этого негодяя — клевета.

Она, конечно, плакала, но — ведь слезы не оправдывают; Луиджи оттолкнул ее, и вот она осталась одна, с ребенком на руках, без денег и хлеба.

Вступились женщины — прежде всех Катарина, торговка овощами, умная лисица, эдакий, знаете, старый мешок, туго набитый мясом и костями и кое-где сильно сморщенный.

— Синьоры,— сказала она,— вы уже слышали, что это касается чести всех вас. Это — не шалость, внушенная лунной ночью, задета судьба двух матерей — так? Я беру Кончетту к себе, и она будет жить у меня, до дня, когда мы откроем правду.

Так и сделали, а потом Катарина и эта сухая ведьма Лючия, крикунья, чей голос слышно на три мили,— принялись за бедного Джузеппе: призвали и давай щипать его душу, как старую тряпку:

— Ну, добряк, скажи — ты брал ее много раз, Кончетту?

Толстый Джузеппе надул щеки, подумал и сказал:

— Однажды.

— Это можно было сказать и не думая,— заметила Лючия вслух, но как бы сама себе.

— Случилось это вечером, ночью, утром? — спрашивала Катарина, совсем как судья.

Джузеппе, не подумав, выбрал вечер.

— Было еще светло?

— Да,— сказал дурачина.

— Так! Значит, ты видел ее тело?

— Ну, конечно!

— Так скажи нам, каково оно!

Тут он понял, к чему эти вопросы, и раскрыл рот, как воробей, подавившийся зерном ячменя, понял и забормотал, сердясь так, что его большие уши налились кровью и стали лиловыми.

— Что же,— говорит,— я могу сказать? Ведь я не рассматривал ее, как доктор!

— Ты ешь плоды, не любуясь ими? — спросила Лючия.— Но, может быть, ты все-таки заметил одну особенность Кончеттины? — спрашивает она дальше и подмигивает ему, змея.

— Всё это случилось так быстро,— говорит Джузеппе,— право, я ничего не заметил.

— Значит — ты ее не имел! — сказала Катарина,— она добрая старуха, но, когда нужно, умеет быть строгой. Словом — они так запутали его в противоречиях, что малый, наконец, опустил дурную свою голову и сознался:

— Ничего не было, я сказал это со зла.

Старух не удивило это.

— Так мы и думали,— сказали они и, отпустив его с миром, передали дело на суд мужчин.

Через день собралось наше общество рабочих. Чиротта встал пред ними, обвиняемый в клевете на женщину, и старик Джакомо Фаска, кузнец, сказал весьма недурно:

— Граждане, товарищи, хорошие люди! Мы требуем справедливости к нам — мы должны быть справедливы друг ко другу, пусть все знают, что мы понимаем высокую цену того, что нам нужно, и что справедливость для нас не пустое слово, как для наших хозяев. Вот человек, который оклеветал женщину, оскорбил товарища, разрушил одну семью и внес горе в другую, заставив свою жену страдать от ревности и стыда. Мы должны отнестись к нему строго. Что вы предлагаете?

Шестьдесят семь языков сказали единодушно:

— Вон его из коммуны!

А пятнадцать нашли, что это слишком сурово, и завязался спор. Отчаянно кричали — дело шло о судьбе человека, и не одного: ведь он женат, имеет троих детей,— в чем виноваты жена и дети? У него — дом, виноградник, пара лошадей, четыре осла для иностранцев,— всё это поднято его горбом и стоит немало труда. Бедняга Джузеппе торчал в углу один, мрачный, как чёрт среди детей; сидел на стуле согнувшись, опустив голову, и мял в руках свою шляпу, уже содрал с нее ленту и понемногу отрывал поля, а пальцы на руках у него танцевали, как у скрипача. И когда спросили

у него — что он скажет? — он сказал, с трудом распрямив тело и встав на ноги:

— Я прошу снисхождения! Никто ведь не безгрешен. Прогнать меня с земли, на которой я жил больше тридцати лет, где работали мои предки,— это не будет справедливо!

Женщины тоже были против изгнания, и наконец Фаска предложил поступить так:

— Я думаю, друзья, он будет хорошо наказан, если мы возложим на него обязанность содержать жену Луиджи и его ребенка,— пусть он платит ей половину того, что зарабатывал Луиджино!

Еще много спорили, но в конце концов остановились на этом, и Джузеппе Чиротта был очень доволен, что отделался так дешево, да и всех удовлетворило это: дело не дошло ни до суда, ни до ножа, а решилось в своем кругу. Мы не любим, синьор, когда о наших делах пишут в газетах языком, в котором понятные слова торчат редко, как зубы во рту старика, или когда судьи, эти чужие нам люди, очень плохо понимающие жизнь, толкуют про нас таким тоном, точно мы дикари, а они — божьи ангелы, которым незнаком вкус вина и рыбы и которые не прикасаются к женщине! Мы — простые люди и смотрим на жизнь просто.

Так и решили: Джузеппе Чиротта кормит жену Луиджи Мэта и ребенка их, но дело не кончилось этим: когда Луиджино узнал, что слова Чиротта лживы, а его синьора невинна, и узнал наш приговор, он вызвал ее к себе, написав кратко:

«Иди ко мне и будем жить снова хорошо. Не бери ни чентезима у этого человека, а если уже взяла — брось взятое в глаза ему! Я пред тобою тоже не виноват, разве я мог подумать, что человек лжет в таком деле, как любовь!»

А Чиротта он написал другое письмо:

«У меня три брата, и все четверо мы поклялись друг другу, что зарежем тебя, как барана, если ты сойдешь когда-нибудь с острова на землю в Сорренто, Кастелламаре, Торре или где бы то ни было. Как только узнаем, то и зарежем, помни! Это такая же правда, как то, что люди твоей коммуны — хорошие, честные люди. По-

мощь твоя не нужна синьоре моей, даже и свинья моя отказалась бы от твоего хлеба. Живи, не сходя с острова, пока я не скажу тебе — можно!»

Говорят, будто бы Чиротта носил это письмо к судье нашему и спрашивал — нельзя ли осудить Луиджи за угрозу его? И будто судья сказал:

— Можно, конечно, но ведь тогда братья его уж наверное зарежут вас; приедут сюда и зарежут. Я советую — подождите! Это — лучше. Гнев — не любовь, он недолговечен...

Судья мог сказать эдак: он у нас очень добрый, очень умный человек и сочиняет хорошие стихи, но — я не верю, чтобы Чиротта ходил к нему и показывал это письмо. Нет, Чиротта порядочный парень все-таки, он не сделал бы еще одну бестактность, ведь его за это осмеяли бы.

Мы — простые, рабочие люди, синьор, у нас — своя жизнь, свои понятия и мнения, мы имеем право строить жизнь, как хотим и как лучше для нас.

Социалисты? О, друг мой, рабочий человек родится социалистом, как я думаю, и хотя мы не читаем книг, но правду слышим по запаху,— ведь правда крепко пахнет и всегда одинаково — трудовым потом!

XIV

У двери белой кантины, спрятанной среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетенных вьюнком и мелкой китайской розой, сидят у стола, за графином вина, Винченцо, маляр, и Джиованни, слесарь. Маляр — маленький, костлявый, черный; в его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя; хотя его верхняя губа и щеки выбриты досиня — лицо, от этой улыбки, кажется детским и наивным. У него маленький красивый рот, точно у девушки, кисти рук — длинные, он вертит в живых пальцах золотой цветок розы и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза.

— Может быть — я не знаю — может быть! — тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб.

— Да, да! Чем дальше на север, тем настойчивее люди! — утверждает Джиованни, большеголовый, широкоплечий парень, в черных кудрях; лицо у него медно-красное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи; глаза — большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движения рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах, с обломанными ногтями, он продолжает басом:

— Милан, Турин — вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растет новый мозг! Подожди немного — земля станет честной и умной!

— Да! — сказал маленький маляр, подняв стакан, и, ловя вином солнечный луч, напевает:

О, как тепла земля на утре наших дней!
Но — возмужали мы,— и холодно на ней!

— Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы, дальше — немцы и наконец русские — вот люди!

— Да!

— Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело — ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток!

— Страна героев! — склоняя голову, сказал маляр.— Я бы хотел жить с ними...

— Ты? — воскликнул слесарь, ударив по своему колену ребром ладони.— Кусочком льда был бы ты там через неделю!

Оба добродушно засмеялись.

Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стаканов горит альмандиновое вино, издали доплывает шелковый шорох моря.

— Вот, добрый мой Винченцо,— говорит слесарь, широко улыбаясь,— расскажи стихами, как я стал социалистом,— ты знаешь это?

— Нет,— сказал маляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе,— ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал — ты родился в ней!

— Я родился голым и глупым, как ты и все люди; в юности я мечтал о богатой жене, в солдатах — учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин, мне было двадцать три года, когда я почувствовал, что не всё на свете хорошо и жить дураком — стыдно!

Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны.

— Нас — мою роту — послали в Болонью; там волновались крестьяне, одни — требуя понижения арендной платы, другие — кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне неправыми: понизить аренду за землю, поднять рабочую плату — что за глупости! — думал я,— ведь это разо-

рит землевладельцев... Мне, жителю города, это казалось вздором и бессмыслицей. И я очень сердился, чему помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам,— эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, а также им нравилось жечь хлеб и портить всё, принадлежавшее не им.

Он выпил вино маленькими глотками и, оживляясь всё более, продолжал:

— Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но — молча, грозно, деловито, мы разгоняли их, показывая штыки, иногда — толкая прикладами, они, не пугаясь и не торопясь, разбегались, собирались снова. Это было скучно, как обедня, и тянулось изо дня в день, точно лихорадка. Луото, наш унтер, славный парень, абруцезец, тоже крестьянин, мучился: пожелтел, похудел и не однажды говорил нам:

— «Очень скверно, дети мои! Вероятно, придется стрелять, будь я проклят!»

— Его карканье еще больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, щупают тебя их сердитые глаза,— люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо.

— Пей! — сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан.

— Благодарю и — да здравствуют стойкие люди!— воскликнул слесарь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал:

— Однажды я стоял на небольшом холме, у рощи олив, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их, а под холмом работали двое — старик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печет, как огнем, хочется быть рыбой, скучно, и, помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина,— чёрт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул:

— «Иди!» — Очень строго крикнул.

— Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно:

— «Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина!»

— Было неловко, но — приятно, я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо:

— «Выпейте, синьор, выпейте! Мы предлагаем это человеку, а не солдату, мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина».

— «Не кусайся, чёрт тебя побери!» — подумал я и, выпив глотка три, поблагодарил, а они, там, внизу, начали есть; потом скоро я сменился — на мое место встал Уго, салертинец, и я сказал ему тихонько, что эти двое крестьян — добрые люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где хранились машины, с крыши, на голову мне, упала черепица — по голове ударило не сильно, но другая очень крепко — ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла.

Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищурив глаза.

— Черепицы, камни, палки,— говорил он сквозь смех,— в те дни и в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат — вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно!

Глаза маленького маляра стали грустны, лицо побледнело, и он сказал тихонько:

— Всегда стыдно слушать о таких вещах...

— Что поделаешь! Люди медленно умнеют. Далее: я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненный камнем в лицо, и, когда я спросил его — как это случилось с ним, он сказал, невесело посмеиваясь:

— «Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает — убить ее!»

— «Арестовали?»

— «Я сказал, что это сам я — упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но,

согласись, неловко сознаться, что ранен старухой! Дьявол! Им туго приходится, и понятно, что они не любят нас».

— «Так!» — думаю я. Приходит доктор и две дамы — одна очень красивая, блондинка, очевидно — венецианка, другая — не помню ее. Осматривают мой ушиб, конечно — пустяки, положили мне компресс и ушли.

Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потер руки; его товарищ снова налил вина в стаканы, наливая, он высоко поднимал графин, и вино трепетало в воздухе красной живой струей.

— Мы оба сели у окна,— угрюмо продолжал слесарь,— сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голосок блондинки этой — она с подругой и доктором идет по саду, за окном, и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю.

— «Вы заметили, какие у него глаза? — говорит она.— Он, разумеется, тоже крестьянин и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот, люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить, всё для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость!»

— «Глупые ребята, — сказал доктор, — полудети, полузвери!»

— «Звери — да! Но — что в них детского?»

— «А эти мечты о всеобщем равенстве...»

— «Вы подумайте,— я равна этому парню, с глазами вола, и другому, с птичьим лицом, мы все — вы, я и она — мы равны им, этим людям дурной крови! Людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они...»

— Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал: «Так, синьора!» Я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне — особенно умны.

— Спрашиваю товарища: «Ты понимаешь этот язык?» Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки — парень рассердился, как чёрт, и запрыгал по

комнате, сверкая глазом,— один глаз у него был завязан.

— «Вот как! — бормочет он.— Вот как! Она пользуется мной и — не считает меня человеком! Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его! Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу...»

— Он был неглупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным, я — тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Луото только мычал и советовал нам:

— «Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы — солдаты и существует дисциплина!»

— Нет, мы это не забыли. Но очень многие — почти все, говоря правду,— стали глухи и слепы, а эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они — выиграли. Они очень хорошо относились к нам; блондинке можно бы многому поучиться у них, например — они прекрасно научили бы ее, как надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни — в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой! Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы!

Он засмеялся, потом сказал:

— Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо...

Маляр, задумчиво улыбаясь, ответил:

— Да, это очень годится для поэмы! Я думаю, что сумею сделать ее. Когда человеку минет двадцать пять лет — он становится плохим лириком.

Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая:

— Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью...

Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море, там, внизу, за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.

— Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими,— бормотал слесарь.

— Мне уже плохо удаются лирические стихи, я очень недоволен собою,— тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови.

— Ты сделал что-нибудь?

Маляр не сразу говорит:

— Да, вчера, на крыше отеля «Комо».

И читает вполголоса, задумчиво, певуче:

На берег пустынный, на старые серые камни
Осеннее солнце прощально и нежно упало.
На темные камни бросаются жадные волны
И солнце смывают в холодное синее море.
И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним,
Мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые мертвые птицы,
А бледное небо — печально, и гневное море — угрюмо.
Одно только солнце смеется, склоняясь покорно к закату.

Оба долго молчат; маляр, опустив голову, смотрит в землю, большой, тяжелый слесарь улыбается и наконец говорит:

— Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего — слово о хорошем человеке, песня о хороших людях!

XV

На террасу отеля, сквозь темно-зеленый полог виноградных лоз, золотым дождем льется солнечный свет — золотые нити, протянутые в воздухе. На серых кафлях пола и белых скатертях столов лежат странные узоры теней, и кажется, что, если долго смотреть на них,— научишься читать их, как стихи, поймешь, о чем они говорят. Гроздья винограда играют на солнце, точно жемчуг или странный мутный камень оливин, а в графине воды на столе — голубые бриллианты.

В проходе между столами лежит маленький кружевной платок. Конечно, его потеряла дама, и она божественно красива — иначе не может быть, иначе нельзя думать в этот тихий день, полный знойного лиризма, день, когда всё будничное и скучное становится невидимым, точно исчезает от солнца, стыдясь само себя.

Тишина; только птицы щебечут в саду, гудят пчелы над цветами, да где-то на горе, среди виноградников, жарко вздыхает песня: поют двое — мужчина и женщина, каждый куплет отделен от другого минутою молчания— это дает песне особую выразительность, что-то молитвенное.

Вот и дама медленно всходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы; это старуха, очень высокого роста, темное строгое лицо, сурово нахмуренные брови, тонкие губы упрямо сжаты, как будто она только что сказала: «Нет!»

На ее сухих плечах широкая и длинная — точно плащ — накидка золотистого шелка, обшитая кружевами, седые волосы маленькой, не по росту, головы прикрыты черным кружевом, в одной руке — красный зонт, с длинной ручкой, в другой — черная бархатная сумка, шитая серебром. Она идет сквозь паутину лучей прямо, твердо, как солдат, и стучит концом зонта по

звонким кафлям пола. В профиль ее лицо еще строже: нос загнут, подбородок остр, и на нем большая серая бородавка, выпуклый лоб тяжело навис над темными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза. Они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой.

За нею, переваливаясь с боку на бок, точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно является квадратное тело горбуна, с большой, тяжело опущенной головою в серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилета, это делает его еще более широким и угловатым. На нем белый костюм и белые же ботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт, видны желтые неровные зубы, на верхней губе неприятно топорщатся темные усы, редкие и жесткие, он дышит часто и напряженно, нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идет он, уродливо выворачивая короткие ноги, его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле — много больших вещей: велик золотой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки, велик золотой, с двумя рубинами, жетон на конце черной ленты, заменяющей цепочку часов, а в синем галстуке слишком крупен опал, несчастливый камень.

И еще третья фигура, не спеша, входит на террасу, тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, должно быть — веселая и болтливая.

Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Гогарта: некрасивые, печальные, смешные и чужие всему под этим солнцем,— кажется, что всё меркнет и тускнеет при виде их.

Это — голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира, люди очень странной судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них.

Ребенком горбун был тих, незаметен, задумчив и не любил игрушек. Это ни в ком, кроме сестры, не возбуждало особенного внимания к нему — отец и мать нашли, что таков и должен быть неудавшийся человек, но у девочки, которая была старше брата на четыре года, его характер возбуждал тревожное чувство.

Почти все дни она проводила с ним, стараясь всячески возбудить в нем оживление, вызвать смех, под-

совывала ему игрушки,— он складывал их, одну на другую, строя какие-то пирамиды, и лишь очень редко улыбался насильственной улыбкой, обычно же смотрел на сестру, как на всё,— невеселым взглядом больших глаз, как бы ослепленных чем-то; этот взгляд раздражал ее.

— Не смей так смотреть, ты вырастешь идиотом! — кричала она, топая ногами, щипала его, била, он хныкал, защищал голову, взбрасывая длинные руки вверх, но никогда не убегал от нее и не жаловался на побои.

Позднее, когда ей показалось, что он может понимать то, что для нее было уже ясно, она убеждала его:

— Если ты урод — ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя, папе, маме и всем! Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме всё должно быть красиво или умно — понимаешь?

— Да,— серьезно говорил он, склоняя свою большую голову набок и глядя в лицо ей темным взглядом неживых глаз.

Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нем ее доброе сердце, и незаметно она стала признанной наперсницей горбуна — учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях.

Но, как и раньше, он складывал игрушки высокими кучами, точно стараясь достичь чего-то, а учился невнимательно и плохо, только чудеса сказок заставляли его нерешительно улыбаться, и однажды он спросил сестру:

— Принцы бывают горбаты?

— Нет.

— А рыцари?

— Конечно — нет!

Мальчик устало вздохнул, а она, положив руку на его жесткие волосы, сказала:

— Но мудрые волшебники всегда горбаты.

— Значит — я буду волшебником,— покорно заметил горбун, а потом, подумав, прибавил:

— А феи — всегда красивы?

— Всегда.

— Как ты?

— Может быть! Я думаю — даже более красивые,— честно сказала она.

Ему минуло восемь лет, и сестра заметила, что каждый раз во время прогулок, когда они проходили или проезжали мимо строящихся домов, на лице мальчика является выражение удивления, он долго, пристально смотрит, как люди работают, а потом вопросительно обращает свои немые глаза на нее.

— Это интересно тебе? — спросила она.

Малоречивый, он ответил:

— Да.

— Почему?

— Я не знаю.

Но однажды объяснил:

— Такие маленькие люди и кирпичики — а потом огромные дома. Так сделан весь город?

— Да, разумеется.

— И наш дом?

— Конечно!

Взглянув на него, она решительно сказала:

— Ты будешь знаменитым архитектором, вот что!

Ему купили множество деревянных кубиков, и с этой поры в нем жарко вспыхнула страсть к строительству: целыми днями он, сидя на полу своей комнаты, молча возводил высокие башни, которые с грохотом падали. Он строил их снова, и это стало так необходимо для него, что даже за столом, во время обеда, он пытался построить что-то из ножей, вилок и салфеточных колец. Его глаза стали сосредоточеннее и глубже, а руки ожили и непрерывно двигались, ощупывая пальцами каждый предмет, который могли взять.

Теперь, во время прогулок по городу, он готов был целые часы стоять против строящегося дома, наблюдая, как из малого растет к небу огромное; ноздри его дрожали, внюхиваясь в пыль кирпича и запах кипящей извести, глаза становились сонными, покрывались пленкой напряженной вдумчивости, и, когда ему говорили, что неприлично стоять на улице, он не слышал.

— Идем! — будила его сестра, дергая за руку.

Он склонял голову и шел, всё оглядываясь назад.

— Ты будешь архитектором, да? — внушала и спрашивала она.

— Да.

Однажды, после обеда, в гостиной, ожидая кофе, отец заговорил о том, что пора бросить игрушки и начать учиться серьезно, но сестра, тоном человека, чей ум признан и с кем нельзя не считаться,— спросила:

— Я надеюсь, папа, что вы не думаете отдать его в учебное заведение?

Большой, бритый, без усов, украшенный множеством сверкающих камней, отец проговорил, закуривая сигару:

— А почему бы и нет?

— Вы знаете — почему!

Так как речь шла о нем, горбун тихонько удалился; он шел медленно и слышал, как сестра говорила:

— Но ведь все будут смеяться над ним!

— Ах, да, конечно! — сказала мать густым голосом, сырым, точно осенний ветер.

— Таких, как он, надо прятать! — горячо говорила сестра.

— Ах, да, тут нечем гордиться! — сказала мать.— Сколько ума в этой головке, о!

— Пожалуй — вы правы,— согласился отец.

— Нет, сколько ума...

Горбун воротился, встал в двери и сказал:

— Я ведь тоже не глуп...

— Увидим,— молвил отец, а мать заметила:

— Никто не думает ничего подобного...

— Ты будешь учиться дома,— объявила сестра, усаживая его рядом с собою.— Ты будешь учиться всему, что надо знать архитектору,— это тебе нравится?

— Да. Ты увидишь.

— Что я увижу?

— Что́ мне нравится.

Она была немного выше его — на полголовы,— но заслоняла собою всё — и мать и отца. В ту пору ей было пятнадцать лет. Он был похож на краба, а она — тонкая, стройная и сильная — казалась ему феей, под властью которой жил весь дом и он, маленький горбун.

И вот к нему ходят вежливые, холодные люди, они что-то изъясняют, спрашивают, а он равнодушно сознается им, что не понимает наук, и холодно смотрит куда-то через учителей, думая о своем. Всем ясно, что его мысли направлены мимо обычного, он мало говорит, но иногда ставит странные вопросы:

— Что делается с теми, кто не хочет ничего делать?

Благовоспитанный учитель, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, одновременно похожий на священника и воина, ответил:

— С такими людьми совершается всё дурное, что только можно представить себе! Так, например, многие из них становятся социалистами.

— Благодарю вас! — говорит горбун,— он держится с учителями корректно и сухо, как взрослый.— А что такое — социалист?

— В лучшем случае — фантазер и лентяй, вообще же — нравственный урод, лишенный представления о боге, собственности и нации.

Учителя всегда отвечали кратко, их ответы ложились в память плотно, точно камни мостовой.

— Нравственным уродом может быть и старуха?

— О, конечно, среди них...

— И — девочка?

— Да. Это — врожденное свойство...

Учителя говорили о нем:

— У него слабые способности к математике, но большой интерес к вопросам морали...

— Ты много говоришь,— сказала ему сестра, узнав о его беседах с учителями.

— Они говорят больше.

— И ты мало молишься богу...

— Он не исправит мне горба...

— Ах, вот как ты начал думать! — с изумлением воскликнула она и заявила:

— Я прощаю тебе это, но — забудь всё подобное,— слышишь?

— Да.

Она уже носила длинные платья, а ему исполнилось тринадцать лет.

С этого времени на нее обильно посыпались неприятности: почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам ее падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову ее, отбивая ей пальцы,— горбун всегда предупреждал ее криком:

— Берегись!

Но — всегда опаздывал, и она испытывала боль.

Однажды, прихрамывая, она подскочила к нему, бледная, злая, крикнула в лицо ему:

— Ты нарочно делаешь это, урод! — и ударила его по щеке.

Ноги у него были слабые, он упал и, сидя на полу, тихо, без слез и без обиды сказал ей:

— Как ты можешь думать это? Ведь ты любишь меня — не правда ли? Ты меня любишь?

Она убежала, охая, потом пришла объясняться.

— Видишь ли — раньше этого не было...

— И этого тоже,— спокойно заметил он, сделав длинной рукою широкий круг: в углах комнаты были нагромождены доски, ящики, всё имело очень хаотичный вид, столярный и токарный станки у стен были завалены деревом.

— Зачем ты натаскал столько этой дряни? — спросила она, брезгливо и недоверчиво оглядываясь.

— Ты увидишь!

Он уже начал строить: сделал домик для кроликов и конуру для собаки, придумывал крысоловку,— сестра ревниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу,— отец, одобрительно кивая головою, говорил:

— Всё началось с мелочей, и всегда всё так начинается!

А мать, обнимая ее, спрашивала сына:

— Ты понимаешь, как надо ценить ее заботы о тебе?

— Да,— отзывался горбун.

Когда он сделал крысоловку, то позвал сестру к себе и, показывая ей неуклюжее сооружение, сказал:

— Это уже не игрушка, и можно взять патент! Смотри — как просто и сильно, дотронься здесь.

Девушка дотронулась, что-то хлопнуло, и она дико

закричала, а горбун, прыгая вокруг нее, бормотал:

— О, не та, не та...

Прибежала мать, явились слуги. Разломали аппарат для ловли крыс, освободили прищемленный, посиневший палец девушки и унесли ее в обмороке.

Вечером его позвали к сестре, и она спросила:

— Ты сделал это нарочно, ты ненавидишь меня,— за что?

Встряхивая горбом, он отвечал, тихо и спокойно:

— Просто ты дотронулась не тою рукой.

— Ты — лжешь!

— Но — зачем я стану портить тебе руки? Ведь это даже не та рука, которой ты ударила меня...

— Смотри, урод, ты не умнее меня!..

Он согласился:

— Я знаю.

Угловатое лицо его было, как всегда, спокойно, глаза смотрели сосредоточенно — не верилось, что он зол и может лгать.

После этого она стала не так часто заходить к нему. Ее посещали подруги — шумные девочки в разноцветных платьях, они славно бегали по большим, немножко холодным и угрюмым комнатам,— картины, статуи, цветы и позолота — всё становилось теплее при них. Иногда сестра приходила с ними в его комнату,— они чопорно протягивали ему маленькие пальчики с розовыми ногтями, дотрогиваясь до его руки так осторожно, точно боялись сломать ее. Разговаривали они с ним особенно кротко и ласково, с удивлением, но без интереса осматривая горбуна среди его инструментов, чертежей, кусков дерева и стружек. Он знал, что все девочки зовут его «изобретателем»,— это сестра внушила им,— и что от него ждут в будущем чего-то, что должно прославить имя его отца,— сестра говорила об этом уверенно.

— Он, конечно, некрасив, но — очень умный,— часто напоминала она.

Ей было девятнадцать лет, и она уже имела жениха, когда отец и мать погибли в море, во время прогулки на увеселительной яхте, разбитой и потопленной пьяным

штурманом американского грузовика; она тоже должна была ехать на эту прогулку, но у нее неожиданно заболели зубы.

Когда пришло известие о смерти отца и матери, она, забыв свою зубную боль, бегала по комнате и кричала, воздевая руки:

— Нет, нет, этого не может быть!

Горбун стоял у двери, кутаясь портьерой, внимательно смотрел на нее и говорил, встряхивая горб:

— Отец был такой круглый и пустой — я не понимаю, как он мог утонуть...

— Молчи, ты никого не любишь! — кричала сестра.

— Я просто не умею говорить ласковых слов,— сказал он.

Труп отца не нашли, а мать была убита раньше, чем упала в воду,— ее вытащили, и она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мертвая ветвь старого дерева, какою была и при жизни.

— Вот мы остались с тобою одни,— строго и печально сказала сестра брату после похорон матери, отодвигая его от себя острым взглядом серых глаз.— Нам будет трудно, мы ничего не знаем и можем много потерять. Так жаль, что я не могу сейчас же выйти замуж!

— О! — воскликнул горбун.

— Что такое — о?

Он, подумав, сказал:

— Мы — одни.

— Ты так говоришь это, точно тебя что-то радует!

— Я ничему не радуюсь.

— Это тоже очень жаль! Ты ужасно мало похож на живого человека.

Вечерами приходил ее жених — маленький, бойкий человечек, белобрысый, с пушистыми усами на загорелом круглом лице; он, не уставая, смеялся целый вечер и, вероятно, мог бы смеяться целый день. Они уже были обручены, и для них строился новый дом в одной из лучших улиц города — самой чистой и тихой. Горбун никогда не был на этой стройке и не любил слушать, когда говорили о ней. Жених хлопал его по плечам маленькой, пухлой рукой, с кольцами на ней, и говорил, оскаливая множество мелких зубов:

— Тебе надо пойти посмотреть это, а? Как ты думаешь?

Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошел с ним и сестрой, а когда они двое взошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда — жених прямо на землю, в творило с известью, а брат зацепился платьем за леса, повис в воздухе и был снят каменщиками. Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо, а жених переломил позвоночник и распорол бок.

Сестра билась в судорогах, руки ее царапали землю, поднимая белую пыль; она плакала долго, больше месяца, а потом стала похожа на мать — похудела, вытянулась и начала говорить сырым, холодным голосом:

— Ты — мое несчастие!

Он отмалчивался, опуская свои большие глаза в землю. Сестра оделась в черное, свела брови в одну линию и, встречая брата, стискивала зубы так, что скулы ее выдвигались острыми углами, а он старался не попадаться на глаза ей и всё составлял какие-то чертежи, одинокий, молчаливый. Так он жил вплоть до совершеннолетия, а с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь — борьба, связавшая их крепкими звеньями взаимных оскорблений и обид.

В день совершеннолетия он сказал ей тоном старшего:

— Нет ни мудрых волшебников, ни добрых фей, есть только люди, одни — злые, другие — глупые, а всё, что говорят о добре,— это сказка! Но я хочу, чтобы сказка была действительностью. Помнишь, ты сказала: «В богатом доме всё должно быть красиво или умно»? В богатом городе тоже должно быть всё красиво. Я покупаю землю за городом и буду строить там дом для себя и уродов, подобных мне, я выведу их из этого города, где им слишком тяжело жить, а таким, как ты, неприятно смотреть на них...

— Нет,— сказала она,— ты, конечно, не сделаешь этого! Это — безумная идея!

— Это — твоя идея.

Они поспорили, сдержанно и холодно, как спорят люди большой ненависти друг ко другу, когда им нет надобности скрывать эту ненависть.

— Это решено! — сказал он.

— Не мною,— ответила сестра.

Он приподнял горб и ушел, а через некоторое время сестра узнала, что земля куплена и, более того, землекопы уже роют рвы под фундамент, десятки телег свозят кирпич, камень, железо и дерево.

— Ты всё еще чувствуешь себя мальчишкой? — спросила она.— Ты думаешь, это игра?

Он молчал.

Раз в неделю его сестра — сухая, стройная и гордая — отправлялась за город в маленькой коляске, сама правя белой лошадью, и, медленно проезжая мимо работ, холодно смотрела, как красное мясо кирпичей связывается сухожилиями железных балок, а желтое дерево ложится в тяжелую массу нервными нитями. Она видела издали фигуру брата, похожего на краба, он ползал по лесам, с тростью в руке, в измятой шляпе, пыльный, серый, точно паук; потом, дома, она пристально смотрела в его возбужденное лицо, в темные глаза — они стали мягче и яснее.

— Нет,— тихо говорил он,— я хорошо придумал, одинаково хорошо для вас и для нас! Это чудесное дело — строить, и мне кажется, что я скоро буду считать себя счастливым человеком...

Она спросила, загадочно измеряя глазами его уродливое тело:

— Счастливым?

— Да! Знаешь — люди, которые работают, совершенно не похожи на нас, они возбуждают особенные мысли. Как хорошо, должно быть, чувствует себя каменщик, проходя по улицам города, где он строил десятки домов! Среди рабочих — много социалистов, они, прежде всего, трезвые люди, и, право, у них есть свое чувство достоинства. Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ...

— Странно ты говоришь,— заметила она.

Горбун оживал, становясь с каждым днем всё разговорчивее:

— В сущности, всё идет так, как хотелось тебе: вот я становлюсь мудрым волшебником, освобождая город

от уродов, ты же могла бы, если б хотела, быть доброй феей! Почему ты не отвечаешь?

— Мы поговорим об этом после,— сказала она, играя золотой цепью часов.

Однажды он заговорил языком, совершенно незнакомым ей:

— Может быть, я виноват перед тобою больше, чем ты предо мною...

Она удивилась:

— Я — виновата? Пред тобою?

— Подожди! Честное слово — я не так виноват, как ты думаешь! Ведь я хожу плохо, быть может, я толкнул его тогда,— но тут не было злого намерения, нет, поверь! Я гораздо более виновен в том, что хотел испортить руку, которою ты ударила меня...

— Оставим это! — сказала она.

— Мне кажется — нужно быть добрее! — бормотал горбун.— Я думаю, что добро — не сказка, оно возможно...

Огромное здание за городом росло с великою быстротой, ширилось по жирной земле и поднималось в небо, всегда серое, всегда грозившее дождем.

Однажды на работы явилась кучка официальных людей, они осмотрели построенное и, тихо поговорив между собою, запретили строить далее.

— Это сделала ты! — закричал горбун, бросаясь на сестру и схватив ее за горло длинными, сильными руками, но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от нее, и сестра сказала им:

— Вы видите, господа, что он действительно ненормален и опека необходима! Это началось с ним тотчас после смерти отца, которого он страстно любил, спросите слуг — они все знают о его болезни. Они молчали до последнего времени — это добрые люди, им дорога честь дома, где многие из них живут с детства. Я тоже скрывала несчастие — ведь нельзя гордиться тем, что брат безумен...

У него посинело лицо и глаза выкатились из орбит, когда он слушал эту речь, он онемел и молча царапал ногтями руки людей, державших его, а она продолжала:

— Разорительная затея с этим домом, который я на-

мерена отдать городу под психиатрическую лечебницу имени моего отца...

Он завизжал, лишился сознания, и его увезли.

Сестра продолжала и закончила постройку с тою же быстротою, с которой он вел ее, а когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошел в него ее брат. Семь лет провел он там — время, вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота; у него развилась меланхолия, а сестра его за это время постарела, лишилась надежд быть матерью, и когда, наконец, увидала, что враг ее убит и не воскреснет,— взяла его на свое попечение.

И вот они кружатся по земному шару туда и сюда, точно ослепленные птицы, бессмысленно и безрадостно смотрят на всё и нигде ничего не видят, кроме самих себя.

XVI

Синяя вода кажется густою, как масло, винт парохода работает в ней мягко и почти бесшумно. Не вздрагивает палуба под ногами, только напряженно трясется мачта, устремленная в ясное небо; тихонько поют тросы, натянутые, точно струны, но — к этому трепету уже привык, не замечаешь его, и кажется, что пароход, белый и стройный, точно лебедь,— неподвижен на скользкой воде. Чтобы заметить движение, нужно взглянуть за борт: там от белых бортов отталкивается зеленоватая волна, морщится и широкими мягкими складками бежит прочь, изгибаясь, сверкая ртутью и сонно журча.

Утро, еще не совсем проснулось море, в небе не отцвели розовые краски восхода, но уже прошли остров Горгону — поросший лесом, суровый одинокий камень, с круглой серой башней на вершине и толпою белых домиков у заснувшей воды. Несколько маленьких лодок стремительно проскользнули мимо бортов парохода,— это люди с острова идут за сардинами. В памяти остается мерный плеск длинных весел и тонкие фигуры рыбаков,— они гребут стоя и качаются, точно кланяясь солнцу.

За кормой парохода — широкая полоса зеленоватой пены, над нею лениво носятся чайки; иногда неизвестно откуда является питон, вытянувшись, как сигара, летит бесшумно над самою водой и вдруг вонзается в нее, точно стрела.

Вдали облачно встают из моря берега Лигурии — лиловые горы; еще два-три часа, и пароход войдет в тесную гавань мраморной Генуи.

Всё выше поднимается солнце, обещая жаркий день.

На палубу выбежали двое лакеев; один молодой, тоненький и юркий, неаполитанец, с неуловимым выражением подвижного лица, другой — человек среднего возраста, седоусый, чернобровый, в серебряной щетине на круглом черепе; у него горбатый нос и серьезные умные глаза. Шутя и смеясь, они быстро накрыли стол для кофе и убежали, а на смену, гуськом, один за другим из кают медленно вылезли пассажиры: толстяк, с маленькой головой и оплывшим лицом, краснощекий, но грустный и устало распустивший пухлые малиновые губы; человек в серых бакенбардах, высокий, весь какой-то выглаженный, с незаметными глазами и маленьким носом-пуговкой на желтом плоском лице; за ними, споткнувшись о медь порога, выпрыгнул рыжий круглый мужчина с брюшком, воинственно закрученными усами, в костюме альпиниста и в шляпе с зеленым пером. Все трое встали к борту, толстый печально прищурил глаза и сказал:

— Вот как тихо, а?

Человек с бакенбардами сунул руки в карманы, расставил ноги и стал похож на открытые ножницы. Рыжий вынул золотые часы, большие, как маятник стенных часов, поглядел на них, в небо и вдоль палубы, потом начал свистать, раскачивая часы и притопывая ногою.

Явились две дамы — одна молодая, полная, с фарфоровым лицом и ласковыми молочно-синими глазами, темные брови ее словно нарисованы и одна выше другой; другая — старше, остроносая, в пышной прическе выцветших волос, с большой черной родинкой на левой щеке, с двумя золотыми цепями на шее, лорнетом и множеством брелоков у пояса серого платья.

Подали кофе. Молодая молча села к столу и начала разливать черную влагу, как-то особенно округляя обнаженные до локтей руки. Мужчины подошли к столу, молча сели, толстый взял чашку и вздохнул, сказав:

— День будет жаркий...

— Ты капаешь себе на колени,— заметила старшая дама.

Он наклонил голову — подбородок и щеки его расплылись, упираясь в грудь,— поставил чашку на

стол, смахнул платком капли кофе с серых брюк и вытер потное лицо.

— Да! — неожиданно громко заговорил рыжий, шаркая короткими ногами.— Да, да! Если даже левые стали жаловаться на хулиганство, значит...

— Подожди трещать, Иван! — перебила старшая дама.— Лиза не выйдет?

— Ей нехорошо,— звучно ответила молодая.

— Но ведь море спокойно...

— Ах, когда женщина в таком положении...

Толстый улыбнулся и сладостно закрыл глаза.

За бортом, разрывая спокойную гладь моря, кувыркались дельфины,— человек с бакенбардами внимательно посмотрел на них и сказал:

— Дельфины похожи на свиней.

Рыжий отозвался:

— Здесь вообще много свинства.

Бесцветная дама поднесла к носу чашку, понюхала кофе, брезгливо сморщилась.

— Отвратительно!

— А молоко, а? — поддержал толстый, испуганно мигая.

Дама с фарфоровым лицом пропела:

— И всё — грязно, грязно! И все ужасно похожи на жидов...

Рыжий, захлебываясь словами, всё время говорил о чем-то на ухо человеку с бакенбардами, точно отвечал учителю, хорошо зная урок и гордясь этим. Его слушателю было щекотно и любопытно, он легонько качал головою из стороны в сторону, и на его плоском лице рот зиял, точно щель на рассохшейся доске. Иногда ему хотелось сказать что-то, он начинал странным, мохнатым голосом:

— У меня в губернии...

И, не продолжая, снова внимательно склонял голову к усам рыжего.

Толстый тяжко вздохнул, сказав:

— Как ты жужжишь, Иван...

— Ну — дайте мне кофе!

Он подвинулся к столу, со скрипом и треском, а собеседник его значительно проговорил:

— Иван имеет идеи.

— Ты не выспался,— сказала старшая дама, посмотрев в лорнет на бакенбардиста,— тот провел рукою по лицу, взглянул на ладонь.

— Мне кажется, что я напудрен, а тебе не кажется этого?

— Ах, дядя! — воскликнула молодая.— Это же особенность Италии! Здесь ужасно сохнет кожа!

Старшая дама спросила:

— Ты замечаешь, Лиди, какой у них скверный сахар?

На палубу вышел крупный человек, в шапке седых кудрявых волос, с большим носом, веселыми глазами и с сигарой в зубах,— лакеи, стоявшие у борта, почтительно поклонились ему.

— Добрый день, ребята, добрый день!— благосклонно кивая головою, сказал он громко, хриплым голосом.

Русские замолчали, искоса посматривая на него, усатый Иван вполголоса сообщил:

— Отставной военный, сразу видно....

Заметив, что на него смотрят, седой вынул сигару изо рта и вежливо поклонился русским,— старшая дама вздернула голову вверх и, приставив к носу лорнет, вызывающе оглядела его, усач почему-то сконфузился, быстро отвернувшись, выхватил из кармана часы и снова стал раскачивать их в воздухе. На поклон ответил только толстяк, прижав подбородок ко груди,— это смутило итальянца, он нервно сунул сигару в угол рта и вполголоса спросил пожилого лакея:

— Русские?

— Да, сударь! Русский губернатор с его фамилией...

— Какие у них всегда добрые лица...

— Очень хороший народ...

— Лучшие из славян, конечно...

— Немножко небрежны, сказал бы я...

— Небрежны? Разве?

— Мне так кажется — небрежны к людям.

Толстый русский покраснел и, широко улыбаясь, сказал негромко:

— Про нас говорит...

— Что? — брезгливо сморщив лицо, спросила старшая.

— Лучшие, говорит, славяне,— ответил толстяк, хихикнув.

— Они — льстивы,— заявила дама, а рыжий Иван спрятал часы и, закручивая усы обеими руками, пренебрежительно проговорил:

— Все они изумительно невежественны в отношении к нам...

— Тебя — хвалят,— сказал толстый,— а ты находишь, что это по невежеству...

— Глупости! Я не о том, а вообще... Я сам знаю, что мы — лучшие.

Человек с бакенбардами, всё время внимательно следивший, как играют дельфины, вздохнул и, покачивая головою, заметил:

— Какая глупая рыба!

К седому итальянцу подошли еще двое: старик, в черном сюртуке, в очках, и длинноволосый юноша, бледный, с высоким лбом, густыми бровями; они все трое встали к борту, шагах в пяти от русских, седой тихонько говорил:

— Когда я вижу русских — я вспоминаю Мессину...

— Помните, как мы встречали матросов в Неаполе? — спросил юноша.

— Да! Они не забудут этот день в своих лесах!

— Видели вы медаль в честь их?

— Мне не нравится работа.

— О Мессине говорят,— сообщил толстый своим.

— И — смеются! — воскликнула молодая дама.— Удивительно!

Чайки нагнали пароход, одна из них, сильно взмахивая кривыми крыльями, повисла над бортом, и молодая дама стала бросать ей бисквиты. Птицы, ловя куски, падали за борт и снова, жадно вскрикивая, поднимались в голубую пустоту над морем. Итальянцам принесли кофе, они тоже начали кормить птиц, бросая бисквиты вверх,— дама строго сдвинула брови и сказала:

— Вот обезьяны!

Толстый вслушался в живую беседу итальянцев и снова сообщил:

— Он не военный, а купец, говорит о торговле с нами хлебом и что они могли бы покупать у нас также керосин, лес и уголь.

— Я сразу видела, что не военный,— призналась старшая дама.

Рыжий опять начал говорить о чем-то в ухо бакенбардисту, тот слушал его и скептически растягивал рот, а юноша итальянец говорил, искоса поглядывая в сторону русских:

— Как жаль, что мы мало знаем эту страну больших людей с голубыми глазами!

Солнце уже высоко и сильно жжет, ослепительно блестит море, вдали, с правого борта, из воды растут горы или облака.

— Annette,— говорит бакенбардист, улыбаясь до ушей,— послушай, что выдумал этот забавный Жан,— какой способ уничтожить бунтовщиков в деревнях, это очень остроумно!

И, покачиваясь на стуле, медленно и скучно он рассказывал, как будто переводя с чужого языка:

— Нужно, говорит он, чтобы во дни ярмарок, а также сельских праздников, чтоб местный земский начальник заготовил, за счет казны, колья и камни, а потом он ставил бы мужикам — тоже за счет казны — десять, двадцать пятьдесят — смотря по количеству людей — ведер водки,— больше ничего не нужно!

— Я не понимаю! — заявила старшая дама.— Это — шутка?

Рыжий быстро ответил:

— Нет, серьезно! Вы подумайте, ma tante...[1]

Молодая дама, широко открыв глаза, пожала плечами.

— Какой вздор! Поить водкой от казны, когда они и так...

— Нет, подожди, Лидия! — вскричал рыжий, подскакивая на стуле. Бакенбардист беззвучно смеялся, широко открыв рот и качаясь из стороны в сторону.

---

[1] тетя *(Франц.)*.

— Ты подумай — те хулиганы, которые не успеют опиться, перебьют друг друга кольями и камнями,— ясно?

— Почему — друг друга? — спросил толстяк.

— Это — шутка? — снова осведомилась старшая дама.

Рыжий, плавно разводя короткими руками, горячо доказывал:

— Когда их укрощают власти — левые кричат о жестокостях и зверстве, значит — нужно найти способ, чтобы они сами себя укротили,—так?

Пароход качнуло, полная дама испуганно схватилась за стол, задребезжала посуда, дама постарше, положив руку на плечо толстяка, строго спросила:

— Это что такое?

— Мы поворачиваем...

Всё выше и отчетливее поднимаются из воды берега — холмы и горы, окутанные мглой, покрытые садами. Сизые камни смотрят из виноградников, в густых облаках зелени прячутся белые дома, сверкают на солнце стекла окон, и уже заметны глазу яркие пятна; на самом берегу приютился среди скал маленький дом, фасад его обращен к морю и весь завешен тяжелою массою ярко-лиловых цветов, а выше, с камней террасы, густыми ручьями льется красная герань. Краски веселы, берег кажется ласковым и гостеприимным, мягкие очертания гор зовут к себе, в тень садов.

— Как тут тесно всё,— вздохнув, сказал толстый; старшая дама непримиримо посмотрела на него, потом — в лорнет — на берег и плотно поджала тонкие губы, вздернув голову вверх.

На палубе уже много смуглых людей в легких костюмах, они шумно беседуют, русские дамы смотрят на них пренебрежительно, точно королевы на подданных.

— Как они машут руками,— говорит молодая; толстяк, отдуваясь, поясняет:

— Это уж свойство языка, он — беден и требует жестов...

— Боже мой! Боже мой! — глубоко вздыхает старшая, потом, подумав, спрашивает:

— Что, в Генуе тоже много музеев?

— Кажется, только три,— ответил ей толстый.

— И это кладбище? — спросила молодая.

— Кампо Санто. И церкви, конечно.

— А извозчики — скверные, как в Неаполе?

Рыжий и бакенбардист встали, отошли к борту и там озабоченно беседуют, перебивая друг друга.

— Что говорит итальянец? — спрашивает дама, оправляя пышную прическу. Локти у нее острые, уши большие и желтые, точно увядшие листья. Толстый внимательно и покорно вслушивается в бойкий рассказ кудрявого итальянца.

— У них, синьоры, существует, должно быть, очень древний закон, воспрещающий евреям посещать Москву,— это, очевидно, пережиток деспотизма, знаете — Иван Грозный! Даже в Англии есть много архаических законов, не отмененных и по сегодня. А может быть, этот еврей мистифицировал меня, одним словом, он почему-то не имел права посетить Москву — древний город царей, святынь...

— А у нас, в Риме — мэр иудей,— в Риме, который древнее и священнее Москвы,— сказал юноша, усмехаясь.

— И ловко бьет папу-портного!* — вставил старик в очках, громко хлопнув в ладоши.

— О чем кричит старик? — спросила дама, опуская руки.

— Ерунда какая-то. Они говорят на неаполитанском диалекте...

— Он приехал в Москву, нужно иметь кров, и вот этот еврей идет к проститутке, синьоры, больше некуда,— так говорил он...

— Басня! — решительно сказал старик и отмахнулся рукой от рассказчика.

— Говоря правду, я тоже думаю так.

— А что было далее? — спросил юноша.

— Она выдала его полиции, но сначала взяла с него деньги, как будто он пользовался ею...

— Гадость! — сказал старик.— Он человек гряз-

---

* Фамилия папы — Сарто = портной.

ного воображения, и только. Я знаю русских по университету — это добрые ребята...

Толстый русский, отирая платком потное лицо, сказал дамам, лениво и равнодушно:

— Он рассказывает еврейский анекдот.

— С таким жаром! — усмехнулась молодая дама, а другая заметила:

— В этих людях, с их жестами и шумом, есть все-таки что-то скучное...

На берегу растет город; поднимаются из-за холмов дома и, становясь всё теснее друг ко другу, образуют сплошную стену зданий, точно вырезанных из слоновой кости и отражающих солнце.

— Похоже на Ялту,— определяет молодая дама, вставая.— Я пойду к Лизе.

Покачиваясь, она медленно понесла по палубе свое большое тело, окутанное голубоватой материей, а когда поравнялась с группою итальянцев, седой прервал свою речь и сказал тихонько:

— Какие прекрасные глаза!

— Да,— качнул головою старик в очках.— Вот такова, вероятно, была Базилида!

— Базилида — византиянка?

— Я вижу ее славянкой...

— Говорят о Лидии,— сказал толстый.

— Что? — спросила дама.— Конечно, пошлости?

— О ее глазах. Хвалят...

Дама сделала гримасу.

Сверкая медью, пароход ласково и быстро прижимался всё ближе к берегу, стало видно черные стены мола, из-за них в небо поднимались сотни мачт, кое-где неподвижно висели яркие лоскутья флагов, черный дым таял в воздухе, доносился запах масла, угольной пыли, шум работ в гавани и сложный гул большого города.

Толстяк вдруг рассмеялся.

— Ты — что? — спросила дама, прищурив серые, полинявшие глаза.

— Разгромят их немцы, ей-богу, вот увидите!

— Чему же ты радуешься?

— Так...

Бакенбардист, глядя под ноги себе, спросил рыжего, громко и строго грамматически:

— Был ли бы ты доволен этим сюрпризом или нет?

Рыжий, свирепо закручивая усы, не ответил.

Пароход пошел тише. О белые борта плескалась и всхлипывала, точно жалуясь, мутно-зеленая вода; мраморные дома, высокие башни, ажурные террасы не отражались в ней. Раскрылась черная пасть порта, тесно набитая множеством судов.

XVII

...За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец,— сел и лениво поет:

— Га-агсон-н...

Всё вокруг густо усеяно цветами акации — белыми и точно золото: всюду блестят лучи солнца, на земле и в небе — тихое веселье весны. Посредине улицы, щелкая копытами, бегут маленькие ослики, с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжелые лошади, не торопясь, идут люди,— ясно видишь, что всему живому хочется как можно дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов.

Мелькают дети — герольды весны, солнце раскрашивает их одежки в яркие цвета; покачиваясь, плывут пестро одетые женщины,— они так же необходимы в солнечный день, как звезды ночью.

Человек в светлом костюме имеет странный вид: кажется, что он был сильно грязен и только сегодня его вымыли, но так усердно, что уж навсегда стерли с него всё яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив, длинные пальцы белой руки барабанят по гулкому краю стола — тускло поблескивают ногти,— а в другой руке желтая перчатка, он стбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного — так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым.

Почтительно поклонясь, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты, а за столик рядом — садится широкогрудый человек с агатовыми глазами,— щеки, шея, руки его закопчены дымом, весь он — угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины.

Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукою до шляпы и сказал, сквозь густые усы:

— Добрый день, господин инженер.

— Ба, снова вы, Трама!

— Да, это я, господин инженер...

— Нужно ждать событий, а?

— Как идет ваша работа?

Инженер сказал, с маленькой усмешкой на тонких губах:

— Мне кажется — нельзя беседовать одними вопросами, мой друг...

А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, открыто и громко смеется и сквозь смех говорит:

— О да! Но, честное слово, так хочется знать...

Пегий, шершавый ослик, запряженный в тележку с углем, остановился, вытянул шею и — прискорбно закричал, но, должно быть, ему не понравился свой голос в этот день,— сконфуженно оборвав крик на высокой ноте, он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше, цокая копытами.

— Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней...

Инженер сказал, прихлебывая кофе:

— Не совсем понимаю сравнение...

— Разве вы не думаете, что машина так же освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух?

— А! — сказал инженер, дернув головою вверх.— Так!

И спросил, ставя на стол пустую чашку:

— Вы, конечно, начнете агитацию?

— Я уже начал...

— Снова — стачки, беспорядки, да?

Тот пожал плечами, мягко улыбаясь.

— Если б можно было без этого...

Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила инженеру букетик фиалок, он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря:

— У вас, Трама, такой хороший мозг, и, право, жаль, что вы — идеалист...

— Благодарю за цветы и комплимент. Вы сказали — жаль?

— Да! Вы, в сущности, поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером...

Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил:

— О, это верно! Инженер — поэт, я убедился в этом, работая с вами...

— Вы — любезный человек...

— И я думал — отчего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом...

Они засмеялись, оба одинаково умно глядя друг на друга, удивительно разные, один — сухой, нервный, стертый, с выцветшими глазами, другой — точно вчера выкован и еще не отшлифован.

— Нет, Трама, я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что...

Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы.

— Чёрт возьми,— возбуждаясь, вскричал Трама,— какие пустяки мешают жить и работать...

— Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трама? — тонко улыбаясь, спросил инженер; рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил, горячо и живо:

— Э, что такое история моих предков?

— Ваших предков? — переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой.

— Да, моих! Это — дерзость? Пусть будет дерзость! Но — почему Джордано Бруно, Вико и Мадзини не предки мои — разве я живу не в их мире, разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы?

— А, в этом смысле!

— Всё, что дано миру отошедшими из него,— дано мне!

— Конечно,— сказал инженер, серьезно сдвинув брови.

— И всё, что сделано до меня — до нас,— руда, которую мы должны сделать сталью,— не правда ли?

— Почему — нет? Это — ясно!

— Ведь и вы, ученые, как мы, рабочие,— вы живете за счет работы умов прошлого.

— Я не спорю,— сказал инженер, склоняя голову; около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч, разбитый игрою; держа в грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво говорил:

— Возьмите у меня цветов, синьор...

— Я уже имею...

— Цветов никогда не бывает достаточно...

— Браво, малыш! — сказал Трама.— Браво, и мне дай два...

А когда мальчишка дал ему цветы, он, приподняв шляпу, предложил инженеру:

— Угодно?

— Благодарю.

— Чудесный день, не правда ли?

— Это чувствуешь даже в мои пятьдесят лет...

Он задумчиво оглянулся, прищурив глаза, потом — вздохнул.

— Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах, это не потому только, что вы молоды, но — как я вижу — весь мир для вас — иной, чем для меня, да?

— Не знаю,— сказал тот, усмехаясь,— но жизнь — прекрасна!

— Своими обещаниями? — скептически спросил инженер, и этот вопрос как бы задел его собеседника,— надев шляпу, он быстро сказал:

— Жизнь прекрасна всем, что мне нравится в ней! Чёрт побери, дорогой мой инженер, для меня слова не только звуки и буквы,— когда я читаю книгу, вижу картину, любуюсь прекрасным,— я чувствую себя так, как будто сам сделал всё это!

Оба засмеялись, один — громко и открыто, точно хвастаясь своим уменьем хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь, другой — почти беззвучно, всхлипывающим смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленоватые кости зубов.

— Вы — бравый парень, Трама, вас всегда приятно видеть,— сказал инженер и, подмигнув, добавил: — Если только вы не бунтуете...

— О, я всегда бунтую...

И, скорчив серьезную мину, прищурив бездонные черные глаза, он спросил:

— Надеюсь — мы тогда вели себя вполне корректно?

Пожав плечами, инженер встал.

— О да. Да! Эта история — вы знаете? — стоила предприятию тридцать семь тысяч лир...

— Было бы благоразумнее включить их в заработную плату...

— Гм! Вы — плохо считаете. Благоразумие? Оно свое у каждого зверя.

Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал:

— Я все-таки повторяю, что вам следует учиться и учиться...

— Каждую минуту я учусь...

— Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией.

— Э, фантазия не мешает мне жить и теперь...

— До свиданья, упрямец...

Инженер пошел под акациями, сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными, сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки,— маленький, досиня черный гарсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты:

— Сильно стареет наш знаменитый...

— Он еще постоит за себя! — уверенно воскликнул рабочий.— У него много огня под черепом...

— Где будете вы говорить в следующий раз?

— Там же, на бирже труда. Вы слышали меня?

— Трижды, товарищ...

Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались; один пошел в сторону, противоположную той, куда скрылся инженер, другой — задумчиво напевая, стал убирать посуду со столов.

Группа школьников в белых передниках — мальчики и девочки маршируют посредине дороги, от них искрами разлетается шум и смех, передние двое громко трубят в трубы, свернутые из бумаги, акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда — а весною особенно жадно — смотришь на детей и хочется кричать вслед им, весело и громко:

— Эй, вы, люди! Да здравствует ваше будущее!

XVIII

Если жизнь стала такова, что человек уже не находит куска хлеба на земле, удобренной костями его предков,— не находит и, гонимый нуждою, уезжает скрепя сердце на юг Америки, за тридцать дней пути от родины своей,— если жизнь такова, что вы хотите от человека?

Кто бы он ни был — всё равно! Он — как дитя, оторванное от груди матери, вино чужбины горько ему и не радует сердца, но отравляет его тоскою, делает рыхлым, как губка, и, точно губка воду, это сердце, вырванное из груди родины,— жадно поглощает всякое зло, родит темные чувства.

У нас, в Калабрии, молодые люди перед тем, как уехать за океан, женятся,— может быть, для того, чтоб любовью к женщине еще более углубить любовь к родине,— ведь женщина так же влечет к себе, как родина, и ничто не охраняет человека на чужбине лучше, чем любовь, зовущая его назад, на лоно своей земли, на грудь возлюбленной.

Но эти свадьбы обреченных нуждою на изгнание почти всегда бывают прологами к страшным драмам рока, мести и крови, и — вот что случилось недавно в Сенеркии, коммуне, лежащей у отрогов Апеннин.

Эту историю, простую и страшную, точно она взята со страниц Библии, надобно начать издали, за пять лет до наших дней и до ее конца: пять лет тому назад в горах, в маленькой деревне Сарачена жила красавица Эмилия Бракко, муж ее уехал в Америку, и она находилась в доме свекра. Здоровая, ловкая работница, она обладала прекрасным голосом и веселым характером — любила смеяться, шутить и, немножко кокетни-

чая своей красотой, сильно возбуждала горячие желания деревенских парней и лесников с гор.

Играя словами, она умела беречь свою честь замужней женщины, ее смех будил много сладких мечтаний, но никто не мог похвалиться победою над ней.

Вы знаете, что больше всех в мире страдают завистью дьявол и старуха: около Эмилии была свекровь, а дьявол всегда там, где можно сделать зло.

— Ты слишком весела без мужа, моя милая,— говорила старуха,— я, пожалуй, напишу ему об этом. Смотри, я слежу за каждым шагом твоим, помни,— твоя честь — наша честь.

Сначала Эмилия миролюбиво убеждала свекровь, что она любит ее сына, ей не в чем упрекнуть себя. А та всё чаще и сильней оскорбляла ее подозрениями и, возбуждаемая дьяволом, принялась болтать направо и налево о том, что невестка потеряла стыд.

Услышав это, Эмилия испугалась и стала умолять ведьму, чтоб она не губила ее своими россказнями, клялась, что она ни в чем не виновна пред мужем, даже в мечтах не испытывает искушения изменить ему, а старуха — не верила ей.

— Знаю я,— говорила она,— ведь я тоже была молода, знаю я цену этим клятвам! Нет, я уж написала сыну, чтоб он возвращался скорее отомстить за свою честь!

— Ты написала? — тихо спросила Эмилия.

— Да.

— Хорошо...

Наши мужчины ревнивы, как арабы,— Эмилия понимала, чем грозит ей возвращение мужа.

На другой день свекровь пошла в лес собирать сухие сучья, а Эмилия — за нею, спрятав под юбкой топор. Красавица сама пришла к карабинерам сказать, что свекровь убита ею.

— Лучше быть убийцей, чем слыть за бесстыдную, когда честна,— сказала она.

Суд над нею был триумфом ее: почти всё население Сенеркии пошло в свидетели за нее, и многие со слезами говорили судьям:

— Она невинна, она погублена напрасно!

Только один преподобный архиепископ Коцци решился поднять голос против несчастной: он не хотел верить в ее чистоту, говорил о необходимости поддерживать в народе старинные традиции, предупреждал людей, чтобы они не впадали в ошибку, допущенную греками, которые оправдали Фрину, увлеченные красотою женщины дурного поведения, говорил всё, что обязан был сказать, и, может быть, благодаря ему Эмилию присудили к четырем годам простого заключения в тюрьме.

Так же, как и муж Эмилии, ее односельчанин Донато Гварначья жил за океаном, оставив на родине молодую жену заниматься невеселою работой Пенелопы — плести мечты о жизни и не жить.

И вот, три года тому назад, Донато получил письмо от своей матери; мать извещала, что его жена, Тереза, отдалась его отцу — ее мужу — и живет с ним. Вы видите: опять старуха и дьявол — вместе!

Гварначья-сын взял билет на первый же пароход в Неаполь и — точно с облака упал — явился домой.

Жена и отец притворились удивленными, а он, суровый и недоверчивый молодец, первое время держал себя спокойно, желая убедиться в справедливости доноса,— он слышал историю Эмилии Бракко; он хорошо приласкал жену, и некоторое время оба они как бы снова переживали медовый месяц любви, жаркий пир молодости.

Мать попыталась налить ему в уши яду, но он остановил ее:

— Довольно! Я хочу сам убедиться в правде твоих слов, не мешай мне.

Он знал, что оскорбленному нельзя верить, пусть это даже родная мать.

Почти половина лета прошла тихо и мирно, может быть, так прошла бы и вся жизнь, но во время кратких отлучек сына из дому его отец снова начал приставать к снохе; она противилась назойливости распущенного старика, и это разозлило его — слишком внезапно было прервано его наслаждение молодым телом, и вот он решил отомстить женщине.

— Ты погибнешь,— пригрозил он ей.

— Ты — тоже,— ответила она.

У нас говорят мало.

Через день отец сказал сыну:

— А знаешь ли ты, что твоя жена была неверна тебе?

Тот, бледный, глядя прямо в глаза ему, спросил:

— Есть у вас доказательства?

— Да. Те, кто пользовался ее ласками, говорили мне, что у нее внизу живота большая родинка,— ведь это верно?

— Хорошо,— сказал Донато.— Так как вы, мой отец, говорите мне, что она виновна,— она умрет!

Отец бесстыдно кивнул головою.

— Ну да! Распутных женщин надо убивать.

— И мужчин,— сказал Донато, уходя.

Он пошел к жене, положил свои тяжелые руки на плечи ей...

— Слушай, я знаю, ты изменяла мне. Ради любви, которая жила с нами и в нас до и после измены твоей, скажи — с кем?

— Ага!—вскричала она,— ты мог узнать это только от твоего проклятого отца, только он один...

— Он? — спросил крестьянин, и глаза его налились кровью.

— Он взял меня силой, угрозами, но — пусть будет сказана вся правда до конца...

Она задохнулась — муж встряхнул ее.

— Говори!

— Ах, да, да, да,— прошептала женщина в отчаянии,— мы жили, я и он, как муж с женою, раз тридцать, сорок...

Донато бросился в дом, схватил ружье и побежал в поле, куда ушел отец, там он сказал ему всё, что может сказать мужчина мужчине в такую минуту, и двумя выстрелами покончил с ним, а потом плюнул на труп и разбил прикладом череп его. Говорили, что он долго издевался над мертвым — будто бы вспрыгнул на спину ему и танцевал на ней свой танец мести.

Потом он пошел к жене и сказал ей, заряжая ружье:

— Отойди на четыре шага и читай молитву...

Она заплакала, прося его оставить ей жизнь.

— Нет,— сказал он,— я поступаю так, как требует справедливость и как ты должна бы поступить со мною, если б виновен был я...

Он застрелил ее, точно птицу, а потом пошел отдать себя в руки властей, и когда он проходил улицею деревни, народ расступался пред ним, и многие говорили:

— Ты поступил как честный мужчина, Донато...

На суде он защищался с мрачной энергией, с грубым красноречием примитивной души.

— Я беру женщину, чтоб иметь от ее и моей любви ребенка, в котором должны жить мы оба, она и я! Когда любишь — нет отца, нет матери, есть только любовь,— да живет она вечно! А те, кто грязнит ее, женщины и мужчины, да будут прокляты проклятием бесплодия, болезней страшных и мучительной смерти...

Защита требовала от присяжных, чтобы они признали убийство в запальчивости и раздражении, но присяжные оправдали Донато, под бурные рукоплескания публики,— и Донато воротился в Сенеркию в ореоле героя, его приветствовали как человека, строго следовавшего старым народным традициям кровавой мести за оскорбленную честь.

Немного позднее оправдания Донато была освобождена из тюрьмы и его землячка Эмилия Бракко; в ту пору стояло грустное зимнее время, приближался праздник Рождества Младенца, в эти дни у людей особенно сильно желание быть среди своих, под теплым кровом родного дома, а Эмилия и Донато одиноки — ведь их слава не была той славою, которая вызывает уважение людей,— убийца все-таки убийца, он может удивить, но и только, его можно оправдать, но — как полюбить? У обоих руки в крови и разбиты сердца, оба пережили тяжелую драму суда над ними — никому в Сенеркии не показалось странным, что эти люди, отмеченные роком, подружились и решили украсить друг другу изломанную жизнь; оба они были молоды, им хотелось ласки.

— Что нам делать здесь, среди печальных воспоминаний о прошлом? — говорил Донато Эмилии после первых поцелуев.

— Если вернется мой муж, он убьет меня, ибо теперь ведь я действительно в мыслях изменила ему,— говорила Эмилия.

Они решили уехать за океан, как только накопят достаточно денег на дорогу, и, может быть, им удалось бы найти в мире немножко счастья и тихий угол для себя, но вокруг них нашлись люди, которые думали так:

«Мы можем простить убийство по страсти, мы рукоплескали преступлению в защиту чести, но — разве теперь эти люди не идут против тех традиций, в защиту которых они пролили столько крови?»

Эти строгие и мрачные суждения, отголоски суровой древности, раздавались всё громче и наконец дошли до ушей матери Эмилии — Серафины Амато, женщины гордой, сильной и, несмотря на свои пятьдесят лет, до сего дня сохранившей красоту уроженки гор.

Сначала она не поверила слухам, оскорбившим ее.

— Это — клевета,— сказала она людям,— вы забыли, как моя дочь страдала за охрану своей чести!

— Нет, не мы, а она забыла это,— ответили люди.

Тогда Серафина, жившая в другой деревне, пришла к дочери и сказала ей:

— Я не хочу, чтобы про тебя говорили так, как начали говорить. То, что ты сделала в прошлом,— чистое и честное дело, несмотря на кровь, таким оно и должно остаться в поучение людям!

Дочь заплакала, говоря:

— Весь мир для людей, но для чего же люди, если они не сами для себя?..

— Спроси об этом священника, если так глупа, что не знаешь этого,— ответила ей мать.

Потом пришла к Донато и тоже, со всей энергией, предупредила его:

— Оставь мою дочь в покое, а то худо будет тебе!

— Послушай,— стал умолять ее молодой человек,— ведь я навсегда полюбил эту женщину, несчастную столько же, как я сам! Позволь мне увезти ее под другое небо, и всё будет хорошо!

Он только подлил масла в огонь этими словами.

— Вы хотите бежать? — с яростью и отчаянием вскричала Серафина.— Нет, этого не будет!

Они расстались, рыча, как звери, и глядя друг на друга огненными глазами непримиримых врагов.

С этого дня Серафина стала следить за влюбленными, как умная собака за дичью, что, однако, не мешало им видеться украдкой, ночами — ведь любовь хитра и ловка тоже, как зверь.

Но однажды Серафине удалось подслушать, как ее дочь и Гварначья обсуждали план своего бегства,— в эту злую минуту она решилась на страшное дело.

В воскресенье народ собрался в церковь слушать мессу; впереди стояли женщины в ярких праздничных юбках и платках, сзади них, на коленях, мужчины; пришли и влюбленные помолиться мадонне о своей судьбе.

Серафина Амато явилась в церковь позднее всех, тоже одетая по-праздничному, в широком, вышитом цветными шерстями переднике поверх юбки, а под передником — топор.

Медленно, с молитвою на устах, она подошла к изображению архангела Михаила, патрона Сенеркии, преклонила колена пред ним, коснулась рукою его руки, а потом своих губ и, незаметно пробравшись к соблазнителю дочери, стоявшему на коленях, дважды ударила его по голове, вырубив на ней римское пять или букву V, что значит — вендетта, месть.

Вихрь ужаса охватил людей, с криком и воплями все бросились к выходу, многие упали без чувств на кафли пола, многие плакали, как дети, а Серафина стояла с топором в руке над беднягой Донато и бесчувственной дочерью своей, как Немезида деревни, богиня правосудия людей с прямою душой.

Так стояла она много минут, а когда люди, придя в себя, схватили ее, она стала громко молиться, подняв к небу глаза, пылающие дикой радостью:

— Святой Михаил — благодарю тебя! Это ты дал мне нужную силу, чтоб отомстить за поруганную честь женщины, моей дочери!

Когда же она узнала, что Гварначья жив и его отнесли на стуле в аптеку, чтобы перевязать страшные раны, ее охватил трепет, и, вращая безумными, полными страха глазами, она сказала:

— Нет, нет, я верю в бога, он умрет, этот человек! Ведь я нанесла очень тяжкие раны, это чувствовали руки мои, и — бог справедлив — этот человек должен умереть!..

Скоро эту женщину будут судить и, конечно, осудят тяжко, но — чему может научить удар того человека, который сам себя считает вправе наносить удары и раны? Ведь железо не становится мягче, когда его куют.

Суд людей говорит человеку:

— Ты — виновен!

Человек отвечает «да» или «нет», и всё остается так, как было раньше.

А в конце концов, дорогие синьоры, надо сказать, что человек должен расти, плодиться там, где его посеял господь, где его любит земля и женщина...

XIX

Старик Джиованни Туба еще в ранней молодости изменил земле ради моря — эта синяя гладь, то ласковая и тихая, точно взгляд девушки, то бурная, как сердце женщины, охваченное страстью, эта пустыня, поглощающая солнце, ненужное рыбам, ничего не родя от совокупления с живым золотом лучей, кроме красоты и ослепительного блеска,— коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль,— многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости — мало!

Еще мальчишкой Туба, работая на винограднике, брошенном уступами по склону горы, укрепленном стенками серого камня, среди лапчатых фиг и олив, с их выкованными листьями, в темной зелени апельсинов и запутанных ветвях гранат, на ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов,— еще тогда он смотрел, раздувая ноздри, в синее око моря взглядом человека, под ногами которого земля не тверда — качается, тает и плывет,— смотрел, вдыхая соленый воздух, и пьянел, становясь рассеянным, ленивым, непослушным, как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовет, с тем, кто влюбился душою в море...

А по праздникам, рано, когда солнце едва поднималось из-за гор над Сорренто, а небо было розовое, точно соткано из цветов абрикоса,— Туба, лохматый, как овчарка, катился под гору, с удочками на плече, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов совсем без костей,— бежал к морю, улыбаясь ему широким, рыжим от веснушек лицом, а встречу, в свежем воздухе утра, заглушая сладкое дыхание проснувшихся

цветов, плыл острый аромат, тихий говор волн,— они цеплялись о камни там, внизу, и манили к себе, точно девушки,— волны...

Вот он висит на краю розовато-серой скалы, спустив бронзовые ноги; черные, большие, как сливы, глаза его утонули в прозрачной зеленоватой воде; сквозь ее жидкое стекло они видят удивительный мир, лучший, чем все сказки: видят золотисто-рыжие водоросли на дне морском, среди камней, покрытых коврами; из леса водорослей выплывают разноцветные «виолы» — живые цветы моря,— точно пьяный, выходит «перкия», с тупыми глазами, разрисованным носом и голубым пятном на животе, мелькает золотая «сарпа», полосатые дерзкие «каньи»; снуют, как веселые черти, черные «гваррачины»; как серебряные блюда, блестят «спаральони», «окьяты» и другие красавицы-рыбы — им нет числа! — все они хитрые и, прежде чем схватить червяка на крючке глубоко в круглый рот, ловко ощипывают его маленькими зубами,— умные рыбы!..

Точно птицы в воздухе, плавают в этой светлой ласковой воде усатые креветки, ползают по камню раки-отшельники, таская за собой свой узорный дом-раковину; тихо двигаются алые, точно кровь, звезды, безмолвно качаются колокола лиловых медуз, иногда из-под камня высунется злая голова мурены с острыми зубами, изовьется пестрое змеиное тело, всё в красивых пятнах,— она точно ведьма в сказке, но еще страшней и безобразнее ее; вдруг распластается в воде, точно грязная тряпка, серый осьминог и стремительно бросится куда-то хищной птицей; а вот, не торопясь, двигается лангуст, шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилища, усами, и еще множество разных чудес живет в прозрачной воде, под небом, таким же ясным, но более пустынным, чем море.

А море — дышит, мерно поднимается голубая его грудь; на скалу, к ногам Туба, всплескивают волны, зеленые в белом, играют, бьются о камень, звенят, им хочется подпрыгнуть до ног парня,— иногда это удается, вот он, вздрогнув, улыбнулся — волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались, и снова бросаются на скалу; солнечный луч уходит

глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн,— спит сладким сном душа, не думая ни о чем, ничего не желая понять, молча и радостно насыщаясь тем, что видит, в ней тоже ходят неслышно светлые волны, и, всеобъемлющая, она безгранично свободна, как море.

Так проводил он праздники, потом это стало звать его и в будни — ведь когда человека схватит за сердце море, он сам становится частью его, как сердце — только часть живого человека, и вот, бросив землю на руки брата, Туба ушел с компанией таких же, как сам он, влюбленных в простор,— к берегам Сицилии ловить кораллы: трудная, а славная работа, можно утонуть десять раз в день, но зато — сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть — полукруг с железными зубцами на краю, и в ней — точно мысли в черепе — движется живое, разнообразных форм и цветов, а среди него — розовые ветви драгоценных кораллов — подарок моря.

Так и заснул навсегда для земли человек, пленный морем; он и женщин любил, точно сквозь сон, недолго и молча, умея говорить с ними лишь о том, что знал,— о рыбе и кораллах, об игре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря; был он кроток на земле, ходил по ней осторожно, недоверчиво и молчал с людьми, как рыба, поглядывая во все глаза зорким взглядом человека, привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить им, а в море он становился тихо весел, внимателен к товарищам и ловок, точно дельфин.

Но как бы хорошо человек ни выбрал жизнь для себя — ее хватает лишь на несколько десятков лет,— когда просоленному морской водою Туба минуло восемьдесят — его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать — достаточно! — искривленные ноги едва держали согнутый стан, и, овеянный всеми ветрами старик, он с грустью вышел на остров, поднялся на гору, в хижину брата, к детям его и внукам,— это были люди слишком бедные для того, чтоб быть добрыми, и теперь старый Туба не мог — как делал раньше — приносить им много вкусных рыб.

Старику стало тяжело среди этих людей, они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривою, темной лапой в свой беззубый рот; вскоре он понял, что лишний среди них; потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, еще глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заныли кости незнакомою болью; целые дни, с утра до вечера, он сидел на камнях у двери хижины, старыми глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь, на это синее, в блеске солнца, море, прекрасное, как сон.

Далеко оно было от него, и трудно старику достичь берега, но он решился, и однажды, тихим вечером, пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням, и когда достиг волн — они встретили его знакомым говором, более ласковым, чем голоса людей, звонким плеском о мертвые камни земли; тогда — как после догадывались люди — встал на колени старик, посмотрел в небо и в даль, помолился немного и молча за всех людей, одинаково чужих ему, снял с костей своих лохмотья, положил на камни эту старую шкуру свою — и все-таки чужую,— вошел в воду, встряхивая седой головой, лег на спину и, глядя в небо,— поплыл в даль, где темно-синяя завеса небес касается краем своим черного бархата морских волн, а звезды так близки морю, что, кажется, их можно достать рукой.

Тихими ночами лета море спокойно, как душа ребенка, утомленного играми дня, дремлет оно, чуть вздыхая, и, должно быть, видит какие-то яркие сны,— если плыть ночью по его густой и теплой воде, синие искры горят под руками, синее пламя разливается вокруг, и душа человека тихо тает в этом огне, ласковом, точно сказка матери.

XX

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов дрока.

Остров, среди темной равнины сонных вод, под бледным куполом неба, подобен жертвеннику пред лицом бога-солнца.

Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба, над прозрачною грядою перистых облаков; облака чуть окрашены в розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражения, точно перламутр, всплывший из синей глубины вод.

Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы, ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, вспотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения,— грустно, что не слышишь его.

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем.

А все-таки — тихо, люди еще спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки.

Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец Этторе Чекко, одинокий человечек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом, так измятым временем, что в его дряблых морщинах почти не видно глаз.

Медленно приподняв ко лбу черную, волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо, потом — вокруг себя,— пред ним, по серовато-лиловому камню острова, переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы; темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке, он утвердительно кивает круглой тяжелой головой.

Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него всё веселей играет юный день, ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут вьюрки и чижи, в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец.

Старый Чекко поднимает длинные усталые руки над головою, потягивается, точно собираясь лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше.

А расправив старые кости, он опустился на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно не бритом и точно посеребренном лице его — новая улыбка: в ней странно соединены любовь, печаль и гордость.

Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней, они сидят плечо с плечом и весело улыбаются, кудрявые, большеголовые, как сам старик Чекко, а над головами их крупно и четко напечатано:

«Артуро и Энрико Чекко

два благородных борца за интересы своего класса. Они организовали 25 000 текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, и за это они посажены в тюрьму.

Да здравствуют
борцы за социальную справедливость!»

Старик Чекко неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так, каждое слово знакомо ему и кричит, поет, как медная труба.

Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот: он получил ее месяца два тому назад и тотчас же, инстинктом отца, почувствовал, что дело неладно: ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы.

Чекко спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем и с каждым днем всё становился тяжелей. Не однажды он хотел показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят: «Может быть, поп и говорит богу правду про людей, но людям правду — никогда».

Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец — длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чекко и, удобно поставив мольберт, ложился спать около него, пряча голову в квадратную тень начатой картины.

— Синьор,— спросил он художника,— что сделали эти люди?

Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал:

— Должно быть, что-то смешное...

— А что напечатано про них?

— Это — по-английски. Кроме англичан, их язык понимает только бог да еще моя жена, если она говорит правду в этом случае. Во всех других случаях она не говорит правды...

Художник был болтлив, как чиж, он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой синьоре,— он застал ее в саду, где она, одетая в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито глядя синими глазами в синее небо.

— Эти люди посажены в тюрьму,— сказала она ломаным языком.

У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он все-таки нашел силы спросить:

— Украли или убили?

— О нет. Просто они — социалисты.

— Что такое — социалисты?

— Это — политика,— сказала синьора голосом умирающей и закрыла глаза.

Чекко знал, что иностранцы — самые бестолковые люди, они глупее калабрийцев, но ему хотелось знать правду о детях, и он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда наконец это случилось, он — спросил, ткнув пальцем в карточку:

— Это — честно?

— Я не знаю,— ответила она с досадой.— Я сказала — это политика, понимаешь?

Нет, он не понимал: политику делают в Риме министры и богатые люди для того, чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети — рабочие, они живут в Америке и были славными парнями — зачем им делать политику?

Всю ночь он просидел с портретом детей в руках,— при луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника,— черный человек в сутане кратко и строго сказал:

— Социалисты — это люди, которые отрицают волю бога,— достаточно, если ты будешь знать это.

И добавил еще строже вслед старику:

— Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами!..

«Хорошо, что я не показал ему портрета»,— подумал Чекко.

Прошло еще дня три, он пошел к парикмахеру, щеголю и вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотою моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями.

— Боже! — воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули.— Это Артуро и Энрико, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец Этторе, вас и себя! Вот у меня и еще двое знаменитых земляков — можно ли не гордиться этим?

— Не болтай лишнего,— предупредил его старик.

Но тот кричал, размахивая руками:

— Это хорошо!

— Что напечатано про них?

— Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду наконец!

— Молчи, прошу тебя,— сказал Чекко и ушел, яростно стуча деревянными башмаками по камням.

Он пошел к русскому синьору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирал, и спросил его:

— Что сказано об этих людях?

Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику, а тот сказал ему:

— Синьор, вы видите — я очень стар и уже скоро пойду к моему богу. Когда мадонна спросит меня — что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме?

Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему:

— Скажите мадонне, что ваши дети хорошо поняли главную заповедь ее сына: они любят ближних живой любовью...

Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений,— старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую и не знавшую труда руку.

— Значит, это не позорно для них — тюрьма?

— Нет,— сказал русский.— Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только они захотят немножко добра. Вы — счастливый отец, вот что я вам скажу!

И слабеньким своим голосом он долго говорил Чекко о том, что затеяно в жизни ее честными людьми, о том, как они хотят победить нищету, глупость и всё то, страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой...

Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал, а из каждой морщины камня, встречу солнца, жадно тянется живое — изумрудные травы, голубые, как небо, цветы. Золотые искры солнечного света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы.

Старик следит, как всё вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу, как хлопочут птицы и, строя гнезда, поют; он думает о своих детях: парни за океаном, в тюрьме большого города,— это плохо для их здоровья, плоховато, да...

Но — они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами, каким был всю жизнь их отец,— это хорошо для них и для его души.

И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке.

— Земля — богата, люди — бедны, солнце — доброе, человек — зол. Всю жизнь я думал об этом, и хотя не говорил им, а они поняли думы отца. Шесть долларов в неделю — это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними — этого мало для человека, который хочет хорошо жить...

Он уверен, что в его детях развились и выросли скрытые мысли его сердца, он очень гордится этим, но, зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит.

Лишь иногда старое емкое сердце переполняется думами о будущем детей, и тогда старый Чекко, выпрямив натруженную спину, выгибает грудь и, собрав последние силы, хрипло кричит в море, в даль, туда, к детям:

— Вальо-о!.. [1]

И солнце смеется, восходя всё выше над густой и мягкой водою моря, а люди с виноградников отвечают старику:

— Ой-и!..

---

[1] Vaglio-o!..— Смелее!.. *(Итал.)*.

XXI

Скоро полночь.

В синем небе над маленькой площадью Капри низко плывут облака, мелькают светлые узоры звезд, вспыхивает и гаснет голубой Сириус, а из дверей церкви густо льется важное пение органа, и всё это: бег облаков, трепет звезд, движение теней по стенам зданий и камню площади — тоже как тихая музыка.

Под ее торжественный ритм вся площадь, похожая на оперную декорацию, колеблется, становясь то тесной и темной, то — просторной и призрачно светлой.

Над Монте-Соляро раскинулось великолепное созвездие Ориона, вершина горы пышно увенчана белым облаком, а обрыв ее, отвесный, как стена, изрезанный трещинами,— точно чье-то темное, древнее лицо, измученное великими думами о мире и людях.

Там, на высоте шестисот метров, накрыт облаком заброшенный маленький монастырь и — кладбище, тоже маленькое, могилы на нем подобны цветочным грядам, их немного, и в них, под цветами,— все монахи этого монастыря. Иногда его серые стены выглядывают из облака, точно прислушиваясь к тому, что творится внизу.

По площади шумно бегают дети, разбрасывая шутихи; по камням, с треском рассыпая красные искры, прыгают огненные змеи, иногда смелая рука бросает зажженную шутиху высоко вверх, она шипит и мечется в воздухе, как испуганная летучая мышь, ловкие темные фигурки бегут во все стороны со смехом и криками— раздается гулкий взрыв, на секунду освещая ребятишек, прижавшихся в углах,— десятки бойких глаз весело вспыхивают во тьме.

Взрывы раздаются почти непрерывно, заглушая хохот, возгласы испуга и четкий стук деревянных башмаков по гулкой лаве; вздрагивают тени, взмывая вверх, на облаках пылают красные отражения, а старые стены домов точно улыбаются — они помнят стариков детьми и не одну сотню раз видели это шумное и немножко опасное веселье детей в ночь на Рождество Христа.

Но чуть только выделится секунда тишины — снова слышен серьезный, молитвенный гул органа, а снизу ему отвечает море глухими ударами волн о прибрежные камни и шёлковым шорохом гальки.

Залив — точно чаша, полная темным пенным вином, а по краям ее сверкает живая нить самоцветных камней, это огни городов — золотое ожерелье залива.

Над Неаполем — опаловое зарево, оно колышется, точно северное сияние, десятки ракет и фугасов врываются в него, расцветают букетами ярких огней и, на миг остановясь в трепетном облаке света, гаснут,— доносится тяжкий гул.

По всему полукругу залива идет неустанно красивая беседа огня: холодно горит белый маяк неаполитанского порта и сверкает красное око Капо ди Мизена, а огни на Прочиде и у подножия Искии — как ряды крупных бриллиантов, нашитые на мягкий бархат тьмы.

По заливу ходят стада белых волн, сквозь их певучий плеск издали доносятся смягченные вздохи взрывов ракет; всё еще гудит орган и смеются дети, но — вот неожиданно и торжественно колокол башенных часов бьет четыре и двенадцать раз.

Кончилась месса, из дверей церкви на широкие ступени лестницы пестрой лавою течет толпа — встречу ей, извиваясь, прыгают красные змеи. Пугливо вскрикивают женщины, радостно хохочут мальчишки — это их праздник, и никто не смеет запретить им играть красивым огнем.

Немножко испугать солидного, празднично одетого взрослого человека, заставить его, деспота, попрыгать по площади от шутихи, которая гонится за ним, шипя и обрызгивая искрами сапоги его,— это такое высокое удовольствие! И его испытываешь только один раз в год...

Чувствуя себя в ночь рождения Младенца, любившего их, королями и хозяевами жизни,— дети не скупятся воздать взрослым за год их скучной власти минутами своего веселого могущества: взрослые дяденьки тяжело подпрыгивают, увертываясь от огня, и добродушно просят о пощаде:

— Баста! Эй, разбойники,— баста!

Спешно идут дзампоньяры — пастухи из Абруццы, горцы, в синих коротких плащах и широких шляпах. Их стройные ноги, в чулках из белой шерсти, опутаны крест-накрест темными ремнями, у двоих под плащами волынки, четверо держат в руках деревянные, высокого тона рожки.

Эти люди являются на остров ежегодно и целый месяц живут здесь, каждый день славословя Христа и богоматерь своей странной красивой музыкой.

Трогательно видеть их на рассвете, когда они, бросив шляпы к ногам своим, стоят пред статуей мадонны, вдохновенно глядя в доброе лицо Матери и играя в честь ее невыразимо волнующую мелодию, которая однажды метко названа была «физическим ощущением бога».

Теперь пастухи идут к яслям Младенца, он лежит в доме старика столяра Паолино, и его надобно перенести в церковь св. Терезы.

Дети бросаются вслед за ними, узкая улица проглатывает их темные фигурки, и несколько минут — площадь почти пуста, только около храма на лестнице тесно стоит толпа людей, ожидая процессию, да тени облаков тепло и безмолвно скользят по стенам зданий и по головам людей, словно лаская их.

Вздыхает море. Во тьме, над перешейком острова, рисуется пиния, как огромная ваза на тонкой ножке. Ослепительно сверкает Сириус, туча с Монте-Соляро сползла, ясно виден сиротливый маленький монастырь над обрывом горы и одинокое дерево перед ним, как на страже.

Из арки улицы, как из трубы, светлыми ручьями радостно льются песни пастухов; без шляп, горбоносые и в своих плащах похожие на огромных птиц, они идут играя, окруженные толпою детей с фонарями на

высоких древках, десятки огней качаются в воздухе, освещая маленькую круглую фигурку старика Паолино, его серебряную голову, ясли в его руках и в яслях, полных цветами,— розовое тело Младенца, с улыбкою поднявшего вверх благословляющие ручки.

Старик смотрит на эту куколку из терракоты с таким умилением, как будто она для него — живая, дышит и обещает с восходом солнца утвердить «на земле мир и в человецех благоволение».

Со всех сторон к яслям наклоняются седые обнаженные головы, суровые лица, всюду блестят ласковые глаза. Вспыхнули бенгальские огни, всё темное исчезло с площади — как будто неожиданно наступил рассвет. Дети поют, кричат, смеются, на лицах взрослых — милые улыбки, можно думать, что они тоже хотели бы прыгать и шуметь, но — боятся потерять в глазах детей свое значение людей серьезных.

Над толпою золотыми мотыльками трепещут желтые огни свеч, выше, в темно-синем небе разноцветно горят звезды; из другой улицы выливается еще процессия — это девочки со статуей мадонны, и — еще музыка, огни, веселые крики, детский смех,— всей душою чувствуешь рождение праздника.

Младенца несут в старую церковку, в ней — по ветхости ее — давно не служат, и целый год она стоит пустая, но сегодня ее древние стены украшены цветами, листьями пальм, золотом лимонов, мандарин, и вся она занята искусно сделанной картиной Рождества Христова.

Из больших кусков пробки построены горы, пещеры, Вифлеем и причудливые замки на вершинах гор; змеею вьется дорога по склонам; на полянах — стада овец и коз; сверкают водопады из стекла; группы пастухов смотрят в небо, где пылает золотая звезда, летят ангелы, указывая одною рукой на путеводную звезду, а другой — в пещеру, где приютились богоматерь, Иосиф и лежит Младенец, подняв руки в небеса. Идет пестрый, нарядный караван волхвов и царей, над ним, на серебряных нитях, качаются ангелы с ветвями пальм и розами в руках. Длиннобородые маги на верблюдах, одетые в яркие шелка, белокурые ко-

роли, верхом на лошадях, в роскошных локонах и в парче, кудрявые черные нумидийцы, арабы и евреи и еще какие-то яркие, фантастически одетые фигурки из терракоты — их сотни в этой картине.

А вокруг яслей — арабы в белых бурнусах уже успели открыть лавочки и продают оружие, шёлк, сласти, сделанные из воска, тут же какие-то неизвестной нации люди торгуют вином, женщины, с кувшинами на плечах, идут к источнику за водою, крестьянин ведет осла, нагруженного хворостом, вокруг Младенца — толпа коленопреклоненных людей, и всюду играют дети.

Всё это сделано, одето, раскрашено и размещено умело и искусно, и кажется, что всё живет и шумит.

Дети стоят перед картиной, уже виденной ими в прошлом году, внимательно осматривают ее, и зоркие, памятливые глазенки тотчас же ловят то новое, что добавлено на этот раз. Делятся открытиями, спорят, смеются, кричат, а в углу стоят те, кто сделал эту красивую вещь, и — не без удовольствия прислушиваются к похвалам юных ценителей.

Конечно, они — взрослые, отцы семейств и слишком серьезны для того, чтобы увлекаться игрушками, они держатся так, как будто всё это нимало не касается их, но дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее, они знают, что похвала и старику приятна, и — не скупятся на похвалы мастерам, заставляя их поглаживать усы и бороды, чтобы скрыть улыбки удовлетворения и удовольствия.

Кое-где ребятишки собираются группами, озабоченно совещаясь,— составляют «банды»; под Новый год они будут ходить по острову с елкой и звездою большими компаниями, вооружась какими-то старинными инструментами, которые оглушительно гремят, стучат и гукают. Под эти смешные звуки хоры детских голосов запоют веселые языческие песенки — их ежегодно к этому дню создают местные поэты:

Доброго начала Нового года
Синьору и синьоре!
Выслушайте весело
Эти пожелания ваших маленьких друзей!

Откройте уши и сердца
И кладовую вашу:
Ныне — день радости,
Веселый, божий день!

Родился наш мессия
И голеньким и бедным —
Быки его согрели
Дыханием своим.

От всех-то наших горестей
Хотел освободить он нас,
Всю жизнь свою для этого
Он отдал беднякам.

И вот, чтоб помянуть Христа
Достойно его имени,
Давайте проведем сей день
Как можно веселей!..

И в то время как одна «банда» детей поет, приплясывая, этот языческий гимн, другая — заглушает ее пение еще более веселой песенкой:

Вспомните, как пастухи
И цари с волхвами вместе
Опустились на колени
Перед яслями Младенца!

— Бум, бум,— глухо отбивает такт барабан, а какая-то тонкая дудочка не может поспеть за голосами детей и смешно свистит как-то сбоку их, точно обиженная...

А король-разбойник Ирод
Жалко струсил пред Младенцем
И велел, злодей, мальчишек
В своем царстве перерезать!

Но давно прошло то время,
Ирод — помер, мы все — живы.
Ныне режут в честь Иисуса
Только кур да каплунов!

Бойкий темп песни возбуждает и взрослых, вот к толпе детей тяжело подвалился плотный извозчик Карло Бамбола и, надувшись докрасна, орет, заглушая голоса детей:

Пусть исчезнут все заботы,
Пропадет навеки горе,
Чтоб весь год не знать болезней,
Не открыть нам рта для жалоб!

Видишь, как горит на небе
Лучезарное светило?
Пусть вот так же разгорится
Наша жизнь тепло и ярко!..

Мечтательно лучатся темные глаза женщин, следя за детьми; всё ярче веселье и веселее взгляды; празднично одетые девушки лукаво улыбаются парням; а в небе тают звезды. И откуда-то сверху — с крыши или из окна — звонко льется невидимый тенор:

Будьте веселы, здоровы,
Остальное всё —придет!

В старом храме всё живее звенит детский смех — лучшая музыка земли. Небо над островом уже бледнеет, близится рассвет, звезды уходят всё выше в голубую глубину небес.

В темной зелени садов острова разгораются золотые шары апельсин, желтые лимоны смотрят из сумрака, точно глаза огромных сов. Вершины апельсиновых деревьев освещены молодыми побегами желтовато-зеленой листвы, тускло серебрится лист оливы, колеблются сети голых лоз винограда.

Красно улыбаются встречу заре яркие цветы гвоздики и малиновые метелки шалфея, густой запах нарцисса плывет в свежем воздухе утра, смешиваясь с соленым дыханием моря.

Плеск волн — звучнее, они стали прозрачны, и пена их белеет, точно снег.

XXII

Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло — Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб,— Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще — в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей,— в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами,— самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла,— над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался доныне таким, как был всегда; всё более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотою,— мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца,— редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого — кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме,

уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой,— веселому человеку не много нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд,— она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег.

Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами,— она говорила:

— Кто разлюбил женщину — значит, он не умеет любить...

Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело,— Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

— Ты, кажется, думаешь, что любовь — наука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

— Наук я не знаю, но твои песни — все.

И пропела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:
Тогда весна была —
Сама богородица
Весною зачала.

Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека — в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина — не бог, а только богу нельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала, и, будь

она девушкой,— ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине,— это всегда смешило ее до упада.

— На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор?

— На языке золотых монет, дурочка,— убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

— Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

— Какой-нибудь месяц, Нунча, и — ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

— Нет,— возражала она,— я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю,— стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

— Но — ведь ты не отказываешь другим!

— Своим, и — когда хочу...

— Э, что такое — свои?

Она знала это:

— Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии,— очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица — шрам; лицо — разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он — игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат,— Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих,— как всегда, веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

— Смотрите-ка,— Нина становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездою, такою же

яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но — очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами — она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

— Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивей меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

— Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидали тень грусти, а вечером она сказала подругам:

— Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной,— дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели всё жадней, и всё призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены,— ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и — точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло — тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить

свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце,— вино расскажет вам такие сказки...

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей,— пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери всё чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что́ иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, всё ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча всё чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты...

Проходит год, два,— дочь всё ближе к матери и — дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту или эту. А подруги,— друзья и подруги любят укусить там, где чешется,— подруги спрашивают:

— Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

— Большие звезды и при луне видны...

Как мать — она гордилась красотой дочери, как женщина — Нунча не могла не завидовать юности; Нина встала между нею и солнцем,— матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

Будь я мужчиной,— я тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

— Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благоразумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

— Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело,— не пришло ли и для меня время жить?

— В чем дело? — спросила мать, виновато опустив глаза,— знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живется свободней. Было ему тридцать шесть лет, бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь — за правду.

— Я вижу, что нравлюсь Энрико,— говорила Нина,— а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

— Понимаю,— сказала Нунча.— Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который — все видели — был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя — дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу,— дочь заметила ей при всех:

— Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

— Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но — посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:

— Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега,— всё, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы,— мать в красном платке на голове, дочь — в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе,— Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка,— люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти,— не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими:

— Дитя,— говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой,— дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу:

— Кто хочет?

Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь

этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея,— глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она всё не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

— Ну, еще раз, Энри, последний! — снова медленно начала танец с ним — глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много,— но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно...

XXIII

Остров спит — окутан строгой тишиною, море тоже спит, точно умерло,— кто-то сильною рукой бросил с неба этот черный, странной формы камень в грудь моря и убил в ней жизнь.

Если смотреть на остров из дали морской, оттуда, где золотая дуга Млечного Пути коснулась черной воды, — остров кажется лобастым зверем: выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло.

В декабре очень часты эти мертвенно тихие черные ночи, до того странно тихие, что неловко и не нужно говорить иначе, как шёпотом или вполголоса,— всё кажется, что громкий звук может помешать чему-то, что тайно зреет в каменном молчании под синим бархатом ночного неба.

Так и говорят — вполголоса — двое людей, сидя в хаосе камня на берегу острова; один — таможенный солдат в черной куртке с желтыми кантами и коротким ружьем за спиною,— он следит, чтоб крестьяне и рыбаки не собирали соль, отложившуюся в щелях камней; другой — старый рыбак, обритый, точно испанец, темнолицый, в серебряных баках от ушей к носу,— нос у него большой и загнут, точно у попугая.

Камни как будто окованы серебром, но море окислило белый металл.

Солдат молод и, конечно, говорит о том, что внушают ему года, старик возражает, неохотно и, порою, сердито:

— Кто же любит в декабре? В это время уже родятся дети...

— Н-но! Если люди молоды — они не ждут...

— Нужно ждать...

— Ты ждал?

— Я, друг мой, не был солдатом, я работал, и всё, что человек должен испытать,— мною испытано в свои сроки...

— Не понимаю...

— Потом — поймешь...

Недалеко от берега в воде отражается голубой Сириус; если долго присматриваться к этому тусклому пятну на воде — рядом с ним становится виден пробковый буек, круглый, точно голова человека, и совершенно неподвижный.

— Отчего ты не спишь?

Старик распахнул потертый плащ, рыжий от старости, и ответил, покашливая:

— У нас поставлена сеть, видишь буй?

— А...

— Три дня тому назад сеть одной компании была сорвана и спутана...

— Дельфины?

— Зимой? Нет, конечно. Может быть, акула, тонна... кто знает?

Под ногою какого-то зверя маленький камень сорвался с горы, побежал, шелестя сухою травой, к морю и звонко разбил воду. Этот краткий шум хорошо принят молчаливой ночью и любовно выделен ею из своих глубин, точно она хотела надолго запомнить его.

Солдат тихонько напевает насмешливую песенку:

— Отчего старики плохо спят?
Догадайся, Умберто, подумай!
— Оттого, что слишком много
Пили в юности вина...

— Это не про меня сказано,— ворчливо отозвался старик.

— А еще отчего плохо спят старики?
Что ты скажешь, Бертино умный?
— Оттого, что в свое время
Не любили сколько нужно...

— Хорошая песня, дядя Пашкале?

— Ты сам узнаешь это, когда тебе минет шестьдесят... Зачем спрашивать?

Долго оба молчали согласно с миром, онемевшим в ночи, потом старик, вынув трубку, постучал ею о камень, прислушался к сухим коротким звукам и сказал:

— Вы, мальчики, смеетесь хорошо, но не знаю, так ли хорошо вы умеете любить, как любили в старину...

— Ба! Знакомая песня... Любят всегда одинаково, я думаю...

— Ты думаешь! Надо знать. Вон, за горою, живет семья Сенцамане,— спроси у них историю деда Карло — это будет полезно для твоей жены.

— Что мне спрашивать незнакомых людей, если ты сам можешь рассказать эту историю...

Где-то невидимо летит ночная птица,— в воздухе трепещет особенный и странный звук — точно чем-то шерстяным торопливо отирают сухие камни.

Тьма на земле становится гуще, сырее, теплее, небо уходит выше, и всё ярче сверкают звезды в серебряном тумане Млечного Пути.

— В старину женщины ценились дороже...

— Будто? Не слыхал.

— Люди часто воевали...

— Вдов оставалось много...

— Постоянно — пираты, солдаты, и почти каждые пять лет в Неаполе новые правители,— женщин надо было держать под замком.

— Это и теперь не плохо...

— Их воровали, точно кур...

— Хотя они больше похожи на лисиц...

Старик замолчал, зажег трубку,— в неподвижном воздухе повисло белое облако сладкого дыма. Вспыхивает огонь, освещая кривой темный нос и коротко остриженные усы под ним.

— Ну, что же далее? — сонно спросил солдат.

— Слушать надо молча...

В трепете Сириуса такое напряжение, точно гордая звезда хочет затмить блеск всех светил. Море осеяно золотой пылью, и это почти незаметное отражение небес немного оживляет черную, немую пустыню, сообщая ей переливчатый, призрачный блеск. Как будто из глубин морских смотрят в небо тысячи фосфорически сияющих глаз..,

— Я слушаю,— нетерпеливо нарушил солдат обиженное, рыбье молчание рыбака, и не спеша, негромко, старик начал сплетать повествование о том, что все и всегда будут слушать внимательно.

— Лет сто тому назад, вон там на горе, где густые сосны, жили греки Экеллани, горбатый старик, колдун и контрабандист, а у него — сын Аристидо, охотник,— тогда на острове еще водились козы. В ту пору здесь самой богатой семьей были Гальярди,— теперь они носят прозвище деда — Сенцамане,— половина виноградников была в их руках, восемь подвалов имели они и более тысячи бочек. Тогда наше белое вино ценилось даже во Франции, где, как я слышал, ничего не умеют ценить, кроме вина. Эти французы все игроки и пьяницы, они проиграли в карты сатане даже голову короля своего...

Солдат тихонько засмеялся, и, отвечая его смеху, где-то близко всплеснула вода; оба молча насторожились, вытянув шеи к морю, а от берега кольцами уходила тихая рябь.

— Это — черния пробует наживу на крючках...

— Продолжай...

— Да... Гальярди. Их было трое братьев,— история говорит о среднем, Карлоне, как его назвали за огромный рост и потрясающий голос. Он выбрал себе для сердца бедную девушку Джулию, дочь кузнеца, очень умную девушку,— силачи ведь не бывают умными. Что-то мешало им жениться, и они томились, ожидая дня своей свадьбы, а сын грека — не дремал, ему тоже нравилась Джулия. Он долго старался о том, чтоб она полюбила его, но не имел успеха и решил опозорить девушку, рассчитав, что Карлоне Гальярди откажется от порочной и тогда ему легко будет взять ее. В то время было строже, чем теперь...

— Н-ну, и теперь...

— Распутство — веселье богатых, а мы здесь все бедные,— сурово сказал старик и продолжал, точно себе самому напоминая прошлое:

— Однажды, когда девушка собирала срезанные ветки лоз,— сын грека, как будто оступившись, свалился с тропы над стеною ее виноградника и упал прямо

к ногам ее, а она, как хорошая христианка, наклонилась над ним, чтоб узнать, нет ли ран. Стоная от боли, он просил ее:

— «Джулия, не зови людей на помощь, прошу тебя! Я боюсь,— если ревнивый жених твой увидит меня рядом с тобою — он меня убьет... Дай мне отдохнуть, я уйду...»

— Положив голову на колени ей, он притворился потерявшим сознание; а она, испуганная, закричала о помощи, но, когда прибежали люди,— он вдруг вскочил на ноги, здоровешенек, но будто бы очень смущенный, и начал кричать о своей любви, о своих честных намерениях, клялся, что прикроет позор девушки браком,— поставил дело так, словно он, утомленный ласками Джулии, заснул на коленях ее. Простодушные люди поверили ему, несмотря на гнев девушки, забыв о том, что ведь она сама звала на помощь,— никто не знал, что характер грека зовется хитростью. Греков крестил чёрт для того, чтобы лучше запутать все дела христиан. Девушка клянется, что грек — лжет, а он убеждает людей, что Джулии стыдно признать правду, что она боится тяжелой руки Карлоне; он одолел, а девушка стала как безумная, и все пошли в город, связав ее, потому что она кидалась на людей с камнем в руке. А Карлоне уже услыхал ее крики, бросился встречу ей, но когда ему сказали, что случилось, он упал на колени среди толпы, потом вскочил и ударил невесту свою левой рукою по лицу, а правой стал душить грека,— народ едва успел отнять его.

— Глупый был парень,— проворчал солдат.

— Ум честного человека — в сердце! Я сказал, что эта история была зимою, перед праздником рождения младенца Иисуса. Всего за несколько дней. В этот праздник у нас люди дарят друг другу от избытков своих вино, фрукты, рыбу и птиц,— все дарят и, конечно, больше всех получают наиболее бедные. Я не помню, как узнал Карлоне правду, но он ее узнал, и вот в первый день праздника отец и мать Джулии, не выходившие даже и в церковь,— получили только один подарок: небольшую корзину сосновых веток, а среди них — отрубленную кисть левой руки Карлоне Галь-

ярди,— кисть той руки, которой он ударил Джулию. Они — вместе с нею — в ужасе бросились к нему, Карлоне встретил их, стоя на коленях у двери его дома, его рука была обмотана кровавой тряпкой, и он плакал, точно ребенок.

— «Что ты сделал с собою?» — спросили его.

— Он ответил:

— «Я сделал то, что следовало: человек, оскорбивший мою любовь, не может жить, — я его убил... Рука, ударившая безвинно мою возлюбленную,— оскорбила меня, я ее отсек... Я хочу теперь, чтоб ты, Джулия, простила меня, ты и все твои...»

— Они-то, конечно, простили его, но есть закон и для защиты негодяев — два года сидел Гальярди в тюрьме за грека, и очень дорого стоило братьям вытащить из нее Карлоне...

— Потом он женился на Джулии и хорошо жил с нею до старости, создав на острове новую фамилию — Безруких — Сенцамане...

Старик замолчал, усиленно раскуривая трубку.

— Не нравится мне эта история,— тихо сказал солдат.— Этот твой Карлоне — дикарь... И глупо всё...

— Твоя жизнь через сто лет тоже покажется глупостью,— внушительно проговорил старик и, выпустив большой клуб белого во тьме дыма, прибавил:

— Если только кто-нибудь вспомнит, что ты жил на земле...

Снова в тишине раздался плеск воды, теперь сильный и торопливый; старик сбросил плащ, быстро встал на ноги и скрылся, точно упал в черную воду, оживленную у берега светлыми точками ряби, синеватой, как серебро рыбьей чешуи.

XXIV

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь, вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь...

— Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо,— там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее — красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму,— вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут. Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира!

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и всё более внимательно слушает ее вся жизнь! Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да! Да,— но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло. А стачку мы выиграли...

— Выиграли!— звучно откликнулась девушка.— Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм,— развалины какого-то здания,— над ним задумчиво опустил тонкие ветки ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули.

— Вот — Паоло!— говорит девушка.

Черная высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидала? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе — мои. Не провожайте меня дальше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и за сестру. Всё будет хорошо!

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько, потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, всё будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням,— чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай! — тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны! У него — хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его. А любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город всё обильнее сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его,— везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным оком освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось.

— Добрый вечер, товарищи! — сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

— Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Э, не смейся! Не чужая своему народу говорит с тобой. Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

— Все и — еще одна. Так?

— Да,— тихо сказала девушка.— Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и — веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...

XXV

С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кусков, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем.

На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце.

Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день: весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя — топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, рубинами на кумаче герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев.

Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя; чуть слышен тонкий звон ручья, невидимого среди камней, под корнями молочая, ежевики и пахучего, запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море.

Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихонько, отягченные влагой, бесшумно стряхивая ее с причудливых своих цветов.

На сочном фоне зелени горит яркий спор светло-лиловых глициний с кровавой геранью и розами, рыжевато-желтая парча цветов молочая смешана с темным бархатом ирисов и левкоев — всё так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как скрипки, флейты и страстные виолончели.

Влажный воздух душист и хмелен, как старое, крепкое вино.

Под серой скалою, расколотой, изорванной взрывами, покрытой в трещинах жирными окисями железа, среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят, обедая, четверо каменоломов — крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях.

Не спеша, они вкусно едят из большой плошки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки.

Двое из них — бритые и похожие друг на друга, как братья,— кажется даже, что они близнецы; один — маленький, кривой и колченогий, напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу; четвертый — широкоплечий, бородатый и горбоносый человек средних лет, сильно седой.

Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями:

— Это — сказки, это — ложь! Ничего страшного я не сделал...

Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело, насмешливо; голос у него тяжелый, сиплый, речь медленна и неохотна. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна обрызганы белой каменной мукою,— очевидно, это он сверлит в скале скважины для зарядов.

Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря:

«Продолжай...»

Он рассказывает, двигая седыми бровями:

— Этот человек — его звали Андреа Грассо — пришел к нам в деревню ночью, как вор; он был одет нищим, шляпа одного цвета с сапогами и такая же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через семь лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все, на сорок миль вокруг, были в долгах у него.

— Такие люди есть,— сказал колченогий, вздохнув и качая головой.

Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив:

— Встречал?

Старик молча махнул рукою, бритые усмехнулись оба, как один, горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе:

— Мне было тринадцать лет, когда он нанял меня, вместе с другими, носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными, и когда мой товарищ, Лукино, сказал ему это, он ответил ему: «Осел — мой, ты — чужой мне, почему я должен жалеть тебя?» Эти слова ударили меня в сердце, я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично — старик, женщина, ему всё равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им: «Когда я был беден, меня тоже не жалели». Он водил дружбу с попами, с карабинерами, полицией; остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними всё, что хотел.

— Такие люди есть,— повторил колченогий тихонько, и все трое сочувственно взглянули на него; один бритый молча протянул ему бутылку вина, старик взял ее, посмотрел на свет и сказал, перед тем как выпить:

— Пью за святое сердце мадонны!

— Он часто говаривал: «Всегда бедняки работали на богатых и глупые на умных, так и должно быть всегда».

Рассказчик усмехнулся, протянув руку к бутылке,— она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки и темной змеей вытянулся кусок бикфордова шнура.

— Мне, молодому тогда, и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова: они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукино, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он, не спеша, ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно: «Мы просим вас быть добрее к людям».

Бритые расхохотались, тихонько усмехнулся и кривой, а рассказчик шумно вздохнул.

— Да, конечно, глупо! Но молодость честна. Молодость верит в силу слова. Я скажу: молодость — это совесть всей жизни...

— Что ж он? — спросил старик.

— Он закричал нам, довольно храбро: «Пустите лошадь, разбойники!» И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали: «Вам, Грассо, нечего бояться нас, не на что сердиться, мы советуем вам, и только!»

— Это хорошо! — сказал один бритый, другой согласно наклонил голову; колченогий, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами.

Они кончили есть. Один сбивал тонким прутом стеклянные капли воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой былинкой. Становится всё более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня. Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ:

— Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукино,— его отец и дядя были должниками Грассо. Бедняга Лукино похудел, сжал зубы, и глаза у него не те, что нравились девушкам. «Эх,— сказал он мне однажды,— плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку!» Я подумал: «Лукино может убить». Было жалко парня и его добрую семью. А я — одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать.

Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми, в известке, руками,— на указательном пальце его левой руки светлый серебряный перстень, очень тяжелый, должно быть.

— Мой поступок мог быть полезен людям, если б я сумел довести дело до конца, но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Грассо на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко: «Вы человек жадный и злой, людям трудно жить с вами, вы можете толкнуть кого-нибудь под руку, и эта рука схватит нож. Я говорю вам: уходите от нас прочь, уезжайте».— «Ты глуп, малый!» — сказал он, но я стоял на своем. Он спросил, смеясь: «Сколько тебе дать, чтоб ты оставил меня в покое,— лиру, довольно?» Это было обидно, но

я сдержался. «Уходите, говорю вам!» Я шел плечо в плечо с ним, с правой стороны. Он, незаметно, достал нож и ткнул меня им. Левой рукою немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. «Итак, ты уйдешь!» — сказал я ему, когда он ползал по земле.

Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченогий, согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви.

— Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу, куму Грассо. «Ты честный человек, Чиро,— сказал он,— ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грассо». Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. Два месяца я сидел в тюрьме до суда, а потом меня приговорили на год и восемь. «Хорошо,— сказал я судьям,— но я не считаю дело конченным!»

Он достал из камней непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы себе, долго тянул вино; его волосатый кадык жадно двигался, борода ощетинилась. Три пары глаз молча и строго следили за ним.

— Скучно говорить об этом,— сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду.

— Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней: все меня боялись. Лукино рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скучен, как головня, бедняга. «Так»,— подумал я и пошел к этому Грассо; он очень испугался, увидав меня. «Ну, я вернулся,— сказал я,— теперь уходи ты!» Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. «Если б ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы, я дал клятву мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я — тоже». Мы схватились, и тут я, нечаянно, сломал ему руку. Я этого не хотел, он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме три года девять месяцев, а когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники, к его зятю, в Апу-

лию,— там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого. Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов, я уже понял тогда, что из десяти — лишних девять. У меня в сердце было одно: «Уходи!» Я пришел в деревню как раз в воскресенье, прямо к мессе, в церковь. Грассо был там, он сразу увидал меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь: «Этот человек явился убить меня, граждане, его прислал дьявол по душу мою!» Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему что надо. Но — всё равно, он свалился на плиты пола,— его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через семь недель после этого... Вот и всё. А люди создали про меня какую-то сказку... Очень страшно, но — всё неправда.

Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал:

— Пора начинать...

Трое людей, молча и не спеша, поднялись на ноги, горбоносый уставился глазами в рыжие жирные щели скалы и повторил:

— Будем работать...

Солнце в зените, и все тени сожжены им.

Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.

XXVI

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку,— дует ветер с моря и носит ее, играя ею,— Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

Италия прекрасная.
Италия моя!..

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковырянным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят.— Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам,— говорят они,— нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё слышит и всё помнит.

Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин,— Пепе впереди его и напевает что-то из заупокойной мессы или печальную песенку:

Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...
А я не понимаю,
Отчего она так грустна?

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо! — сказала она.— Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но все-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пепе.— Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула.

— Отвечай, ты отнес яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки,— пусть, думаю, они сравнивают меня с ослом, я всё стерплю из уважения к синьоре,— к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью,— ага, подумал я, ну, это вам не пройдет да-

ром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников,— вы бы очень смеялись!

— Они растащили мои плоды?! — закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей,— он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников,— ах, если б вы видели это! — вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя,— она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаться здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу,— с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые,— сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно,— от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

— Да,— согласилась сестра,— тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать.

— Дай-ка нож! — сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

— В чем дело? — спросил он.

И тогда Пепе сказал:

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а? — очень удивился Пепе.— Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк. Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиною и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько,— он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы,— лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шёлковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

— Фиорино-о... фиорино-о...

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами,— Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над голубою водой тихонько течет звонкий задумчивый голос мальчика:

О море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

— Этот будет анархистом!

А кто подобрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу,— те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.

XXVII

В безлунную ночь страстно́й субботы по окраинам города, в узких щелях улиц медленно ходит женщина в черном плаще, лицо ее прикрыто капюшоном и не видно, обильные складки широкого плаща делают ее огромной, идет она молча и кажется немым воплощением неисчерпаемой скорби.

За нею столь же медленно, тесной кучей — точно одно тело — плывут музыканты,— медные трубы жутко вытянуты вперед, просительно подняты к темному небу и рычат, вздыхают; гнусаво, точно невыспавшиеся монахи, поют кларнеты, и, словно старый злой патер, гудит фагот; мстительно жалуется корнет-а-пистон, ему безнадежно вторят валторны, печально молится баритон, и, охая, глухо гудит большой барабан, отбивая такт угрюмого марша, а вместе с дробной, сухой трелью маленького сливается шорох сотен ног по камням.

Тускло блестит медь желтым, мертвым огнем, люди, опоясанные ею, кажутся чудовищно странными; инструменты из дерева торчат, как хоботы,— группа музыкантов, точно голова огромного черного змея, чье тело тяжко и черно влачится в тесных улицах среди серых стен.

Иногда это странное шествие ночью последних страданий Христа — изливается на маленькую площадь неправильных очертаний,— эти площади, точно дыры, протертые временем в каменной одежде города,— потом снова всё втиснуто в щель улицы, как бы стремясь раздвинуть ее, и не один час этот мрачный змей, каждое кольцо которого — живое тело человека, ползает по городу, накрытому молчаливым небом, вслед за женщиной, возбуждающей странные догадки.

Немая и черная, словно окована непобедимой печалью,

она что-то ищет в ночи, уводя воображение глубоко во тьму древних верований, напоминая Изиду, потерявшую брата-мужа, растерзанного злым Сетом-Тифоном, и кажется, что от ее непонятной фигуры исходит черное сияние, облекая всё жутким мраком давно пережитого и воскресшего в эту ночь, чтобы пробудить мысль о близости человека к прошлому.

Траурная музыка гулко бьет в окна домов, вздрагивают стекла, люди негромко говорят о чем-то, но все звуки стираются глухим шарканьем тысяч ног о камни мостовой,— тверды камни под ногами, а земля кажется непрочной, тесно на ней, густо пахнет человеком, и невольно смотришь вверх, где в туманном небе неярко блестят звезды.

Но — вот вдали, на высокой стене, на черных квадратах окон вспыхнуло отражение красного огня, вспыхнуло, исчезло, загорелось снова, и по толпе весенним вздохом леса пронесся подавленный шёпот:

— Идут, идут...

Там, впереди, родился и начал жить, возрастая, другой шум — более светлый, там всё ярче разгорается огонь; эта женщина пошла вперед как будто быстрее, и толпа оживленнее хлынула за нею, даже музыка как будто на секунду потеряла темп — смялись, спутались звуки, и смешно высоко свистнула, заторопившись, флейта, вызвав негромкий смех.

И тотчас же, как-то вдруг, по-сказочному неожиданно — пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди нее, в свете факелов и бенгальских огней, две фигуры: одна — в белых длинных одеждах, светловолосая, знакомая фигура Христа, другая — в голубом хитоне — Иоанн, любимый ученик Иисуса, а вокруг них темные люди с огнями в руках, на их лицах южан какая-то одна, всем общая улыбка великой радости, которую они сами вызвали к жизни и — гордятся ею.

Христос — тоже веселый, в одной руке он держит орудие казни своей, всё в цветах, быстро размахивая другою, он что-то говорит, Иоанн — смеется, закинув кудрявую голову, юный, безбородый, красивый, как Дионис.

Толпа вылилась на площадь потоком масла и как-то

сразу образовала круг, и вот эта женщина — черная, как облачная ночь,— вдруг вся, как бы поднявшись на воздух, поплыла ко Христу, а подойдя почти вплоть к нему, остановилась, сбросила капюшон с головы, и облаком опустился плащ к ногам ее.

Тогда, в веселом и гордом трепете огней, из-под капюшона поднялась и засверкала золотом пышных волос светозарная голова мадонны, а из-под плаща ее и еще откуда-то из рук людей, ближайших к матери бога, всплескивая крыльями, взлетели в темный воздух десятки белых голубей, и на минуту показалось, что эта женщина в белом, сверкающем серебром платье и в цветах, и белый, точно прозрачный Христос, и голубой Иоанн — все трое они, такие удивительные, нездешние, поплыли к небу в живом трепете белых крыльев голубиных, точно в сонме херувимов.

— Gloria, madonna, gloria! [1] — тысячью грудей грянула черная толпа, и — мир изменился: всюду в окнах вспыхнули огни, в воздухе простерлись руки с факелами в них, всюду летели золотые искры, горело зеленое, красное, фиолетовое, плавали голуби над головами людей, все лица смотрели вверх, радостно крича:

— Слава, мадонна, слава!

Колебались в отблесках огней стены домов, изо всех окон смотрели головы детей, женщин, девушек — яркие пятна праздничных одежд расцвели, как огромные цветы, а мадонна, облитая серебром, как будто горела и таяла, стоя между Иоанном и Христом,— у нее большое розовое и белое лицо, с огромными глазами, мелко завитые, золотые волосы на голове, точно корона, двумя пышными потоками они падают на плечи ее. Христос смеется, звонко и весело, как и следует воскресшему, синеглазая мадонна, улыбаясь, качает головою, а Иоанн взял факел и, размахивая им в воздухе, брызжет огнем,— он еще совсем мальчик и, видимо, очень любит шалости — такой тонкий, остроглазый и ловкий, точно птица.

Они все трое смеются тем непобедимым смехом, который возможен только под солнцем юга, на берегах веселого моря, и смеются люди, заглядывая в их лица,—

---

[1] Слава, мадонна, слава! *(Итал.)*.

праздничные люди, которые изо всего умеют сделать красивое зрелище, а сами — красивейшее.

Конечно — тут дети, они мечутся по земле около трех фигур, как белые птицы в воздухе над ними, и кричат звонко, радостно, возбужденно:

— Gloria, madonna, gloria!

Старухи — молятся: смотрят на эту троицу, прекрасную, как сон, и, зная, что Христос — столяр из улицы Пизакане, Иоанн — часовщик, а мадонна — просто Аннита Брагалья, золотошвейка,— старухи очень хорошо знают всё это и — молятся, шепчут увядшими губами хорошие слова благодарности мадонне за всё, за всё... и больше всего за то, что она есть...

Где-то торжественно поют, и невольно вспоминаешь старую, знакомую песнь:

Смерти празднуем умерщвление...

Светает, в церквах веселый звон, колокола, торопливо захлебываясь, оповещают, что воскрес Христос, бог весны; на площади музыканты сдвинулись в тесное кольцо — грянула музыка, и, притопывая в такт ей, многие пошли к церквам, там тоже — органы гудят славу и под куполом летают множество птиц, принесенных людьми, чтобы выпустить их в ту минуту, когда густые голоса органа воспоют славу воскресшему богу весны.

Это славный обычай — вовлекать птиц, чистейшее изо всех живых существ, в лучший праздник людей; удивительно хорошо поет сердце в тот миг, когда сотни маленьких разноперых пичужек летают по церкви, и щебечут, и поют, садясь на карнизы, статуи, залетая в алтарь.

Площадь пустеет; три светлые фигуры, взяв под руки друг друга, запели что-то, дружно и красиво, и пошли в улицу, музыканты двинулись за ними, и толпа вслед им; бегут дети, в сиянии красивых огней они — точно рассыпанные бусы кораллов, а голуби уже уселись на крышах, на карнизах и — воркуют.

И снова вспоминается хорошая песня:

«Христос воскресе...»

И все мы воскреснем из мертвых, смертию смерть поправ.

РУССКИЕ СКАЗКИ

I

Будучи некрасив и зная это, молодой человек сказал себе:

— Я умен. Сделаюсь мудрецом. У нас это — очень просто.

И стал читать толстые сочинения — он был действительно не глуп, понимал, что наличие мудрости всего легче доказать цитатами из книг.

А прочитав столько мудрых книг, сколько нужно, чтобы стать близоруким, он гордо поднял нос, покрасневший от тяжести очков, и заявил всему существующему:

— Ну, нет, меня не обманешь! Я ведь вижу, что жизнь — это ловушка, поставленная для меня природой!

— А — любовь? — спросил Дух жизни.

— Благодарю, я, слава богу, не поэт! Я не войду ради кусочка сыра в железную клетку неизбежных обязанностей!

Но все-таки он был человек не особенно даровитый и потому решил взять должность профессора философии.

Приходит к министру народного просвещения и говорит:

— Ваше высокопревосходительство, вот — я могу проповедовать, что жизнь бессмысленна и что внушениям природы не следует подчиняться!

Министр задумался: «Годится это или нет?»

Потом спросил:

— А велениям начальства надо подчиняться?

— Обязательно — надо! — сказал философ, почтительно склонив вытертую книгами голову.— Ибо страсти человечьи...

— Ну, то-то! Лезьте на кафедру. Жалованья — шестнадцать рублей. Только — если я предпишу принять к руководству даже и законы природы, смотрите — без вольнодумства! Не потерплю!

И, подумав, он меланхолически сказал:

— Мы живем в такое время, что ради интересов целостности государства, может быть, и законы природы придется признать не только существующими, но и полезными — отчасти!

«Чёрта с два! — мысленно воскликнул философ.— Дойдете вы до этого, как же...»

А вслух — ничего не сказал.

Вот он и устроился: еженедельно влезал на кафедру и по часу говорил разным кудрявым юношам:

— Милостивые государи! Человек ограничен извне, ограничен изнутри, природа ему враждебна, женщина — слепое орудие природы, и по всему этому жизнь наша совершенно бессмысленна!

Он привык думать так и часто, увлекаясь, говорил красиво, искренно; юные студентики восторженно хлопали ему, а он, довольный, ласково кивал им лысой головой, умиленно блестел его красненький носик, и всё шло очень хорошо.

Обеды в ресторанах были вредны ему,— как все пессимисты, он страдал несварением желудка,— поэтому он женился, двадцать девять лет обедал дома; между делом, незаметно для себя, произвел четверых детей, а после этого — помер.

За гробом его почтительно и печально шли три дочери с молодыми мужьями и сын, поэт, влюбленный во всех красивых женщин мира. Студенты пели «Вечную память» — пели очень громко и весело, но — плохо; над могилой товарищи профессора говорили цветистые речи о том, как стройна была покойникова метафизика; всё было вполне прилично, торжественно и даже минутами трогательно.

— Вот и помер старикашка! — сказал один студент товарищам, когда расходились с кладбища.

— Пессимист он был,— отозвался другой.

А третий спросил:

— Ну? Разве?

Русские сказки.

I

Будучи некоторым образом не от мира сего, молодой человекъ сказалъ себѣ:

-Я умѣю. Я сдѣлаюсь мудрецомъ. Я знаю, что самое хорошее

И сталъ читать толстыя сочиненія - онъ былъ, дѣйствительно, не глупъ, онъ понялъ, что наивность мудрости всего міра доказать цитатами изъ книгъ.

Онъ прочиталъ столько мудрыхъ книгъ, сколько нужно, чтобы стать блаженнымъ, онъ гордо поднялъ [illegible] отъ [illegible] и заявилъ всему существующему:

-Ну, нѣтъ, меня не обманешь. Я вѣдь вижу, что жизнь - это ловушка, поставленная для меня природой.

-А - любовь? - спросила Духъ жизни.

-Благодарю, я, слава Богу, не поэтъ. Я не ищу ради кусочка сыра въ мышиную ловушку немедленныхъ обязанностей.

Но, все таки, онъ былъ человѣкъ не особенно даровитый и потому рѣшилъ занять должность профессора философіи.

Приходитъ къ министру народнаго просвѣщенія и говоритъ:

-Ваше Высокопревосходительство, вотъ я могу проповѣдовать, что умъ безпомощенъ и что внушеніямъ природы не слѣдуетъ подчиняться.

Министръ задумался: годится это или нѣтъ.

Потомъ спросилъ:

-А великимъ начальствамъ надо подчиняться?

-Обязательно - надо, - сказалъ философъ, почтительно склоняя мягкую книгами голову. [illegible]

-Ну, то-то. Идите на кафедру. Жалованья - шестидесять рублей. Только - если я предложу присягу къ руководству даже и законы природы, смотрите - безъ колебаній. Не потерплю.

И подумавъ, онъ меланхолически сказалъ:

-Мы живемъ въ такое время, что ради интересовъ дѣловитости государства, можетъ быть, и законы природы придется признать не такими вѣчными, но и полезными - отчасти.

«РУССКИЕ СКАЗКИ».

Страница машинописи с правкой М. Горького.

— Пессимист и консерватор.

— Ишь, лысый! А я и не заметил...

Четвертый студент был человек бедный, он озабоченно осведомился:

— Позовут нас на поминки?

Да, их позвали.

Так как покойный профессор написал при жизни хорошие книги, в которых горячо и красиво доказывал бесцельность жизни,— книги покупались хорошо, и читали их с удовольствием — ведь что ни говорите, а человек любит красивое!

Семья была хорошо обеспечена — и пессимизм может обеспечить! — поминки были устроены богатые, бедный студент на редкость хорошо покушал и, когда шел домой, то думал, добродушно улыбаясь:

«Нет — и пессимизм полезен...»

II

А еще был такой случай.

Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но — почему-то всё плохие, и это очень сердило его.

Вот однажды идет он по улице и видит: валяется на дороге кнут — извозчик потерял.

Осенило поэта вдохновение, и тотчас же в уме его сложился образ:

Как черный бич, в пыли дорожной
Лежит — раздавлен — труп змеи.
Над ним — рой мух гудит тревожно,
Вокруг — жуки и муравьи.

Белеют тонких ребер звенья
Сквозь прорванную чешую...
Змея! Ты мне напоминаешь
Любовь издохшую мою...

А кнут встал на конец кнутовища и говорит, качаясь:

— Ну, зачем врешь? Женатый человек, грамоту знаешь, а — врешь! Ведь не издыхала твоя любовь, жену ты и любишь и боишься ее...

Поэт рассердился:

— Это не твое дело!..

— И стихи скверные...

— А тебе и таких не выдумать! Только свистеть можешь, да и то не сам.

— А все-таки зачем врешь? Ведь не издыхала любовь-то?

— Мало ли чего не было, а нужно, чтоб было...

— Ой, побьет тебя жена! Отнеси-ка ты меня к ней...

— Как же, дожидайся!

— Ну, бог с тобой! — сказал кнут, свиваясь штопором, лег на дороге и задумался о людях, а поэт пошел в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но — о себе:

«Хотя кнут и — дрянь, но стихи опять плоховаты, это верно! Странное дело! Один пишет всегда плохие стихи, а другому иной раз удаются хорошие — до чего всё неправильно в этом мире! Дурацкий мир!»

Так он сидел, пил и, всё более углубляясь в познавание мира, пришел, наконец, к твердому решению: «Надо говорить правду: совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нем даже обидно жить!» Часа полтора думал он в этом направлении, а потом сочинил:

Пестрый бич наших страстных желаний
Гонит нас в кольца Смерти-Змеи,
Мы плутаем в глубоком тумане.
Ах — убьемте желанья свои!

Они в даль нас обманно манят,
Мы влачимся сквозь терн обид,
По пути — сердце скорби нам ранят,
А в конце его — каждый убит...

И прочее в этом духе — двадцать восемь строк.

— Вот это — ловко! — воскликнул поэт и пошел домой, очень довольный собою.

Дома он прочитал стихи жене — ей тоже понравилось.

— Только,— сказала она,— первое четверостишие как будто не того...

— Сожрут! Пушкин начал тоже «не того»... Зато — размер каков? Панихида!

Потом он стал играть со своим сынишкой: посадив его на колено и подкидывая, пел тенорком:

Скок-поскок
На чужой мосток!
Эх, буду я богат —
Я свой намощу,
Никого не пущу!

Очень весело провели вечер, а утром поэт снес стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно — они все глубокомысленны, редактора, оттого-то журналы и скучны.

— Гм? — сказал редактор, трогая себя за нос.— Это, знаете, не плохо, а главное,— очень в тон настроению времени, очень! М-да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Ну-с, продолжайте в том же духе... Шестнадцать копеек строка... четыре сорок восемь... Поздравляю!

Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его, томно говоря:

— М-мой поэт, о-о...

Славно время провели!

А один юноша — очень хороший юноша, мучительно искавший смысла жизни,— прочитал эти стихи и застрелился.

Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша, и он не знал, что эти мрачные мысли продаются по шестнадцати копеек строка. Серьезный был.

Да не помыслит читатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблен с пользою для людей.

III

Долго жил Евстигней Закивакин в тихой скромности, в робкой зависти и вдруг неожиданно прославился.

А случилось это так: однажды после роскошной пирушки он истратил последние свои шесть гривен и, проснувшись наутро в тяжком похмелье, весьма удрученный, сел за свою привычную работу: сочинять объявления в стихах для «Анонимного бюро похоронных процессий».

Сел и, пролив обильный пот, убедительно написал:

Бьют тебя по шее или в лоб,—
Всё равно, ты ляжешь в темный гроб...
Честный человек ты иль прохвост,—
Все-таки оттащат на погост...
Правду ли ты скажешь иль соврешь,—
Это всё едино: ты умрешь!..

И так далее в этом роде, аршина полтора.

Понес работу в «бюро», а там не принимают:

— Извините,— говорят,— это никак нельзя напечатать: многие покойники могут обидеться и даже содрогнуться в гробах. Живых же увещевать к смерти не стоит,— они и сами собою, бог даст, помрут...

Огорчился Закивакин:

— Чёрт бы вас побрал! О покойниках заботитесь, монументы ставите, панихиды служите, а живой — помирай с голоду...

В гибельном настроении духа ходит он по улицам и вдруг видит — вывеска, а на ней — черными буквами по белому полю — сказано:

«Жатва Смерти».

— Еще похоронное бюро, а я и не знал! — обрадовался Евстигней.

Но оказалось, что это не бюро, а редакция нового беспартийного и прогрессивного журнала для юношества и самообразования. Закивакина ласково принял сам редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопа и мыловара Антипы Говорухина, парень жизнедеятельный, хотя и худосочный.

Посмотрел Мокей стишки,— одобрил:

— Ваши,— говорит,— вдохновения как раз то самое, еще никем не сказанное слово новой поэзии, в поиски за которым я и снарядился, подобно аргонавту Герострату...

Конечно, всё это он врал по внушению странствующего критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда врал, чем и создал себе громкое имя.

Смотрит Мокей на Евстигнея покупающими глазами и повторяет:

— Материальчик впору нам, но имейте в виду, что мы стихов даром не печатаем!

— Я и хочу, чтобы мне заплатили,— сознался Евстигнейка.

— Ва-ам? За стихи-то? Шутите! — смеется Мокей.— Мы, сударь, только третьего дня вывеску повесили, а уж за это время стихов нам прислано семьдесят девять сажен! И всё именами подписаны!

Но Евстигней не уступает, и согласились на пятаке за строку.

— Только потому, что уж очень это у вас здорово пущено! — объяснил Мокей.— Надо бы псевдонимец вам избрать, а то Закивакин не вполне отлично. Вот ежели бы... например,— Смертяшкин, а? Стильно!

— Всё равно,— сказал Евстигней.— Мне — абы гонорар получить: есть очень хочется...

Он был парень простодушный.

И через некоторое время стихи были напечатаны на первой странице первой книги журнала, под заголовком: «Голос вечной правды».

С того дня и постигла Евстигнейку слава: прочитали жители стихи его — обрадовались:

— Верно написал, материн сын! А мы живем, стараемся кое-как, то да се, и незаметно нам было, что в жизни-то нашей никакого смысла, между прочим, нет! Молодец Смертяшкин!

И стали его на вечера приглашать, на свадьбы, на похороны да на поминки, а стихи его во всех модных журналах печатаются по полтине строка, и уже на литературных вечерах полногрудые дамы, очаровательно улыбаясь, читают «поэзы Смертяшкина»:

Нас ежедневно жизнь разит,
Нам отовсюду смерть грозит!
Со всяких точек зрения
Мы только жертвы тления!

— Браво-о! Спасибо-о! — кричат жители.

«А ведь, пожалуй, я и в самом деле поэт?» — задумался Евстигнейка и начал — понемножку — зазнаваться: завел черно-пестрые носки и галстухи, брюки надел тоже черные с белой полоской поперек и стал говорить томно, разводя глазами в разные стороны:

— Ах, как это пошло-жизненно!

Заупокойную литургию прочитал и употребляет в речи мрачные слова: паки, дондеже, всуе...

Ходят вокруг его разные критики, истощая Евстигнейкин гонорарий, и внушают ему:

— Углубляйся, Евстигней, а мы поддержим!

И действительно, когда вышла книжка: «Некрологи желаний, поэзы Евстигнея Смертяшкина», то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора. Евстигнейка же на радостях решил жениться: пошел к знакомой модерн-девице Нимфодоре Заваляшкиной и сказал ей:

— О, безобразна, бесславна, не имущая вида!

Она давно ожидала этого и, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастия:

— Я согласна идти к смерти рука об руку с тобою!

— Обреченная уничтожению! — воскликнул Евстигней.

Нимфодора же, смертельно раненная страстью, отзывается:

— Мой бесследно исчезающий!

Но тотчас, вполне возвратясь к жизни, предложила:

— Мы обязательно должны устроить стильный быт!

Смертяшкин уже ко многому привык и сразу понял.

— Я,— говорит,— конечно, недосягаемо выше всех предрассудков, но, если хочешь, давай обвенчаемся в кладбищенской церкви!

— Хочу ли? О да! И путь все шафера тотчас после свадьбы застрелятся!

— Все, пожалуй, не пойдут на это, а Кукин может,— он уже семь раз стрелялся.

— И чтобы священник был старенький, знаешь, такой... накануннный смерти.

Так, стильно мечтая, они сидели до той поры, пока из холодной могилы пространства, где погребены мириады погасших солнц и в мертвой пляске кружатся замороженные планеты,— пока в этой пустыне бездонного кладбища усопших миров не появился скорбный лик луны, угрюмо осветив землю, пожирающую всё живое... Ах, это жуткое сияние умершей луны, подобное свечению гнилушек, всегда напоминает чутким сердцам, что смысл бытия — тление, тление...

Смертяшкин настолько воодушевился, что даже без особого труда стихи сочинил и прошептал их черным шёпотом в ухо будущему скелету возлюбленной:

Чу, смерть стучит рукою честной
По крышке гроба, точно в бубен!..
Я слышу зов ее так ясно
Сквозь пошлый хаос скучных буден.

Жизнь спорит с нею,— лживым кличем
Зовет людей к своим обманам;
Но мы с тобой не увеличим
Числа рабов, плененных ею!

Нас не подкупишь ложью сладкой,
Ведь знаем мы с тобою оба,
Жизнь — только миг, больной и краткий,
А смысл ее — под крышкой гроба!

— Как мертво! — восхищалась Нимфодора.— Как тупо-могильно!

Она все эти штуки превосходно понимала.

На сороковой день после этого они венчались у Николы на Тычке, в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стиля свидетелями брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы; в подруги невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы.

А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, изучавший на себе действие сальварсана, открыв дверь кареты, мрачно сказал:

— Вот катафалк!

Новобрачная, в белом платье с черными лентами и под черной фатой, умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера:

— Репортеры есть?

— И фотограф...

— Не шевелись, Нимфочка...

Репортеры, из уважения к поэту, оделись факельщиками, а фотограф — палачом, жители же,— им всё равно, на что смотреть, было бы забавно! — жители одобряли:

— Quel chic! [1]

И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними:

— Charmant! [2]

— Да-а,— говорил Смертяшкин новобрачной за ужином в ресторане против кладбища,— мы прекрасно похоронили нашу юность! Вот именно это и называется победой над жизнью!

— Ты помнишь, что это всё мои идеи? — спросила нежно Нимфодора.

— Твои? Разве?

---

[1] Какой шик! *(Франц.)*.

[2] Очаровательно! *(Франц.)*.

— Конечно.

— Ну... всё равно:

Я и ты — одна душа и тело!
Мы с тобой теперь навеки слиты.
Это смерть так мудро повелела,
Мы — ее рабы и сателлиты...

— Но все-таки я не позволю тебе поглотить мою индивидуальность! — очаровательно предупредила она.— И потом, сателлиты, я думаю, надо произносить два «т» и два «л»! Впрочем, саттеллиты вообще кажутся мне не на месте...

Смертяшкин еще раз попробовал одолеть ее стихами:

Что такое наше «я»,
Смертная моя?
Нет его иль есть оно,—
Это всё равно!
Будь активна, будь инертна,—
Всё равно,— ты не бессмертна!

— Нет, уж это надобно оставить для других,— кротко сказала она.

После длинного ряда таких и подобных столкновений у Смертяшкина случайно родилось дитя — девочка, и Нимфодора повелела:

— Люльку закажи в форме гробика!

— Не слишком ли это, Нимфочка?

— Нет уж, пожалуйста! Стиль надо сохранять строго, если ты не хочешь, чтобы критики и публика упрекнули тебя в раздвоении и неискренности...

Она оказалась очень хозяйственной дамой: сама солила огурцы, тщательно собирала все рецензии о стихах мужа и, уничтожая неодобрительные,— похвальные издавала отдельными томиками за счет поклонников поэта.

С хорошей пищи стала она женщиной дородной, глаза ее всегда туманились мечтой, возбуждая в людях мужского пола страстное желание подчиниться року. Завела домашнего критика, жилистого мужчину, ры-

жего цвета, сажала его рядом с собою, и, вонзая туманный взгляд прямо в сердце ему, читала нарочито гнусаво стихи мужа, убежденно спрашивая:

— Глубоко? Сильно?

Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о Смертяшкине, который «с непостижимой углубленностью проник в бездонность той черной тайны, которую мы, жалкие, зовем Смертью, а он — полюбил чистой любовью прозрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса бесцельности бытия, но претворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной пошлости, которую мы, слепые души, именуем Жизнью».

При благосклонной помощи рыжего, — по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии — Прохарчук, по профессии — парикмахер,— Нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов: выйдет он на эстраду, развернет коленки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами и, покачивая угловатой головою, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает:

В жизни мы — как будто на вокзале,
Пред отъездом в темный мир загробный...
Чем вы меньше чемоданов взяли,
Тем для вас и легче и удобней!

Будем жить бессмысленно и просто!
Будь пустым, тогда и будешь чистым.
Краток путь от люльки до погоста!
Служит Смерть для жизни машинистом!..

— Браво-о! — кричат вполне удовлетворенные жители.— Спасибо-о!

И говорят друг другу:

— Ловко, шельма, доказывает, даром что этакий обсосанный!..

Те же, кому ведомо было, что раньше Смертяшкин работал стихи для «Анонимного бюро похоронных про-

цессий», были, конечно, и теперь уверены, что он все свои песни поет для рекламы «бюро», но, будучи ко всему одинаково равнодушны, молчали, твердо памятуя одно:

«Каждому жрать надо!»

«А может, я и в самом деле — гений! — думал Смертяшкин, слушая одобрительный рев жителей. — Ведь никто не знает, что такое гений; некоторые утверждали же, будто гении — полоумные... А если так...»

И при встрече со знакомыми стал спрашивать их не о здоровье, а:

— Когда умрете?

Чем и приобрел еще большую популярность среди жителей.

А жена устроила гостиную в виде склепа: диванчики поставила зелененькие, в стиле могильных холмиков, а на стенах развесила снимки с Гойя, с Калло да еще и — Вюртц!

Хвастается:

— У нас даже в детской веяние Смерти ощутимо: дети спят в гробиках, няня одета схимницей,— знаете, такой черный сарафан, с вышивками белым — черепа, кости и прочее, очень интересно! Евстигней, покажи дамам детскую! А мы, господа, пойдемте в спальню...

И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни: над кроватью саркофагом — черный балдахин с серебряной бахромой; поддерживали его выточенные из дуба черепа; орнамент — маленькие скелетики нежно играют могильными червяками.

— Евстигней,— объясняла она,— так поглощен своей идеей, что даже спит в саване...

Некоторые жители изумлялись:

— Спи-ит?

Она печально улыбалась.

А Евстигнейка был в душе парень честный и порою невольно думал:

«Уж если я — гений, то — что же уж? Критика пишет о влиянии, о школе Смертяшкина, а я... не верю я в это!»

Приходил Прохарчук, разминая мускулы, смотрел на него и спрашивал басом:

— Писал? Ты, брат, пиши больше. Остальное мы с твоей женой живо сделаем... Она у тебя хорошая женщина, и я ее люблю...

Смертяшкин и сам давно видел это, но по недостатку времени и любви к покою ничего не предпринимал против.

А то сядет Прохарчук в кресло поудобнее и рассказывает обстоятельно:

— Знал бы ты, брат, сколько у меня мозолей и какие! У самого Наполеона не было таких...

— Бедный мой! — вздыхала Нимфодора, а Смертяшкин пил кофе и думал:

«Как это правильно сказано, что для женщин и лакеев нет великих людей!»

Конечно, он, как всякий мужчина, был неправ в суждении о своей жене,— она весьма усердно возбуждала его энергию:

— Стегнышко! — любовно говорила она.— Ты, кажется, и вчера ничего не писал? Ты всё чаще манкируешь талантом, милый! Иди, поработай, а я пришлю тебе кофе...

Он шел, садился к столу и неожиданно сочинял совершенно новые стихи:

Сколько пошлости и вздора
Написал я, Нимфодора,
Ради тряпок, ради шубок,
Ради шляпок, кружев, юбок!

Это его пугало, и он напоминал себе:

«Дети!»

Детей было трое. Их надо было одевать в черный бархат; каждый день, в десять часов утра, к крыльцу подавали изящный катафалк, и они ехали гулять на кладбище,— всё это требовало денег.

И Смертяшкин уныло выводил строка за строкой:

Всюду жирный трупный запах
Смерть над миром пролила.
Жизнь в ее костлявых лапах,
Как овца в когтях орла.

— Видишь ли что, Стегнышко,— любовно говорила Нимфодора.— Это не совсем... как тебе сказать? Как надо сказать, Мася?

— Это — не твое, Евстигней! — говорил Прохарчук басом и с полным знанием дела.— Ты — автор «Гимнов смерти», и пиши гимны...

— Но это же новый этап моих переживаний! — возражал Смертяшкин.

— Ну, милый, ну, какие переживания? — убеждала жена.— Надобно в Ялту ехать, а ты чудишь!

— Помни,— гробовым тоном внушал Прохарчук,— что ты обещал

Прославить смерти власть
Беззлобно и покорно...

— А потом обрати внимание: «как овца в» невольно напоминает фамилию министра — Коковцев, и это может быть принято за политическую выходку! Публика глупа, политика — пошлость!

— Ну, ладно, не буду,— говорил Евстигней,— не буду! Всё едино,— ерунда!

— Имей в виду, что твои стихи за последнее время вызывают недоумение не у одной твоей жены! — предупреждал Прохарчук.

Однажды Смертяшкин, глядя, как его пятилетняя дочурка Лиза гуляет в саду, написал:

Маленькая девочка ходит среди сада,
Беленькая ручка дерзко рвет цветы...
Маленькая девочка, рвать цветы не надо,
Ведь они такие же хорошие, как ты!

Маленькая девочка! Черная, немая,
За тобою следом тихо смерть идет,
Ты к земле наклонишься,— косу поднимая,
Смерть оскалит зубы и — смеется, ждет...

Маленькая девочка! Смерть и ты — как сестры;
Ты ненужно губишь яркие цветы,
А она косою острой, вечно острой! —
Убивает деток, вот таких, как ты...

— Но это же сентиментально, Евстигней,— негодуя, крикнула Нимфодора.— Помилуй, куда ты идешь? Что ты делаешь с своим талантом?

— Не хочу я больше,— мрачно заявил Смертяшкин.

— Чего не хочешь?

— Этого. Смерть, смерть,— довольно! Мне противно слово самое!

— Извини меня, но ты — дурак!

— Пускай! Никому не известно, что такое гений! А я больше не могу... К чёрту могильность и всё это... Я — человек...

— Ах, вот как? — иронически воскликнула Нимфодора.— Ты — только человек?

— Да. И люблю всё живое...

— Но современная критика доказала, что поэт не должен считаться с жизнью и вообще с пошлостью!

— Критика? — заорал Смертяшкин.— Молчи, бесстыдная женщина! Я видел, как современная критика целовала тебя за шкафом!

— Это от восхищения твоими же стихами!

— А дети у нас рыжие,— тоже от восхищения?

— Пошляк! Это может быть результатом чисто интеллектуального влияния!

И вдруг, упав в кресло, заявила:

— Ах, я не могу больше жить с тобой!

Евстигнейка и обрадовался и в то же время испугался.

— Не можешь? — с надеждой и со страхом спросил он. — А дети?

— Пополам!

— Троих-то?

Но она стояла на своем. Потом пришел Прохарчук. Узнав, в чем дело, он огорчился и сказал Евстигнейке:

— Я думал, ты — большой человек, а ты — просто маленький мужчина!

И пошел собирать Нимфодорины шляпки. А пока он мрачно занялся этим, она говорила мужу правду:

— Ты выдохся, жалкий человек. У тебя нет больше ни таланта, ничего! Слышишь: ни-че-го!

Захлебнулась пафосом честного негодования и докончила:

— У тебя и не было ничего никогда! Если бы не я и Прохарчук — ты так всю жизнь и писал бы объявления в стихах, слизняк! Негодяй, похититель юности и красоты моей...

Она всегда в моменты возбуждения становилась красноречива.

Так и ушла она, а вскоре, под руководством и при фактическом участии Прохарчука, открыла «Институт красоты мадам Жизан из Парижа. Специальность — коренное уничтожение мозолей».

Прохарчук же, разумеется, напечатал разносную статью «Мрачный мираж», обстоятельно доказав, что у Евстигнея не только не было таланта, но что вообще можно сомневаться, существовал ли таковой поэт. Если же существовал и публика признавала его, то это — вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики.

А Евстигнейка потосковал, потосковал, и — русский человек быстро утешается! — видит: детей кормить надо!

Махнул рукой на прошлое, на всю смертельную поэзию, да и занялся старым, знакомым делом: веселые объявления для «Нового похоронного бюро» пишет, убеждая жителей:

Долго, сладостно и ярко
На земле мы любим жить,
Но придет однажды Парка
И обрежет жизни нить!

Обсудивши этот случай,
Не спеша, со всех сторон,
Предлагаем самый лучший
Матерьял для похорон!

Всё у нас вполне блестяще,
Не истерто, не старо:
Заходите же почаще
В наше «Новое бюро»!

Могильная, 16

Так все и возвратились на стези своя.

IV

Жил-был честолюбивый писатель.

Когда его ругали — ему казалось, что ругают чрезмерно и несправедливо, а когда хвалили — он думал, что хвалят мало и неумно, и так, в постоянных неудовольствиях, дожил он до поры, когда надобно было ему умирать.

Лег писатель в постель и стал ругаться:

— Ну вот — не угодно ли? Два романа не написаны... да и вообще материала еще лет на десять. Чёрт бы побрал этот закон природы и все прочие вместе с ним! Экая глупость! Хорошие романы могли быть. И придумали же такую идиотскую всеобщую повинность. Как будто нельзя иначе! И ведь всегда не вовремя приходит это — повесть не кончена...

Он — сердится, а болезни сверлят ему кости и нашептывают в уши:

— Ты — трепетал, ага? Зачем трепетал? Ты ночей не спал, ага? Зачем не спал? Ты — с горя пил, ага? А с радости — тоже?

Он морщился, морщился, наконец видит — делать нечего! Махнул рукой на все свои романы и — помер. Очень неприятно было, а — помер.

Хорошо. Обмыли его, одели приличненько, гладко причесали, положили на стол; вытянулся он, как солдат,— пятки вместе, носки врозь,— нос опустил, лежит смирно, ничего не чувствует, только удивляется:

«Как странно — совсем ничего не чувствую! Это первый раз в жизни. Жена плачет. Ладно, теперь — плачешь, а бывало, чуть что — на стену лезла. Сынишка

хнычет. Наверное, бездельником будет,— дети писателей всегда бездельники, сколько я их ни видал... Тоже, должно быть, какой-нибудь закон природы. Сколько их, законов этих!»

Так он лежал и думал, и думал, и всё удивлялся своему равнодушию — не привык к этому.

И вот — понесли его на кладбище, но вдруг он чувствует: народу за гробом мало идет.

«Нет, уж это дудки! — сказал он сам себе.— Хоть я писатель и маленький, а литературу надобно уважать!»

Выглянул из гроба — действительно: провожают его — не считая родных — девять человек, в том числе двое нищих и фонарщик, с лестницей на плече.

Ну, тут он совсем вознегодовал:

«Экие свиньи!»

И до того воодушевился обидой, что немедленно воскрес, незаметно выскочил из гроба,— человек он был небольшой,— забежал в парикмахерскую, сбрил усы и бороду, взял у парикмахера черненький пиджачок, с заплатой под мышкой, свой костюм ему оставил, сделал себе почтительно огорченное лицо и стал совсем как живой — узнать нельзя!

И даже, по любопытству, свойственному роду его занятий, спросил парикмахера:

— Не удивляет вас этот странный случай?

Тот только усы свои снисходительно поправил.

— Помилуйте-с,— говорит,— мы в России живем и вполне ко всему привыкли...

— Все-таки — покойник и вдруг переодевается...

— Мода времени-с! И какой вы покойник? Только по внешности, а вообще ежели взять,— дай бог всякому! Нынче живые-то куда неподвижнее держатся!

— А не очень я желтоват?

— Вполне в духе эпохи-с, как надо быть! Россия-с — всем желтенько живется...

Известно, что парикмахеры — первые льстецы и самый любезный народ на земле.

Простился с ним писатель и побежал догонять гроб, движимый живым желанием выразить в последний раз свое уважение к литературе; догнал — стало провожа-

тых десятеро, увеличился писателю почет. Встречный народ удивляется:

— Глядите-ка, как писателя-то хоронят, ай-яй!

А понимающие люди, проходя по своим делам, не без гордости думают:

«Заметно, что значение литературы всё глубже понимается страною!»

Идет писатель за своим гробом, будто поклонник литературы и друг умершего, беседует с фонарщиком.

— Знавали покойника?

— Как же! Кое-чем попользовался от него.

— Приятно слышать!

— Да. Наше дело — дешевое, воробьиное дело, где упало, там и клюй!

— Это как надо понять?

— Понимайте просто, господин.

— Просто?

— Ну да. Конечно, ежели смотреть с точек зрения, то — грех, однако — без жульничества никак не проживешь.

— Гм? Вы уверены?

— Обязательно так! Фонарь — как раз супротив его окна, а он каждую ночь до рассвета сиживал, ну, я фонаря и не зажигал, потому — свету из его окна вполне достаточно — стало быть, одна лампа — чистый мне доход! Полезный был человек!

Так, мирно беседуя то с тем, то с другим, дошел писатель до кладбища, а там пришлось ему речь говорить о себе, потому что у всех провожатых в тот день зубы болели,— ведь дело было в России, а там у каждого всегда что-нибудь ноет да болит.

Недурную сказал речь, в одной газете его похвалили даже:

«Кто-то от публики, напомнивший нам по внешнему облику человека сцены, произнес над могилой теплую и трогательную речь. Хотя в ней он, на наш взгляд, несомненно переоценил и преувеличил более чем скромные заслуги покойника, писателя старой школы, не употреблявшего усилий отделаться от ее всем надоевших недостатков — наивного дидактизма и пресловутой „гра-

жданственности“,— тем не менее, речь была сказана с чувством несомненной любви к слову».

А когда всё — честь честью — кончилось, писатель лег в домовину и подумал, вполне удовлетворенный:

«Ну, вот и готово, и очень всё хорошо вышло, достойно, как и следует!»

Тут он совсем умер.

Вот как надо уважать свое дело, хотя бы это была и литература!

V

А то — жил-был один барин, прожил он с лишком полжизни и вдруг почувствовал, что чего-то ему не хватает — очень встревожился.

Щупает себя — будто всё цело и на месте, а живот даже в излишке; посмотрит в зеркало — нос, глаза, уши и всё прочее, что полагается иметь серьезному человеку,— есть; пересчитает пальцы на руках — десять, на ногах — тоже десять, а все-таки чего-то нет!

— Что за оказия?

Спрашивает супругу:

— А как ты думаешь, Митродора, у меня всё в порядке?

Она уверенно говорит:

— Всё!

— А мне иногда кажется...

Как женщина религиозная, она советует:

— Если кажется — прочитай мысленно «Да воскреснет бог и расточатся врази его»...

Друзей исподволь пытает о том же, друзья отвечают нечленораздельно, а смотрят — подозрительно, как бы предполагая в нем нечто вполне достойное строгого осуждения.

«Что такое?» — думает барин в унынии.

Стал вспоминать прошлое — как будто всё в порядке: и социалистом был, и молодежь возмущал, а потом ото всего отрекся и давно уже собственные посевы своими же ногами усердно топчет. Вообще — жил как все, сообразно настроению времени и внушениям его.

Думал-думал и вдруг — нашел:

«Господи! Да у меня же национального лица нет!»

Бросился к зеркалу — действительно, лицо неясное, вроде слепо и без запятых напечатанной страницы перевода с иностранного языка, причем переводчик был беззаботен и малограмотен, так что совсем нельзя понять, о чем говорит эта страница: не то требует душу свободе народа в дар принести, не то утверждает необходимость полного признания государственности.

«Гм, какая, однако, путаница! — подумал барин и тотчас же решил: — Нет, с таким лицом неудобно жить...»

Начал ежедневно дорогими мылами умываться — не помогает: кожа блестит, а неясность остается. Языком стал облизывать лицо — язык у него был длинный и привешен ловко, журналистикой барин занимался — и язык не приносит ему пользы. Применил японский массаж — шишки вскочили, как после доброй драки, а определенности выражения — нет!

Мучился-мучился, всё без успеха, только весу полтора фунта потерял. И вдруг на счастье свое узнает он, что пристав его участка фон Юденфрессер весьма замечательно отличается пониманием национальных задач,— пошел к нему и говорит:

— Так и так, ваше благородие, не поможете ли в затруднении?

Приставу, конечно, лестно, что вот — образованный человек, недавно еще в нелегальностях подозревался, а ныне — доверчиво советуется, как лицо переменить. Хохочет пристав и, в радости великой, кричит:

— Да ничего же нет проще, милейший вы мой! Браллиант вы мой американский, да потритесь вы об инородца, оно сразу же и выявится, истинное-то ваше лицо...

Тут и барин обрадовался — гора с плеч! — лояльно хихикает и сам на себя удивляется:

— А я-то не догадался, а?

— Пустяки всего дела!

Расстались закадычными друзьями, сейчас же барин побежал на улицу, встал за угол и ждет, а как только увидал мимо идущего еврея, наскочил на него и давай внушать:

— Ежели ты,— говорит,— еврей, то должен быть русским, а ежели не хочешь, то...

А евреи, как известно из всех анекдотов, нация нервозная и пугливая, этот же был притом характера капризного и терпеть не мог погромов,— развернулся он да и ударь барина по левой щеке, а сам отправился к своему семейству.

Стоит барин, прислонясь к стенке, потирает щеку и думает:

«Однако выявление национального лица сопряжено с ощущениями не вполне сладостными! Но — пусть! Хотя Некрасов и плохой поэт, всё же он верно сказал:

Даром ничто не дается,— судьба
Жертв искупительных просит...»

Вдруг идет кавказец, человек — как это доказано всеми анекдотами — некультурный и пылкий, идет и орет:

— Мицхалэс саклэс мингрулэ-э...

Барин — на него:

— Нет,— говорит,— позвольте! Ежели вы грузин, то вы — тем самым — русский и должны любить не саклю мингрельца, но то, что вам прикажут, а кутузку — даже без приказания...

Оставил грузин барина в горизонтальном положении и пошел пить кахетинское, а барин лежит и соображает:

«Од-днако же? Там еще татары, армяне, башкиры, киргизы, мордва, литовцы — господи, сколько! И это — не все... Да потом еще свои, славяне...»

А тут как раз идет украинец и, конечно, поет крамольно:

Добре було нашим батькам
На Вкрапни жити...

— Нет,— сказал барин, поднимаясь на ноги,— вы уж будьте любезны отныне употреблять еры, ибо, не употребляя оных, вы нарушаете цельность империи...

Долго он ему говорил разное, а тот всё слушал, ибо — как неопровержимо доказывается всеми сбор-

никами малороссийских анекдотов — украинцы народ медлительный и любят дело делать не торопясь, а барин был человек весьма прилипчивый...

...Подняли барина сердобольные люди, спрашивают:

— Где живете?

— В Великой России...

Ну, они его, конечно, в участок повезли.

Везут, а он, ощупывая лицо, не без гордости, хотя и с болью, чувствует, что оно значительно уширилось, и думает:

«Кажется, приобрел...»

Представили его фон Юденфрессеру, а тот, будучи ко своим гуманен, послал за полицейским врачом, и, когда пришел врач, стали они изумленно шептаться между собою, да всё фыркают, несоответственно событию.

— Первый случай за всю практику,— шепчет врач.— Не знаю, как и понять...

«Что б это значило?» — думает барин, и спросил:

— Ну, как?

— Старое — всё стерлось,— ответил фон Юденфрессер.

— А вообще лицо — изменилось?

— Несомненно, только, знаете...

Доктор же утешительно говорит:

— Теперь у вас, милостивый государь, такое лицо, что хоть брюки на него надеть...

Таким оно и осталось на всю жизнь.

Морали тут нет.

VI

А другой барин любил оправдывать себя историей — как только захочется ему соврать что-нибудь, он сейчас подходящему человеку и приказывает:

— Егорка, ступай надергай фактов из истории в доказательство того, что она не повторяется, и наоборот...

Егорка — ловкий, живо надергает, барин украсится фактами, сообразно требованиям обстоятельств, и доказывает всё, что ему надобно, и неуязвим.

А был он, между прочим, крамольник — одно время все находили, что нужно быть крамольниками, и друг другу смело указывали:

— У англичан — Хабеас корпус, а у нас — циркуляры!

Очень остроумно издевались над этим различием между нациями.

Укажут и, освободясь от гражданской скорби, сядут, бывало, винтить до третьих петухов, а когда оные возгласят приход утра — барин командует:

— Егорка, дерни что-нибудь духоподъемное и отвечающее моменту!

Егорка встанет в позу и, перст подняв, многозначительно напомнит:

На святой Руси петухи поют —
Скоро будет день на святой Руси!..

— Верно! — говорят господа.— Обязательно,— должен быть день...

И пойдут отдохнуть.

Хорошо. Но только вдруг народ начал беспокойно волноваться, заметил это барин, спрашивает:

— Егорка — почему народ трепещет?

А тот, с удовольствием, доносит:

— Народ хочет жить по-человечески...

Тут барин возгордился:

— Ага! Это кто ему внушил? Это — я внушил! Пятьдесят лет я и предки мои внушали, что пора нам жить по-человечески, ага?

И начал увлекаться, то и дело гоняет Егорку:

— Надергай фактов из истории аграрного движения в Европе... из Евангелия текстов, насчет равенства... из истории культуры, о происхождении собственности — живо!

Егорка — рад! Так и мечется, даже в мыле весь, все книжки раздергал, одни переплеты остались, ворохами барину разные возбудительные доказательства тащит, а барин его похваливает:

— Старайся! При конституции я тебя в редактора большой либеральной газеты посажу!

И, окончательно осмелев, лично внушает самым разумным мужикам:

— Еще,— говорит,— братья Гракхи в Риме, а потом в Англии, в Германии, во Франции... и всё это исторически необходимо! Егорка — факты!

И тотчас на фактах докажет, что всякий народ обязан желать свободы, хотя бы начальство и не желало оной.

Мужики, конечно, рады — кричат:

— Покорнейше благодарим!

Всё пошло очень хорошо, дружно, в любви христианской и взаимном доверии, только — вдруг мужики спрашивают:

— Когда уйдете?

— Куда?

— А долой?

— Откуда?

— С земли...

И смеются — вот чудак! Всё понимает, а самое простое перестал понимать.

Они — смеются, а барин — сердится...

— Позвольте,— говорит,— куда же я уйду, ежели земля — моя?

А мужики ему не верят:

— Как — твоя, ежели ты сам же говорил, что господня и что еще до Исуса Христа некоторые справедливцы знали это?

Не понимает он их, а они — его, и снова барин Егорку за бока:

— Егорка, ступай надергай изо всех историй...

А тот ему довольно независимо отвечает:

— Все истории раздерганы на доказательства противного...

— Врешь, крамольник!

Однако — верно: бросился он в библиотеку, смотрит — от книжек одни корешки да пустые переплеты остались; даже вспотел он от неожиданности этой и огорченно воззвал ко предкам своим:

— И кто вас надоумил создать историю столь односторонне! Вот и наработали... эхма! Какая это история, к чёрту?

А мужики свое тянут:

— Так,— говорят,— прекрасно ты нам доказал, что уходи скорей, а то прогоним...

Егорка же окончательно мужикам передался, нос в сторону воротит и даже при встрече с барином фыркать начал:

— Хабеас корпус, туда же! Либ-берал, туда же...

Совсем плохо стало. Мужики начали песни петь и на радостях стог баринова сена по своим дворам развезли.

И вдруг — вспомнил барин, что у него еще есть кое-что в запасе: сидела на антресолях прабабушка, ожидая неминучей смерти, и была она до того стара, что все человеческие слова забыла — только одно помнит:

— Не давать...

С шестьдесят первого года ничего кроме не могла говорить.

Бросился он к ней в большом волнении чувств, припал родственно к ногам ее и взывает:

— Мать матерей, ты — живая история...

А она, конечно, бормочет:

— Не давать...

— Но — как же?

— Не давать...

— А они меня — на поток и разграбление?

— Не давать...

— А дать ли силу нежеланию моему известить губернатора?

— Не давать...

Внял он голосу истории живой и послал от лица прабабушки трогательную депешу, а сам вышел к мужикам и оповещает:

— Испугали вы старушку, и послала она за солдатами — успокойтесь, ничего не будет, я солдат до вас не допущу!

Ну, прискакали грозные воины на лошадях, дело зимнее, лошади дорогой запотели, а тут дрожат, инеем покрылись,— стало барину лошадей жалко, и поместил он их у себя в усадьбе — поместил и говорит мужикам:

— Сенцо, которое вы у меня не совсем правильно увезли,— возвратите-ка лошадкам этим, ведь скотина — она ни в чем не виновата, верно?

Войско было голодное, поело всех петухов в деревне, и стало вокруг барина тихо. Егорка, конечно, опять на баринову сторону перекинулся, и по-прежнему барин его употребляет для истории: купил новый экземпляр и велел вымарать все факты, которые способны соблазнить на либерализм, а те, которые нельзя вымарать, приказал наполнить новым смыслом.

Егорке — что? Он ко всему способен, он даже для благонадежности порнографией начал заниматься, а все-таки осталось у него в душе светлое пятно и, марая историю за страх,— за совесть он сожалительные стиширы пишет и печатает их под псевдонимом: П. Б., что значит «побежденный борец».

О вестник утра, красный петел!
Почто умолк твой гордый клич?
Сменил тебя—как я заметил—
Угрюмый сыч.

Не хочет будущего барин,
И снова в прошлом все мы днесь...
А ты, о петел, был зажарен
И съеден весь...

Когда нас снова к жизни взманит?
И кто нам будет утро петь?
Ах, если петухов не станет —
Проспим мы ведь!

А мужики, конечно, успокоились, живут смирно и от нечего делать похабные частушки сочиняют:

Эх, мать честна!
Вот придет весна,—
Малость мы поохаем
Да с голоду подохнем!

Русский народ — веселый народ...

VII

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи — обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей.

Порядок был такой: как только коренное население станет обнаруживать недовольство бытием своим — из наблюдательных за порядками пунктов, со стороны их благородий, раздается чарующий надеждами зов:

— Народ, приблизься к седалищу власти!

Народ привлечется, а они его — совращать:

— Отчего волнение?

— Ваши благородия — жевать нечего!

— А зубы есть еще?

— Маленько есть...

— Вот видите — всегда вы ухитряетесь что-нибудь да скрыть от руки начальства!

И ежели их благородия находили, что волнение усмиримо посредством окончательного выбития зубов, то немедля прибегали к этому средству; если же видели, что это не может создать гармонии отношений, то обольстительно добивались толку:

— Чего ж вы хотите?

— Землицы бы...

Некоторые, в свирепости своего непонимания интересов государства, шли дальше и клянчили:

— Леформов бы каких-нибудь, чтобы, значит, зубья, ребры и внутренности наши считать вроде как бы нашей собственностью и зря не трогать!

Тут их благородия и начинали усовещивать:

— Эх, братцы! К чему эти мечты? «Не о хлебе едином...» — сказано, и еще сказано: «За битого двух небитых дают!»

— А они согласны?

— Кто?

— Небитые-то?

— Господи! Конечно! К нам в третьем году, после Успенья, англичане просились — вот как! Сошлите, просят, весь ваш народ куда-нибудь в Сибирь, а нас на его место посадите, мы, говорят, вам и подати аккуратно платить будем, и водку станем пить по двенадцать ведер в год на брата, и вообще. Нет, говорим, зачем же? У нас свой народ хорош, смирный, послушный, мы и с ним обойдемся. Вот что, ребята, вам бы лучше, чем волноваться зря, пойти бы да жидов потрепать, а? К чему они?

Коренное население подумает-подумает, видит — нельзя ждать никакого толка, кроме предначертанного начальством, и решается:

— Ну ин, айдати, ребя, благословясь!

Разворотят домов полсотни, перебьют несколько еврейского народу и, устав в трудах, успокоятся в желаниях, а порядок — торжествует!..

Кроме их благородий, коренного населения и евреев для отвода волнений и угашения страстей, существовали в оном государстве добрые люди, и после каждого погрома, собравшись всем своим числом — шестнадцать человек,— заявляли миру письменный протест:

«Хотя евреи суть тоже русские подданные, но мы убеждены, что совершенно истреблять их не следует, и сим — со всех точек зрения — выражаем наше порицание неумеренному уничтожению живых людей.

Гуманистов. Фитоедов. Иванов. Кусайгубин. Торопыгин. Крикуновский. Осип Троеухов. Грохало. Фигофобов. Кирилл Мефодиев. Словотеков. Капитолина Колымская. Подполковник в отставке Непейпиво. Пр. пов. Нарым. Хлопотунский. Притулихин. Гриша Будущев, семи лет, мальчик».

И так после каждого погрома, с той лишь разницей, что Гришин возраст изменялся, да за Нарыма — по случаю неожиданного выезда его в одноименный город — Колымская подписывалась.

Иногда на эти протесты отзывалась провинция: «Сочувствую и присоединяюсь» — телеграфировал из Дремова Раздергаев; Заторканный из Мямлина тоже присоединялся, а из Окурова — «Самогрызов и др.»,

причем для всех было ясно, что «др.» — он выдумал для пущей угрожаемости, ибо в Окурове никаких «др.» не было.

Евреи, читая протесты, еще пуще плачут, и вот однажды один из них — человек очень хитрый — предложил:

— Вы знаете что? Нет? Ну, так давайте перед будущим погромом спрячем всю бумагу, и все перья, и все чернила и посмотрим — что они будут делать тогда, эти шестнадцать и с Гришем?

Народ дружный — сказано-сделано: скупили всю бумагу, все перья, спрятали, а чернила — в Черное море вылили и — сидят, дожидаются.

Ну, долго ждать не пришлось: разрешение получено, погром произведен, лежат евреи в больницах, а гуманисты бегают по Петербургу, ищут бумаги, перьев — нет бумаги, нет перьев, нигде, кроме как в канцеляриях их благородий, а оттуда — не дают!

— Ишь вы! — говорят.— Знаем мы, для каких целей вам это надобно! Нет, вы обойдетесь без этого!

Хлопотунский умоляет:

— Да — как же?

— Ну уж,— говорят,— достаточно мы вас протестам обучали, сами догадайтесь...

Гриша,— ему уже сорок три года минуло,— плачет.

— Хосю плотестовать!

А — не на чем!

Фигофобов мрачно догадался:

— На заборе бы, что ли?

А в Питере и заборов нет, одни решетки.

Однако побежали на окраину, куда-то за бойни, нашли старенький заборчик, и, только что Гуманистов первую букву мелом вывел, вдруг — якобы с небес спустясь — подходит городовой и стал увещевать:

— Это что же будет? За эдакое надписание мальчишек шугают, а вы солидные будто господа — ай-яй-яй!

Конечно, он их не понял, думая, что они — литераторы их тех, которые под 1001-ю статью пишут, а они сконфузились и разошлись — в прямом смысле — по домам.

Так один погром и остался не опротестован, а гуманисты — без удовольствия.

Справедливо говорят люди, понимающие психологию рас,— хитрый народ евреи!

VIII

Вот тоже — жили-были два жулика, один черненький, а другой рыжий, но оба бесталанные: у бедных воровать стыдились, богатые были для них недосягаемы, и жили они кое-как, заботясь, главное, о том, чтобы в тюрьму, на казенные хлеба попасть.

И дожили эти лодыри до трудных дней: приехал в город новый губернатор, фон дер Пест, осмотрелся и приказал:

«От сего числа все жители русской веры, без различия пола, возраста и рода занятий, должны, не рассуждая, служить отечеству».

Товарищи черненького с рыжим помялись, повздыхали и все разошлись: кто — в сыщики, кто — в патриоты, а которые половчее — и туда и сюда, и остались рыжий с черненьким в полном одиночестве, во всеобщем подозрении. Пожили с неделю после реформы, подвело им животы, не стерпел дальше рыжий и говорит товарищу:

— Ванька, давай и мы отечеству служить?

Сконфузился черненький, опустил глаза и говорит:

— Стыдно...

— Мало ли что! Многие сытней нас жили, однако — пошли же на это!

— Им всё равно в арестантские роты срок подходил...

— Брось! Ты гляди: нынче даже литераторы учат: «Живи как хошь, всё равно — помрешь»...

Спорили, спорили, так и не сошлись.

— Нет,— говорит черненький,— ты — валяй, а я лучше жуликом останусь...

И пошел по своим делам: калач с лотка стянет и не успеет съесть, как его схватят, изобьют и — к мировому, а тот честным порядком определит его на казен-

ную пищу. Посидит черненький месяца два, поправится желудком, выйдет на волю — к рыжему в гости идет.

— Ну, как?

— Служу.

— Чего делаешь?

— Ребенков истребляю.

Будучи в политике невеждой, черненький удивляется:

— Почто?

— Для успокоения. Приказано всем — «будьте спокойны», — объясняет рыжий, а в глазах у него уныние.

Качнет черненький головой и — опять к своему делу, а его — опять в острог на прокормление. И просто, и совесть чиста.

Выпустят — он опять к товарищу,— любили они друг друга.

— Истребляешь?

— Да ведь как же...

— Не жаль?

— Уж я выбираю которые позолотушнее...

— А подряд — не можешь?

Молчит рыжий, только вздыхает тяжко и — линяет, желтым становится.

— Как же ты?

— Да так всё... Наловят их где-нибудь, приведут ко мне и велят правды от них добиваться, добиться же ничего нельзя, потому что они помирают... Не умею я, видно...

— Скажи ты мне — для чего это делается? — спрашивает черненький.

— Интересы государства требуют,— говорит рыжий, а у самого голос дрожит и слезы на глазах.

Задумался черненький — очень жалко ему товарища — какую бы для него деятельность независимую открыть?

И вдруг — вспыхнул!

— Слушай — денег наворовал?

— Да ведь как же? Привычка...

— Ну, так вот что — издавай газету!

— Зачем?

— Объявления о резиновых изделиях печатать будешь...

Это рыжему понравилось, ухмыльнулся.

— Чтобы не было ребенков?

— А конечно! Чего их на мучения рожать?

— Это верно! Только — газета зачем?

— Для прикрытия торговли, чудак!

— Сотрудники, пожалуй, не согласятся?

Черненький даже свистнул.

— Вона! Ныне сотрудники сами себя живьем в премии предлагают подписчицам...

На том и решили: стал рыжий газету издавать, «при участии лучших литературных сил», открыл при конторе постоянную выставку парижских изделий, а над помещением редакции, ради соблюдения приличий, учредил дом свиданий для высокопоставленных лиц.

Дела пошли хорошо, живет рыжий, толстеет, начальство им довольно, и на визитных карточках у него напечатано:

«Вдоль Поперек
Ивсяко

Редактор-издатель газеты „Туда-сюда“, директор-учредитель „Сладкого отдыха администраторов, утомленных преследованием законности“. Тут же торговля презервативами оптом и в розницу».

Выйдет черненький из острога, зайдет к товарищу чайку попить, а рыжий его — шампанским угощает и хвалится:

— Я, брат, теперь даже умываться стал не иначе, как шампанским, ей-богу!

И, зажмурив глаза от восторга, умильно говорит:

— Хорошо ты меня надоумил! Вот это — служба отечеству! Все довольны!

А черненький тоже рад:

— Ну, вот и живи! Отечество у нас невзыскательно.

Растрогается рыжий — приглашает товарища:

— Вань, айда ко мне в репортеры!

Смеется черненький:

— Нет, браток, я, должно быть, кончерватор, уж я останусь жуликом, по-старинному...

Морали тут нет никакой. Ни зерна.

IX

Однажды начальство, утомясь в борьбе с инакомыслящими и желая наконец опочить на лаврах, приказало наистрожайше:

«Сим предписывается привести в наличность всех инакомыслящих, без стеснения извлекая оных из-под всяческих прикрытий, а по обнаружении искоренить дотла различными подходящими для того мерами».

Исполнение сего приказа было возложено на вольнонаемного истребителя живых существ обоего пола и всех возрастов Оронтия Стервенко, бывшего капитана службы его высочества короля фуэгийцев и властелина Огненной Земли, для чего и было ассигновано Оронтию шестнадцать тысяч рублей.

Не потому Оронтий к сему делу призван был, чтобы своих дошлых не нашлось, а потому, что был он неестественно страховиден, отличался волосатостью, позволявшей ему ходить голым во всех климатах, а зубов имел по два ряда — шестьдесят четыре штуки полностью, чем и заслужил особенное доверие начальства.

Но, несмотря на все эти качества, и он задумался жестоко:

«Как их обнаружишь? Они — молчат!»

А действительно, житель в этом городе был муштрованный — все друг друга боялись, считая провокаторами, и совершенно ничего не утверждали, даже с маменьками разговаривая в условной форме и на чужом языке:

— N'est-ce pas? [1]

---

[1] Не так ли? *(Франц.)*.

— Maman, пора бы обедать, n'est-ce pas?

— Maman, а не сходить ли нам сегодня в кинематограф, n'est-ce pas?

Однако, подумав достаточно, пашел-таки Стервенко способ вскрытия тайных помыслов: вымыл волосы перекисью водорода, в нужных местах побрился и стал блондином унылого вида, а потом надел костюм печального цвета, и — не узнать его!

Выйдет вечером на улицу и раздумчиво ходит, а завидя, что житель, послушный голосу природы, крадется куда-то,— нападет на него с левого бока и вызывающе шепчет:

— Товарищ, неужели вы довольны этим существованием?

Сначала житель замедляет шаги, как бы что-то вспоминая, но чуть вдали покажется будочник — тут житель сразу и обнаружит себя:

— Городовой, дер-ржи его...

Стервенко тигром прыгал через забор и, сидя в крапиве, размышлял:

«Эдак их не возьмешь, закономерно действуют, черти!»

А тем временем — ассигновка тает.

Переоделся повеселее и начал уловлять иным приемом: подойдет к жителю смело и спрашивает:

— Господин, желаете в провокаторы поступить?

А житель хладнокровно осведомляется:

— Сколько жалованья?

Другие же вежливо отклоняют:

— Благодарю вас, я уже ангажирован!

«Н-да,— думает Оронтий,— поди-ка поймай его!»

Между тем ассигновка как-то сама собою умаляется.

Заглянул было в «Общество всесторонней утилизации выеденных яиц», но оказалось, что оное состоит под высоким давлением трех епископов и жандармского генерала, а заседает однажды в год, но зато каждый раз по особому разрешению из Петербурга.

Скучает Оронтий, и от этого ассигновка как будто скоротечной чахоткой заболела.

Тут он рассердился.

— Ладно же!

И начал действовать прямо: подойдет к жителю и без предисловий спрашивает его:

— Существованием доволен?

— Вполне!

— Ну, а начальство недовольно! Пожалуйте...

А кто скажет — недоволен, того, разумеется:

— Взять!

— Позвольте...

— Чего-с?

— Да я недоволен тем, что оно недостаточно твердо.

— Да-с? Взз...

Таким способом набрал он в течение трех недель десять тысяч разных существ и сначала посажал их куда можно, а потом стал развешивать, но — для экономии — за средства самих же обывателей.

И всё пошло очень хорошо. Только однажды главное начальство поехало на охоту за зайцами, а выехав из города, видит — на полях чрезвычайное оживление и картина мирной деятельности граждан — друг друга обкладывают доказательствами виновности, вешают, закапывают, а Стервенко ходит промежду ними с жезлом в руках и поощряет:

— Тор-ропись! Ты, брюнет, веселее! Эй, почтенный, вы чего остолбенели? Петля готова — ну, и полезайте, нечего задерживать других! Мальчик, эй, мальчик, зачем прежде папаши лезешь? Господа, не торопитесь, все успеете... Годы терпели, ожидая успокоения, несколько минут потерпеть можно! Мужик, куда?.. Невежа...

Смотрит начальство, сидя на хребте ретивого коня, и думает:

«Однако много он их набрал, молодчина! То-то в городе все окна наглухо забиты...»

И вдруг видит — собственная его тетушка висит, не касаясь ногами тверди земной,— очень удивился.

— Кто распорядился?

Стервенко тут как тут.

— Я, вашество!

Тут начальник сказал:

— Ну, брат, кажется, ты — дурак и едва ли не зря казенные суммы тратишь! А представь-ка мне отчет.

Представил Стервенко отчет, а там сказано:

«Во исполнение предписания об искоренении инакомыслящих мною таковых обоего пола обнаружено и посажено 10 107.

Из них:

положено	729	об. п.
повешено	541	» »
непоправимо испорчено	937	» »
не дожили	317	» »
сами себя	63	» »
Итого искоренено	1 876	» »
На сумму	16 884	р.,

считая по семи целковых за штуку со всем.

А перерасходовано . . . . . 884 р.»

В ужас пришло начальство, трясется и бормочет:

— Пере-расхо-од? Ах ты, фуэгиец! Да вся твоя Огненная Земля с королем и с тобою вместе 800 рублей не стоит! Ты подумай — ведь если ты такими кусками воровать будешь, то я — особа, вдесятеро тебя высшая,— как же тогда? Да ведь при таких аппетитах России-то на три года не хватит, а между тем не один ты жить хочешь — можешь ты это понять? И притом же 380 человек лишних приписано, ведь те, которые «не дожили», и те, что «сами себя»,— это же явно лишние! А ты, грабитель, и за них считаешь?..

— Ваше-ство! — оправдывается Оронтий,— так ведь это я же их до отвращения к жизни довел.

— И за это по семи целковых? Да еще, вероятно, ни к чему не причастных сколько подложено! Всех жителей в городе двенадцать тысяч было — нет, голубчик, я тебя под суд отдам!

Действительно, назначили строжайшее расследование действий фуэгийца, и обпаружилось, что повинен он в растрате 916 казенных рублей.

Судили Оронтия справедливым судом, приговорили его на три месяца в тюрьму, испортили карьеру, и — пропал фуэгиец на три месяца!

Не легкое это дело — начальству угодить...

X

Один добродушный человек думал-думал — что делать?

И решил:

«Не стану сопротивляться злу насилием, одолею его терпением!»

Человек он был не без характера,— решил, сидит и терпит.

А соглядатаи Игемоновы, узнав об этом, тотчас доложили:

«Среди жителей, подлежащих усмотрению, некоторый вдруг начал вести себя неподвижно и бессловесно, явно намереваясь ввести начальство в заблуждение, будто его совсем нет».

Освирепел Игемон.

— Как? Кого — нет? Начальства нет? Представить!

А когда представили — повелел:

— Обыскать!

Обыскали, лишили ценностей, как-то: взяли часы и кольцо обручальное, червонного золота, золотые пломбы из зубов выковыряли, подтяжки новенькие сняли, пуговицы отпороли, и докладывают:

— Готово, Игемон!

— Ну, что — ничего?

— Ничего, а что было лишнего — отобрано!

— А в голове?

— И в голове будто ничего.

— Допустите!

Вошел житель к Игемону, и уже по тому, как он штаны поддерживал,— узрел и понял Игемон его полную готовность ко всем случайностям жизни, но, желая произвести сокрушающее душу впечатление, все-таки взревел грозно:

— Ага, житель, явился?!

А житель кротко сознается:

— Весь пришел.

— Ты что же это, а?

— Я, Игемоне, ничего! Просто — решил я побеждать терпением...

Ощетинился Игемон, рычит:

— Опять? Опять побеждать?

— Да я — зло...

— Молчать!

— Да я не вас подразумеваю...

Игемон не верит:

— Не меня? А кого?

— Себя.

Удивился Игемон.

— Стой! В чем зло?

— В сопротивлении оному.

— Врешь?

— Ей-богу...

Игемона даже пот прошиб.

«Что с ним?» — думает он, глядя на жителя, а подумав, спрашивает:

— Чего ж ты хочешь?

— Ничего не хочу.

— Так-таки — ничего?

— Ничего! Разрешите мне поучать народ терпению личным моим примером.

Опять задумался Игемон, кусая усы. Имел он душу мечтательную, любил в бане париться, причем сладострастно гоготал, был вообще склонен к постоянному испытанию радостей жизни, единственно же чего терпеть не мог,— так это сопротивления и строптивости, против коих действовал умягчающими средствами, превращая в кашу хрящи и кости строптивцев. Но в свободные от испытания радости и умягчения жителей часы — весьма любил мечтать о мире всего мира и о спасении душ наших.

Смотрит он на жителя и — недоумевает.

— Давно ли еще? И — вот!

Потом, придя в мягкие чувства, спросил, вздохнув:

— Как же это случилось с тобой, а?

И ответил житель:

— Эволюция...

— Н-да, брат, вот она жизнь наша! То — то, то — другое... Во всем недород. Качаемся-качаемся, а на какой бок лечь — не знаем... не можем выбрать, да-а...

И еще вздохнул Игемон: все-таки — человек и отечество жалел, кормился от него. Обуревают Игемона разные опасные мысли:

«Приятно видеть жителя мягким и укрощенным — так! Но, однако, если все перестанут сопротивляться,— не повело бы сие к сокращению суточных и прогонных? А также и наградные могут пострадать... Да нет, не может быть, чтобы он совсем иссяк,— притворяется, шельма! Надобно его испытать. Как употреблю? В провокаторы? Выражение лица распущенное, никакой маской это безличие не скрыть, да и красноречие у него, видимо, тусклое. В палачи? Слабосилен...»

Наконец придумал и — говорит услужающим:

— Определите сего блаженного в третью пожарную часть конюшни чистить!

Определили. Чистит бестрепетно житель конюшни, а Игемон смотрит, умиляется трудотерпению его, и растет в нем доверие к жителю.

«Кабы все эдак-то!»

По малом времени испытания возвел его до себя и дал переписать собственноручно им фальшиво составленный отчет о приходо-расходе разных сумм,— переписал житель и — молчит.

Окончательно умилился Игемон, даже до слез.

«Нет, это существо полезное, хотя и грамотное!..»

Зовет жителя пред лицо свое и говорит:

— Верю! Иди и проповедуй истину твою, но, однако, гляди в оба!

Пошел житель по базарам, по ярмаркам, по большим городам, по маленьким и везде возглашает:

— Вы чего делаете?

Видят люди — личность, располагающая к доверию и кротости необыкновенной, сознаются пред ним, кто в чем виноват, и даже заветные мечты открывают: один — как бы украсть безнаказанно, другой — как бы надуть, третьему — как бы оклеветать кого-нибудь, а

все вместе — как люди ископно русские— желают уклониться от всех повинностей пред жизнью и обязанности забыть.

Он им и говорит:

— А вы — бросьте всё! Потому сказано: «Всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желаниям, следовательно, чтобы уничтожить страдание — надо уничтожить желания». Вот! Перестанемте желать, и всё само собою уничтожится — ей-богу!

Люди, конечно, рады: и правильно и просто. Сейчас же, где кто стоял, там и лег. Свободно стало, тихо...

Долго ли, коротко ли, но только замечает Игемон, что уж очень смиренно вокруг и как будто жутко даже, но — храбрится.

«Притворились, шельмы!»

Одни насекомые, продолжая исполнять свои природные обязанности, неестественно размножаются, становясь всё более дерзкими в поступках своих.

«Однако — какая безглагольность!» — думает Игемон, ежась и почесываясь всюду.

Зовет услужающего кавалера из жителей.

— Ну-ка, освободи меня от лишних...

А тот ему:

— Не могу.

— Что-о?

— Никак не могу, потому хотя они и беспокоят, но — живые, а...

— А вот я тебя самого покойником сделаю!

— Воля ваша.

И так — во всем. Все единодушно говорят — воля ваша, а как он прикажет исполнить его волю — скука начинается смертная. Дворец Игемона разваливается, крысы его заполнили, едят дела и, отравляясь, издыхают. Сам Игемон всё глубже погружается в неделание, лежит на диване и мечтает о прошлом — хорошо тогда жилось! Жители разнообразно сопротивлялись циркулярам, некоторых надо было смертию казнить, отсюда — поминки с блинами, с хорошим угощением! То там житель пытается что-нибудь сделать, надобно ехать и

запрещать действие, отсюда — прогонные! Доложишь куда следует, что «во вверенном мне пространстве все жители искоренены»,— отсюда наградные, и свежих жителей пришлют!

Мечтает Игемон о прошлом, а соседи, Игемоны других племен, живут себе, как жили, на своих основах, жители у них сопротивляются друг другу кто чем может и где надо, шум у них, бестолочь, движение всякое, а — ничего, и полезно им и вообще — интересно.

И вдруг догадался Игемон:

«Батюшки! А ведь подкузьмил меня житель-то!»

Вскочил, побежал по своей стране, толкает всех, треплет, приказывает:

— Встань, проснись, подымись!

Хоть бы что!

Он их за шиворот, а шиворот сгнил и не держит.

— Черти! — кричит Игемон в полном беспокойстве.— Что вы? Поглядите на соседей-то!.. Даже вон Китай...

Молчат жители, прильнув к земле.

«Господи! — затосковал Игемон.— Что делать?»

И пошел на обман: наклонится к жителю да в ухо ему и шепчет:

— Эй, гражданин! Отечество в опасности, ей-богу, вот те крест — в серьезнейшей опасности! Вставай — надобно сопротивляться... Слыхать, что будет разрешена всякая самодеятельность... гражданин!

А гражданин, истлевая, бормочет:

— От-течество мое в боге...

Другие же просто молчат, как обиженные покойники.

— Фаталисты окаянные! — кричит Игемон в отчаянии.— Подымайся! Разрешено всякое сопротивление...

Один какой-то бывший весельчак и мордобоец приподнялся несколько, поглядел и говорит:

— А чему сопротивляться? Вовсе и нет ничего...

— Да насекомые же...

— Мы к ним привыкли!

Окончательно исказился разум Игемонов, встал он в пупе своей земли и орет источным голосом:

— Всё разрешаю, батюшки! Спасайся! Делай! Всё разрешаю! Ешь друг друга!

Тишина и покой отрадный.

Видит Игемон — кончено дело!

Зарыдал, облился горючими слезами, волосья на себе рвет, взывает:

— Жители! Милые! Что же теперь — самому мне, что ли, революцию-то делать? Опомнитесь, ведь исторически необходимо, национально неизбежно... Ведь не могу же я сам, один революцию делать, у меня даже и полиции для этого нету, насекомые всю сожрали...

А они только глазами хлопают и — хоть на кол их сажай — не пикнут!

Так все молча и примерли, а отчаявшийся Игемон — после всех.

Из чего следует, что даже и в терпении должна быть соблюдаема умеренность.

XI

Наконец мудрейшие из жителей задумались надо всем этим:

«Что такое? Куда ни глянь — кругом шестнадцать!»

И, солидно подумав, решили:

— Всё это оттого, что нет у нас личности. Необходимо нам создать центральный мыслящий орган, совершенно свободный от всяких зависимостей и вполне способный возвыситься надо всем и встать впереди всего,— вот как, например, козел — в стаде баранов...

Некто возразил:

— Братцы, а не довольно ли уж претерпели мы от центральных личностей?..

Не понравилось.

— Это, кажется, нечто от политики и даже с гражданской скорбью?

Некто всё тянет:

— Да ведь как же без политики, ежели она всюду проникает? Я, конечно, имею в виду, что в тюрьмах — тесно, в каторге — повернуться негде и что необходимо расширение прав...

Но ему строго заметили:

— Это, сударь мой, идеология, и пора бросить!.. Необходим же новый человек и более ничего...

И вслед за сим принялись создавать человека по приемам, указанным в святоотческих преданиях: плюют на землю и размешивают, сразу по уши в грязи перепачкались, но результаты — жиденькие. В судорожном усердии своем все цветы редкие на земле притоптали и злаки полезные также изничтожили,— стараются, потеют, напрягаются — ничего не выходит, кроме буесло-

вия и взаимных обвинений в неспособности к творчеству. Даже стихии из терпения вывели усердием своим: вихри дуют, громы гремят, сладострастный зной опаляет размокшую землю, ибо — льют ливни и вся атмосфера насытилась тяжкими запахами — дышать невозможно!

Однако же время от времени этот кавардак со стихиями как бы разъясняется, и — се выходит на свет божий новая личность!

Возникает общее ликование, но — увы, кратковременное оно и быстро разрешается в тягостное недоумение.

Ибо — ежели на мужицкой земле произрастет новая личность, то немедля же становится тертым купцом и, входя в жизнь, начинает распродавать отечество иноземцам по кускам, от сорока пяти копеек ценою, вплоть до страстного желания продать целую область купно с живым инвентарем и со всеми мыслящими органами.

На купеческой земле замесят нового человека — он или дегенератом родится, или в бюрократы попасть хочет; на дворянских угодьях — как и прежде всегда было — произрастают существа с намерениями поглотить все доходы государства, а на землях мещан и разных мелких владельцев растут буйным чертополохом разных форм провокаторы, нигилисты, пассивисты и тому подобное.

— Но — всё это мы уже имеем в количестве весьма достаточном! — сознались друг другу мудрые жители и серьезно задумались:

«Допущена нами какая-то ошибка в технике творчества, но — какая?»

Сидят, размышляют, а грязища кругом так и хлещет волною морскою, о господи!

Пререкаются:

— Вы, Сельдерей Лаврович, слишком обильно и всесторонне плюетесь...

— А у вас, Корнишон Лукич, мужества на это не хватает...

А новорожденные нигилисты, притворяясь Васьками Буслаевыми,— ко всему относятся презрительно и орут:

— Эй, вы, овощи! Соображай, как лучше, а мы вам... поможем наплевать на всё...

И плюют и плюют...

Скучища всеобщая, взаимоозлобление и грязь.

На ту пору проходил мимо, отлынивая от уроков, Митя Коротышкин, по прозванию Стальной Коготь, ученик второго класса мямлинской гимназии и знаменитый коллекционер иностранных марок, идет он и — видит: сидят люди в луже, поплевывают в оную и о чем-то глубоко мыслят.

«Взрослые, а пачкольи!» — подумал Митя с дерзостью, свойственной малым годам.

Рассмотрел, нет ли среди них чего-нибудь педагогического, и, не заметив оного, осведомился:

— Вы зачем, дяденьки, в лужу залезли?

Один из жителей, обидевшись, вступил в спор:

— Где тут лужа? Это просто подобие хаоса довременного!

— А чего вы делаете?

— Нового человека хотим создать! Надоели такие, как ты вот...

Заинтересовался Митя.

— А по чьему подобию?

— То есть — как? Мы желаем бесподобного... проходи!

Будучи ребенком, еще не посвященным в тайны природы, Митя, конечно, обрадовался случаю присутствовать при таком важном деле и простодушно советует:

— Сделайте о трех ногах!

— Это к чему же?

— Он смешно бегать будет...

— Поди прочь, мальчик!

— А то — с крыльями? Вот ловко бы! Сделайте с крыльями, ей-богу! И пусть бы он учителей похищал, как кондор в «Детях капитана Гранта»,— там, положим, кондор не учителя утащил, а лучше бы учителя...

— Мальчик! Ты говоришь вздор и весьма даже вредный! Вспомни молитву до и после учения...

Но Митя был мальчик фантастический и всё более увлекался:

— Идет учитель в гимназию, а он бы его — хоп! сзади за воротник и понес бы по воздуху куда-нибудь —

это всё равно уж! — учитель только ножками болтает, а книжки так и сыплются, и чтобы их не найти никогда...

— Мальчик! Ступай уважать старших!

— А он кричит жене сверху: «Прощай, возношусь в небеса, яко Илия и Енох», а она стоит среди улицы на коленях и ноет: «Воспитательчик мой, педагогчик!..»

Они на него рассердились.

— Пшел! Болтать пустяковину и без тебя есть кому, а тебе еще рано!

И прогнали. А он, отбежав несколько, остановился, подумал и спрашивает:

— Вы — взаправду?

— Конечно же...

— А не выходит?

Вздохнули они угрюмо и говорят:

— Нет. Отстань...

Тогда Митя отошел от них подальше, показал им язык и дразнится:

— А я знаю почему, а я знаю почему!

Они — за ним, он — от них, но, привыкшие к перебежкам из лагеря в лагерь, догнали они его и давай трепать.

— Ах ты... старших дразнить?..

Митя — плачет, умоляет:

— Дяденьки... я вам суданскую марку... у меня дубликат... перочинный ножик подарю...

А они его директором пугают.

— Дяденьки! Я, ей-богу, никогда больше не буду дразниться! И, право же, я догадался, отчего не создается новый человек...

— Говори!

— Отпустите маленько!

Отпустили, но держат за обе руки, он же им говорит:

— Дяденьки! Земля — не та! Не годится земля, честное слово, сколько вы ни плюйте, ничего не выйдет!.. Ведь когда бог сотворил Адама по образу и подобию своему,— земля-то ничья была, а теперь вся — чья-нибудь, вот отчего и человек всегда чей-нибудь... и дело вовсе не в плевках...

Это их так ошеломило, что они и руки опустили, а

Митя — драла да, отбежав от них, приставил кулак ко рту и кричит:

— Краснокожие команчи! Ир-рокезы!

А они снова единодушно уселись в лужу, и мудрейший из них сказал:

— Коллеги, продолжаем наши занятия! Забудем об этом мальчишке, ибо несомненно, что он переодетый социалист...

Эх, Митя, милый!

XII

Жили-были Иванычи — замечательный народ! Что с ним ни делай — ничему не удивляется!

Жили они в тесном окружении Обстоятельств, совершенно не зависящих от законов природы, и Обстоятельства творили с ними всё, что хотели и могли: сдерут с Иванычей семь шкур и грозно спрашивают:

— А где восьмая?

Иванычи, нисколько не удивляясь, отвечают покорно Обстоятельствам:

— Еще не выросла, ваши превосходительства! Погодите маленько...

А Обстоятельства, нетерпеливо ожидая наращения восьмой шкуры, хвастаются соседям, письменно и устно:

— У нас народонаселение благорасположено к покорности, делай с ним что хошь — ничему не удивляется! Не то, что у вас, например...

Так и жили Иванычи,— работали кое-что, подати-налоги платили, давали взятки кому сколько следует, а в свободное от этих занятий время — тихонько жаловались друг другу:

— Трудно, братцы!

Которые поумнее — предрекают:

— Еще и труднее будет!

Иногда кто-нибудь из них прибавлял к этим словам еще словечка два-три, и о таком человеке почтительно говорили:

— Он поставил точку над i!

Дошли Иванычи даже до того, что заняли большой дом в саду и посадили в него специальных людей, чтобы они изо дня в день, упражняясь в красноречии, ставили точки над i.

Соберутся в этом доме человек четыреста, а четверо из них и начнут, как мухи, точки садить; насадят, сколько околоточный — из любопытства — позволит, и хвастаются по всей земле:

— Здорово мы историю делаем!

А околоточный смотрит на это ихнее занятие, как на скандал, и — чуть только они попытаются поставить точку над другой буквой — решительно предлагает им:

— Прошу алфавит не портить, и — расходитесь по домам!

Разгонят их, а они — не удивляясь — утешаются между собой.

— Ничего,— говорят,— мы все эти безобразия впишем, для посрамления, на страницы истории!

А Иванычи, тайно скопляясь в собственных квартирах по двое и по трое сразу, шепчут,— тоже не удивляясь:

— Наших-то избранных опять лишили дара слова!

Смельчаки и отчаянные головы шепчут друг другу:

— Обстоятельствам закон не писан!

Иванычи вообще любили утешаться пословицами: посадят кого-нибудь из них в острог за случайное несогласие с Обстоятельствами — они кротко философствуют:

— Не в свои сани — не садись!

А некоторые из них злорадничают:

— Знай сверчок свой шесток!

Жили Иванычи этим порядком, жили и дожили наконец до того, что все точки над і поставили, все до одной! И делать Иванычам больше нечего!

А тут и Обстоятельства видят, что всё это — ни к чему, и повелели опубликовать во всей стране строжайший закон:

«Отныне точки над і ставить повсеместно запрещается, и никаких точек, исключая цензурные, в обращении обывателей не должно существовать. Виновные в нарушении сего подвергаются наказанию, предусмотренному самыми жестокими статьями Уголовного уложения».

Ошалели Иванычи! Что делать?

Ничему другому они не обучены, только одно могли, да и то запрещено!

И вот, собираясь тайно, по двое, в темных уголках, они рассуждают шепотком, как пошехонцы в анекдоте:

— Иваныч! А что — ежели, не дай бог, сохрани господи?

— Ну — что?

— Я не то, что — тово, а все-таки?..

— Пускай бог знает что, и то — ни за что! А не то что! А ты говоришь — во что!

— Да разве я что! Я — ничего!

И больше никаких слов не могут сказать!

XIII

По один бок земли жили Кузьмичи, по другой — Лукичи, а между ними — река.

Земля — место тесное, люди — жадны да завистливы, и оттого между людьми из-за всякого пустяка — драки; чуть что кому не понравилось — сейчас — ура! и — в морду!

Раздерутся, победят друг друга и давай прибыли-убытки считать: сосчитают — что за чудо?! — будто и хорошо дрались, вовсе беспощадно, а выходит — невыгодно!

Рассуждают Кузьмичи:

— Ему, Лукичу-то, красная цена — семь копеек, а убить его рупь шесть гривен стоило! Что такое?

Лукичи тоже соображают:

— Живой Кузьмич даже по самоличной оценке ни гроша не стоит, а уничтожить его — девяносто копеек вышло!

— Как это?

И со страха друг перед другом решают:

— Надо оружия побольше завести, тогда война скорее пойдет и убийство дешевле стоить будет.

А купечество ихнее, мошну набивая, кричит:

— Ребята! Спасай отечество! Отечество дорогого стоит!

Наготовили оружия без числа, выбрали подходящее время и давай друг друга со света сживать!

Бились, бились, победили друг друга, ограбили,— опять прибыли-убытки считать — что за наваждение?

— Однако,— говорят Кузьмичи,— что-то у нас не-

ладно! Намедни по рупь шесть гривен Лукича убивали, а ныне на каждую погубленную душу по шешнадцати целковых вышло!

Унывают! А Лукичам тоже невесело.

— Швах дело! Так дорого война обходится, что хоть брось!

Но, как люди упрямые, решили:

— Надобно, братцы, смертобойную технику пуще прежнего развивать!

А купечество ихнее, мошну набивая, орет:

— Ребята! Отечество в опасности находится!

А сами потихоньку цены на лапти поднимают да поднимают.

Развили Лукичи с Кузьмичами смертобойную технику, победили друг друга, пограбили, стали прибыли-убытки считать — хошь плачь!

Живой человек — нипочем ценится, а убить его всё дороже стоит!

В мирные дни жалуются друг другу:

— Разорит нас это дело! — говорят Лукичи.

— В корень разорит! — соглашаются Кузьмичи.

Однако, когда чья-то утка неправильно в воду нырнула,— опять разодрались.

А купечество ихнее, мошну набивая, жалуется:

— Ассигнации эти — просто замучили! Сколько их ни хватай — всё мало!

Семь лет воевали Кузьмичи да Лукичи, лупят друг друга нещадно, города уничтожают, всё жгут, даже пятилетних младенцев заставили из пулеметов палить. До того дошли, что у одних только лапти остались, а у других — ничего, кроме галстухов; нагишом ходят нации.

Победили друг друга, пограбили — стали прибыли-убытки считать, так и обомлели и те и эти.

Хлопают глазами и бормочут:

— Однако! Нет, ребята, видно, смертобойное дело окончательно не по кошелю нам! Глядите-тко,— на каждого убитого Кузьмича по сто целковых вышло. Нет, надобно принимать другие меры...

Посоветовались да и вышли на берег все гуртом, а на другом берегу враги стоят, тоже стадом.

Конечно, стесняются, глядят друг на друга, и будто стыдно им. Помялись, помялись и кричат с берега на берег:

— Вы чего?

— Мы — ничего. А — вы?

— И мы — ничего.

— Мы просто — так, на реку поглядеть вышли...

— И мы...

Стоят, чешутся, которым — стыдно, а другие — охают в грустях.

Потом опять кричат:

— У вас дипломаты есть?

— Есть. А у вас?

— И у нас...

— Ишь вы!

— А — вы?

— Да ведь мы-то что же?

— А — мы? И мы тоже...

Поняли друг друга, утопили дипломатов в реке и давай говорить толком:

— Знаете, по что мы пришли?

— Будто знаем!

— А — по что?

— Мириться хотите.

Удивились Кузьмичи.

— Как это вы догадались?

А Лукичи ухмыляются, говорят:

— Да ведь мы сами — тоже за этим! Уж больно дорого война стоит.

— Вот это самое!

— Хоть вы и жулики, однако давайте жить мирно, а?

— Хоша вы тоже — воры, но мы согласны!

— Давайте жить по-братски, ей-богу — дешевле будет!

— Идет!

Радостно стало всем, пляшут, скачут, точно бесноватые, костры развели, девиц друг у друга умыкают, коней крадут и кричат друг другу, обнимаясь:

— Братцы, милые, хорошо-то как, а? Хотя вы и... так сказать...

А Кузьмичи в ответ:

— Родимые! Все мы — одна душа и едино суть. Хоша вы, конечно, и того... ну — ладно!

С той поры живут Кузьмичи с Лукичами тихо, мирно, военное дело вовсе забросили и грабят друг друга легонько, по-штатски.

Ну, а купечество, как всегда, живет по закону божию...

XIV

Лежит смиренно-упрямый человек Ванька под поветью, наработался, навозился — отдыхает. Прибежал к нему боярин, орет:

— Ванька, вставай!

— А для че?

— Айда Москву спасать!

— А чего она?

— Поляк обижает!

— Ишь, пострел...

Пошел Ванька, спасает, а бес Болотников кричит ему:

— Дурова голова, чего ты на бояр даром силу тратишь, подумай!

— Я думать не привычен, за меня святые отцы-монахи больно хорошо думают,— сказал Ванька.

Спас Москву, пришел домой, глядит — повети нет. Вздохнул:

— Эки воры!

Лег на правый бок для хороших снов, пролежал двести лет, вдруг — бурмистр бежит:

— Ванька, вставай!

— Чего оно?

— Айда Россию спасать!

— А кто ее?

— Бонапарат о двенадцати языках!

— Ишь его как... анафема!

Пошел, спасает, а бес Бонапарт нашептывает ему:

— Чего ты, Ваня, на господ стараешься, пора бы те, Ванюшка, из крепостной неволи выйти!

— Сами выпустят,— сказал Ванька.

Спас Россию, воротился домой, глядит — на избе крыши нет.

Вздохнул:

— Эки псы, всё грабят!

Пошел к барину, спрашивает:

— А что, за спасение России ничего не будет мне?

А барин его спрашивает:

— Хошь — выпорю?

— Нет, не надо! Спасибо.

Еще сто лет поработал да проспал; сны видел хорошие, а жрать нечего. Есть деньги — пьет, нет денег — думает:

«Эхма, хорошо бы выпить!..»

Прибежал стражник, орет:

— Ванька, вставай!

— Еще чего?

— Айда Европу спасать!

— Чего она?

— Немец обижает!

— И что они беспокоятся, тот да этот? Жили бы...

Пошел, начал спасать — тут ему немец ногу оторвал. Воротился Ванька на одной ноге, глядь — избы нет, ребятишки с голоду подохли, на жене сосед воду возит.

— Ну и дела-а! — удивился Ванька, поднял руку, затылок почесать, а головы-то у него и нету!

XV

В славном городе Мямлине жил-был человечек Микешка, жил не умеючи, в грязи, в нищете и захудании; вокруг него мерзостей потоки текут, измывается над ним всякая нечистая сила, а он, бездельник, находясь в состоянии упрямой нерешительности, не чешется, не моется, диким волосом обрастает и жалуется ко господу:

— Господи, господи! И до чего же я скверно живу, до чего грязно! Даже свиньи — и те надо мной смеются. Забыл ты меня, господи!

Нажалуется, наплачется досыта, ляжет спать и — мечтает:

«Хоть бы нечистая сила маленькую какую-нибудь реформишку дала мне смиренства и убожества моего ради! Помыться бы мне, почиститься...»

А нечистая сила еще больше издевается над ним, исполнение всех естественных законов отложила впредь до прихода «лучших времен» и ежедневно действует по Микешке краткими циркулярами в таком роде:

«Молчать! А виновные в нарушении сего циркуляра подвергаются административному искоренению даже до седьмого колена».

Или:

«Предписывается искренно любить начальство. А виновные в неисполнении сего подвергаются...»

Читает Микешка циркуляры,— озирается, видит: в Мямлине — молчат, в Дремове — начальство любят, в Воргороде — жители друг у друга лапти воруют.

Стонет Микешка:

— Господи! Какая это жизнь? Хоть бы что-нибудь случилось...

И вдруг — солдат пришел.

Известно, что солдат ничего не боится,— разогнал он нечистую силу, запихал он ее в темные погреба, в глубокие колодцы, загнал в проруби речные, сунул руку за пазуху себе,— вытащил миллион рублей и — солдату ничего не жалко! — дает Микешке:

— На, получи, убогой. Сходи в баню, вымойся, приберись, будь человеком,— пора!

Дал солдат миллион и ушел восвояси, будто его и не было!

Прошу не забыть, что это — сказка.

Остался Микешка с миллионом в руках,— чего ему делать? От всякого дела был он издавна циркулярами отучен, только одно умел — жаловаться. Однако пошел на базар в красный ряд, купил себе кумачу на рубаху да, кстати, и на штаны, одел новую одежду на грязную кожу, шлендает по улицам день и ночь, будни и праздники, фордыбачит, хвастается,— шапка набекрень, мозги — тоже.

— Я-ста,— говорит,— давно эдак-то мог, да не хотелось. Мы-ста, мямлинцы, народ большой, нам нечистая сила не страшнее блох. Захотелось, и — кончено.

Гулял Микешка неделю, гулял месяц, перепел все песни, какие знал, и «Вечную память», и «Со святыми упокой»,— надоел ему праздник, а работать — неохота. И скучно стало с непривычки: всё как-то не так, всё не то, околоточных — нет, начальство — не настоящее, из соседей набрано, трепетать не перед кем — нехорошо, необычно.

Ворчит Микешка:

— Раньше, при нечистой силе, порядку больше было. И улицы вовремя чистили, и на каждом перекрестке законный городовой стоял. Бывало — идешь куда-нибудь, едешь, а он приказывает: держи направо! А теперь — куда хошь иди, никто ничего не скажет. Эдак-то на самый край прийти можно... Вон, уж некоторые дошли...

И всё скушнее Микешке, всё тошнее. Глядит на миллион, а сам сердится:

— Что мне миллион? Другие больше имеют! Кабы мне сразу миллиард дали, ну, тогда еще... А то — миллион! Хе! Чего я с ним, с миллионом, исделаю? Теперь

даже курица орлом ходит, потому — ей, курице, шестнадцать рублей цена! А у меня всего-на-все миллион...

Тут обрадовался Микешка, что нашлась причина для привычных жалоб,— ходит по грязным улицам, орет:

— Давайте мне миллиард! Не могу я ничего! Какая это жизнь? Улицы не чищены, полиции — нет, везде беспорядок! Давайте мне миллиард, а то — жить не хочу!

Вылез из-под земли старый крот и говорит Микешке:

— Дурачок, чего орешь? У кого просишь? Ведь у себя просишь!

А Микешка — свое:

— Миллиард надобно мне! Улицы не чищены, спички — дороги, порядку нет...

Сказка не кончена, но дальше — нецензурно.

XVI

Жила-была баба, скажем — Матрена, работала на чужого дядю, скажем — на Никиту, с родственниками его и со множеством разной челяди.

Плохо было бабе, дядя Никита никакого внимания на нее не обращал, хотя пред соседями хвастался:

— Меня моя Матрена любит,— чего хочу, то с ней и делаю. Примерное животное, покорное, как лошадь...

А пьяная, нахальная челядь Никитина ежечасно обижает Матрену, то — обокрадет ее, то — изобьет, а то просто, от нечего делать — надругается над ней, но между собою тоже говорит:

— Ну и бабочка Матрена наша! Такая, что иной раз даже жалко ее!

Но, жалея на словах, на деле все-таки продолжали истязать и грабить.

Кроме сих, вредных, окружали Матрену многие бесполезные, сочувствуя долготерпению Матренину; глядят на нее со стороны и умиляются:

— Многострадальная ты наша, убогая!

Некоторые же, в полном восхищении, восклицали:

— Тебя,— говорят,— даже аршином измерить невозможно, до чего ты велика! И умом,— говорят,— не понять тебя, в тебя,— говорят,— только верить можно!

А Матрена, как медведица, ломит всякую работу изо дня в день, из века в век, и всё — без толку: сколько ни сработает — дядина челядь всё отберет. Пьянство вокруг бабы, разврат и всякая пакость,— дышать невозможно!

Так и жила она, работает да спит, а в свободные минуты сокрушается про себя:

«Господи! Все-то меня любят, все меня жалеют, а настоящего мужчины — нету! Кабы пришел какой-нибудь настоящий, да взял бы меня в крепкие руки, да полюбил бы меня, бабу, во всю силу,— эдаких бы детей родила я ему, господи!»

Плачет, а больше ничего не может!

Подсыпался к ней кузнец, да не нравился он Матрене, человек вида ненадежного, копченый весь какой-то, характера дерзкого и говорит непонятно,— как будто даже хвастает:

— Только,— говорит,— в идейном единении со мной сможете вы, Матреша, перейти на следующую стадию культуры...

А она ему:

— Ну, что ты, батюшка, куда ты! Я даже и слов твоих не разумею, к тому же я велика и обильна, а тебя еле видать!

Так и жила. Все ее жалеют, и сама себя она жалеет, а толку от этого никакого нет.

И вдруг — герой пришел. Пришел, прогнал дядю Никиту с челядью и объявляет Матрене:

— Отныне ты вполне свободна, а я твой спаситель, вроде Георгия Победоносца со старой копейки!

Глядит Матрена — и впрямь свободна она! Конечно — обрадовалась.

Однако и кузнец заявляет:

— И я — спаситель!

«Это он из ревности»,— сообразила Матрена, а вслух и говорит:

— Конечно, и ты, батюшко!

И зажили они, трое, при веселых удовольствиях, каждый день — то свадьба, то похороны, каждый день ура кричат. Дядин челядинец Мокей республиканцем себя почувствовал — ура! Ялуторовск с Нарымом объявили себя Соединенными Штатами, тоже — ура!

Месяца два жили душа в душу, просто утопали в радости, как мухи в ковше кваса, но вдруг,— на святой Руси всё делается вдруг,— вдруг — заскучал герой!

Сидит против Матрены и спрашивает:

— Тебя кто освободил? я?

— Ну, конечно, ты, миленькой!

— То-то!

— А я? — говорит кузнец.

— И ты...

Через некоторое время герой опять пытает:

— Кто тебя освободил — я али нет?

— Господи,— говорит Матрена,— да ты же, ты самый!

— Ну, помни же!

— А я? — спрашивает кузнец.

— Ну, и ты... Оба вы...

— Оба? — говорит герой, разглаживая усы.— Хм... н-не знаю...

Да и начал ежечасно допрашивать Матрену:

— Спас я тебя, дуреху, али — нет?

И всё строже:

— Я — твой спаситель али кто?

Видит Матрена — кузнец, нахмурясь, в сторонку отошел, своим делом занимается, воры — воруют, купцы — торгуют, всё идет по-старому, как в дядины времена, а герой — измывается, допрашивает ежедень:

— Я тебе — кто?

Да в ухо ее, да за косы!

Целует его Матрена, ублажает, ласковые речи говорит ему:

— Милая ты моя Гарибальди итальянская, Кромвель ты мой аглицкий, Бонапарт французский!

А сама, по ночам, плачет тихонько:

— Господи, господи! Я думала — и в сам-деле что-нибудь будет, а оно вот что вышло!

. . . . . .

Позвольте напомнить, что это — сказка.

II

СКАЗКА

Жил-был статский советник Оный, мужчина вдовый, и было у него три сына: один — серьезный человек, провокатор; другой — так себе, а третий — еще подросточек, Борькой звали.

Первый сын, конечно, заговоры устраивал, подкладывая знакомым бомбы и прочее, что надо для успеха дела; второй, занимаясь журналистикой, сотрудничал в изданиях всех направлений, а в свободное время добродушно помогал старшему брату, но теоретически был не согласен с ним и откровенно говорил ему:

— Чёрт знает чем занимаешься ты!

А тот возражает:

— Еще император Веспасиан доказал, что деньги не имеют запаха.

— Так ведь тогда деньги были металлические!

— Это мною не забыто, и я прошу платить мне золотом. Я, брат, тоже — брезглив...

— А все-таки лучше бы хоть в «Продуголь» поступить...

— Мне убеждения не позволяют в синдикате работать...

Поспорят немножко для упражнения в красноречии и братски разойдутся каждый к своему занятию, а то и вместе пойдут куда-нибудь, строго следя за тем, как бы невольно не предать друг друга.

А то старшой курит папиросу и вслух мечтает, как человек, исторически образованный:

— Хорошо было жить триста лет тому назад. Хошь — Шуйскому служи, не хочешь — иди к Тушинскому вору, а кроме того,— Сигизмунд! Ныне же все

понятия исказились: совесть покупают нипочем, и везде невыгодно, везде беспокойно...

Средний брат соглашается:

— Трудное время! Раньше, бывало, во всех газетах одно и то же писали: «Будьте любезны, дайте нам реформы, а то мы все совершенно опаршивеем!» И всё было просто, ясно, даже начальство понимало. А ныне: в одной газете надобно жида травить, в другой — сокрушаться по этому поводу, здесь — велят лаять на оппозицию, там — притворяйся оной; разберись-ка в этом!

Папаша сочувственно вздыхает:

— Воистину трудно! И даже удивляешься, как сами-то редактора во всем этом разбираются?

Старшой — ему всё известно! — не без кокетства говорит:

— Ну, и они тоже не всегда удачно...

Борька же, по молодости возраста далекий от сих треволнений, ничем не занимался, просто — сунет пальчик в ноздрю себе, задумчиво подержит его там, сколько требуется скоплением обстоятельств, потом вынет и, показав папаше результат, убежденно скажет:

— Бя!

Было в нем что-то мистическое.

— Гм! — озабоченно думает Оный.— Следует ли отучать его от этой привычки, или же она знаменует особое направление сердца и ума во младенце?

И, живя в некотором замешательстве, всё не мог решить, куда бы Борьку направить.

— В потешные,— посоветовал средний сын.

— Но говорят, что там греческие нравы начинаются...

— Всё равно — везде изнасилуют,— меланхолически сознался средний.

А старшой смотрит на младшего серьезно и таинственно говорит:

— Подождите!

Ждут. А время всё идет да идет. Посмотрел однажды отец на Борьку и советует ему:

— Вытри верхнюю губу.

А тот — с гордостью:

— Это — усы!

— Однако! — воскликнул Оный и задумался: — Что делать? Сечь? Поздно...

Человек исконно русский, он всегда, как приступала необходимость решительно приняться за дело, долго и всесторонне задумывался.

— А ведь я не то сделал! Почему?

И вдруг снова сделает не то. Но зная, что сие есть черта национальная, не обижался на себя.

Так и с Борькой вышло: грамоте он кое-как научился, читал почти без усилий, а дальнейшему учить его поздно было: он уже на горничных со ржанием бросался и, оставив нос в покое, свирепо увлекался более низким занятием.

Отец заскучал было, но средний сын, как человек всесторонне развитой, нашел успокоительное объяснение:

— Оставьте, папаша! Просто — юношу интересует всё выдающееся; это вообще свойственно возрасту, к тому же, с точек зрения этики, экономики и гигиены...

И оправдал Борьку со всех точек зрения; старшой же совершенно серьезно говорит чужими словами:

— Даже камени находят место свое на земле, человек же тем паче найдет! Подождите.

А Борька начал постепенно проявлять интерес к жизни: увидит в газете объявление: «Ищут переводов» — и негодует:

— Ищут, а на какую сумму, не указывают! И почтовых или по телеграфу — тоже не сказано...

Среднего брата спрашивает:

— Ты объявления в стихах пишешь?

Тот конфузится:

— Честное слово,— говорит,— это не я!

— Боюсь, он несколько наивен,— сказал однажды Оный старшему сыну, но тот хладнокровно ответил:

— Сам Игнациус Лойола в юности был глуп...

И всё присматривается к братишке, присматривается, да, наконец, сел рядом с ним и спрашивает:

— Ты знаешь, что такое оппозиция?

— А что?

— Ей надобно пакости делать,

— А — как?

— Да ты скажи — можешь?

— Пакости делать? Могу!

— Тогда — идем!

Пошли. Привел старшой брат Борьку к одному дому, поставил против окон и советует:

— Бей стекла!

— А ежели за это по морде меня?

— Скажи, что из патриотизма,— не тронут.

Взял Борька камень, выбил стекло, стоит, смотрит. Забавно! В доме люди попрятались, на улице разбежались. Подошел к нему весьма угрожающе господин городовой, кричит:

— Ты по какому случаю стекла бьешь?

— Из патриотизма.

Взял городовой под козырек, дрожит,— испугался.

— Простите, говорит, я ошибся...

И тотчас любезно исчез.

Разбил Борька еще два стекла, постоял, ожидая каких-нибудь последствий, и пошел домой, не ощутив на первый раз никаких удовольствий.

А на другой день брат опять повел его стекла бить, внушая дорогой:

— Этим путем в наше время всего легче добиться политической карьеры. Все, говорит, великие люди были разрушителями, как-то: Генрих Гейне, Тамерлан и прочие...

Так и водил он его с неделю времени, пока наконец не объявились для Борьки последствия с удовольствиями: в воскресный день перебил Борька все стекла в редакции оппозиционной газеты; вдруг подбегают к нему страховидные люди и ревут:

— Р-ра!

И приглашают:

— Пожалуйте!

— Куда?

— Просим.

— Вы — оппозиция?

— Из-збави боже! Мы решительно против...

Привели его в собрание себе подобных, а там все существа, сколько их было, орут:

— Рр-ра-а!

Один же подошел вплоть и говорит:

— Мужественная и неутомимая ваша борьба с крамолой... Вы, говорит, опора, а мы, говорит, чтим и восхищаемся, позвольте пожать вашу смелую руку: истинно русский человек Хам фон Жужелица, мексиканский румын.

Ничего понять нельзя!

Но Борька не растерялся: как бы по наитию свыше схватил стул и, замахнувшись им, кричит:

— Я могу!

Все довольны, ревут, лобзают его и шепчут в уши:

— Вы этому Жужелице не верьте,—он три дня тому назад у извозчика лошадь угнал, а раньше этого — у сонного губернатора соображение похитил, и вовсе он не румын, а тамбовский негр, однако хочет первую роль играть...

С этого дня и началось серьезное в Борькиной жизни: вооружился он крепкой палкой, ходит по городу и бьет стекла, а укажут ему человека:

— Тресни!

Так он и человека тоже.

Жители, завидя его, разбегаются, покрикивая друг другу:

— Прячься, ребята! Опять Борька вышел карьеру нагуливать.

Завистливые, но не смелые, глядя из подворотни, вздыхают:

— Н-да! Этот до счастья своего доскочит...

А которые посмелее — подражать начали Борьке: он одно стекло выбьет, а они остальные докончат и ходят за ним гурьбой, с пением, — средний брат Борькин стеклобойный гимн — инкогнито — сочинил:

Чтоб крамола передохла,
Делай, братцы, сквозняки!
Р-разобьем повсюду стекла,
И — да будут насморки!

Зачихают все злодеи
И подохнут от простуд!

А у нас тогда скорее
Мир и радость процветут!

Понимающие люди указывали автору, что это безграмотно, но он опроверг:

— Необходимо для стиля,— говорит.

Скромные жители пробовали закрывать окна ставнями, но полиция нашла это недопустимым в интересах всестороннего наблюдения за внутреннею жизнью граждан.

— Что ж? Подождем, потерпим,— соглашались жители, нация, еще древних римлян изумлявшая своим смиренством.

Борька же, приучившись к безобразию, стал чувствовать себя национальным героем, даже во сне кричит:

— Спасай Русь!

Так невозбранно действовал он, окруженный всеобщим вниманием и славословиями. Когда же, наконец, все миролюбивые жители, покоя ради, переселились в глубокую Азию, куда их искони кровь тянула, и когда стало на Руси совершенно тихо,— явился Борьке частный пристав и говорит вполне серьезно:

— В ознаменование заслуг ваших и ради поощрения их в будущем назначаю вас министром народного просвещения...

Это даже Борьку удивило до немоты — смотрит на пристава и молчит, а потом отозвался:

— Могу!

Тут старшой брат сказал Борьке с гордостию:

— Видишь, болвашка, до чего я тебя довел? Между прочим, назначь-ка ты меня профессором по кафедре истории. Я это дело насквозь знаю!..

— А меня,— просит средний, захлебываясь,— а меня...

И заплакал:

— Ах, почему я не женщина?

Этого желания никто не мог понять.

Оный тоже, конечно, плакал.

— Воистину, говорит, не пропала служба и молитва моя! Поглядела бы покойница Капочка...

Потом средний брат стал издавать газету в трех различных направлениях, и всё семейство благополучно устроилось.

ВЕЗДЕСУЩЕЕ

Осенний свинцовый вечер; холодный дождь, мелкий, как пыль, неутомимо сеет на крыши домов Берлина, на зонтики почтенных немцев и камень мостовой; крупные, краснощекие люди торопливо разносят свои сытые тела, большие животы по улицам, скучно прямым.

Огромный город — сегодня весь мокрый, озябший и хмурый — утомительно правилен, он точно шахматная доска, и кто-то невидимый гоняет по ней черные фигуры, молча играя трудную, сложную игру.

Между крыш, над черной, спутанной сетью деревьев, тускло блестит купол рейхстага, как золотой шлем великана-рыцаря, плененного и связанного толстыми цепями улиц, каменно-серыми звеньями домов.

Вспыхивают бледные, холодные огни, и вода на мостовой в щелях и выбоинах камня светится синевато; тонкие маленькие ручьи напоминают вены, густую, отравленную кровь. От огней родились тени, тяжелый город, еще более тяжелея, оседает к мокрой земле: дома становятся ниже, угрюмей, люди — меньше, суетливее; всё вокруг стареет, морщится; гуще выступает сырость на толстых стенах, яснее слышен шум воды в водостоках, и покорно падают на плиты тротуара тяжелые капли с крыш.

Скучно. Этот город — такой большой, серый, хвастливо чистый — неуютен, как будто он создан не для людей, а напоказ, и люди живут, порабощенные камнем. Они мечутся в улицах города, как мыши в мышеловке, жалко смотреть на них: жизнь их кажется бессмысленной, непоправимо, навсегда испорченной — никогда они не станут выше того, что создано ими до этого дня, не почувствуют себя в силе жить иначе — свободней и светлей.

Хрипло ухают и гудят автомобили, гремит и воет блестящий вагон трамвая, синие искры брызгают из-под его колес; недоверчиво хмурятся подслеповатые окна домов и холодно плачут о чем-то. Всё кажется смертельно усталым, и всюду — сырость, точно пот больного лихорадкой. Безнадежно дребезжит колокол церкви, не достигая слуха людей, бегущих мимо ее двери, открытой, как беззубый рот дряхлого старика.

На паперти — на цоколе между двух колонн — прижалось трое: старый, седоусый продавец газет, с широким бритым подбородком, и двое чистильщиков улиц: один — маленький, коренастый, с разрубленным от уха к носу лицом, другой — сутулый, изогнувшийся вопросительным знаком.

Над его головою, в кожаной фуражке,— бронзовый окислившийся консоль, скупо горит маленькая лампочка, бледный свет ее падает на развернутый лист газеты в руках сутулого; он вполголоса, внятно и торжественно — как священное писание — читает что-то, а из-за плеч его на лист смотрит жадно газетчик, тихо восклицая:

— Прекрасно! О, это прекрасно!

И коренастый, утвердительно качая головою в такт голосу чтеца, тоже говорит уверенно:

— Это — правда! Старый Карл хорошо знает ее и умеет сказать...

В церкви медленно и устало ходит черный человек, зажигая маленькие, болезненно желтые огни, люди у двери ее сомкнулись в трехголовое тело, голос сутулого звучит всё более торжественно, и белый огонь лампы ясно освещает крупные буквы заголовка газеты: «Вперед!»

Со дна глубокой улицы Нью-Йорка, сквозь пыль и копоть, неподвижной пеленою висящую в жарком воздухе, небо кажется сизым и мутным, как вода болота.

Скоро полдень, но солнце спрятано где-то за крышами десятиэтажных домов, их однообразно гладкие, грязные стены — в тени, эта тень — душна и не дает прохлады. Кое-где через крыши, в окна верхних эта-

жей, знойно смотрит солнце, не достигая разноцветных вывесок: все стены испещрены их пестрыми заплатами, это делает дома похожими на нищих.

Улица до крыш налита теплым, липким воздухом, все окна открыты, и ни в одном нет ни цветка, ни ветки зелени, ни яркого пятна; из окон смотрит темное; всё закоптело в дыму, густо напудрено пылью, и отовсюду текут вниз на черную сорную мостовую запахи машинного масла, клея, кожи, пота.

Вместе с запахами на улицу из окон непрерывно течет глухой гул работы: тарахтят машины, свистят, строгая дерево, столярные станки, всхлипывает пила, барабанят палки скорняков, выбивая волосы из меха.

Улица кажется сточной канавой; медленно льется по ней, куда-то в мутную пустоту дали, широкий, густой, как нефть, поток шума и запахов, а в нем плывут обломками разрушенной жизни избитые грузовые моторы, серые, как весенние льдины, черные телеги угля и каких-то товаров, всё — угловатое, прямолинейное, тяжелое. Неутомимый шум работы звучит победоносно, а фантазия, возбужденная им, создает странные уподобления: гладкие стены многоэтажных домов напоминают неприступные замки средневековья, ждешь, что вот сейчас в улице появятся рыцари, закованные в железо; они что-то разрушили, ограбили и спокойно увозят из города краденое, уводят пленников.

Люди, пленники труда, почти незаметны среди возов, автобусов и толстых лошадей, тяжелых, как слоны; потные и грязные фигурки двуногих слишком ничтожны в сравнении с массами домов, товаров и со всем, что, окружая их, тяжко и медленно катится по дну улицы. Люди очень мелки, и, когда видишь их растерянными в сетях города, невольно думается, что едва ли сумеют они преодолеть эту прямолинейную, угнетающую жизнь в ядовитой духоте, в грязи и копоти.

Вдруг, незаметно откуда, под одним из фонарей стал большой парень в красной фуфайке, с какими-то железными палками на плече; гибкий и сильный, как цирковой борец, он быстро приладил железины к фонарю,— образовалось нечто подобное маленькой эстраде, парень

легко вскочил на нее и, приложив одну руку ко рту, держась другою за столб фонаря, крикнул в улицу:

— Алло, ребята!

Лицо у него пестрое, обрызгано веснушками, курчавые рыжие волосы и голубые глаза; весь он какой-то задорный, горящий; вот — снял старую, измятую шляпу, машет ею, как черным флагом, и, легко побеждая шум улицы, звучно кричит:

— Алло, ребята! Подарите мне две минуты вашего времени, только две минуты — хорошо? Олл райт?

Медленно, не останавливаясь, движутся воза, едут моторы, идут, покуривая трубки, пожевывая табак, коренастые немые люди, черные, как негры. К фонарю не спеша, покачивая клобом, надетым за ремень на руку, шагает ирландец-полицейский, коротенький и толстый, как двухпудовая гиря.

Двенадцать ударов колокола,— улица сразу наполнилась свистом, ревом и воем, в этих звуках ясно слышишь ненасытно голодное, злое, точно у огромного пса отняли кость, которую он не успел доглодать.

И, вслед за гудками, убегая от них, из домов посыпались на улицу темно-синие фигуры рабочих, мужчин, женщин, детей; они сразу наполнили глубокий ров новым шумом и завертелись кубарями на мостовой, между возов, под унылыми мордами лошадей.

Человек около фонаря вырос, вытянулся вверх, красное пятно его фуфайки одиноко в улице и очень резко бросается в глаза; он встряхивает рыжей головою, всё его лицо играет, каждую минуту меняя выражение: он стал маяком на одном из берегов темной реки, запруженной массою живого человечьего тела, и хорошо слышен над раздробленной толпой его зовущий голос:

— Сюда, ребята, здесь говорят правду о жизни рабочего народа, о его правах на труд и свободу!

Толпа течет мимо него, но постепенно вокруг фонаря образуется как бы водоворот, всё больше людей останавливается около живого маяка, поднимая головы вверх; рыжий парень, наклоняясь к ним, широко размахивает рукою, как бы показывая дорогу, и, точно удары набатного колокола, звучат его вопросы:

— Довольны ли вы вашей жизнью? Такова ли она должна быть, люди? Разве вы рабы и не хотите лучшего?

Толпа растет, молчит, но иногда — и с каждой минутой всё чаще, громче — раздаются из нее одобрительные крики:

— Очень хорошо, парень! Вэри уэлл, бойс! Олл райт![1]

— Всё, что ценно и прекрасно на земле, создается вашим трудом; пользуетесь ли вы всем, что ценно и прекрасно?

Полицейский, прислонясь широкой спиною к чугунному столбу фонаря, сам тоже из чугуна отлит; он равнодушно жует табак, у него мертвые маленькие глаза с белыми ресницами и лиловые щеки алкоголика. Иногда он поднимает желтые брови кверху и тоже бормочет:

— Очень хорошо! Олл райт...

Крики одобрения черной толпы всё сильнее, а над ними свободно плавает мощный голос оратора, летают слова, окрыленные верою, и сам он как будто летит над людьми, красная, огненная птица — предвестница новой жизни...

Станция подземной дороги, в обе стороны тянется узкий, длинный туннель, выложенный белой кафлей, весь в ярких пятнах реклам. Точно бусы ожерелья, горят, убегая вдаль, жемчужные огни электрических ламп. Стены покрыты жирным блеском, как будто смазаны салом; на черной полосе земли сверкают нити рельс, вытянутые направо и налево; огонь дрожит, кажется, что полосы металла расплавлены и текут.

Сверху проникает неутомимый гул надземной жизни — смягченный отзвук великого труда всё побеждающих людей. Здесь, под землею, звук этот подобен торжественному пению органа, он заставляет думать, что наверху люди уже устроили жизнь светлую, радостную и ныне славословят великую силу разума и воли.

---

[1] Очень хорошо, парень! Правильно! *(Англ.)*.

Из далей туннеля, то справа, то слева, почти ежеминутно вылетают поезда,— мчатся огненные змеи,— и, наполнив белую трубу железным грохотом, воем, исчезают в ней.

Всё вокруг дрожит в страшном напряжении; думается, что вся земля многоярусно прободена такими же светлыми ходами, по всем направлениям проникают в нее со сказочной быстротою эти гремучие, сверлящие змеи, созданные человеческим умом из железа, движимые таинственной силой, порабощенной волею человека.

Подлетит к станции сверкающая цепь вагонов, остановится, вздрогнет, выкинет на перрон десяток весело возбужденных людей, проглотит на место их другой десяток, и снова металлическое тело мчится вдоль туннеля в огне и грохоте, шумно дышит запахом масла и гари, исчезает, как бы торопясь просверлить землю еще глубже, еще больше.

Нервозная дрожь вагонов и земли, безумная быстрота движения так странно не соответствует спокойствию людей, ожидающих своих метро.

Эти люди, с первого взгляда однообразные, одинаково потертые, поношенные, невольно удивляют опасной торопливостью, с которой они выскакивают из поезда, едва только он остановится, удивляют уверенностью, с которой прыгают в дрожащие и, кажется, готовые взорваться вагоны. Потом в их движениях чувствуешь людей, привыкших сознавать себя победителями сил природы.

Около кассы громко беседует группа рабочих, особенно возбужден один — горбоносый, с маленькими усами, в измятой серой шляпе на затылке; делая рукою отсекающие жесты, он кричит:

— Ба, когда человек уходит от народа,— теряет не народ, а человек...

— Так, но — Бриан...

— Эта кость уже вываривалась в моем супе, и мне ничуть не жалко бросить ее собакам...

Звучит смех,— приятно слышать его здесь, под землей,— он так хорошо отвечает органному гулу там, наверху.

Мягкий грудной голос говорит серьезно и важно:

— Это правда! Очевидно, что всё хорошее, что он мог дать нам, он дал, а затем...

— Мы остаемся богаче, он — бедней...

Откуда-то под ноги людей подкатилась маленькая рыжая собака, ее пушистый хвост загнут на спину, она высунула розовый язык и умными черными глазами торопливо оглядывает ноги людей, принюхиваясь.

Большой человек, усатый, в белой блузе, обрызганной красками, вежливо приподняв шляпу, спрашивает собаку:

— Ваш билет?

Здоровый, громкий хохот. Собака села у ног блузника и задней ногою чешет пушистое ухо,— он схватил ее на руки и, приплясывая, поет:

Марьетта,
Моя Марьетта...

Двое-трое подпевают ему, а молодой, задорный голос тоже поет свои слова:

— Наш труд — основание культуры, весь мир лежит на плечах рабочего...

Из белого горла туннеля, заставляя трепетать жемчужные бусы огней, мчится одноокое чудовище; подкатилось, смело с перрона всех людей и, взвизгнув, полетело дальше в недра земли или на поверхность ее, откуда в туннель торжественно льется музыка жизни мирового города.

Мутно-зеленая вода Генуэзского порта осеяна мелкой угольной пылью, прямые лучи полуденного солнца играют на этой тонкой пленке серебром и причудливо спутанными цветами перламутра на жирных пятнах нефти.

Порт тесно заставлен огромными, всех наций, судами; густая, грязная вода едва зыблется между высоких бортов, тихо трутся друг о друга неуклюжие барки с углем, шуршат и поскрипывают причалы, гремят якорные цепи, маленькие, как водяные жуки, паровые катера, пыхтя, скользят по воде, и что-то размеренно

бухает, как ленивый, негромкий удар по коже большого барабана.

В жаркое небо стройно поднялась густая роща мачт, перечеркнутая горизонтальными линиями рей; реи, точно огромные стрелы, посланы во все края неба мощною рукой. Тихо дышит легкий ветер с моря, в синеве небес трепещут разноцветные флаги, и по вантам развешаны — сушатся — фуфайки судовых команд. Всюду протянуты железные цепи, толстые канаты, как бы для того, чтоб удержать в каменном кольце порта стройные пароходы, они опутаны такелажем, как рыбы сетью, и уснули в отравленной воде.

Тысячами светлых окон смотрит на черный порт мраморный город, разбросанный по горе, и шлет вниз, морю, живой, бодрый шум,— порт отвечает грохотом цепей, свистом и вздохами пара, сонным плеском воды о железо бортов, о плиты камня.

На корме небольшого грузовика, около лебедки, в тени измятого, обвисшего брезента сидят трое негров и сожженный солнцем, почти такой же темный, как они, итальянец, гладко остриженный, до́синя бритый, с черными бровями, большими, как усы.

Пред ними на грязном ящике четыре стакана лиловатого лигурийского вина, искромсанный кусок сыра, ломти хлеба,— но они не едят и не пьют: оттопырив толстые вывороченные губы, негры внимательно слушают бойкую речь итальянца, храбро извергающего поток слов на всех языках мира.

Негры смотрят в рот ему и на его руки,— неутомимо летая в воздухе пред их черными лицами, пальцы матроса красноречиво лепят речь, и без слов почти понятную. Правый рукав его куртки разорван, болтается белым флагом, оттеняя бронзовую руку, до плеча голую, до локтя исписанную темно-синим узором татуировки.

У одного негра курчавые волосы седы на висках, левого уха нет у него, в нижней челюсти не видно зубов; другой — широконосый гигант, с добрым, круглым лицом и наивными глазами ребенка; третий — юноша, гибкий, как зверь, полуголый и блестящий на солнце,— высветленное трением железо. Лицо у него умное, почти арийски правильное, губы не толсты, круглые, как

вишни, глаза красиво задумчивы, — глаза влюбленной женщины. Он слушает с напряжением особенно сильным,— весь потянулся вперед, точно хочет прыгнуть на оратора, а тот, резким жестом руки отталкивая что-то прочь от себя, кричит с гордостью:

— Для нас нет еврея, негра, турка, китайца: рабочие всей земли — братья!

Старый негр, утвердительно качнув головой, говорит своим по-английски:

— Для него — нет цветных, это правда!

— Ты знаешь меня пятнадцать лет!

— О да! — сдвинув ударом ладони белый колпак на обезображенное ухо, внушительно кричит негр, тоже почему-то горячась: схватил черною рукой стакан вина, поднял высоко и, указывая на него пальцем, продолжает:

— Слушать его, как пить это вино,— хорошо! Он — всегда — он! Он... везде говорит одно это: все люди,— люди цветные — тоже люди! Теперь, в морях, говорят это больше, чем прежде, — я знаю! Он очень много так говорил, так делал, за ним — еще один, два, и — стало много хороших людей, о, я, старый, очень знаю. Когда белый говорит о Христе — уйди прочь, когда он говорит о социализме — слушай! Тут — правда! Я — видел жизнь...

Молодой негр привстал, серьезный и важный, протянул матросу свой стакан и юношески чистым голосом сказал по-французски:

— Это хорошо знать мне. Будем пить за то, чтоб все так жили, как вы хотите, я и все хорошие люди,— хорошо, да?

И гигант тоже протянул белому длинную руку со стаканом, утонувшим в черной ладони; он хохочет, оскалив огромные зубы гориллы до ушей, похожих на звенья якорной цепи, хохочет и орет по-итальянски:

— Пить — много!

А повар, подняв стакан свой еще выше, как бы грозя кому-то, продолжает:

— Это — социализм! Он — везде: на Гаити, в Глазгоу, Буэнос-Айресе — везде! Как это солнце...

И все четверо смеются: громче всех итальянец, за

ним, густо рыча,— большой негр, юноша даже закрыл глаза и запрокинул голову, а старик-повар, смеясь негромко и визгливо, кричит:

— Везде! Да! Я — знаю!

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь; вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь...

— Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо,— там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее — красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму,— вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут. Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира...

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и всё более внимательно слушает ее вся жизнь... Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да! Да... но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло! А стачку мы выиграли...

— Выиграли,— звучно откликнулась девушка.— Ты и Паоло...

Не окончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм,— развалины какого-то здания,— над ним задумчиво опустил тонкие ветки ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветки его как будто тихо вздрогнули.

— Вот Паоло,— говорит девушка.

Черная высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидала? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе мои. Не провожайте меня дальше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и сестру,— всё будет хорошо!

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько; потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, всё будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням,— чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай,— тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить, в это, как в милость вашей Мадонны. У него — хороший

ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его... А любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город всё обильней сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его,— везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным оком освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось...

— Добрый вечер, товарищи!— сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

— Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Э, не смейся... Не чужая своему народу говорит с тобой... Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

— Все и — еще одна... Так?

— Да,— тихо сказала девушка.— Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и — веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...

III

НЕЗАКОНЧЕННОЕ

«ИСПОРЧЕННАЯ КРОВЬ — ТОТ ЖЕ ЯД...»

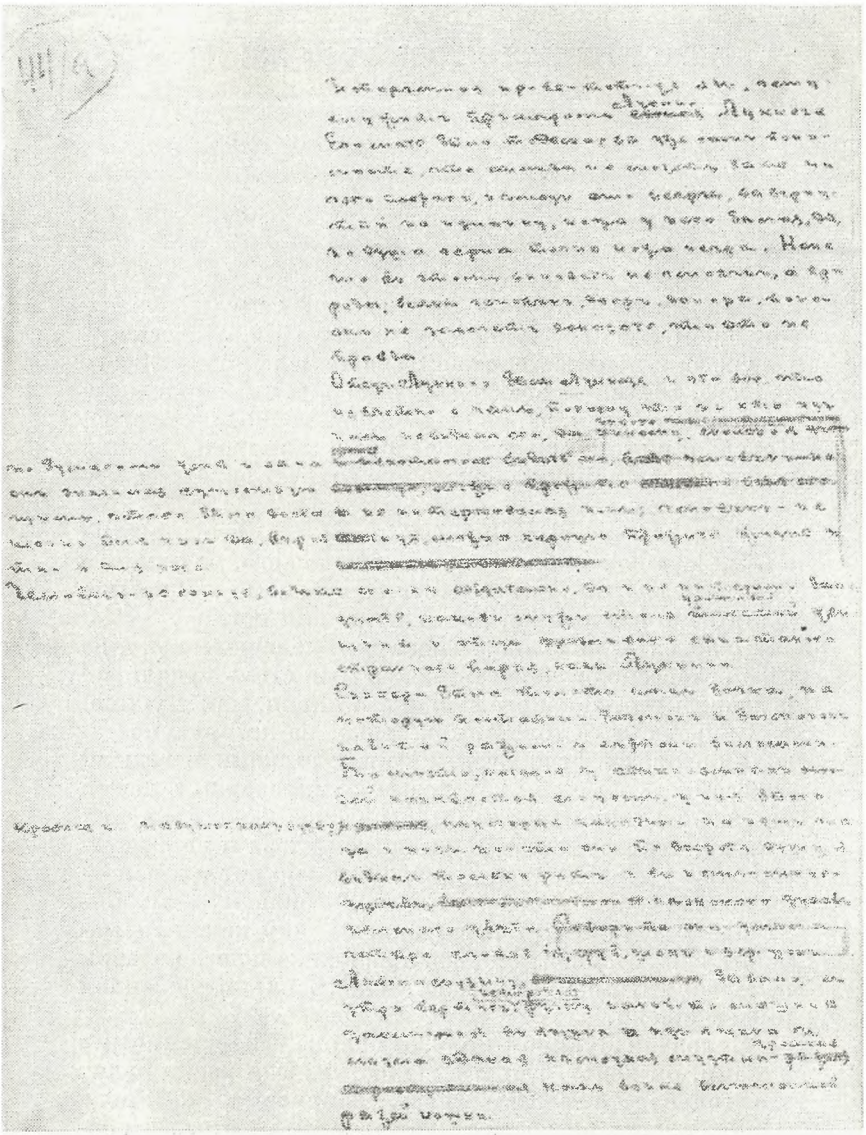
Испорченная кровь — тот же яд, чему и служит примером Лукино Луккезе. Его мать была тедеска,— вы уж сами понимаете, что отсюда не может быть ничего доброго, немец — это негр, вывернутый наизнанку, кожа у него белая, да, но душа черна, точно кожа негра. Конечно, в этом виноват не человек, а природа; всякий человек добр до поры, пока он не захочет доказать, что это неправда.

Отец Лукино был Луккезе, и это всё, что известно о нем, потому что никто из нас не видал его, по бумагам жены и сына он значился существующим, этого было достаточно для нас да, вероятно, и для него.

Человек — не солнце, видеть его не обязательно, да и не интересно было знать, каков муж столь уродливой женщины и отец такого странного парня, как Лукино.

Синьора была толста, как бочка, на которую поставили бочонок и бочоночек, набитый рыжими и седыми волосами. То место, которое у обыкновенных людей называется лицом, у нее было красное и надутое, как пузырь, некоторые находили на нем глаза и нос, но — это они по доброте души, я видел только рот и в нем — несколько зубов зеленого цвета. Любила музыку, бывало,— с утра вертит не торопясь ручку какой-то машины, заключенной в ящике, а из ящика и лезла эдакая немецкая музыка — громкая, как вопль влюбленной рыжей кошки.

Молодчик Лукино — парень сухопарый, с длинными руками, он ходит, глядя в землю, и люди редко видят его голубовато-зеленые глаза, капризные, как вода моря. Галстух он носил тоже зеленый, от этого и подбородок кажется позеленевшим, как у мертвого.



«ИСПОРЧЕННАЯ КРОВЬ — ТОТ ЖЕ ЯД...»
Из автографа.

Явились они к нам в коммуну и, каждый день, аккуратные, как часы аптекаря, стали лазить по всем улицам, всё осматривая, обнюхивая, ощупывая. Было довольно смешно смотреть на них: матушка — красная, как помидор, пыхтит и стонет.

— Шон, о ия, зер шон![1]

А сынок, молча поддерживая ее под локоть, цепляется длинными ногами за камни, точно лангуст, потеет и сухо кашляет.

Вскоре мы разобрали, что эта трижды круглая бабища фыркает сыну всё одни и те же слова:

— Фрагэ — феркауфт ман дас?

То есть: «Спроси — продается это?»

Мы так и прозвали ее — синьора Фрагэ.

За хорошие деньги — всё продается, ну и вышло так, что вскоре Лукино Луккезе накупил немало хороших кусков земли *<Не закончено>*.

---

[1] Schön, o ja, sehr schön! — Хорошо, о да, очень хорошо! (*Нем.*).

IV

НАПИСАННОЕ В СОАВТОРСТВЕ
‹АВТОБИОГРАФИЯ Ф. И. ШАЛЯПИНА›

СТРАНИЦЫ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

<автобиография ф. и. шаляпина>

Я помню себя пяти лет.

Темным вечером осени я сижу на полатях у мельника Тихона Карповича, в деревне Ометовой, около Казани, за Суконной слободой. Жена мельника, Кирилловна, моя мать и две-три соседки прядут пряжу в полутемной комнате, освещенной неровным, неярким светом лучины. Лучина воткнута в железное держальце — светец; отгорающие угли падают в ушат с водою, и шипят, и вздыхают, а по стенам ползают тени, точно кто-то невидимый развешивает черную кисею. Дождь шумит за окнами; в трубе вздыхает ветер.

Прядут женщины, тихонько рассказывая друг другу страшные истории о том, как по ночам прилетают к молодым вдовам покойники, их мужья. Прилетит умерший муж огненным змеем, рассыплется над трубою избы снопом искр и вдруг явится в печурке воробышком, а потом превратится в любимого, по ком тоскует женщина. Целует она его, милует, но когда хочет обнять,— он просит не трогать его спину.

— Это потому, милые мои,— объясняла Кирилловна,— что спины у него нету, а на месте ее зеленый огонь, да такой, что коли тронуть его, так он сожгет человека с душою вместе...

К одной вдове из соседней деревни долго летал огненный змей, так что начала вдова сохнуть и задумываться. Заметили это соседи; узнали, в чем дело, и велели ей наломать лутошек в лесу да перекрестить ими все двери и окна в избе и всякую щель, где какая есть. Так она сделала, послушав добрых людей. Вот прилетел змей, а в избу-то попасть и не может! Обратился со зла огненным конем да так лягнул ворота, что целое полотнище свалил.

Мать моя тоже рассказывала страшные истории, особенно памятна мне одна:

В небесах у господа бога был архангел Сатанаил, воевода всего небесного воинства, и возгордился он, и стал подговаривать всех ангелов и другие чины небесные воспротивиться богу. А бог узнал об этом и низринул Сатанаила с небес, но нужно было найти в небе заместителя ему. Было там одно существо — Миха, существо шершавое, отовсюду у него — из ушей, из носа — росли волосы, но было оно доброе и бесхитростное. Только однажды оно украло у бога землю,— бог позвал его, погрозил пальцем и велел землю отдать. Миха стал вынимать ее из ушей, из ноздрей, а что было во рту спрятано — не показывает. Тогда бог сказал ему:

— Плюнь!

Плюнул Миха и — появились горы.

Так вот, прогнав Сатанаила, бог позвал Миху да и говорит ему:

— Хоть ты и не умный, а все-таки лучше я тебя возьму воеводой небесных сил, в архистратиги. Ты не станешь мутить в небесах. И будешь ты отныне не Миха, а Михаил, Сатанаил же будет просто — Сатана!

Все эти рассказы очень волновали меня; и страшно и приятно было слушать их. Думалось: какие удивительные истории есть на свете, как всё жутко и просто, и какой добряк бог!

Вслед за рассказами женщины под жужжание веретен начинали петь заунывные песни о белых пушистых снегах, о девичьей тоске и о лучинушке, жалуясь, что она неясно горит. А она и в самом деле неясно горела. Под грустные слова песни душа моя тихонько грезила о чем-то, я летал над землею на огненном коне, мчался по полям среди пушистых снегов, воображал бога, как он рано утром выпускает из золотой клетки на простор синего неба солнце — огненную птицу.

— Поздно, пора бы уж Ивану-то прийти! — слышал я сквозь дрему голос матери.

Иван — это мой отец. Он приходил домой около полуночи, утром в семь пил чай и отправлялся в «Присутствие». Слово «Присутствие» пугало меня, напоминая суд, судей, а о суде я наслушался немало страшного.

После я узнал, что «Присутствие» — уездная земская управа, где отец служил писцом.

До управы от нашей деревни было верст шесть; отец уходил на службу к девяти часам утра, в четыре являлся домой обедать, а в семь, отдохнув и напившись чаю, снова исчезал на службу до двенадцати часов ночи.

Однажды я заметил, что прошло уже двое суток, а отец не приходил домой, и мать — в тревоге. На третьи сутки он явился пьяный, и мать встретила его слезами и упреками.

— Как теперь быть, чем станем кормиться? — спрашивала она со страхом и тоскою.

Жутко и обидно было слышать, как отец, ругая мать зазорными словами улицы, кричал:

— Отстань, убирайся к чёрту, дай мне жить! Надоели вы мне, я только и знаю, что работаю. Надо же и мне когда-нибудь погулять!

Тут я понял, что отец ходит в «Присутствие» работать и что он пропил месячное жалованье, как делали это многие из служащих людей. Я уразумел также, что на заработке отца построена вся наша жизнь. Это на его деньги мать покупает огурцы, картофель, делает из ржаных толченых сухарей или крошеного черствого хлеба вкусную «муру» — холодную похлебку на квасу, с луком, солеными огурцами и конопляным маслом. И это на деньги отца мать торжественно делает раз в месяц пельмени — кушанье, которое я жадно люблю и которого всегда нетерпеливо ожидаю, хотя мне известно, что его можно есть только однажды в месяц, «после 20-го».

С этой поры я стал относиться к отцу внимательнее, потому ли, что почувствовал свою зависимость от него, или потому, что был обижен и напуган его словами. А он начал выпивать всё чаще и наконец — каждое двадцатое число.

Сначала это число проходило без ссор, только мать тихонько плакала где-нибудь в углу, а потом отец стал обращаться с нею всё грубей, и наконец я увидел, что он бьет ее. Я завизжал, закричал, бросился на помощь ей, но, разумеется, это ей не помогло; только мне больно попало по голове и по шее. Я отскакивал от

ударов отца, кувырком катался по полу,— мне ничего не оставалось, кроме криков и слез. Случилось, что он забил мать до бесчувственного состояния, и я был уверен, что она померла: она лежала на сундуке в изодранном платье, без движения, не дыша, с закрытыми глазами. Я отчаянно заревел, а она, очнувшись, оглянулась дико и потом приласкала меня, спокойно говоря:

— Ну не плачь, ничего!

И, как всегда, наклонив мою голову на колени себе, стала избивать паразитов в волосах у меня, грустно утешая:

— Мало ли чего с пьяными дураками бывает, ты, мальчишка, не гляди на это, не гляди, родной!

После драк начиналась обычная жизнь: отец снова аккуратно ходил в «Присутствие», мать — пряла пряжу, шила, чинила и стирала белье. За работой она всегда пела песни, пела как-то особенно грустно, задумчиво и вместе с тем деловито.

В молодости она, очевидно, была здоровеннейшей женщиной, потому что теперь иногда жаловалась:

— Никогда я не думала, что у меня может спина болеть, что мне трудно будет полы мыть или белье стирать! Бывало, всякую работу без надсады одолеешь, а теперь — меня работа одолевает!

Отцом она бывала бита много и жестоко; когда мне минуло девять лет, отец пил уже не только по двадцатое, а по «вся дни»; в это время он особенно часто бил ее, а она как раз была беременна братом моим Василием.

Жалел я ее. Это был для меня единственный человек, которому я во всем верил и мог рассказывать всё, чем в ту пору жила душа моя.

Уговаривая меня слушаться отца и ее, она внушала мне, что жизнь трудна, что нужно работать не покладая рук, что бедному — нет дороги! Советы и приказания отца надобно исполнять строго, он — умный: для нее он был неоспоримым законодателем. Дома у нас, благодаря трудам матери, всегда было чисто убрано, перед образом горела неугасимая лампада, и часто я видел, как жалобно, покорно смотрят серые глаза

матери на икону, едва освещенную умирающим огоньком.

А внешне мать была женщиной, каких тысячи у нас на Руси: небольшого роста, с мягким лицом, сероглазая, с русыми волосами, всегда гладко причесанными,— и такая скромная, малозаметная.

* * *

Отец мой был странный человек. Высокого роста, со впалой грудью и подстриженной бородой, он — непохож на крестьянина. Волосы у него были мягкие и всегда хорошо причесаны,— такой красивой прически я ни у кого больше не видал. Приятно мне было гладить его волосы в минуты наших ласковых отношений. Носил он рубашку, сшитую матерью, мягкую, с отложным воротником и с ленточкой вместо галстуха, а после, когда явились рубашки «фантазия»,— ленточку заменил шнурок. Поверх рубашки — «пинжак», на ногах — смазные сапоги, а вместо носков — портянки.

Трезвый, он был молчалив, говорил только самое необходимое и всегда очень тихо, почти шёпотом. Со мною он был ласков, но иногда в минуты раздражения почему-то называл меня «Скважина».

Я не помню, чтобы он в трезвом состоянии сказал грубое слово или сделал грубый поступок. Если его что-либо раздражало, он скрежетал зубами и уходил, но все свои раздражения он скрывал лишь до поры, пока не напивался пьян, а для этого ему стоило выпить только две-три рюмки. И тогда я видел перед собою другого человека,— отец становился едким, он придирался ко всякому пустяку, и смотреть на него было неприятно.

Мне вообще пьяные были глубоко противны, а тем более — отец. Было очень стыдно за него перед товарищами, уличными мальчиками, хотя у большинства из них отцы были тоже горчайшими пьяницами. Я думал— в чем тут дело? Однажды я попробовал водку,— горькая, вонючая жидкость. Я понимал удовольствие пить квас, кислые щи, но зачем пьют эту отраву? И я решил, что большие пьют для храбрости, для того, чтобы

скандалить. А что пьяный человек должен скандалить, это мне казалось вполне законным, неизбежным. Все пьяные скандалили.

Пьяный, отец приставал положительно ко всякому встречному, который почему-нибудь возбуждал у него антипатию. Сначала он вежливо здоровался с незнакомым человеком и говорил с ним как будто доброжелательно. Бывало, какой-нибудь прилично одетый господин, предупредительно наклонив голову, слушает слова отца с любезной улыбкой, со вниманием спрашивает:

— Что вам угодно?

А отец вдруг говорит ему:

— Желаю знать, отчего у вас такие свинячие глаза?

Или:

— Разве вам не стыдно носить с собой такую вовсе неприятную морду?

Прохожий начинал ругаться, кричал отцу, что он сумасшедший и что у него тоже нечеловечья морда.

Обыкновенно это случалось после «двадцатого числа», ненавистнейшего мне. Двадцатого этого числа среда, в которой я жил, поголовно отравлялась водкой и дико дебоширила. Это были дни сплошного кошмара; люди, теряя образ человечий, бессмысленно орали, дрались, плакали, валялись в грязи,— жизнь становилась отвратительной, страшной.

Потом отец целые сутки лежал в постели и пил квас со льдом.

— Квасу!

Иных слов он не говорил в эти сутки. Лицо его было измучено, глаза безумны. Я удивлялся, как много он пьет, и хвастливо говорил товарищам, что мой отец может пить квас, как лошадь воду,— ведро, два! Они— не удивлялись и, кажется, верили мне.

Трезвый, отец бил меня нечасто, но все-таки и трезвый бил — ни за что ни про что, как мне казалось. Помню, я пускал бумажного змея, отлично сделанного мною, с трещотками и погремушками. Змей застрял на вершине высокой березы, мне жалко было потерять его. Я влез на березу, достал змея и начал спускаться, но подо мной подломился сук, я кувырком полетел

вниз, ударился о крышу, о забор и, наконец, хлопнулся на землю спиной так, что внутри у меня даже крякнуло. Пролежал я на земле с изорванным змеем в руках довольно долго. Отдохнув, пожалел о змее, нашел другие удовольствия, и всё было забыто.

На другой день к вечеру отец командует:

— Скважина, собирайся в баню!

Я и теперь обожаю ходить в баню, но баня в провинции — это вещь удивительная! Особенно осенью, когда воздух прозрачен, свеж, немножко пахнет вкусным грибным сырьем и теми самыми вениками, которыми бережливые люди парились, а теперь несут под мышками домой. В темные осенние вечера, скудно освещенные керосиновыми фонарями, приятно видеть, как идут по улице чисто вымытые люди и от них вздымается парок, приятно знать, что дома они будут пить чай с вареньем. Я тем более любил ходить в баню, что после нее у нас обязательно пили чай с вареньем.

В то время отец с матерью уже переехали жить в город, в Суконную слободу.

Так вот — пришел я с отцом в баню. Отец был превосходно настроен. Разделись. Он ткнул мне пальцем в бок и зловеще спросил:

— Это что такое?

Я увидел, что тело мое расписано сине-желтыми пятнами, точно шкура зебры.

— Это я упал, ушибся немножко.

— Немножко? Отчего же ты весь полосатый? Откуда ты упал?

Я рассказал по совести. Тогда он выдернул из веника несколько толстых прутьев и начал меня сечь, приговаривая:

— Не лазай на березу, не лазай!

Не столько было больно, сколько совестно перед людьми в предбаннике, совестно и обидно: люди страшно обрадовались неожиданной забаве; хотя и беззлобно, они гикали и хохотали, поощряя отца:

— Наддай ему, наддай! Так его,— лупи! Не жалей кожи, поживет гоже! Сади ему в самое, в это!

Вообще я не особенно обижался, когда меня били, я находил это в порядке жизни. Я знал, что в Суконной

слободе всех бьют — и больших и маленьких; всегда бьют — и утром и вечером. Побои — нечто узаконенное, неизбежное. Но публичная казнь в предбаннике, на виду голых людей и на забаву им,— это очень обидело меня.

Позднее, когда мне минуло лет двенадцать, я начал протестовать против дебошей пьяного отца. Помню — однажды мой протест привел его в такое негодование, что он схватил здоровенную палку и бросился на меня. Боясь, что он убьет, я, в чем был, босиком, в тиковых подштанниках и рубашонке, выскочил на улицу, пробежал, несмотря на мороз градусов в пятнадцать, два квартала и скрылся у товарища, а на другой день — всё так же босиком — прискакал домой. Отца не было дома, а мать, хотя и одобрила меня за то, что я убежал от побоев, но все-таки ругнула,— зачем бегаю босиком по снегу! Как я ни доказывал ей, что некогда было мне надеть сапоги, она едва не отколотила меня.

Иногда отец, выпивши, задумчиво пел высоким, почти женским голосом, как будто чужим и странно не сливавшимся ни с фигурой, ни с характером его,— пел песню, составленную из слов удивительно нелепых:

Сиксаникма,
Четвертакма,
Тазанптма,
Сулейматма,
Уссум та.
Биштпникма!
Дыгпн, дыгпн,
Дыгпн, дыгпн!

Я никогда не решался спросить его — что значат эти исковерканные полутатарские слова? И никогда не мог понять смысла поговорки, часто произносимой им:

— Бог Епимах, возьмет на промах!

Но вообще о боге он никогда и ничего не говорил мне. В церковь он ходил редко, но молился там очень благолепно. Сосредоточенно глядя пред собою, он крестился и кланялся редко, но чувствовалось, что он твердит про себя все молитвы, какие знал. Едва ли он

много знал их,— я никогда не слышал, чтобы он произносил их дома, молясь «на сон грядущий» или утром.

И в церкви он тоже ничего не говорил мне, а разве что давал подзатыльники, когда я, стоя рядом с ним, начинал забавляться, разглядывая, у кого какая борода, нос, глаза.

— Стой смирно, Скважина! — говорил он тихим шепотком, стукнув меня по черепу, и я тотчас же становился смиренным перед господом, делал унылое лицо верующего.

Позже, когда я служил с отцом в управе, я заметил, что у него на папке всегда была изображена могила; нарисован холмик, крест над ним, а внизу — подпись: «Здесь нет ни страданий, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

* * *

Несмотря на постоянные ссоры между отцом и матерью, мне все-таки хорошо жилось. В деревне у меня было много товарищей, все — славные ребята. Мы ловко ходили колесом, лазали по крышам и деревьям, делали самострелы, пускали «ладейки» — воздушных змей. Мы ходили по огородам, высыпая семена зрелого мака, ели их, воровали репу, огурцы; шлялись по гумнам, по оврагам,— везде было интересно, всюду жизнь открывала мне свои маленькие тайны, поучая меня любить и понимать живое.

Я сделал себе за огородом нору, залезал в нее и воображал, что это мой дом, что я живу на свете один, свободный, без отца и матери. Мечтал, что хорошо бы мне завести своих коров, лошадей, и вообще мечтал о чем-то детски неясном, о жизни, похожей на сказку. Особенной радостью насыщали меня хороводы, которые устраивались дважды в год: на Семик и на Спаса. Приходили девушки в алых лентах, в ярких сарафанах, нарумяненные и набеленные. Парни тоже приодевались как-то особенно; все становились в круг и, ведя хоровод, пели чудесные песни. Поступь, наряды, празднич-

ные лица людей — всё рисовало какую-то иную жизнь, красивую и важную, без драк, ссор, пьянства.

Случилось, что отец пошел со мною в город, в баню. Стояла глубокая осень, была гололедица. Отец поскользнулся, упал и вывихнул ногу себе. Кое-как добрались до дома,— мать пришла в отчаяние:

— Что с нами будет, что будет?— твердила она убито.

Утром отец послал ее в управу, чтоб она рассказала секретарю, почему отец не может явиться на службу.

— Пускай пришлет кого-нибудь увериться, что я взаправду болен! Прогонят, дьяволы, пожалуй...

Я уже понимал, что если отца прогонят со службы — положение наше будет ужасно, хоть по миру иди! И так уж мы ютились в деревенской избушке, за полтора рубля в месяц. Очень памятен мне страх, с которым отец и мать произносили слова:

— Прогонят со службы!

Мать пригласила знахарей, людей важных и жутких, они мяли ногу отцу, натирали ее какими-то убийственно пахучими снадобьями, даже, помнится, прижигали огнем, но все-таки отец очень долго не мог встать с постели.

Этот случай заставил родителей покинуть деревню, и, чтобы приблизиться к месту службы отца, мы переехали в город на Рыбнорядскую улицу, в дом Лисицына, в котором отец и мать жили раньше и где я родился в 1873 году.

Мне не понравилась шумная грязноватая жизнь города. Мы помещались все в одной комнате — мать, отец, я и маленькие брат с сестрой. Мне было тогда лет шесть-семь.

Мать уходила на поденщину — мыть полы, стирать белье, а меня с маленькими запирала в комнате на целый день с утра до вечера. Жили мы в деревянной хибарке, и — случись пожар — запертые, мы сгорели бы. Но все-таки я ухитрился выставлять часть рамы в окне, мы все трое вылезали из комнаты и бегали по улице, не забывая вернуться домой к известному часу. Раму я снова аккуратно заделывал, и всё оставалось шито-крыто.

Вечером, без огня, в запертой комнате было страшно; особенно плохо я чувствовал себя, вспоминая жуткие сказки и мрачные истории Кирилловны,— всё казалось, что вот явится баба-яга или кикимора. Несмотря на жару, мы все забивались под одеяло и лежали молча, боясь высунуть головы, задыхаясь. И когда кто-нибудь из троих кашлял или вздыхал, мы говорили друг другу:

— Не дыши, тише!

На дворе — глухой шум, за дверью — осторожные шорохи... Я ужасно радовался, когда слышал, как руки матери уверенно и спокойно отпирают замок двери.

Эта дверь выходила в полутемный коридор, который был «черным ходом» в квартиру какой-то генеральши. Однажды, встретив меня в коридоре, генеральша ласково заговорила со мною о чем-то и потом осведомилась — грамотный ли я?

— Нет.

— Вот, заходи ко мне, сын мой будет учить тебя грамоте!

Я пришел к ней, и ее сын, гимназист лет шестнадцати, сразу же,— как будто он давно ждал этого,— начал учить меня чтению. Читать я выучился довольно быстро, к удовольствию генеральши, и она стала заставлять меня читать ей вслух по вечерам. Но тут началось что-то необъяснимое: прочитав страницу, я никак не мог сообразить — куда перевернуть ее? Перекладывал ее туда, сюда и снова начинал читать только что прочитанное. Генеральша очень убедительно объясняла, как следует перевертывать страницы книг, мне казалось, что я усвоил эту мудрость, но, дойдя до последней строки, снова почему-то перевертывал левую страницу назад, а правую — дважды, так, что она ложилась перед моими глазами прочитанной стороною.

Однажды генеральшу рассердила эта странность и, в сердцах, дама обругала меня болваном. Но и это не помогло ей: дочитав страницу до конца, я все-таки не знал, куда ее повернуть, и горько разрыдался. Мне кажется, что ни раньше, ни после я не плакал так го-

рестно. Эти слезы, видимо, тронули генеральшу, и она сказала мне:

— Довольно читать!

С той поры я перестал ходить к ней.

Вскоре мне попала в руки сказка о Бове Королевиче,— меня очень поразило, что Бова мог простою метлой перебить и разогнать стотысячное войско.

«Хорош парень! — думал я.— Вот бы мне так-то!»

Возбужденный желанием подвига, я выходил на двор, брал метлу и яростно гонял кур, за что куровладельцы нещадно били меня.

Читать нравилось мне, и я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминанье, я прочитал в нем:

«О здравии: Иераксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии...»

Иван и Евдокия — отец, мать; Феодор — это я. Николай и Евдокия — брат и сестра. Но что такое — Иераксы?

Неслыханное имя казалось мне страшным, носителя его я представлял себе существом необыкновенным,— наверное, это разбойник или колдун, а может быть, и еще хуже...

Набравшись храбрости, я спросил отца:

— Папа, это кто — Иераксы?

Отец рассказал мне кратко и памятно:

— До восемнадцати лет я работал в деревне, пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал всё, что мог: был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе, наконец попал в работники к становому приставу Чирикову в Ключищах, а в том селе, при церкви, был пономарь Иеракса, так вот он и выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне! Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе,— не много будет их, легко удержать в памяти!

Вскоре после этого пономарь Иеракса был переписан отцом со страницы «О здравии» на страницу «О упокоении рабов божиих».

— Вот,— сказал отец,— я и тут в первую голову поставлю его!

Иногда, зимою, к нам приходили бородатые люди в лаптях и зипунах; от них крепко пахло ржаным хлебом и еще чем-то особенным, каким-то вятским запахом; его можно объяснить тем, что вятичи много едят толокна. Это были родные отца,— брат его Доримедонт с сыновьями. Меня посылали за водкой, долго пили чай, разговаривая об урожаях, податях, о том, как трудно жить в деревне; у кого-то за неплатеж податей угнали скот, отобрали самовар.

— Трудно!

Это слово повторялось так часто, звучало так разнообразно. Я думал:

«Хорошо, что отец живет в городе и нет у нас ни коров, ни лошадей и никто не может отнять самовар!»

Однажды я заметил, что отец и мать страшно обеспокоены и всё шепчутся; часто упоминая слово «прокурор» — слово, показавшееся мне таким же страшным, как Иеракса.

— Это что — прокурор? — спросил я мать; она объяснила:

— Прокурор больше, чем губернатор!

А о губернаторе я уже знал кое-что: при мне отец рассказывал соседям у ворот:

— Губернатор был Скарятин. Вот приехал он, разложил всю деревню на улице да как начал сам стегать всех нагайкой!

Теперь, услыхав, что прокурор еще больше губернатора, я, вполне естественно, стал думать и ждать, что прокурор разложит по улицам весь город и собственноручно выпорет его. Тут и мне достанется в числе прочих.

Но оказалось, что дело проще: младшая сестра моей матери была кем-то украдена и продана в публичный дом, а отец, узнав это, хлопотал у прокурора об ее освобождении из плена. Через некоторое время в комнате у нас явилась тетка Анна, очень красивая, веселая хохотушка, неумолчно распевавшая песни. Я начал понимать, что не всё в жизни так страшно, каким кажется сначала, пока не знаешь.

На дворе у нас работали каменщики и плотники; я таскал им писчую бумагу на курево, а они, свертывая собачью ножку, предлагали мне:

— Курни, это очищает грудь!

Едкий зеленоватый дым махорки не нравился мне. Но — всё надо знать! — я взял собачью ножку и курнул!

Меня стошнило; испытывая отчаянные приступы рвоты, я философски думал:

«Вот оно — как прочищают грудь!»

По праздникам каменщики и плотники напивались до безумия, устраивали драки; отец тоже пировал и скандалил с ними. Это неприятно удивляло меня: отец — не чета им; он одет благородно, у него галстух крученой веревочкой, а те — совсем простые. Не подобало бы ему пьянствовать с ними...

У домохозяина, купца Лисицына, одна из дочерей играла на фортепьяно,— эта музыка казалась мне небесной. Сначала я думал, что девица играет на обыкновенной шарманке, то есть просто вертит ручку, а музыка делается сама собою внутри ящика; но вскоре я узнал, что хозяйская дочь выколачивает музыку пальцами.

«Это ловко! — думал я.— Вот бы этак-то научиться!»

И вдруг — как по щучьему веленью! — случилось, что кто-то на нашем дворе разыгрывал в лотерею старинный клавесин; отец с матерью взяли для меня билет в 25 копеек, и я выиграл клавесин! Я безумно обрадовался, уверенный, что теперь научусь играть, но каково же было мое огорчение, когда клавесин заперли на ключ и, несмотря на мои униженные просьбы, не позволяли мне даже дотронуться до него.

Даже когда я подходил к инструменту, взрослые строго кричали:

— Смотри,— сломаешь!

Зато, когда я захворал, так спал уже не на полу, а на клавесине. Иногда мне казалось, что́ если открыть крышку да попробовать,— может быть, я уже умею играть?

Я долго возлежал на клавесине и странно было мне: спать на нем можно, а играть нельзя! Вскоре громоздкий инструмент продали за 25 или 30 рублей.

Мне было лет восемь, когда на святках или на Пасхе я впервые увидал в балагане паяца Яшку.

Яков Мамонов был в то время знаменит по всей Волге как «паяц» и «масленичный дед». Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна,— «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжелым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь. Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громовый, сорванный и хриплый голос,— весь он вызывал у меня впечатление обаятельное и подавляющее. Этот человек являлся в моих глазах бесстрашным владыкой и укротителем людей,— я был уверен, что все люди, и даже сама полиция, и даже прокурор боятся его.

Я смотрел на него, разиня рот, с восхищением запоминая его прибаутки:

— Эй, золовушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам! — кричал он в толпу, стоящую пред балаганом.

Расталкивая артистов на террасе балагана и держа в руках какую-то истрепанную куклу, он орал:

— Прочь, назём, губернатора везем!

Очарованный артистом улицы, я стоял пред балаганом до той поры, что у меня коченели ноги и рябило в глазах от пестроты одежды балаганщиков.

— Вот это — счастье, быть таким человеком, как Яшка! — мечтал я.

Все его артисты казались мне людьми, полными неистощимой радости,— людьми, которым приятно паясничать, шутить и хохотать. Не раз я видел, что, когда они вылезают на террасу балагана, от них вздымается пар, как от самоваров, и, конечно, мне в голову не приходило, что это испаряется пот, вызванный дьявольским трудом, мучительным напряжением мускулов.

Не решусь сказать вполне уверенно, что именно Яков Мамонов дал первый толчок, незаметно для меня пробудивший в душе моей тяготение к жизни артиста, но, может быть, именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне интересом к театру, к «представлению», так непохожему на действительность. Скоро я узнал, что Мамонов — сапожник и что впервые он начал «представлять»

с женою, сыном и учениками своей мастерской, из них он составил свою первую труппу. Это еще более подкупило меня в его пользу,— не всякий может вылезть из подвала и подняться до балагана! Целыми днями я бродил около балагана и страшно жалел, когда наступал великий пост, проходила Пасха и Фомина неделя,— тогда площадь сиротела и парусину с балаганов снимали, обнажались тонкие деревянные ребра, и нет людей на утоптанном снегу, покрытом шелухою подсолнухов, скорлупой орехов, бумажками от дешевых конфет. Праздник исчез, как сон. Еще недавно всё здесь жило шумно и весело, а теперь площадь — точно кладбище без могил и крестов.

Долго потом мне снились необычные сны: какие-то длинные коридоры с круглыми окнами, из которых я видел сказочно красивые города, горы, удивительные храмы, каких нет в Казани, и множество прекрасного, что можно видеть только во сне и в панораме.

* * *

Мы переехали в Татарскую слободу, в маленькую комнатку над кузницей,— сквозь пол было слышно, как весело и ритмично цокают молотки по железу и по наковальне. На дворе жили колесники, каретники и, дорогой моему сердцу, скорняк. Летом я спал в экипажах, которые привозили чинить, или в новой, только что сделанной карете, от которой вкусно пахло сафьяном, лаком и скипидаром.

Скорняк был черноволосый и черноглазый человек с восточным лицом,— он давал мне работу: раскладывать по крыше для просушки разные меха и потом выколачивать их тонкими, гибкими палочками, за что он платил мне пятак. Это было большое богатство и счастье для меня. За две копейки я мог идти в купальню на озеро Кабан, где во «дворянском» отделении я плавал до того, что от холода становился синим, точно плотва. Брата и сестру мне нельзя было брать с собой на озеро, они еще маленькие; брат — живой мальчуган, веселый и способный, а сестренка — тихая, задумчивая, я звал ее «Нюня». На заработанные мною деньги я покупал им

халву, и мы лакомились, вонзая молодые зубы в белую массу каменной твердости. Было забавно, когда эта странная штука крепко сцепит челюсти, а потом становится вязкой, как сапожный вар, и тает, наполняя рот молочной сладостью и мелом.

Помню веселого кузнеца, молодого парня; он заставлял меня раздувать меха, а за это выковывал мне железные плитки для игры в бабки. Кузнец не пил водки и очень хорошо пел песни; забыл я имя его, а он очень любил меня, и я его тоже. Когда кузнец запевал песню, мать моя, сидя с работой у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что два голоса поют так складно. Я старался примкнуть к ним и тоже осторожно подпевал, боясь спутать песню, но кузнец поощрял меня:

— Валяй, Федя, валяй! Пой,— на душе веселей будет. Песня, как птица,— выпусти ее, она и летит!

Хотя на душе у меня и без песен было весело, но — действительно — бывая на рыбной ловле или лежа на траве в поле, я пел, и мне казалось, что, когда я замолчу, песня еще живет, летит.

Однажды я, редко ходивший в церковь, играя вечером в субботу неподалеку от церкви св. Варлаамия, зашел в нее. Была всенощная. С порога я услышал стройное пение. Протискался ближе к поющим,— на клиросе пели мужчины и мальчики. Я заметил, что мальчики держат в руках разграфленные листы бумаги; я уже слышал, что для пения существуют ноты, и даже где-то видел эту линованую бумагу с черными закорючками, понять которые, на мой взгляд, было невозможно. Но здесь я заметил нечто, уже совершенно недоступное разуму: мальчики держали в руках хотя и графленую, но совершенно чистую бумагу, без черных закорючек. Я должен был много подумать, прежде чем догадался, что нотные знаки помещены на той стороне бумаги, которая обращена к поющим. Хоровое пение я услышал впервые, и оно мне очень понравилось.

Вскоре после этого мы снова переехали в Суконную слободу, в две маленькие комнатки подвального этажа. Кажется, в тот же день я услышал над головою у себя церковное пение и тотчас же узнал, что над нами живет

регент и сейчас у него — спевка. Когда пение прекратилось и певчие разошлись, я храбро отправился наверх и там спросил человека, которого даже плохо видел от смущения,— не возьмет ли он и меня в певчие? Человек молча снял со стены скрипку и сказал мне:

— Тяни за смычком!

Я старательно «вытянул» за скрипкой несколько нот, тогда регент сказал:

— Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты,— выучи!

Он написал на линейках бумаги гамму, объяснил мне, что такое диез, бемоль и ключи. Всё это сразу заинтересовало меня. Я быстро постиг премудрость и через две всенощные уже раздавал певчим ноты по ключам. Мать страшно радовалась моему успеху, отец — остался равнодушен, но все-таки выразил надежду, что если я буду хорошо петь, то, может быть, приработаю хоть рублевку в месяц к его скудному заработку. Так и вышло: месяца три я пел бесплатно, а потом регент положил мне жалованье — полтора рубля в месяц.

Регента звали Щербинин, и это был человек особенный. Он носил длинные, зачесанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный, хотя лицо его было уродливо изрыто оспой. Одевался он в какой-то широкий черный халат без рукавов, крылатку, на голове носил разбойничью шляпу и был немногоречив. Но, несмотря на всё свое благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы, и так как он служил писцом в окружном суде, то и для него 20-е число было роковым. В Суконной, больше чем в других частях города, после 20-го люди становились жалки, несчастны и безумны, производя отчаянный кавардак с участием всех стихий и всего запаса матерщины. Жалко мне было регента, и когда я видел его дико пьяным, душа моя болела за него.

Однажды приказчики купца Черноярова, устраивая по какому-то случаю вечер в доме своего хозяина, предложили Щербинину дать им мальчиков-певцов; регент выбрал меня и еще двоих. Втроем мы стали

ходить к приказчикам на спевки; там нас угощали печеньем и чаем, в который можно было класть сахара сколько душа желала. Это было замечательно, потому что дома и даже в трактире, куда мы, мальчики, заходили между ранней и поздней обеднями, чай пить можно было только «вприкуску», а не «внакладку». А у приказчиков клади сахара в стакан хоть по пяти кусков! И сами они были ребята славные, говорили с нами ласково, угощали радушно. На вечер к ним явились какие-то важные барыни, купцы, господа. Было светло, радостно и вообще незнакомо мне хорошо. Мы спели трио, которое начиналось словами:

Мрачны ночи,
Смертных очи...

Помнится, это называлось «Гимн Рождеству».

Вследствие каких-то непонятных причин хор Щербинина распался, и регент принужден был прекратить свою деятельность. Это, видимо, угнетало его, он запил еще жестче. Пьяный, звал меня к себе, брал скрипку и втроем: он, скрипка и я — мы пели, иногда так хорошо, что даже плакать хотелось от какой-то радости. После этого он уходил в кабак, а возвращаясь, снова звал меня петь. Не помню, чтоб он говорил мне что-либо значительное или учил меня, но, видимо, я ему нравился так же, как и он мне. Это был человек одинокий, угрюмый, должно быть, один из тех редких русских людей, которые страдают молча и слишком горды для того, чтобы жаловаться на судьбу. Однажды под вечер он позвал меня и сказал:

— Пойдем!

— Куда?

— Всенощную петь.

— Где? С кем?

— Вдвоем.

И мы пошли по буеракам, мимо кирпичных сараев на Арское поле в церковь Варвары Великомученицы, где и спели всю всенощную в два голоса, дискантом и басом, а на утро в той же церкви пели обедню. Так, вдвоем, мы ходили петь по разным церквам долго, до

поры, пока Щербинин не поступил в Спасский монастырь регентом архиерейского хора. Здесь я стал исполатчиком, получая уже не полтора, а шесть рублей в месяц. Это был большой заработок, а кроме того, я зарабатывал на свадьбах, похоронах и молебнах. Деньги я должен был отдавать родителям, но, разумеется, часть их утаивал. Получив за похороны 1 рубль 20 копеек, половину оставлял себе «на Яшку», на сласти. Я наслаждался: какое великолепное дело — пение! И для себя огромное удовольствие, да и деньги еще платят, можешь ходить в балаган любоваться талантом Якова Ивановича Мамонова.

На Рождество я, как все певчие, ходил «славить Христа», хором мы пели «Слава в вышних богу», концерт Бортнянского и трио «Мрачны ночи». Это понравилось хозяевам — нам дали полтинник; спели в другом месте — получили шесть гривен, и таким образом мы набрали за день рублей шесть. На святки — хватит погулять.

Когда подходила Пасха, я решил сам написать трио, взял скрипку, нотную бумагу и стал сочинять трио на слова «Христос воскресе из мертвых». Каким образом я научился играть на скрипке — об этом я расскажу потом. Мелодию придумал довольно быстро; не особенно затрудняясь, приписал и второй голос, потому что в моем представлении он должен был идти обязательно в терцию первому, но когда стал писать третий голос, образующий гармонию, то с великим огорчением услышал, что всё у меня неверно, фальшиво. Я, конечно, не знал, что существует квинтовый круг, не знал тональностей и поэтому выставлял все случайные знаки — диезы и бемоли перед каждой нотой. Однако, наладив кое-как второй голос, стал писать третий. Проверяю,— с первым голосом бас у меня сливается, а со вторым — не выходит решительно ничего. Бился, бился и, наконец, одолел-таки всю премудрость — написал трио; оно звучало довольно верно, нравилось слушателям, и мы трое хорошо заработали «на Яшку».

Трио было написано лиловыми чернилами, что напоминает мне чью-то шутку:

Живя настроеньями новыми,
Исполненный новыми силами,
Сие знаменую — лиловыми
Отныне пишу я чернилами...

Мечты оказался вздорными,
А силы мои — очень хилыми,
И снова поэтому черными,
Как раньше, пишу я чернилами [1].

Мой композиторский опыт я долго хранил, но все-таки он пропал вместе с письмами отца и любимой моей книгой стихов Беранже в переводе Курочкина. Это была очень рваная книжка, без начала. Я нашел ее — странно сказать! — в клозете и всюду возил с собою долгие годы. Особенно нравилось мне стихотворение:

Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Но то, чтоб очень пьян,
Но весел бесконечно!

Героя этой бесшабашной веселой поэмы я долго считал идеальнейшим человеком — он так выгодно был непохож на людей, среди которых я жил...

Полиция грозит,—
В тюрьму упрятать хочет,
А он, чудак, хохочет.
Да ну их! — говорит,—
Вот, говорит, потеха!

В Суконной слободе к полиции не умели относиться юмористически.

---

[1] Ср. текст этих стихов со стихами в томе I наст. изд. стр. 441.

* * *

Занимаясь пением, я в то же время учился грамоте в частной школе Ведерниковой, но в этой школе мальчики обучались вместе с девочками, и вскоре у меня разыгрался роман с одной из учениц.

Я был довольно способен, грамота давалась мне легко, и потому учился я небрежно, лениво, предпочитая кататься на коньке,— на одном, потому что пара коньков стоила дорого. Учебные книги я часто терял, а иногда продавал их на гостинцы и поэтому почти всегда не знал уроков.

Сидел я рядом с девочкой старше меня года на два, ее звали Таня; она меня и выручала в трудные минуты, подсказывая мне. Этим она вызвала у меня чувство глубокой симпатии, и однажды в коридоре, во время перемены, переполненный пламенным желанием благодарить ее, я поцеловал девочку. Она несколько испугалась и, оглядываясь, зашептала:

— Что ты, что ты! Разве можно? Вдруг учительница увидит. Вот когда будем играть на дворе,— спрячемся вместе, тогда уж ты меня и будешь целовать...

Я не знал, что в мои годы целоваться с девочками вообще не следует, и понял только одно: нельзя целоваться при учительнице,— должно быть, потому, что этого она не преподавала нам. Смутное понятие о запретности поцелуев явилось у меня, когда, целуясь с Таней в укромном уголке, я почувствовал, что так целоваться лучше, чем при людях. Я стал искать возможности остаться с Таней один на один, и мы целовались, сколько хотелось. Не думаю, чтобы эти поцелуи имели другой характер, кроме чистой детской ласки — ласки, до которой так жадно человечье сердце, всё равно большое или маленькое.

Конечно, учительница все-таки вскоре поймала нас, и меня с подругой выгнали из училища.

Известна ли была отцу и матери причина моего изгнания — не знаю. Вероятно, нет, иначе меня памятно выпороли бы.

Но этот случай не прошел бесследно для моей души, я понял, что когда спрячешься от людей, то поце-

луи — слаще, а когда учительница наказала меня, мне сделалось ясно, что поцелуи — дело зазорное. Затем этот случай вызвал у меня любопытство к женщине и изменил отношение к ней: до этого я иногда ходил в баню и с матерью, а теперь стал отказываться идти с нею из боязни, что мне будет стыдно.

Вскоре я поступил в четвертое приходское училище, но и оттуда живо выскочил, чему причиной послужил такой, скажем, странный случай: однажды, когда я шел на уроки, из ворот дома Журавлева выскочил какой-то рослый парень и, не знаю чем,— должно быть палкой,— треснул меня по затылку, разбив его до крови. Треснул и, яко дым, исчез.

Я поохал, прикладывая к ране снег, и пошел дальше, раздумывая: зачем это меня палкой? В училище я никому не сказал об этом, дома — тоже. Ведь если отец узнает, что у меня разбита голова, он вздует меня же. Рана начала гноиться, но под волосами ее не видно было.

На грех я через несколько дней что-то созорничал в школе или плохо ответил учителю, а он как раз любил «щипать рябчика».

«Рябчика щиплют» так: берут большим и указательным пальцами клок волос на вашем затылке и, крепко сжав их, с силой дергают снизу вверх. Ощущение получается такое, как будто вам надорвали шею до позвонков. Учитель «щипнул рябчика» как раз на месте раны. Я взвыл от боли. Из трещины на затылке хлынула кровь с гноем. Я стремглав убежал домой. Дома меня били за то, что не хочу учиться, но я сказал:

— Режьте меня пополам, а в этом училище не буду учиться!

Мне сказали, что я «сварливое животное», «скважина» и еще многое, а затем отец решил, что из меня «ни черта не выйдет», и отдал меня в ученье к сапожнику Тонкову, моему крестному отцу.

Я и раньше бывал у Тонкова, ходил в гости к нему с моим отцом и матерью. Мне очень нравилось у крестного. В мастерской стоял стеклянный шкаф, и в нем на полках были аккуратно разложены сапожные колодки, кожи. Запах кожи очень привлекал меня,

а колодками хотелось играть. И всё было весьма занятно. А особенно нравилась мне жена Тонкова. Каждый раз, когда я приходил, она угощала меня орехами и мятными пряниками. Голос у нее был ласковый, мягкий и странно сливался для меня с запахом пряников; она говорит, а я смотрю в рот ей, и кажется, что она не словами говорит, а душистыми пряниками. Позже, когда я приезжал в Казань, уже будучи артистом, встречаясь с этой женщиной и разговаривая с нею, я испытывал от ее сдобного голоса то же самое ощущение воздушных мятных пряников.

Отдавая меня сапожнику, отец внушал:

— Научишься шить сапоги — человеком будешь, мастером, заработаешь хорошие деньги, и нам от тебя помощь!

Я пошел в сапожники охотно, будучи уверен, что это лучше, чем учить таблицу умножения да еще не только по порядку, а и вразбивку. А тут еще мать сшила мне два фартука с нагрудниками!

Помню, была осень. Стояли заморозки, когда я с матерью шел по улице босиком, направляясь в мастерскую. На мне был новый фартук. Руки я засунул за нагрудник, как и следует настоящему сапожнику. Шел я и всё смотрел по сторонам,— как относится ко мне казанский народ? Народ, по исконному равнодушию своему к историческим событиям, наверное, никак не относился ко мне, но я был уверен, что все молча думали:

«Ага, вот еще явился у нас новый мастер!»

Мать вздыхала. На базаре она купила мне на копейку пяток огурцов. Четыре я положил за нагрудник, а один сунул в рот и шел, показывая миру большой зеленый язык.

Тонков был солидный человек высокого роста, кудрявый, одет в белую рубаху, в сатиновые шаровары и опорки. Он принял меня ласково:

— Сегодня погляди, а завтра начнешь работать!

Я плохо спал ночь, одержимый желанием трудиться. Утром вскочил вместе со всеми, часов в шесть. Страшно хотелось спать. Мне дали стакан чаю с хлебом, а потом хозяин показал, как надо сучить дратву.

Принялся я за дело очень ревностно, но, к удивлению моему, дело у меня не спорилось. Сначала мастера не обращали на меня внимания, но вскоре стали поругиваться:

— Экий болван!

Научился сучить дратву — нужно было всучивать в нее щетину с обоих концов. Это оказывалось еще труднее, а тут дремота одолевает. Но все-таки в первый день меня не били.

Тачать я научился скорее, чем сучить дратву, но, конечно, не без поощрения подзатыльниками. Хорошо еще, что хозяин был крестный мне. Мастера немножко считались с этим. Но судьба не сулила мне быть сапожником. Вскоре я простудился и захворал. Помню, лежал я на горячей печи, но никак не мог согреться. Крестный отец дал мне яблоко. Я откусил кусок и с отвращением выплюнул его. Вкус яблока был убийственный. Потом я очутился дома и, как сквозь сон, помню, шел с отцом на кладбище. Отец нес на полотенце через плечо гроб. В гробу лежал брат Николай. А затем помню себя в больнице, и рядом со мною, на койке, лежала моя сестра. У меня страшно горели ноги, точно их кто-то жег огнем. Какой-то черный человек прыскал на ноги из пульверизатора, и пока он делал это, я испытывал блаженство, а перестанет — и ноги снова горят нестерпимо.

Мать, сидя на койке сестры, говорила кому-то:

— Что вы, разве можно человеку горло резать!

Предо мною всё качалось, мелькало. Голова моя была полна туманом, но я все-таки догадался, что горло резать хотят моей сестре. Это не удивило меня. Здесь не разбойники, а больница. Значит, так надо,— резать горло. Но мать не согласилась на это, и сестра умерла. Очередь была за мной.

Но я стал выздоравливать. Только кожа сходила с меня, как со змеи. Я сдирал ее большими клочьями. Потом явился мучительный аппетит, я никак не мог насытиться.

Однажды подошел ко мне студент и спрашивает:

— Ну, брат, что тебе дать поесть? Вот у нас есть котлеты, суп с перловой крупой и суп с курицей. Выбирай что-нибудь одно.

Я выбрал суп с курицей, в расчете, что будет сначала — суп, а потом — курица. И был горько разочарован: мне принесли тарелку супа и в нем маленький кусочек чего-то. Съел я суп и спрашиваю:

— А где курица?

— Какая?

— А мне сказали...

— Ах, ты думал, тебе целую курицу дадут! Ну, брат, этого не бывает...

Очень жаль, что не бывает!

Когда я выздоровел, меня снова отдали к сапожнику, но уже другому. Отец нашел, что крестный баловал меня и ничему не может научить.

У сапожника Андреева я сразу попал в тиски. Хотя я умел сучить щетину и тачать, но здесь меня заставили мыть пол, ставить и чистить самовары, ходить с хозяйкой на базар, таская за ней тяжелую корзину с провизией, и вообще — началась каторга. Били меня беспощадно; удивляюсь, как они не изувечили мальчишку! Я думаю, что это случилось не по недостатку усердия с их стороны, а по крепости моих костей.

Но здесь я научился сносно работать и даже начал сам делать по праздникам небольшие починки: набивал набойку на стоптанный каблук, накладывал заплаты. Единственным удовольствием было хождение по заказчикам. Несешь кому-нибудь новые или чиненые сапоги и нарочно избираешь самый длинный путь, чтобы подольше пошляться на воздухе и на свободе. Иногда заказчик даст пятак или гривенник на чай. Всегда страдая от недоедания, я покупал белого хлеба и ел его с чаем.

— Обожрешься,— говорили мастера.

Хозяин кормил недурно, но мне очень часто не хватало времени для того, чтоб поесть досыта.

А тут еще был очень неудачный порядок: щи подавались в общей миске, и все должны были сначала хлебать пустые щи, а потом, когда дневальный мастер ударял по краю миски ложкой, можно было таскать и мясо. Само собою разумеется, что следовало торопиться, доставать куски покрупнее и почаще. Ну, а когда большие замечали, что быстро жуешь куски или глотаешь

их недожеванными, дневальный мастер ударял по лбу ложкой:

— Не торопись, стерва!

Умелый человек и деревянной ложкой может посадить на лбу солидный желвак!

Осенью еще было сносно. Вечера длинные. Бережливый хозяин не хочет зажигать огонь, и около часа, пред наступлением полной темноты, мы «сумерничали». Можно было отдохнуть. Зато к Рождеству работа накапливалась и начинались «засидки»,— работали до 12 часов ночи, а вставали в 5 утра. Этот двадцатичасовой рабочий день изводил меня. Я уже и так был «кожа да кости», а теперь стал бояться, что и кости мои станут тоньше.

Работая в мастерской, я все-таки продолжал петь в хоре. Но только за обеднями, а на свадьбах и похоронах — не мог уже за недостатком времени, и, конечно, не в состоянии был петь всенощные,— к вечеру я едва ноги таскал.

Весною, как только потеплело и можно было выйти на улицу босиком, я заявил отцу, что не могу работать — болен. Ясно выраженной болезни у меня не было, но я чувствовал какое-то недомогание, а на подошвах у меня явились твердые опухоли и желтые пятна. Это не были кожные мозоли, а какое-то затвердение под кожей. Оно не причиняло мне боли, но я воспользовался им и показал отцу, сказав, что ноги у меня болят.

Каков же был мой ужас, когда отец повел меня в клинику! Шел я за ним и думал:

«Господи, что же это будет? Ведь доктор узнает, что ноги-то у меня не болят! Всыплет мне отец и отправит назад в мастерскую, а там еще изобьют»...

Но наука спасла меня от истязаний. Доктор, пощупав мои ноги, позвал студентов и что-то рассказал им, а потом прописал мне мазь и запретил много ходить. Идя с отцом в аптеку за лекарством, я еще больше прихрамывал из уважения и благодарности науке. Но когда отец оставил меня, я стремглав пустился домой, радостно объявил матери, что нездоров, но это — пустяки, и нужно только помазать мазью. Мать пожа-

лела меня. Я вымазал ноги и стал собираться на улицу.

— Сотрешь мазь-то! Посидел бы немного,— сказала мать.

Я объяснил ей, что мазь уже вошла в нутро мое. И снова началась вольная жизнь с веселыми товарищами.

К сожалению, в школе Ведерниковой я научился довольно красиво писать, и это обстоятельство снова испортило мне жизнь.

— Из тебя, Скважина, вообще ни черта не выйдет!— сказал мне отец.— Довольно тебе шарлатанить! У тебя красивый почерк. Садись-ка за стол да каждый день списывай мне листа два-три! Скоро пора тебе ходить со мною в управу.

Я сел за стол. Мучительно скучно было выписывать красивыми буквами какие-то непонятные слова, когда вся душа на улице, где играют в бабки, в разбойники, в шар-мазло.

Да, я еще забыл, что после скарлатины и до работы у сапожника Андреева отец отдавал меня в ученье токарю. Это было тоже очень плохо для меня. Кормил хозяин скверно. Работа была тяжелая, не по силам мне. Хозяин часто брал меня с собою на рынок, где он покупал березовые длинные жерди, вершков двух и трех толщиною. Эти жерди я должен был тащить домой. Повторяю, я был худ. У меня везде торчали кости. И мне было всего десять лет от роду. Однажды я тащил дерево домой и до того выбился из сил, что, бросив жердь, прижался к забору и заплакал.

Ко мне подошел какой-то скучный господин, спросил меня, отчего я плачу, а когда я сказал в чем дело, он взял дерево и, сопровождаемый мною, понес его, а придя в мастерскую, стал, к моему изумлению, строго распекать хозяина.

— Я вас под суд отдам! — кричал он.

Хозяин выслушал его молча, но когда этот добрый человек ушел, хозяин жестоко вздул меня, приговаривая:

— Ты жаловаться? Жаловаться?

А я вовсе не жаловался. Только сказал, что нести

дерево не могу и боюсь опоздать в мастерскую. Отколотив меня, хозяин пригрозил, что прогонит, если еще раз повторится такая неприятность для него. Я сжался.

Но через некоторое время хозяин, изругав меня, повернулся ко мне спиной. Я показал ему язык, а он увидел это в зеркале. В эту минуту он не сказал мне ни слова, но на другой день, как раз перед завтраком, когда мне страшно хотелось есть, он сказал мне:

— Бери свои пожитки и убирайся к чёрту! Мне таких не надо.

Я сразу догадался, за что он выгоняет меня, но как я скажу об этом отцу?

Взял я свой сундучок с бельем и пошел домой.

— Ты что? — спросил отец.

— Прогнал хозяин.

— Почему?

— Не знаю.

Отец всыпал мне, сколько следовало по его расчету, и пошел к хозяину, но, воротясь от него, не сказал мне ни слова и больше не бил.

После этого меня отдали в 6-е городское училище. Учитель Башмаков оказался любителем хорового пения, и у него была скрипка. Этот инструмент давно и страшно нравился мне. И вот я стал уговаривать отца купить скрипку,— мне казалось, что научиться играть на ней очень легко. Из денег, которые утаивались мною от жалованья, я не мог купить; это открыло бы отцу, что я не весь заработок отдаю ему. Да и, признаться, жалко мне было своих денег. Я умел и мог потратить их с не меньшим удовольствием. Отец купил мне скрипку на «толчке» за два рубля. Я был безумно рад и тотчас же начал пилить смычком по струнам,— скрипка отчаянно визжала, и отец, послушав, сказал:

— Ну, Скважина, если это будет долго, так я тебя скрипкой по башке!

Однако я довольно быстро выучил первую позицию, но дальше не пошло — не было никого, кто показал бы мне, как учиться дальше, ибо регенты, тоже самоучки, играли не лучше меня, хотя скрипка помогла мне написать трио.

В это время мне было лет одиннадцать, и я уже имел

несколько человек добрых товарищей. Странно это, но все они до одного погибли в ранней юности. Главарь кружка, Женя Бирилов, умер от сифилиса, будучи офицером, Иван Михайлов, сын сторожа в городской управе, сделался отчаянным и безнадежным алкоголиком, Степан Орининский был кем-то убит на Казанке. Он был в год смерти студентом ветеринарного института. Иван Добров, будучи сельским дьячком или дьяконом и собирая по деревням «ругу», вывалился пьяный из саней и замерз. Странно!

Женя Бирилов — сын отставного штабс-капитана. Жил он хотя и небогато, но, видимо, в достатке. Помню, я однажды обедал у него. На последнее мне дали сладкого пирога. Само собой разумеется, я очистил тарелку как мог лучше и был очень удивлен, видя, что товарищ мой не доел пирог, оставил кусочек,— хоть и маленький, а оставил. Я запомнил это, думая, что такое поведение Жени, должно быть, является признаком его благородства. Он был интеллигентом нашего кружка и воспитывал нас. Например, — до знакомства с Женей мы ходили по улицам в царские дни, во время иллюминаций, буйной гурьбой, гася плошки, набирая в рот керосин и затем выпуская его на зажженную лучину так, чтобы в воздухе вспыхнуло пламенное облако. А главное развлечение праздника заключалось в том, чтобы, встретив шайку себе подобных, вступить с нею в честный бой. После таких прогулок некоторые из нас ходили с фонарями на лице вплоть до следующего праздника.

Но Женя убедил нас не ходить по улицам босиком, а надевать сапоги — у кого они есть — или хотя бы опорки, не драться и вообще вести себя благородно.

На одном дворе со мною жил Иван Добров, ученик духовного училища. От него я узнал странную вещь: в латинском алфавите — буквы в полном беспорядке; не как у нас: а, б, в, г, но — a, b, c, d. Это очень удивило меня. И еще больше удивился я благозвучию языка, слушая, как Добров декламирует речь Цицерона против Катилины. Не понимал я, как это выходит: алфавит перепутан, а язык все-таки красив! И почему — Катилина, а не просто — Катерина? Много на свете

встречается удивительного, когда тебе двенадцать лет.

Затем был у нас еще приятель Петров, старше всех, он служил в конторе нотариуса. Это — человек литературный. Он дружил с библиотекарем Дворянского собрания, доставал у него разные книжки. Мои товарищи усердно читали их, и я часто слышал, как они разговаривают о Пушкине, Гоголе, Лермонтове. Речи их были мало понятны мне, а переспрашивать я совестился. Но мне не хотелось отстать от друзей. Я записался в библиотеку и тоже стал читать. Прочитал «Ревизора», «Женитьбу», первую часть «Мертвых душ». Понимал я далеко не всё, но мне казалось, что это занятно и ловко сделано.

Добров, с которым я жил дверь в дверь и зимою вместе спал на печке, Добров зачитывался Майн-Ридом. На печке мы прочитали «Квартеронку», «Всадника без головы», «Смертельный выстрел» и еще много подобных сочинений. Признаюсь, эта литература нравилась мне больше, чем Гоголь, и я усердно искал ее. Возьму каталог библиотеки и выбираю из него наиболее заманчивые названия книг: «Попеджой ли он?», «Феликс Гольд, радикал» или «Фиакр № 14». Если книга сразу не захватывала меня, я ее бросал и брал другую. Таким образом я прочитал кучу романов, где описывались злодеи и разбойники в плащах и широкополых шляпах, поджидавшие жертву свою в темных улицах; дуэлянты, убивавшие по семи человек в один вечер; омнибусы, фиакры; двенадцать ударов колокола на башне церкви Сен-Жермен Л'Оксерруа и прочие ужасы.

Я так много начитался о Париже, в котором всё это происходило, что, когда попал в Париж, мне казалось, что я уже знаю этот город, жил в нем.

* * *

Мне было лет двенадцать, когда я в первый раз попал в театр. Случилось это так:

В духовном хоре, где я пел, был симпатичнейший юноша Панкратьев. Ему было уже лет семнадцать, но он пел всё еще дискантом. Сейчас он протодьякон в Казанском монастыре.

Так вот, как-то раз за обедней Панкратьев спросил меня — не хочу ли я пойти в театр? У него есть лишний билет в 20 копеек. Я знал, что театр — большое каменное здание с полукруглыми окнами. Сквозь пыльные стекла этих окон на улицу выглядывает какой-то мусор. Едва ли в этом доме могут делать что-нибудь такое, что было бы интересно мне.

— А что там будет? — спросил я.

— «Русская свадьба», дневной спектакль.

Свадьба? Я так часто певал на свадьбах, что эта церемония не могла уже возбуждать моего любопытства. Если б французская свадьба, это интереснее. Но все-таки я купил билет у Панкратьева, хотя и не очень охотно.

И вот я на галерке театра. Был праздник. Народу много. Мне пришлось стоять, придерживаясь руками за потолок.

Я с изумлением смотрел в огромный колодец, окруженный по стенам полукруглыми местами, на темное дно его, уставленное рядами стульев, среди которых растекались люди. Горел газ, и запах его остался для меня на всю жизнь приятнейшим запахом. На занавесе была написана картина: «Дуб зеленый, златая цепь на дубе том» и «кот ученый всё ходит по цепи кругом»,— медведевский занавес. Играл оркестр. Вдруг занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел, очарованный. Предо мною ожила какая-то смутно знакомая мне сказка. По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые люди, разговаривая друг с другом как-то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до глубины души был потрясен зрелищем и, не мигая, ни о чем не думая, смотрел на эти чудеса.

Занавес опускался, а я всё стоял, очарованный сном наяву, сном, которого я никогда не видал, но всегда ждал его, жду и по сей день. Люди кричали, толкали меня, уходили и снова возвращались, а я всё стоял. И когда спектакль кончился, стали гасить огонь, мне стало грустно. Не верилось, что эта жизнь прекратилась. У меня затекли руки и ноги. Помню, что я шатался, когда вышел на улицу.

Я понял, что театр — это несравненно интереснее

балагана Яшки Мамонова. Было странно видеть, что на улице день и бронзовый Державин освещен заходящим солнцем. Я снова воротился в театр и купил билет на вечернее представление.

Вечером давали «Медею». Ее играла Пальчикова, Язона — Стрельский. У меня было удобное место. Я мог сидеть облокотясь о барьер. Снова, не отрывая глаз, я смотрел на сцену, где светила взятая с неба луна, страдала Медея, убегая с детьми, метался красавец Язон. Я смотрел на всё это буквально разинув рот. И вдруг, уже в антракте, заметил, что у меня текут изо рта слюни. Это очень смутило меня. Я осторожно поглядел на соседей,— видели они? Кажется, не видали.

— Надо закрывать рот,— сказал я себе.

Но когда занавес снова поднялся, губы против воли моей опять распустились. Тогда я прикрыл рот рукою.

Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь домой по пустынным улицам, видя, точно сквозь сон, как редкие фонари подмигивают друг другу, я останавливался на тротуарах, вспоминал великолепные речи актеров и декламировал, подражая мимике и жестам каждого.

— Царица я, но — женщина и мать! — возглашал я в ночной тишине, к удивлению сонных сторожей. Случалось, что хмурый прохожий останавливался предо мной и спрашивал:

— В чем дело?

Сконфуженный, я убегал от него, а он, глядя вслед мне, наверное, думал: пьян мальчишка!

Дома я рассказывал матери о том, что видел. Меня мучило желание передать ей хоть малую частицу радости, наполнявшей мое сердце. Я говорил о Медее, Язоне, Катерине из «Грозы», об удивительной красоте людей в театре, передавал их речи, но я чувствовал, что всё это не занимает мать, непонятно ей.

— Так, так,— тихонько откликалась она, думая о своем.

Мне особенно хотелось рассказать ей о любви, главном стержне, вокруг которого вращалась вся приподнятая театральная жизнь. Но об этом говорить было по-

чему-то неловко, да и я не в силах был рассказать об этом просто и понятно. Я сам не понимал — почему в театре о любви говорят так красиво, возвышенно и чисто, а в Суконной слободе любовь — грязное, похабное дело, возбуждающее злые насмешки? На сцене любовь вызывает подвиги, а в нашей улице — мордобой. Что же — есть две любви? Одна считается высшим счастьем жизни, а другая — распутством и грехом?

Разумеется, я в то время не очень задумывался над этим противоречием, но, конечно, я не мог не видеть его. Уж очень оно било меня по глазам и по душе.

При всем желании открыть для матери мир, очаровавший меня, я не мог сделать этого. И, наконец, я сам не понимал простейшего: почему — Язон, а не Яков, Медея, а не Марья? Где творится всё это, кто эти люди? Что такое «золотое руно», Колхида?

— Так, так,— говорила мать.— А все-таки не надо бы тебе по театрам ходить. Опять отобьешься от работы. Отец и то всё говорит, что ты ничего не делаешь. Я тебя, конечно, прикрываю, а ведь правда, что бездельник ты!

Я действительно ничего не делал и учился плохо. Когда я спрашивал отца, можно ли идти в театр, он не пускал меня. Он говорил:

— В дворники надо идти, Скважина, в дворники, а не в театр! Дворником надо быть, и будет у тебя кусок хлеба, скотина! А что в театре хорошего? Ты вот не захотел мастеровым быть и сгниешь в тюрьме. Мастеровые вон как живут: сыты, одеты, обуты...

Я видел мастеровых по большей части оборванными, босыми, полуголодными и пьяными и не верил отцу.

— Ведь я же работаю, переписываю бумаги,— говорил я.— Уж сколько написал...

Он грозил мне:

— Кончишь учиться, я тебя впрягу в дело! Так и знай, лоботряс!

А театр всё более увлекал меня, и всё чаще я скрывал деньги, заработанные пением. Я знал, что это нехорошо, но бывать в театре одному мне стало невозможно. Я должен был с кем-нибудь делиться впечатле-

ниями моими. Я стал брать с собою на спектакли кого-нибудь из товарищей, покупая им билеты, чаще других — Михайлова. Он тоже очень увлекался театром, и в антрактах я с ним горячо рассуждал, оценивая игру артистов, доискиваясь смысла пьесы.

А тут еще приехала опера, и билеты поднялись в цене до 30 копеек. Опера изумила меня; как певчий, я, конечно, не тем был изумлен, что люди — поют, и поют не очень понятные слова, я сам пел на свадьбах «Яви ми зрак!» и тому подобное, но изумило меня то, что существует жизнь, в которой люди вообще обо всем поют, а не разговаривают, как это установлено на улицах и в домах Казани. Эта жизнь нараспев не могла не ошеломить меня. Необыкновенные люди, необыкновенно наряженные, спрашивая — пели, отвечая — пели, пели думая, гневаясь, умирая, пели сидя, стоя, хором, дуэтами и всячески!

Изумлял меня этот порядок жизни и страшно нравился мне.

«Господи,— думал я,— вот если бы везде — так, все бы пели,— на улицах, в банях, в мастерских!»

Например, мастер поет:

— Федька, др-ра-атву!

А я ему:

— Извольте, Николай Евтропыч!

Или будочник, схватив обывателя за шиворот, басом возглашает:

— Вот я тебя в участок отведу-у!

А ведомый взвывает тенорком:

— Помилуйте, помилуйте, служивы-ый!

Мечтая о такой прелестной жизни, я, естественно, начал превращать будничную жизнь в оперу; отец говорит мне:

— Федька, квасу!

А я ему в ответ дискантом и на высоких нотах:

— Сей-час несу-у!

— Ты чего орешь? — спрашивает он.

Или — пою:

— Папаша, вставай чай пи-ить!

Он таращит глаза на меня и говорит матери:

— Видала? Вот до чего они, театры, доводят!

Театр стал для меня необходимостью, и роль зрителя, место на галерке уже не удовлетворяли меня, хотелось проникнуть за кулисы, понять — откуда берут луну, куда проваливаются люди, из чего так быстро строятся города, костюмы, куда — после представления — исчезает вся эта яркая жизнь?

Я несколько раз пытался проникнуть в это царство чудес,— какие-то свирепые люди с боем выгоняли меня вон. Но однажды я все-таки достиг желаемого,— открыл какую-то маленькую дверь и очутился на темной узкой лестнице, заваленной разным хламом, изломанными рамами, лохмотьями холста. Вот он — путь к чудесам!

Пробираясь среди этих обломков, я вдруг очутился под сценой, среди дьявольской путаницы веревок, брусьев, машин,— всё это двигалось, колебалось, скрипело. В этой путанице шмыгали люди с молотками и топорами в руках, покрикивая друг на друга. Пробираясь среди них, как мышь, я вылез на сцену, за кулисы и очутился во сне наяву,— в компании краснокожих, испанцев, плотников и взъерошенных людей с тетрадками в руках. Хотя индейцы и испанцы разговаривали, как плотники, тоже по-русски, но это не лишало их обаяния, я разглядывал крашеные рожи и яркие костюмы с величайшим восторгом. Тут же, среди них, толкались настоящие пожарные в медных шлемах, а над головой моей на колосниках упражнялись в ловкости какие-то люди, напоминая балаганного Якова Мамонова. Всё это произвело на меня чарующее впечатление, незабвенное во веки веков!

А вскоре после этого я уже участвовал в спектакле статистом. Меня одели в темный гладкий костюм и намазали мне лицо жженой пробкой, обещав дать пятачок за это посрамление личности. Я подчинился окрашиванию не только безбоязненно, но и с великим наслаждением, яростно кричал «ура» в честь Васко де Гама и вообще чувствовал себя превосходно. Но каково было мое смущение, когда я убедился, что пробку с лица не так-то легко смыть! Идя домой, я тер лоб и щеки снегом, истратил его целый сугроб и все-таки явился с копченой физиономией негра. Родители очень серьезно

предложили мне объяснить — что это значит? Я объяснил, но их не удовлетворило это, и отец жестоко выпорол меня, приговаривая:

— В дворники иди, Скважина, в дворники!

«Почему именно в дворники?» — не раз спрашивал я себя.

Из артистов того времени наиболее памятен мне бас Ильяшевич в роли Мефистофеля. Я слишком много слышал нехорошего о чёрте. Он для меня был существом полуреальным, силою, жившей среди людей во вражде с ними, злою волей, которая насмешливо путала и без того трудную, запутанную жизнь. Ильяшевич придавал в моих глазах — особенную, жуткую убедительность чёрту и всем деяниям его. Он был для меня одинаково страшен и как-то непонятно понятен и на сцене, когда он метался по ней красный, как огонь, распевая насмешливо и громогласно о том, что «Люди гибнут за металл», и за кулисами, когда он говорил обыкновенные слова простым человечьим голосом. Меня до дрожи пугали его глаза, метавшие огненно-красные искры, и я считал этот страшный блеск природным свойством глаз артиста до поры, пока не убедился, что это просто — фольга, наклеенная на его веки.

Однажды, когда я проходил мимо уборной Ильяшевича, он сказал мне:

— Мальчик, на возьми двугривенный и купи мне винограду!

Я стремительно бросился вон из театра на площадь, где татары торговали фруктами с лотков, купил винограду. Ильяшевич отщипнул мне за услугу маленькую ветку, ягод пять. Чувствуя себя на вершине блаженства, я решил отнести ягоды матери. Весь спектакль я таскал их с собою, боясь раздавить, но по дороге домой любопытство ребенка, который никогда не ел винограда, победило любовь к матери, и я сам съел эти ягоды.

Кумиром публики, а особенно молодежи — студентов и курсисток — был тенор Закржевский. Его обожали, его буквально носили на руках, молодежь выпрягала лошадей из его экипажа и везла по улицам на себе. Помню, с каким благоговением стоял я перед

дверью, на медной дощечке которой было выгравировано:

ЮЛИАН ФЕДОРОВИЧ
ЗАКРЖЕВСКИЙ

Помню, как трепетало у меня сердце, ожидая — вдруг дверь отворится, и я увижу этого всеми обожаемого человека!

Несколько лет спустя я встретил Закржевского полубольным, всеми забытым, в нищете. Я имел грустную честь помочь ему немножко и видел на его глазах слезы обиды и благодарности, слезы гнева и бессилия. Это была тяжелая встреча.

Но — такова судьба артиста, он игрушка публики, не более. Пропал голос, и нет человека, он всеми забыт, заброшен, как надоевший ребенку деревянный солдатик, когда-то любимый им. И если не хочешь испытать незаслуженных унижений,— «куй железо, пока горячо», работай, пока в силах, не жалея себя!

* * *

Учиться я кончил, когда мне было лет тринадцать, и кончил, к удивлению родителей, даже с похвальным листом. Говоря по совести, я немножко надул учителей. Дело в том, что к выпускному экзамену ученикам было предложено написать какой-нибудь рассказ из личной жизни. Я был твердо уверен, что не сумею написать такого рассказа, и решил, что будет гораздо лучше, если я спишу его из какой-нибудь книжки. И вот я откуда-то списал рассказ о том, как маленький мальчик ехал со своим дедом в лес за дровами и увидал на дороге змею, как они убили эту змею и что при этом чувствовал мальчик, что говорил дед, где было солнце и прочее. За этот рассказ, поданный мною учителю с великим трепетом и почти с уверенностью, что я буду пойман на обмане,— за этот рассказ мне поставили высший балл — 5! Честь и слава науке! Она относилась ко мне удивительно милостиво. Я невольно вспомнил историю с больными ногами и доктором.

Помимо удачного рассказа, я покорил на экзамене сердца моих учителей еще и тем, что прочитал «Степь» Кольцова и «Бородино» Лермонтова так, как читают

стихи актеры в дивертисментах,— с жестами, завыванием и другими приемами настоящего искусства. В «Бородино» я спрашивал «дядю», а он мне отвечал настоящим дядиным голосом. Всё это очень понравилось учителям, но товарищи-ученики осмеяли меня потом, хотя слушали чтение с интересом, как я заметил. Они увидали в этом чтении нечто нехорошее, фальшивое и даже постыдное.

— Ну,— сказал мне отец,— теперь ты грамотный! Надо работать. Ты вот всё по театрам шляешься, книжки читаешь да песни поешь! Это надобно бросить...

Пьяный, он подзывал меня к себе, долбил череп мой согнутым пальцем и всё внушал:

— В двор-рники!

И, наконец, он объявил мне:

— Я тебя пристроил в ссудную кассу Печенкина! Сначала без жалованья, а после получишь, что дадут.

И вот я сижу за конторкой ссудной кассы, сижу с девяти часов до четырех. Приносят разные невеселые люди кольца, шубы, ложки, часы, пиджаки, иконы; оценщик оценивает всё это в одну сумму, назначает к выдаче другую; происходят споры, торг, кто-то ругается, кто-то плачет, умоляя прибавить, ссылаясь на болезнь матери, смерть сына, а я пишу квитанции, думаю о театре. В ушах у меня звучит милая песенка:

Расскажите вы ей,
Цветы мои,
Как люблю я ее...

Прослужив два месяца бесплатно, я стал получать жалованье по 8 рублей в месяц. Служба была глубоко противна мне, но я гордился тем, что зарабатываю и помогаю матери жить. Работал я все-таки аккуратно и был на хорошем счету.

Летом в Панаевском саду играла оперетка, на открытой сцене действовали куплетисты и рассказчики. Я, конечно, посещал сад. Страшно интересовали меня артисты, но я почему-то боялся их и всегда наблюдал за ними только откуда-нибудь со стороны, из угла. Смотрел и думал:

«Какие удивительные люди! Вот человек только что был королем, а теперь одет, как все, пьет пиво и грызет соленые сухарики».

Все эти короли, Ахиллы, Калхасы и Ламбертучьо, цыганские бароны и губернаторы казались мне людьми одинаково интересными и на сцене и вне ее. Все они — веселые балагуры, забавники. Легко, должно быть, живется им на свете! А я служу в кассе ссуд, где ежедневно люди стонут и ругаются, жалуются и плачут. Да и вне кассы ссуд, в Суконной слободе — то же самое.

Вскоре я ушел от Печенкина. Не помню точно почему, но уверен, что из-за театра, который убивал мое радение к службе. Отец, разумеется, жестоко изругал меня и тотчас же отправил учиться в заштатный город Арск, в двухклассное училище с преподаванием ремесел. Думаю, он сделал это не только из желания видеть меня мастеровым, но главным образом потому, что знал: в Арске нет театра. Из всех городов, стоящих на земле, Арск — самый скучный и ненужный.

Первый раз я покинул родителей и ехал куда-то один, с земским почтарем евреем Гольцманом, очень милым человеком. Стояла чудесная, сухая осень. Дорогу караулили золотые деревья. В синем прозрачном воздухе носились нити паутины — «русалочья пряжа». Мне думалось, что я еду в какую-то прекрасную страну, и я тихо радовался, что уезжаю из Суконной слободы, где жизнь становилась всё тяжелее для меня.

Я избрал для себя столярное ремесло. Мне понравилось, что ученики старших классов сами для себя делают шкатулки. Но вскоре это ремесло показалось мне отвратительным, потому что учитель-мастер бил учеников — а меня чаще других — всеми инструментами и всяким материалом, бил угольниками и досками, толкал в живот фуганком, стукал по голове шерхебелем. Я попросил, чтобы меня перевели в переплетную. Там меньше тяжелых инструментов, и удар книгой по голове не вызывает такой боли, как удар доской в полвершка толщины. Переплетать книги я научился очень быстро и довольно искусно.

Кроме обучения ремеслу, нужно было еще заниматься работами в огородах училища. Мы срезали капусту, рубили ее, солили огурцы. Но всё это было скучно. С товарищами я как-то не сходился. Было только одно удовольствие: по субботам мылись в бане. Распарившись до красного каления, мы выскакивали голые из бани и валялись в снегу, раннем и очень обильном тою зимой. Говорят, это вредно. Но — это очень забавно.

Однажды, кажется, в день зимнего Николы, я сидел на лавке у ворот, думая о Казани, о театре, поглядывая на этот ничтожный, пустой Арск. В кармане было несколько копеек, и я как-то сразу решил уйти в Казань. Будь, что будет! Встал и пошел. Но не успел отойти и десятка верст, как меня нагнали двое верховых — сторож училища и один из учеников старшего класса. И повели меня, раба божьего, обратно. А в училище дали мне трепку,— не бегай! Я покорился, примирился с мыслью, что раньше весны отсюда не вырвешься.

Вдруг пришло письмо отца: опасно захворала мать, смотреть за нею некому, и я должен немедленно ехать домой. Я поехал с попутчиками, с обозом. Ехать было страшно холодно. Я коченел, а ехали шагом. Но зато какое наслаждение пить чай с черным хлебом на постоялом дворе!

Мать действительно была страшно больна. Она так кричала от страданий, что у меня сердце разрывалось, и я был уверен, что она умрет. Но ее перевезли в клинику, и там профессор Виноградов вылечил ее. Мать до конца дней говорила о нем почти благоговейно.

Отец устроил меня писцом в уездную земскую управу, и теперь я ходил на службу вместе с ним. Мы переписывали какие-то огромные доклады с кучей цифр и часто, оставаясь работать до поздней ночи, спали на столах канцелярии. Секретарь управы был Дудкин, милый молодой человек, сменивший прежнего секретаря, который носил странную фамилию — Пифиев — и про которого отец говорил, что он держал дома ременную плетку, чтобы в свободное от занятий время учить свою жену, как ей надо жить.

Отец считался хорошим работником, и, видимо, секретарь очень ценил его, потому что, когда отец, выпивши, придирался к нему и говорил дерзости, он только молчал, надуваясь и мигая.

* * *

Начитавшись убийственных романов, насмотревшись театральной жизни, я начал несколько преждевременно мечтать и бредить о любви. Впрочем, не только я, но и мои товарищи тоже не чужды были этих мечтаний. Мы все считали себя влюбленными в Олю Борисенко, равнодушную красавицу гимназистку, которая ходила уточкой и смотрела на весь мир безучастными глазами. Боже мой, как жадно ждали мы Пасхи, чтобы похристосоваться с Ольгой! Помню такой случай. Против церкви Сошествия святого духа татары торговали кумачом, всякой галантереей, мылом и удивительными духами,— их можно было купить на три копейки полный маленький пузырек. Мы купили эти духи. Не дожидаясь конца заутрени, выбежали на паперть, и там каждый из нас намазал себе духами зубы, кончик языка и губы. Духи жгли, но благовоние получилось замечательное! Когда вышла Оля, мы, возглашая «Христос воскресе», подходили к ней гуськом, как за билетами к театральной кассе, и осторожно чмокали даму наших сердец. Она пребывала равнодушной.

Женя Бирилов почему-то называл ее некрасивым именем — Дульцинея Тобосская. Как-то раз я поправил его.

— Тобольская!

— Молчи, коли не знаешь,— сказал он.

Из-за этой Дульцинеи я дрался на шпагах, как и надлежит истинному кавалеру. Дуэль произошла не потому, что она была неизбежна, а потому, что мы были предрасположены к этому делу, начитавшись Дюма и Понсон дю Террайля. С нашей компанией познакомился гимназист, который воровал у своего отца ружья, продавал их и на вырученные деньги угощал нас пивом в портерных. В сущности, он был хороший парнишка и нравился нам не только потому, что пивом угощал.

Так вот, как-то однажды этот гимназист позволил себе отнестись недостаточно уважительно к нашей даме. Ничего особенного он не сделал, но — когда любишь, то неизбежно ревнуешь. Для каждого из нас было счастьем сказать Оле два-три слова, побеседовать с ней минуту. Мне, к сожалению, доставалось этих минут меньше, чем друзьям моим. Я был моложе всех и менее интересен. Но именно я сказал гимназисту, чтоб он немедленно убирался ко всем чертям. Он хотел избить меня, но вступились мои товарищи, заявив, что если он желает получить «сатисфакцию», любой из нас готов драться с ним. Он горячо согласился, что дуэль необходима.

Дуэлянтом выбрали меня, так как я, подражая Мефистофелю, Фаусту и Валентину, умел гнуть палку, как шпагу, делая ею всевозможные воинственные театральные пируэты и выпады. Было единогласно решено, что именно мне и следует пронзить нашего обидчика.

Женя Бирилов принес рапиры, которые висели дома у него на стене как украшение. Концы рапир показались нам недостаточно острыми. Тогда мы снесли оружие к слесарю, чтобы он его наточил. Помню, клинки рапир были черные, а концы светлые, точно из серебра.

Местом боя мы избрали Осокинскую рощу. Секундантами обеих сторон были мои приятели, но они вели себя безукоризненно честно по отношению к обоим дуэлянтам. Вообще всё было — как в самом хорошем романе.

— Не очень старайтесь! — сказал нам один из секундантов.

Другой подтвердил:

— Глядите, до смерти убивать не надо!

Дуэль началась и кончилась в минуту, если не скорее. Ударив раза два рапирами одна о другую, мы, не долго думая, всадили их кому куда нравилось: противник в лоб мне, а я ему в плечо. Ему, видимо, было очень больно, он выпустил рапиру из руки, и она повисла, торча острием в голове моей. Я тотчас выдернул ее. Из раны обильно полилась кровь, затекая мне в глаз. И у гимназиста по руке тоже стекала кровь. Так как мы условились драться не насмерть,

а до первой крови, секунданты признали дуэль конченной и начали перевязывать наши раны, причем один из них для этой цели великодушно оторвал штрипки от своих подштанников.

Мы, противники, пожали руки друг другу и сейчас же отправились в чей-то сад воровать яблоки,— это, в сущности, не считается кражей,— а вечером я, гордый собою, явился домой и был жестоко выпорот. Это было ужасно! Пришел человек с благороднейшими чувствами в груди, а с него снимают штаны и бьют по голому телу какими-то шершавыми веревками. Невыносимо обидно!

Знала ли об этой дуэли Оля Борисенко? Вероятно, ей сказали. Но это ничего не изменило в ее отношении ко мне и в моей судьбе.

Любовь — та, которую показывали на сцене театра, и та, которой мучились в Суконной слободе,— не могла не тревожить моего воображения. Слободские девицы задумчиво пели:

На том ли поле серебристом
Стояла дева пред луной
И уверяла небо — чистым
Хранить до гроба свой покой.

Несомненно, это глупые слова, но в них звучало искреннее чувство, понятное мне. А дальше в этой песне были слова и не в такой степени глупые:

Любовь моя прочней могилы,
Я всю себя ей отдала.
Она мои убила силы;
В ее огне я отцвела.

Хотя это распевалось отцветшими слободскими девицами, но все-таки трогало меня за сердце.

Я видел, что все ищут любви, знал, что все страдают от нее,— женатые и холостые, чиновники и модистки, огородницы и рабочие. В этой области вообще было очень много страшного, недоступного разуму моему: девицы и молодые женщины пели о любви грустно, тро-

гательно. Почему? А парни и многие мужчины рассказывали друг другу про любовь грубо, насмешливо и посещали публичные дома на Песках. Почему? Я знал, что такое публичный дом, и никак не мог связать это учреждение с любовью, о которой говорилось в «Даме с камелиями».

Я пел на свадьбах, видел невест, действительно похожих на белых голубиц, и видел, что почти всегда они плакали. Деревенские девицы, выходя замуж, тоже плачут и поют песни, проклиная замужнюю жизнь. Потом все они — городские и деревенские — «в муках рождают детей». Но в то же время все стремятся выйти замуж, все ищут любви. Она, в сущности, является главным содержанием жизни.

Вообще всё, что было известно мне в области отношений полов, являлось предо мною разноречивым до совершенной непримиримости. Мне было ясно, что в обыденной жизни женщина — домашнее животное, тем более ценное, чем терпеливее оно работает. Но в то же время я видел, что женщина всюду вносит с собою праздник и что жизнь при ней становится красивее, чище. Я бывал на «посиделках», которые устраивались в мастерских; мастера и подмастерья, пьяницы, матерщинники, заставляли нас, учеников, «прибирать» мастерскую, покупали пряников, конфет, орехов, наливок и, приглашая девиц — швеек, коробочниц, горничных,— устраивали танцы, игры.

Играли в фанты; выберет себе девицу какой-нибудь отчаянный человек и ходит под ручку с ней, а остальные поют:

Боже мой, боже мой!
Что за душечка со мной!
Щечки розаном покрыты,
Губки аленькие!
Еще брови да глаза —
Это просто чудеса!
Поцелую раз, другой
И пойду сейчас домой!

Нужно было видеть радостное смущение сапожника, портного или столяра, когда он неуклюже и стыдливо

целовал свою избранницу, нужно было видеть ее девичий румянец, ее глаза в этот миг! Это было хорошо, хотя теперь кажется смешным; это так чудесно скрашивало трудную жизнь в подвалах!

И во всем этом я чувствовал, что женщина — радость жизни, владыка ее! Но в то же время в глаза бросалось множество других явлений, грубо унижающих ее.

Очень поразил меня один случай. Девушка, сестра моего товарища, выходила замуж «по любви» за молодого человека, почтового чиновника. Я был на свадьбе, смотрел, как пировали. Всё это было очень весело, очень любопытно. Поздней ночью молодые ушли спать на чердак, а я с товарищем — на сеновал.

Утром меня разбудил дикий визг, крики, грохот,— как будто случилось великое несчастье. Я выглянул на двор и увидал картину, которую не забуду никогда. По двору безумно прыгали похмельные, полуодетые, нечесаные бабы. Одни плясали какой-то дикий танец, поднимая юбки до колен и выше; другие визгливо пели; третьи били о землю и стены дома горшки, плошки, стучали в сковороды и кастрюли; некоторые размахивали по воздуху большой белой тряпкой, испачканной кровью. Всё это казалось безумием и вызывало чувство страха. Мужчины, тоже полупьяные, хохотали, орали, обнимая баб. А бабы всё толкались по двору, точно комары над лужей. На стареньком крыльце дома стояли, взявшись за руки, молодые и, улыбаясь, смотрели на это безумие, в котором было много постыдного. Женщины, плясавшие на дворе, орали грязные слова, показывая ноги. Мужчины не уступали им. А молодые были счастливы. Я никогда, ни прежде, ни после, не видал таких счастливых глаз, какие были у них в то утро.

Товарищ был старше и опытнее меня. Я спросил его, что они делают.

— Радуются,— ответил он.— Слышишь, поют «Во лузях»? Видишь, рубаха-то в крови? Стало быть, сестра у меня честная была. «Расцвели цветы лазоревые»!

Удивленный, я спросил:

— А теперь она разве стала бесчестной?

Товарищ долго объяснял мне, что такое честь девушки. Я слушал его с большим любопытством, но

все-таки мне было как-то неловко, стыдно. И во всем, что он говорил, во всем, что происходило на дворе, пред глазами у меня, я чувствовал что-то неладное, как бы некоторое издевательство над женщиной и над любовью.

Осталось только одно светлое пятно — это сияющие счастьем лица молодых. И я подумал, что какую бы грязь ни разводили люди вокруг любви, а все-таки она — счастье! Может быть, я не тогда подумал об этом, но я рад, что эта мысль пришла ко мне рано, еще в отрочестве.

Кажется, этой же мысли, в связи со всеми прочими впечатлениями, которые я вынес из отношений женщин и мужчин, я обязан тем, что познал женщину тоже слишком рано.

У меня была знакомая прачка, запойная пьяница. Одна ее дочь, горничная, вышла замуж за генерала. Прачка жила безбедно на средства, которые присылала ей богатая дочь. Она даже выписывала «Ниву», а я читал ей романы и объяснения картинок. На этом и устроилось мое знакомство с нею. У нее была еще другая дочь, очень красивая девушка, но душевно больная. Она, как я знал, любила офицера, жила с ним, а он ее бросил. И вот девушка сошла с ума. Мне было очень жалко ее, но она возбуждала у меня темное чувство страха.

Она всегда молчала, только хихикала странным, пугающим звуком, который казался мне злым. Ее голубые, красивые глаза смотрели на всё и на всех пристально, неподвижно. А я не мог смотреть на нее долго. Мне думалось, что она может сказать что-нибудь страшное. Я иногда думал о ней:

«Почему она несчастна? Такая красивая! Если бы она вышла замуж за офицера, как сестра моего товарища за почтальона!»

И вообще она своим молчанием и мертвым взглядом заставляла меня много думать о ней.

Зимою, на святках, я поехал с ее матерью ряженым в Козью слободку, к знакомым прачки. Там танцевали кадриль, ели, пили, играли в фанты. Я понравился какой-то толстой девице. Она уводила меня за печку

и целовала какими-то особенными поцелуями, от которых кружилась голова и которые неприятно волновали меня. Возвращаясь из гостей поздно, пьяная прачка предложила мне ночевать у нее. До Суконной слободы было далеко. Я согласился, и прачка указала мне место для ночлега: на сундуке, в комнате ее дочери.

Мне было 13 лет в ту пору. Не стесняясь моим присутствием, прачка раздела дочь и уложила ее на постель, против сундука, на котором лежал я. Уложила и ушла, погасив огонь. Мне не спалось. Я был взволнован поцелуями толстой девицы. Я вспоминал любовные истории, о которых слышал, романы, прочитанные мною, красивые речи влюбленных на сцене театра и, главное, прежде всего счастливое лицо сестры моего товарища, когда она стояла на крыльце под руку с мужем, над толпою бесновавшихся баб. Мне подумалось:

«А что если я заменю офицера? Может быть, эта красивая девица выздоровеет?»

Я встал, тихонько сел к ней на кровать, взял ее голову и повернул к себе. В темноте мне показалось, что больная смотрит на меня более осмысленным взглядом, и это увеличило мою храбрость. Она всё молчала, не сопротивляясь мне и даже как будто не дыша. Когда я пришел в себя, то ясно увидел, что глаза ее смотрят в потолок так же мертво, как всегда.

Вероятно, что в этом рассказе не всё верно и на самом деле я вел себя грубее и прямей, а соображения и мысли, до некоторой степени оправдывающие меня, придуманы мною после. Что же делать? Нет человека, который не нуждался бы в оправдании пред самим собою. Я думаю, что нет такого человека.

Я мог бы не рассказывать эту историю, но мне надо сказать, что с той поры, что бы я ни делал, делал для женщины, для того, чтобы заслужить ее внимание, ее любовь.

* * *

Я бывал и на прекрасном Средиземном море и в Атлантическом океане, а все-таки и до сего дня с любовью помню тихое темное озеро Кабан.

Бывало, летом, по ночам, меня особенно тянуло на

Кабан. Я шел на берег, влезал на одну из больших ветел и до свету ночной птицей сидел на дереве, о чем-то думая, глядя в даль озера. Тишина и спокойствие его приводили мысли мои в порядок, отвлекали меня от скверны, в которой медленно и лениво тянулась жизнь Суконной слободы. Иногда, сквозь молчание ночи, донесется с Песков, где сосредоточены «веселые дома», тоскующий, редко трезвый голос. Он поет модную в то время песню о девице, которая стояла

...Под луной на поле серебристом
И уверяла небо — чистым
Хранить до гроба свой покой...

Стучит караульщик в свою трещотку. Я внимательно слушаю, как он стучит. Если очень дробно, торопливо и долго, значит — где-то пожар. Тогда я слезал с дерева и стремглав мчался к месту пожара, на зарево. Но если караульщик стучит не торопясь, значит всё благополучно, и воры могут спокойно заниматься своим делом, зная, где именно находится грозный страж,— обыкновенно старичок лет шестидесяти, больной и страдающий глухотою.

С одной стороны Кабана — тихая Татарская слобода и огромная фабрика Крестовниковых, с другой стороны — Пески, где всю ночь напролет пьют, дерутся. А между этими противоположностями — спокойное темное пространство; в глубине его — Чёртов угол, место прогулок молодежи, куда ездили в лодках шумными компаниями студенты, модистки и всяческая молодежь.

Иногда я с товарищами ловил рыбу, ершей. Изредка попадалась «сорожка». Она уже числилась благородной рыбой и поймать ее — почти счастье. Люди с пылким воображением рассказывали:

— Вчера один какой-то, из Суконной слободы, поймал подлещика фунта на полтора.

Но, кажется, никто не встречал человека, который сказал бы:

— Я поймал подлещика в полтора фунта весом!

Наловив рыбы, мы тут же на берегу варили уху, а если не было дров, разбирали «Архиерейский мост».

Конечно, это было нехорошо с нашей стороны — ломать мост.

Прекрасно на Кабане летом, но еще лучше зимою, когда мы катались на коньках по синему льду и когда по праздникам разыгрывались кулачные бои. Забава тоже, говорят, нехорошая. Сходились с одной стороны мы, казанская Русь, с другой — добродушные татары. Начинали бой маленькие. Бывало, мчишься на коньках, вдруг, откуда ни возьмись, вылетает ловкий татарчонок: хлыстъ тебя по физиономии и с гиком мчится прочь. А ты прикладываешь снег к разбитому носу и беззлобно соображаешь:

«— Погоди, кожаное рыло, я те покажу!»

И, в свою очередь, колотишь зазевавшегося татарчонка. Эти веселые кавалерийские схватки на коньках и один на один, постепенно развиваясь, втягивали в бой всё больше сил, русских и татарских. Коньки сбрасывались с ног, их отдавали под охрану кого-нибудь из товарищей и шли биться массой, в пешем строю. Постепенно вступали в бой подростки. За ними шло юношество, и, наконец, в разгаре боя, являлись солидные мужи в возрасте сорока лет и выше. Дрались отчаянно, не щадя ни себя, ни врага. Но и в горячке яростной битвы никогда не нарушали искони установленных правил: лежачего не бить, присевшего на корточки — тоже, ногами не драться, тяжестей в рукавицы не прятать. А кого уличали в том, что он спрятал в рукавице пятак, ружейную пулю или кусок железа, того единодушно били и свои и чужие.

Для нас, мальчишек, в этих побоищах главным их интересом являлись «силачи». С русской стороны «силачами» являлись двое банщиков: Меркулов и Жуковский — почтенные, уже старые люди, затем Сироткин и Пикулин, в доме которого в Суконной я жил. Это был человек огромного роста, широкоплечий, рыжеватый и кудрявый, с остренькой бородкой и ясными глазами ребенка. У него была голубиная охота, которой он страстно увлекался. Я помогал ему «гонять голубей», влезал вместе с ним на крышу; сняв штаны, надевал их на кол и «пугал» «крышатников», ожиревших и ленивых голубей, которые не хотели летать. Разумеется, стоять

на крыше без штанов, яростно размахивая ими и оглушительно свистя,— тоже нехорошо, и теперь я не сделаю этого, ни за что. Но голубей все-таки погонял бы!

У Пикулина были такие огромные руки с кистями лопатой, что, когда я передавал ему голубя, мне казалось, что он и меня схватит вместе с белой птицей. Я относился к нему благоговейно, как ко всем «силачам», даже и татарской стороны: Сагатуллину, Багитову. Когда я видел, как эти люди, почему-то все добрые и ласковые, сбивают с ног могучими ударами русских и татарских бойцов, мне вспоминались сказки: Бова, Еруслан Лазаревич, и скудная красотою и силой жизнь становилась сказочной.

О «силачах» создавались легенды, которые еще более усиливали ребячье преклонение пред ними. Так, о Меркулове говорилось, что ему сам губернатор запретил драться и даже велел положить на обе руки его несмываемые клейма: «Запрещается участвовать в кулачных боях». Но однажды татары стали одолевать русских и погнали их до моста через Булак, канал, соединяющий Кабан-озеро с рекою Казанкой. Все «силачи» русские были побиты, утомлены и решили позвать на помощь Меркулова. Так как полиция следила за ним, его привезли на озеро спрятанным в бочке,— будто бы водовоз приехал по воду. «Силач» легко поместился в бочке. Он был небольшого роста, с кривыми, как у портного, ногами. Вылез он из бочки, и все — татары, русские — узнали его: одни со страхом, другие с радостью.

— Меркулов!

Татар сразу погнали в их слободу, через мост. В пылу боя бойцы той и другой стороны срывались с моста в Булак, по дну которого и зимою текла, не замерзая, грязная горячая вода из бань, стоявших по берегам его. Перейдя на свою сторону, татары собрались с силами, и бой продолжался на улицах слободы до поры, пока не явилась пожарная команда и не стала поливать бойцов водою.

На другой день я ходил смотреть место боя. Разгром был велик: поломали перила моста, разбили все торговые ларьки.

Это было, кажется, в 1886 году. С той поры бои на Кабане стали запрещать. По праздникам на озеро являлись городовые и разгоняли зачинщиков-мальчишек «селедками».

Любил я также пожары. Они всегда создают какую-то особенную жизнь, яркую, драматическую. Уже одно то, что люди собирались на пожар не так, как у нас в Суконной сходились мещане для решения вопросов — в какой кабак идти или кого бить,— одно это делало пожар праздником. Помню, великолепно горела на Казанке огромная мельница Шамовых, бревенчатая, в четыре или пять этажей. Огонь играл с нею, точно рыжая кошка с мышью. В воздухе летали красными птицами раскаленные листы железа с крыши, а окна губернаторского дворца на горе точно кровью налились. Бегал брандмейстер, маленький человек, весь мокрый, в черных ручьях пота на лице и орал:

— Качай! Да качай же, черти! — и бил по затылкам всех, кто подвертывался под руку ему. Публика не желала качать, во все стороны разбегаясь от ретивого командира. А многие прямо говорили:

— Так им и надо! Пускай горят!

— Застраховано!

— Поди, сами и подожгли.

Почти все радовались, что горит богатый, и никто не жалел труда, превращаемого в пепел.

Смотреть на пожар весело, а думать о нем грустно.

Нравилось мне ходить в лес по грибы. Однажды мы собрались рано утром, уже одели лапти, взяли корзины, вдруг кто-то сказал, что скоро затмится солнце. Говорили об этом и раньше, но как-то несерьезно, посмеиваясь и сомневаясь:

— Наверно, студенты выдумали...

Но когда на краю солнца явился тонкий черный ободок, люди Суконной слободы неохотно засуетились, поговаривая:

— Глядите-ко, и впрямь будто что есть...

Небо было безоблачно, утро ясно, и вдруг на всё стала ложиться скучная сероватая тень. Кто-то научил нас, мальчишек, закоптить стекла и смотреть на солнце сквозь них. Я смотрел. Солнце на глазах моих уга-

сало, постепенно превращаясь в черный кружок; я не верил глазам, отводил от них стекло, покрытое сажей, но и без стекла солнце всё чернело, умаляясь.

Земля становилась всё серее и скучнее. Эта прохладная серость щемила сердце. Где-то замычали коровы, но не так, как всегда мычат. Люди молчали, задрав головы в небо. Лица их тоже были серые, и глаза как будто угасали вместе с солнцем. Пугливо пробежала кошка. Беспокойно метался под ногами растерявшийся петух. Потом наступила секунда, когда солнца не было, а только черный круг, величиной с небольшую сковороду, торчал в небе, а от него красными иглами торчали бедненькие лучики. Было жутко,— хоть плачь! Но тотчас же загорелся, засверкал золотой серпик. Солнце снова разгоралось, и стала таять удручающая тень. Первым обрадовался и загорланил петух. Потом заговорили придавленные люди. Через несколько минут всё было по-старому, и кто-то уже кричал:

— Как я те дам...

А я с товарищами отправился по грибы верст за десять от города, по Арскому полю, мимо «сумасшедшего дома», где я однажды видел больного, очень памятного мне. Я пришел с хором петь «заупокойную» по сумасшедшему, который помер. Пришли мы рано и пробрались в сад. Там по дорожкам спокойно расхаживал какой-то бледный, усталый человек в халате, туфлях и подштанниках, спущенных на чулки. Мы решили, что это сумасшедший, но он подошел к нам и начал разумно спрашивать меня, кто я, зачем пришел, где пою — в какой церкви и каких композиторов. Он говорил вполне здраво, и я уже принял его за доктора, но вдруг он, указывая нам на короткий обрубок толстого бревна, предложил:

— Давайте покатим его!

— Куда? Зачем?

— Чтобы Христа бить! — серьезно объяснил он.

А когда мы спросили:

— Как? Какого Христа? — он ответил уверенно и спокойно:

— Христа-бога, который помешал мне жить на свете.

Подошли служащие и увели его. Меня очень поразил этот человек своей безумной фантазией и тем, что, потеряв разум, он все-таки не забыл привычку разумных — бить и драться...

В лес мы пришли только к вечеру, собрали немного грибов, устроили привал на берегу речки, потом нарыли в поле картошки и, разведя костер, сварили в котелке похлебку. Поели и разлеглись вокруг костра, над речкой, среди темных стен леса, рассказывая и слушая страшные истории.

Помню, был рассказан жуткий случай с одним студентом: сидели студенты в портерной и говорили о том, что никто из них ничего не боится. Особенно хвастался один из них, уверяя, что он может в полночь разрыть на кладбище могилу.

— Разрывать могилы нельзя! — сказали ему товарищи.— За это в Сибирь ссылают!

Но он настаивал:

— Ну, хотите, лягу в только что вырытую могилу?

Поспорили и решили, что он пойдет ночью в один из склепов кладбища и принесет оттуда какую-нибудь вещь: гнилушку, кусок извести. Он согласился, пошел, а товарищи захотели над ним подшутить и тоже отправились вслед за ним. Попрятались в разных местах среди могил и ждут. Вот, видят, идет он. Дошел до свежевырытой могилы и хочет спуститься в нее. Тогда они начали бормотать загробными голосами, рычать, но он крикнул:

— А вы, покойники, не беспокойтесь, не пугайте меня — не боюсь!

Полежал в могиле, вылез и пошел к склепу. А товарищи начали бросать в него землей. Смеясь, он побежал от них, но вдруг, вскрикнув, упал. Когда подошли к нему, он был мертв. Оказалось, что на пути его лежал обруч; он наступил на него, и обруч ударил студента по ногам. Этого оказалось достаточно для того, чтобы человек помер со страха.

Было жутко и приятно слушать эту историю, живо напомнившую мне рассказы Кирилловны и деревенских подруг матери. Когда понадобилось идти в лес за дровами для костра, я стал просить, чтобы кто-нибудь

из товарищей пошел за мною, но меня высмеяли и заставили идти именно одного. Мне было страшно, но кое-как я все-таки собрал дров.

Не заснув ни минуты ночью, рано утром мы разошлись по лесу, собирая грибы, а после полудня отправились домой с полными корзинами. Дорогой прилегли отдохнуть. Я заснул, а товарищи, не разбудив меня, ушли. Когда я проснулся, было темно, вокруг меня стоял лес, и мне казалось, что между деревьями кто-то бесшумно шевелится, молча подстерегает меня. Я быстро пошел домой, не оглядываясь, не чувствуя под собой ног. Лес двигался за мною. Деревья заступали дорогу. Кто-то хватал меня за пятки, дышал в спину и затылок холодом. А тут еще пришлось идти мимо кладбища. Через ограду его на меня смотрели покойники. Они ходили между могил, раскачивая кресты, стояли в белых саванах под березами. Я старался не видеть их, пел песни, разговаривал сам с собою, но отовсюду на меня ползли ужасы.

Я, конечно, знал, что покойников не следует бояться,— они во многом лучше живых людей: не пьянствуют, не ругаются, не дерутся. Да, я всё это знал, но, должно быть, не очень верил в это. Не понимаю, как у меня хватило сил дойти домой, как не разорвалось сердце.

После этого, как меня ни уговаривали идти за грибами в дальний лес, я не ходил туда, а отправлялся в другие места, где грибов было меньше, а страха совсем не было.

* * *

Был у меня знакомый паренек — Каменский, человек лет семнадцати, очень театральный. Он играл маленькие роли в спектаклях на открытой сцене Панаевского сада. Однажды он сказал мне:

— Есть отличный случай для тебя попасть на сцену! Режиссер у нас строгий, но очень благосклонен к молодым,— просись!

— Да ведь я не смогу играть!

— Ничего! Попробуй! Может, дадут тебе рольку в два-три слова...

Я пошел к режиссеру, и он предложил мне сразу же роль жандарма в пьесе «Жандарм Роже». В этой пьесе изображаются воры и бродяги. Они всё время проделывают разные хитрые штуки, а жандарм Роже ловит их и никак не может поймать. Вот этого неловкого жандарма и поручили мне играть. Я погрузился в состояние священного и непрерывного трепета от радости и от сознания ответственности, возложенной на меня.

На репетиции нужно было являться в одиннадцать часов утра, а я должен был быть в это время на службе в управе. Естественно, что вследствие этого у меня начались головные боли. Я делал лицо человека, измученного невыносимыми страданиями, и говорил бухгалтеру:

— Федор Михайлович, у меня страшно болит голова. Отпустите домой!

Бухгалтер был человек с темно-коричневыми глазами. Стекла очков очень увеличивали их объем и строгость. Он смотрел на меня несколько секунд молча, презрительно и, раздавив меня взглядом, говорил, точно булавкой колол:

— Уходи.

Я уходил, чувствуя, что он не верит в мои страдания, но на всякий случай все-таки потирая лоб и не торопясь. А чтобы не видели, в какую сторону я пойду по улице, проходя под окном управы, я сгибался в три погибели.

В Панаевском саду было весело. По деревьям порхали птицы. По дорожкам походкою королев расхаживали актрисы, смеялись, шутили. С некоторыми из них я был уже знаком и даже переписывал им роли, чем очень гордился.

Я был нелепо, болезненно застенчив, но все-таки на репетициях, среди знакомых, обыкновенно одетых людей и за спущенным занавесом, я работал, как-то понимал роль, как-то двигался.

И вот настал желанный вечер. Я пришел в сад раньше всех, забрался в уборную, оделся в мундир зеленого коленкора с красными отворотами и обшлагами из коленкора же, натянул на ноги байковые штаны, на-

зывавшиеся лосинами, на сапоги надел голенища из клеенки, вымазал себе физиономию разными красками, но за всем этим не очень понравился сам себе. Сердце беспокойно прыгало. Ноги действовали неуверенно.

Настал спектакль. Я не могу сказать, что чувствовал в этот вечер. Помню только ряд мучительно неприятных ощущений. Сердце отрывалось, куда-то падало, его кололо, резало. Помню, отворили дверь в кулисы и вытолкнули меня на сцену. Я отлично понимал, что мне нужно ходить, говорить, жить. Но я оказался совершенно не способен к этому. Ноги мои вросли в половицы сцены, руки прилипли к бокам, а язык распух, заполнив весь рот, и одеревенел. Я не мог сказать ни слова, не мог пошевелить пальцем. Но я слышал, как в кулисах шипели разные голоса:

— Да говори же, чёртов сын, говори что-нибудь!

— Окаянная рожа, говори!

— Дайте ему по шее!

— Ткните его чем-нибудь...

Пред глазами у меня всё вертелось, многогласно хохотала чья-то огромная, глубокая пасть; сцена качалась. Я ощущал, что исчезаю, умираю.

Опустили занавес, а я всё стоял недвижимо, точно каменный, до поры, пока режиссер, белый от гнева, сухой и длинный, не начал бить меня, срывая с моего тела костюм жандарма. Клеенчатые ботфорты снялись сами собою с моих ног, и наконец, в одном белье, я был выгнан в сад, а через минуту вслед мне полетел мой пиджак и всё остальное. Я ушел в глухой угол сада, оделся там, перелез через забор и пошел куда-то. Я плакал.

Потом я очутился в Архангельской слободе у Каменского и двое суток, не евши, сидел у него в каком-то сарае, боясь выйти на улицу. Мне казалось, что все, весь город и даже бабы, которые развешивали белье на дворе,— все знают, как я оскандалился и как меня били.

Наконец я решился пойти домой и вдруг дорогою сообразил, что уже три дня не был на службе. Дома меня спросили, где я был. Я что-то соврал, но мать грустно сказала мне:

— Тебя, должно быть, прогонят со службы. Сторож приходил, спрашивал, где ты.

На другой день я все-таки пошел в управу и спросил у сторожа Степана — каковы мои дела?

— Да тут уж на твое место другого взяли,— сказал он.

Я посидел у него под лестницей и пошел домой.

* * *

Дома было очень плохо: отец пил «горькую»,— теперь он напивался почти ежедневно; мать, быстро теряя силы, работала «поденщину». Я продолжал петь в церковном хоре, но этим не много заработаешь. К тому же у меня «ломался» голос. Мне уже минуло 15 лет, и дискант мой исчезал.

Кто-то надоумил меня подать в судебную палату прошение о зачислении писцом. Меня «зачислили». И вот я, сидя в душной, прокуренной комнате, переписываю определения палаты и — странно! — почему-то всё по делам о скотоложстве и изнасиловании!

Тут чиновники ходили не в пиджаках и сюртуках, как в уездной управе, а в кителях со светлыми пуговицами и в мундирах. Всё вокруг было строго, чинно и, внушая мне чувства весьма почтительные, заставляло меня думать, что не долго я прослужу во храме Фемиды. Здесь, в палате, я впервые испытал удовольствие пить кофе — напиток, до этого времени незнакомый мне. Сторожа давали кофе со сливками по пятаку за стакан. Я получал жалованья 15 рублей и, конечно, не мог наслаждаться кофе каждодневно. Но я оставался дежурить за других, получал полтинник с товарищей и пил кофе гораздо больше, чем сослуживцы, получавшие солидные оклады жалованья.

Особенно важным человеком казался мне экзекутор, очень красивый человек, седовласый, с холеными усами и эспаньолкой. Волосы он зачесывал со лба на затылок, носил пенсне в золотой оправе на черной широкой ленте. Его карие глаза были строго прикрыты густыми бровями. А говорил он великолепным голосом Киселевского, знаменитого в свое время барина-актера. И этот экзекутор тоже казался мне «барином», напо-

миная маркиза из романов Дюма. Я говорю о нем так подробно потому, что в моей голове не укладывается, как этот человек великолепной внешности мог выгнать меня из палаты столь грубо.

Не успевая переписать бумаги за часы службы в палате, я брал работу на дом. Однажды, получив жалованье, я отправился по лавкам покупать чай, сахар и разные припасы для дома; купил для себя какие-то книжки у букиниста. Еду домой и вдруг с ужасом замечаю, что сверток определений палаты я потерял. Это было ужасно. Я почувствовал, что земля разверзлась подо мной и я повис в воздухе, как ничтожное куриное перо. Бросился в лавки, где покупал припасы, ходил по улицам, спрашивал прохожих, не поднимали ли они сверток бумаг, сделал, должно быть, множество всяких нелепостей, но определений палаты не нашел. Остатки дня я провел в оцепенении, ночь не спал, а утром, придя в палату, сказал о несчастье моем сторожам, которые поили меня кофе. На них это произвело очень сильное впечатление. Покачивая головами, почесываясь, они многозначительно сказали:

— Мм... да!

— Это, брат, того!

— У-у!

Пришел мой знакомый, Зайцев, человек, который научил меня подать прошение в палату. Когда я сказал ему о потере, он тоже произнес:

— Да-да-а...

И сделал такое лицо, что я понял: если меня не сошлют немедленно в Сибирь, на каторгу, так тюрьмы уж ни в коем случае не избежать мне.

В палату я не пошел, а торчал внизу у сторожей, под лестницей. Лестница была такая широкая, внушительная, она как бы манила всех смертных наверх под меч слепой богини.

Просидев у сторожей минут пять, я услышал на верху лестницы прекрасный, бархатный голос экзекутора:

— Где эта анафема? Где этот... этот...

Он ругался, не стесняясь выбором слов, не щадя ни языка, ни глотки. Скорчившись, я вылез из-под

лестницы и встал внизу ее, у первой ступени. А там, наверху, стоял экзекутор, грозный как Зевс; сверкали его золотые очи; тряслась лента пенсне; фалды вицмундира разлетались в стороны, точно крылья черного петуха. Этот человек вертелся, топал ногами и метал на меня гром слов. Я уверен, что во всем этом было что-то римское или олимпийское — величественно-картинное.

— Вон! — гремел экзекутор и обращался к сторожам, вытянувшимся у стены, за спиною моей.— Что вы стоите, чёрт вас возьми! Бейте его, дьявола, гоните его! Не заставляйте меня спуститься вниз — убью! Вон, треклятая морда!

Я догадался наконец, что, пожалуй, действительно лучше будет для него, если я уйду, и, как мог быстро, выскочил на улицу. Я, конечно, не был уверен, что этим всё и кончится, но страх мой понизился, стало легче. Уж очень удивил меня маркиз-экзекутор: такой великолепный, а ругается, как любой житель Суконной слободы.

Дома меня ждали отец, мать, маленький братишка. Надо было жить. Надо работать. Мать пекла какие-то пироги и продавала их на улице по кускам. Этим не проживешь. В хоре я уже не мог петь — окончательно потерял детский голос. Целыми днями, полуголодный, я шлялся по городу, отыскивая работу, а ее не было. Выходил на берег Волги к пристаням и часами наблюдал за бойкой, неустанной работой сотен людей. Огромными лебедями приплывали пароходы. Крючники непрерывно пели «Дубинушку»:

Ой ли, матушка ты, Волга,
Ой, широкая и долга,
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало!

На глубоком горячем песке берега, в деревянных лавочках торгуют татары сафьяновыми ичигами, казанским мылом, бухарскими тканями. Русские продают булки, колбасы и всякое съестное. Всё ярко, вкусно, всё вокруг празднично, а я хожу, точно проклятый, в тоске по работе, с неизбывным чувством жалости к

матери. Уехать надо отсюда, несчастлив этот город для меня. Дальше куда-нибудь...

Когда желание уехать созрело у меня в твердое решение, мне удалось уговорить отца с матерью переехать в Астрахань. Мы продали всё, что у нас было, и поехали вниз по Волге на пароходе «Зевеке» в четвертом классе.

* * *

Волга очаровала меня, когда я увидал и почувствовал невыразимую спокойную красоту царицы-реки. Я, кажется, не спал ни одной ночи, боясь пропустить что-то, что необходимо видеть, какие-то чудеса. Особенно хорошо стало у меня на душе, когда какой-то почтенный человек рассказал мне о Кавказе, о снеговых горах до небес, о жаре, о людях, которые даже летом ходят в бараньих папахах, спасаясь именно этим от жары. В рассказах было много странного, сказочного, и они вызвали у меня чувство радости: велика земля,— есть куда деваться!

Астрахань встретила нас неласково. Я рисовал себе этот город каким-то особенным. Самое слово — Астрахань обещает, казалось мне, чудеса. И вдруг я вижу, что внешне Астрахань хуже Казани. Это сразу понизило восторженное настроение, которым подарил меня путь по Волге.

Оставив отца с братом на берегу у пристаней, я с матерью пошел искать квартиру. На песчаных улицах было жарко, как в печи. Каменные дома дышали зноем. Всюду блестела рыбья чешуя. Всё было пропитано запахом тузлука и копченой воблы. Мы довольно скоро нашли и сняли за два рубля маленькую хибарку из двух комнат. Она пряталась в углу грязного двора, на котором было столько мух, как будто здесь фабриковали их миллионами. Кроме мух, на дворе жили ломовые извозчики, крючники, стояли телеги, валялось кулье, какие-то доски и разный хлам. После простора Волги вся эта грязная теснота показалась мне особенно обидной.

На другой же день я пошел с отцом искать работы. Мы заходили в конторы, в лавки, всюду, где можно

было открыть дверь. Нас встречали очень любезно, говорили с нами ласково и предлагали нам «подать прошение о зачислении».

Я подал разным местам и лицам не один, вероятно, десяток прошений, но ответов не имею до сего дня. А денег у нас не было, и мы потихоньку, но всё более голодали. Удивляла меня молчаливая стойкость матери, ее упрямое сопротивление нужде и нищете. Есть у нас на Руси какие-то особенные женщины; они всю жизнь неутомимо борются с нуждою, без надежды на победу, без жалоб, с мужеством великомучениц перенося удары судьбы. Мать была из ряда таких женщин. Она снова начала печь и продавать пироги с рыбой, с ягодами. Как мне хотелось, бывало, съесть пяток этих пирогов! Но мать берегла их, как скупой сокровища, даже мухам не позволяла трогать пироги. Торговлей пирогами не прокормишься. Тогда мать начала мыть посуду на пароходах и приносила оттуда объедки разной пищи: необглоданные кости, куски котлет, куриц, рыбу, куски хлеба. Но и это случалось не часто. Мы голодали.

Однажды я с отцом пошел зачем-то в поле, и вдруг отец опустился на землю.

— Дальше идти не могу,— сказал он.

Я понял, что это слабость от голода. Долго сидел я над ним в поле, изнывая от безграничного отчаяния. Что делать, что? Кое-как довел отца в город, на квартиру, а сам пошел в какую-то часовню и стал молиться богу, обливаясь горькими слезами. Эх, господа, если б вы знали, какое унизительное чувство голод! Иначе смотрели бы вы на голодных людей, иначе бы относились к ним!

Выручал немного мой голос, постепенно превратившийся в баритон. Я ходил в какую-то церковь, где мне платили рубль и полтора за всенощную.

Был в Астрахани увеселительный сад «Аркадия». Я пошел туда и спросил у кого-то — не возьмут ли меня в хор. Мне указали человечка небольшого роста, бритого, в чесучовом пиджаке:

— Это антрепренер Черкасов.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Семнадцать,— сказал я, прибавив год.

Он поглядел на меня, подумал и объявил:

— Вот что: если ты хочешь петь, приходи и пой. Тебе будут давать костюм. Но платить я ничего не буду, дела идут плохо, денег у меня нет.

Я и этому обрадовался. Это хоть и не могло насытить меня с отцом-матерью, но всё же скрашивало невзгоды жизни. Хормейстерша, по фамилии Жила, дала мне партитуру, в которой было написано:

Как на площадь соберутся,
Там и тут
Все снуют!

Очень хорошо! Это был хор из «Кармен». Вечером, одетый в костюм солдата или пейзана, я жил в Испании. Было жарко, горели огни, люди в ярких костюмах танцевали, пели. Я тоже пел и танцевал, хотя в животе у меня противно посасывало. Все-таки я чувствовал себя очень хорошо, легко, радостно.

Но когда я пришел домой и, показав отцу партитуру, похвастался, что буду служить в театре, отец взбесился, затопал ногами, дал мне пяток увесистых подзатыльников и разорвал партитуру в клочья.

— Ты, Скважина, затем вытащил нас сюда, чтобы с голоду умирать? — кричал он.— Тебе, дьяволу, кроме театров, ничего не надо — я знаю! Будь прокляты они, театры...

Что мне было делать? Как вернуться в театр без партитуры? Я не пошел в театр и, разозлившись на отца, решил уехать в Нижний на ярмарку.

В Казани, в Панаевском саду я слышал много куплетистов, рассказчиков, перенял от них немало рассказов, анекдотов и порою сам рассказывал. Слушатели похваливали меня. Вот я и решил ехать на ярмарку, чтобы выступить там рассказчиком на какой-либо открытой сцене. На дорогу я занял у регента хора, в котором я пел, два рубля. Сознаюсь, занимая эти деньги, я понимал, что не отработаю их.

Мать с отцом решили, что, пожалуй, лучше, если я уеду: одним ртом меньше, а пользы от меня не видать. И вот я снова на пароходе, теперь на буксирном. Он

тянул за собою несколько барж. По праздникам матросы на баржах пели песни, играли на гармошках, плясали бабы в ярких сарафанах. Было очень весело и вольготно. Так как я умел петь народные песни, матросы охотно приняли меня в свою компанию, очень полюбили. С ними я и пил и ел.

Наш пароход плыл не торопясь, но деловито: грузился, разгружался, оставлял на пристанях свои баржи, буксировал другие, с другими матросами, и бабами, и гармошками. До Саратова мое путешествие было увеселительной и артистической прогулкой: мы все пели, плясали. Я был сыт и доволен. В Саратове пароход стоял целый день. Я пошел в город, увидал на берегу сад. Вывеска над входом в него гласила: «Сад Очкина и открытая сцена».

«А если попробовать выступить здесь?» — подумал я.

Вошел в сад и спросил какого-то человека, где хозяин.

— Зачем тебе?

— Я хочу выступить на открытой сцене.

— Подожди.

Явился господин в белой рубахе с ярким галстухом, в смокинге, равнодушно осмотрел меня:

— В чем дело?

— Не нужно ли вам рассказчика?

— Рассказчика? — переспросил он и задумался. А я почувствовал в сердце трепет страха: вдруг он скажет — нужен рассказчик, да сегодня же вечером заставит меня выступить на сцене, и снова я позорно провалюсь, как провалился в Панаевском саду. Наконец этот блестяще одетый человек обдумал ответ:

— Нет, рассказчика не нужно,— сказал он уверенно и пошел прочь, а я, в душе благодаря его за отказ, пустился гулять по городу.

«Но как же это будет,— думалось мне,— наймут меня в Нижнем на сцену, а я испугаюсь!»

И дело представилось мне совсем не таким легким, как я думал о нем в Астрахани.

Пароход переменил караван барж. Опять явились новые матросы, бабы и песни. Но мне почему-то стало труднее. Деньги я уже проел, а новая команда была

не так добродушна, как прежние. В Самаре я попросил крючников принять меня работать с ними.

— Что ж, работай.

Грузили муку. В первый же день пятипудовые мешки умаяли меня почти до потери сознания. К вечеру у меня мучительно ныла шея, болела поясница, ломило ноги, точно меня оглоблями избили. Крючники получали по четыре рубля с тысячи пудов, а мне платили двугривенный за день, хотя за день я переносил не меньше шестидесяти — восьмидесяти мешков. На другой день работы я едва ходил, а крючники посмеивались надо мной:

— Привыкай, шарлатан, кости ломать, привыкай!

Хорошо, что хоть издевались-то они ласково и безобидно. Погрузили баржи, кроме муки, еще арбузами, и когда поплыли от Самары, работа стала легче, веселей. Почти на каждой пристани человек с бородкой штопором заставлял сгружать арбузы. Мы выстраивались по мосткам цепью вплоть до берега и перекидывали арбузы с рук на руки, с шутками, прибаутками и веселой руганью. А если зазеваешься, не успеешь поймать арбуз, он упадет в воду или разобьется о мостки, человек с бородкой штопором подходит к виноватому и бьет его по шее. «Везде свои законы». За эту работу я получал 20 копеек и пару арбузов. Это было великолепно. Купишь на пятачок хлеба, съешь его с арбузом, и живот тотчас так вспухнет, что чувствуешь себя богатым купцом.

За это путешествие я впервые пожил среди поволжского народа, немножко присмотрелся к нему. Народ показался мне «со всячинкой», но все-таки хороший народ, веселый, добродушный.

Доплыли до Казани. Я обрадовался, увидав родной город, хоть и неласков он был ко мне. Снова почувствовал я густой запах нефти — запах, который я почему-то не замечал в пути нигде, кроме Астрахани. Но в Казани пахло нефтью гуще, что, конечно, не большое достоинство города, но оно было приятно и сладко мне, как «дым отечества».

Оставив свой «багаж» на пароходе у какого-то конторщика, рано утром я отправился в город к товарищу,

который в свое время снабжал меня книгами из библиотеки Дворянского собрания, любил декламировать стихи и даже сам писал их, впрочем, довольно плохо.

Товарищ встретил меня радостно. Вечером мы с ним нашли еще двух старых приятелей, затем отправились в трактир, играли на бильярде, и тут я впервые напился пьян, по случаю «радостной встречи с друзьями». Далее, вывалившись на улицу, мы вступили в бой с ночным сторожем. Он был разбит нами наголову. Но к нему на помощь явились подобные же, одолели нас, взяли в плен и отправили в часть. Я был моложе моих друзей, но оказался бóльшим буяном, чем они, говорил приставу дерзости, ругался и вообще держал себя отвратительно, как только мог. Это принесло свой результат: вместо того чтобы составить протокол и запереть нас в «каталажку» до вытрезвления, пристав позвал двух пожарных солдат, они усердно намяли нам бока и вытурили на улицу. Не могу сказать, что я вспоминаю деяния эти с удовольствием, а не вспомнить их «совесть не позволяет». Ночевать я пошел к товарищу. Он попросил свою мать, богомольную женщину, которая ходила ежедневно в 5 часов утра к заутрене, разбудить меня. Мой пароход уходил в 7 часов утра.

Конечно, я проспал, хотя добрая женщина и будила меня. Пароход ушел, а с ним и мои вещи: любимый Беранже, трио «Христос воскресе», сочиненное мною и написанное лиловыми чернилами,— всё драгоценное, что я имел.

Я остался в Казани у товарища. Он ничего не имел против этого, но его благочестивая мамаша сразу же начала отравлять мне жизнь, прозрачно намекая, что вообще на земле очень много дармоедов и что лучше бы им провалиться сквозь землю. Я стал усердно искать работы, и только после долгих поисков мне дали переписку бумаг по 8 копеек за лист в Духовной консистории. Бумаги относились главным образом к делам о «разводах», и, переписывая их, я познакомился с невероятной, умопомрачительной грязищей, которую чрезвычайно тщательно разводили консисторские чиновники. Все они были самыми отчаянными пьяницами,

каких я видел в жизни. Они пили до каких-то эпилептических припадков, до судорог и дикого бреда, вызывая у меня чувство, близкое к ужасу. Только один из них, секретарь, был похож на человека, да и то слишком. Он носил вицмундир, душился крепкими духами. Голос у него был мягкий, вкрадчивый, движения — кошачьи. Мне казалось, что этот человек может вытащить из меня душу так ловко, что я и не замечу. Этот человек допрашивал мужей и жен, искавших развода. Помню, как он разговаривал с одним священником, на которого жаловалась попадья за неспособность его к брачной жизни.

Секретарь вытягивал из попа ответы так вкрадчиво, ласково, а тот отвечал тонким, бабьим голосом, и голос его становился всё тоньше, тише, точно поп умирал от истощения. Это было жутко слушать.

Я писал листа по четыре в день, но в отчете ставил вдвое больше. Этому меня научил один из пьяниц. Я рассчитывал, что заработаю таким образом рублей 18, но мне заплатили за месяц всего 8. И, к моему удивлению, никто даже слова не сказал мне по поводу того, что я врал в моих отчетах о переписке. Великодушные люди...

Мне уже минуло 17 лет. В Панаевском саду играла оперетка. Я, конечно, каждый вечер торчал там. И вот однажды какой-то хорист сказал мне:

— Семенов-Самарский собирает хор для Уфы,— просись!

Я знал Семенова-Самарского как артиста и почти обожал его. Это был интересный мужчина с черными нафабренными усами. Они у него точно из чугуна были отлиты. Ходил он в цилиндре, с тросточкой, в цветных перчатках. У него были эдакие «роковые» глаза и манеры заядлого барина. На сцене он держался, как рыба в воде, и чрезвычайно выразительно пел баритоном в «Нищем студенте»:

Цэловал гор-ря-чо,
Но вэдь только в плечо!

Барыни таяли пред ним, яко воск пред лицом огня.

Набравшись храбрости, я подошел к нему в саду, снял картуз.

— Что вам? Ага! Придите ко мне в гостиницу, завтра!

Пошел я в гостиницу, а швейцар не пускает меня к Самарскому. Я умолял его, уговаривал, чуть не плакал и, наконец, примучил швейцара до того, что он, плюнув, послал к Семенову-Самарскому мальчика спросить, хочет ли артист видеть какого-то длинного, плохо кормленного оборванца.

— Приказано пустить,— сказал мальчик возвратясь.

Я застал Семенова в халате. Лицо его было осыпано пудрой. Он напоминал мельника, который, кончив работу, отдыхает, но еще не успел умыться. За столом против него сидел молодой человек, видимо кавказец, а на кушетке полулежала дама.

Я был очень застенчив, а перед женщинами — особенно. Сердце у меня ёкнуло: ничего не сумею сказать я при даме.

Семенов-Самарский ласково спросил меня:

— Что же вы знаете?

Меня не удивило, что он обращается со мной на вы,— такой барин иначе не мог бы,— но вопрос его испугал меня: я ничего не знал. Решился соврать:

— Знаю «Травиату», «Кармен».

— Но у меня оперетка.

— «Корневильские колокола».

Я перечислил все оперетки, названия которых вспомнились мне, но это не произвело впечатления.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать,— бесстыдно сочинял я.

— А какой голос?

— Первый бас.

Его ласковый тон, ободряя меня, придавал мне храбрости.

Наконец он сказал:

— Знаете, я не могу платить вам жалованье, которое получают хористы с репертуаром...

— Мне не надо. Я без жалованья,— бухнул я.

Это всех изумило. Все трое уставились на меня молча. Тогда я объяснил:

— Конечно, денег у меня никаких нет. Но, может быть, вы мне вообще дадите что-нибудь?

— Пятнадцать рублей в месяц.

— Видите ли,— сказал я,— мне нужно столько, чтоб как-нибудь прожить, не очень голодая. Если я сумею прожить в Уфе на десять, дайте десять. А если мне нужно будет шестнадцать или семнадцать...

Кавказский человек захохотал и сказал Семенову-Самарскому:

— Да ты дай ему двадцать рублей! Что такое?

— Подписывайтесь,— предложил антрепренер, протягивая мне бумагу. И рукою, «трепетавшей от счастья», я подписал мой первый театральный контракт.

Вошел еще хорист Нейберг, маленький, кругленький человек, независимо поздоровался с антрепренером.

— Здравствуйте, Семен Яковлевич!

Этот подписал контракт на сорок рублей.

— Через два дня,— сказал Семенов-Самарский,— я выдам вам билеты до Уфы и аванс.

Аванс? Я не знал, что это такое, но мне очень понравилось слово. Я почувствовал за ним что-то хорошее.

Я вышел с Нейбергом. Он служил хористом в опере Серебрякова, куда я очень стремился попасть, когда мне было лет 15 и куда меня не взяли, потому что как раз в этот год ломался мой голос. Славным товарищем мне оказался потом этот маленький Нейберг.

Дома, то есть у Петрова, я созвал друзей и с величайшей гордостью показал им документ, вводивший меня служителем во храм Талии и Мельпомены. Товарищи относились к моим стремлениям в театр очень скептически и обидно для меня. Теперь я торжествовал, напоминая им прежние насмешки. Бывало, играя в бабки, целясь биткой в кон, я запою фразу из какой-нибудь оперы, а они, окаянные, хохочут.

— Подождите, чёрт вас возьми,— обещал я им: — через три года я буду петь Демона!

Через три года я, действительно, пел. Только не Демона, а Мефистофеля.

Прошло двое суток, и вот я, получив авансом две трешницы и билет второго класса на пароход Якимова, еду в Уфу.

Был сентябрь. Холодно и пасмурно. У меня, кроме пиджака, ничего не было. Мать Петрова подарила мне старенькую шаль, которую я и надел на себя, как плед. Чувствовал я себя превосходно: первый раз в жизни ехал во втором классе и куда ехал! Служить великому искусству, чёрт возьми!

На реке Белой наш пароход начал раза по два в день садиться на мель, на перекатах, и капитан довольно бесцеремонно предлагал пассажирам второго и третьего класса «погулять по берегу». Стоял отчаянный холод. Чтобы согреться, я ходил по берегу колесом, выделывал разные акробатические штуки, а мужички, стоя около стогов сена, которое они возили в деревню, глумились надо мной:

— Гляди, гляди, как барина-то жмет! Чего выделывает, жердь!

«Барин!» — думал я.

Как-то ночью мне не спалось, вышел я на палубу, поглядел на реку, на звезды, вспомнил отца, мать. Давно уже я ничего не знал о них, знал только, что из Астрахани они переехали в Самару.

Мне стало грустно, и я запел:

Ах ты, ноченька, ночка темная,

Пел и плакал.

Вдруг в темноте слышу голос:

— Кто поет?

Я испугался. Может быть, по ночам на пассажирских пароходах запрещается петь?

— Это я пою.

— Кто я?

— Шаляпин.

Ко мне подошел кавказский человек, Пеняев, славный парень. Он, видимо, заметил мои слезы и дружески сказал:

— Славный голос у тебя! Что же ты сидишь тут один? Пойдем к нам. Там купец какой-то. Идем!

— А купец не прогонит?

— Ничего. Он пьяный.

В большой каюте первого класса за столом сидел толстый краснорожий купец, сильно выпивший и на-

строенный лирически. Перед ним стояли бутылки водки, вина, икра, рыба, хлеб и всякая всячина. Он смотрел на все эти яства тупыми глазами и размазывал пальцем по столу лужу вина. Ясно было, что он скучает. Пеняев представил меня ему. Он поднял жирные веки, сунул под нос мне четыре пальца правой руки и приказал:

— Нюхай!

Я понюхал.

— Чем пахнет?

Пальцы пахли вином, селедкой.

— Рыбой,— сказал я.

— Ну и глуп. Чулками пахнет! А ты — рыбой! Должен сразу угадывать.

Но, несмотря на то, что я не угадал сразу, он все-таки сейчас же налил мне водки.

— Пей! Ты кто таков?

Я сказал.

— Ага! Тоже этот... из этаких. Ну, ничего. Валяй! Я люблю! Ты что умеешь?

— Пою.

— А фокусы показывать не умеешь?

— Нет.

— Ну пой!

Я что-то запел, а купец послушал и заплакал, сопя, подергивая плечами. Потом я попросил позвать Нейберга, и мы пели вдвоем, а купец угощал нас и всё хлипал, очень расстроенный. Так впервые выступил я перед «серьезной публикой».

Наконец, рано утром, пароход подошел к пристани Уфы. До города было верст пять. Стояла отчаянная слякоть. Моросил дождь. Я забрал под мышку мои «вещи»,— их главной ценностью был пестренький галстух, который я всю дорогу бережно прикалывал к стенке,— и мы с Нейбергом пошли в город: один — костлявый, длинный, другой — маленький и толстый.

Вскоре нас обогнал на извозчике Пеняев с дамой и крикнул мне, смеясь:

— До свидания, Геннадий Демьянович!

Я знал «Лес» Островского и тоже захохотал, поглядев на себя и Нейберга.

В городе мы отправились в гостиницу, где остановился Семенов-Самарский, но «услужающий» строго сказал нам:

— Таких грязных не пускаем!

Мы сняли сапоги и отправились к антрепренеру босиком. Он, как и в Казани, встретил нас в халате, осыпанный пудрой, посмеялся над нами и предложил чаю.

В тот же день я с Нейбергом нашел комнату у театрального музыканта по 14 рублей с головы. За эти деньги мы должны были получать чай, обед, ужин. Я тотчас же отправился к Семенову-Самарскому и заявил ему:

— Я устроился здесь на четырнадцать рублей; шесть — лишние мне. Я пошел к вам не ради денег, а ради удовольствия служить в театре...

— Вы чудак,— сказал он мне.

Начались репетиции. Нас было 17 мужчин и 20 женщин в хоре. Занимались мы под скрипку, на которой играл хормейстер — милый и добродушный человек, отчаянный пьяница. Вдруг, к ужасу моему, начали говорить, что антрепренер «перебрал» хористов и некоторые, являясь лишними, будут уволены. Я был уверен, что уволят именно меня. Но когда было предложено рассчитать меня, хормейстер заявил:

— Нет, этого мальчика надо оставить. У него недурной голос, и он, кажется, способный...

Целый Урал свалился с души моей.

Сезон начался «Певцом из Палермо». Конечно, больше всех волновался я. Боже мой, как приятно было мне видеть на афишах мою фамилию: «Вторые басы: Афанасьев и Шаляпин».

Первым спектаклем шел «Певец из Палермо». Костюмы для хора разделялись на испанские и пейзанские.

Пейзанский костюм — шерстяное трико или чулки, стоптанные туфли, коротенькие штанишки-«трусики», куртка из казинета или «чертовой кожи», отороченная тесьмой, и поверх куртки — белый воротник. Испанский костюм «строился» из дешевого плюша. Штаны были еще короче пейзанских. Вместо куртки — колет, а на плечах — коротенький плащ. К сему полагались

картонные шапки, обшитые плюшем или атласом. Я надел испанский костюм, сделал себе маленькие усики, подвел брови, накрасил губы, набелился, нарумянился во всю мочь, стараясь сделать себя красивым испанцем.

Я был неимоверно худ. Впервые в жизни я надел трико, и мне казалось, что ноги у меня совершенно голые. Было стыдно, неловко. Когда хор позвали на сцену, я встал в первом ряду хористов и принял надлежащую испанскую позу: выставил ногу вперед, руку — фертом положил на бедро, гордо откинул голову. Но оказалось, что эта поза — свыше моих сил. Нога, выставленная вперед, страшно дрожала. Я оперся на нее и выставил другую. Она тоже предательски тряслась, несмотря на все мои усилия побороть дрожь. Тогда я позорно спрятался за хористов.

Подняли занавес, и мы дружно запели:

Раз, два, три,
Посмотри
Там на карте поскорей...

Внутри у меня тоже всё дрожало от страха и радости. Я был, как во сне. Публика кричала, аплодировала, а я готов был плакать от волнения. Лампы-молнии, стоявшие перед рампой, плясали огненный танец. Черная пасть зрительного зала, наполненная ревом и всплесками белых рук, была такой весело-грозной.

Через месяц я уже мог стоять на сцене, как хотел. Ноги не тряслись, и на душе было спокойно. Мне уже начали давать маленькие роли в два-три слова. Я выходил на середину сцены и громогласно объявлял герою оперетки:

Человек из подземелья
Хочет видеть вас!

Или что-нибудь в этом роде. Труппа и даже рабочие — все относились ко мне очень ласково, хорошо. Я так любил театр, что работал за всех с одинаковым наслаждением: наливал керосин в лампы, чистил стекла, подметал сцену, лазил на колосники, устраивал декора-

ции. Семенов-Самарский тоже был очень доволен мною.

На святках решили поставить оперу «Гальку». Роль стольника, отца Гальки, должен был петь сценариус, человек высокого роста, с грубым лицом и лошадиной челюстью,— очень несимпатичный дядя. Он вечно делал всем неприятности, сплетничал, врал. Репетируя партию стольника, он пел фальшиво, не в такт, и наконец, дня за два до генеральной репетиции, объявил, что не станет петь,— контракт обязывает его участвовать только в оперетке, а не в опере. Это ставило труппу в нелепое положение. Заменить капризника было некем.

И вот вдруг антрепренер, позвав меня к себе в уборную, предлагает:

— Шаляпин, можете вы спеть партию стольника?

Я испугался, зная, что это партия не маленькая и ответственная. Я чувствовал, что нужно сказать:

— Нет, не могу.

И вдруг сказал:

— Хорошо, могу.

— Так вот: возьмите ноты и выучите к завтраму...

Я почувствовал, что мне отрубили голову. Домой я почти бежал, торопясь учить, и всю ночь провозился с нотами, мешая спать моему товарищу по комнате.

На другой день на репетиции я спел партию стольника, хотя и со страхом, с ошибками, но всю спел. Товарищи одобрительно похлопывали меня по плечу, хвалили. Зависти я не заметил ни в одном из них. Это был единственный сезон в моей жизни, когда я не видел, не чувствовал зависти ко мне и даже не подозревал, что она существует на сцене.

Всё время до спектакля я ходил по воздуху, вершка на три над землей, а в день спектакля начал гримироваться с пяти часов вечера. Это была трудная задача — сделать себя похожим на солидного стольника. Я наклеил нос, усы, брови, измазал лицо, стремясь сделать его старческим, и кое-как добился этого. Но необходимо устранить мою худобу. Надел толщинку — вышло нечто отчаянное: живот, точно у больного водянкой, а руки и ноги, как спички. Хоть плачь!

И я подумал:

«А что если сейчас вот, не говоря никому ни слова, убежать в Казань?»

Мне вспомнилось, как меня гнали со сцены в Панаевском саду. Я был уверен, что и здесь мой дебют кончится тем же. Но бежать поздно было. А тут кто-то подошел ко мне сзади, похлопал по плечу и дружески сказал:

— Бояться не надо. Веселей! Всё сойдет отлично!

Я оглянулся. Это говорил Януш — Семенов-Самарский. Ободренный, я вышел на сцену. Направо стоял стол и два кресла, налево — тоже стол и два кресла. По сцене ходили товарищи, притворяясь поляками, беззаботно пошучивая. Я позавидовал их самообладанию и сел в кресло, выпятив живот елико возможно.

Взвился занавес. Затанцевали лампы. Желтый туман ослепил меня. Я сидел неподвижно, крепко пришитый к креслу, ничего не слыша, и только когда Дземба спел свои слова, я нетвердым голосом, автоматически начал:

Я за дружбу и участье,
Братья, чару поднимаю...

Хор ответил:

На счастье!

Я встал с кресла и ватными ногами, пошатываясь, отправился, как на казнь, к суфлерской будке. На репетиции дирижер говорил мне:

— Когда будешь петь, обязательно смотри на меня!

Я уставился на него быком и, следя за палочкой, начал в такт мазурки мою арию:

Ах, друзья, какое счастье!
Я теряюсь, я не смею,
Выразить вам не сумею
Благодарность за участье!

Эти возгласы стольник, очевидно, обращал к своим гостям, но я стоял к гостям спиною и не только не обращая на них внимания, но даже забыв, что на сцене су-

ществует еще кто-то, кроме меня, очень несчастного человека в ту минуту. Вытаращив глаза на дирижера, я пел и всё старался сделать какой-нибудь жест. Я видел, что певцы разводят руками и вообще двигаются. Но мои руки вдруг оказались невероятно тяжелыми и двигались только от кисти до локтя. Я отводил их на пол-аршина в сторону и поочередно клал на живот себе то одну, то другую. Но голос у меня, к счастью, звучал свободно. Когда я кончил петь, раздались аплодисменты. Это изумило меня, и я подумал, что аплодируют не мне. Но дирижер шептал:

— Кланяйся, чёрт! Кланяйся!

Тогда я начал усердно кланяться во все стороны. Кланялся и задом отходил к своему креслу. Но один из хористов — Сахаров, человек, занимавшийся фабрикацией каучуковых штемпелей и очень развязный на сцене, зачем-то отодвинул мое кресло в сторону. Разумеется, я сел на пол. Помню, как нелепо взлетели мои ноги кверху. В театре раздался громовой хохот, и снова грянули аплодисменты. Я был убит, но все-таки встал, поставил кресло на старое место и всадил себя в него как можно прочнее. Сидел и молча, горько плакал. Слезы смывали грим, текли по подусникам. Обидно было за свою неуклюжесть и на публику, которая одинаково жарко аплодирует и пению и падению. В антракте меня все успокаивали. Но это не помогло мне, и я продолжал петь оперу до конца уже без подъема, механически, в глубоком убеждении, что я бездарен на сцене.

Но после спектакля Семенов-Самарский сказал мне несколько лестных слов, не упомянув о моей неловкости, и это несколько успокоило меня. «Галька» прошла раза три. Я пел стольника с успехом и уже когда пятился задом, то нащупывал рукою, тут ли кресло. Потом мне поручили партию Фернандо в «Трубадуре», а Семенов-Самарский прибавил пять рублей. Я отказывался от прибавки, говоря:

— Мне уже достаточной наградой служит тот факт, что я играю.

Но антрепренер убедил меня:

— Пять рублей — деньги не лишние.

В «Трубадуре» я пел увереннее и даже начал думать,

что, пожалуй, я не хуже других хористов: хожу по сцене так же свободно, как и они.

Очень хорошо относился ко мне кавказский человек Пеняев. Он жил с какой-то дамой, чрезвычайно ревнивой и сварливой, а сам он был хотя и добродушен, но тоже очень вспыльчив. Каждый день почти у них бывали драмы. Почти каждую неделю они разъезжались на разные квартиры, а потом снова съезжались. И каждый раз я должен был помогать им разъезжаться и съезжаться: таскал с квартиры на квартиру чемоданы, картонки и прочее.

Стояла зима, но я гулял в пиджаке, покрываясь шалью, как пледом. Пальто себе я не мог купить. У меня даже белья не было, ибо деньги почти целиком уходили на угощение товарищей. Сапоги тоже развалились: на одном отстала подошва, другой лопнул сверху.

Как-то раз, примирившись со своей дамой, Пеняев на радостях подарил мне пальто. Оно было несколько коротко мне, но хорошо застегивалось,— его хозяин был толще меня. Но вскоре после этого случилась уличная драка, в которой и я принял посильное участие. В бою у меня вырвали из рукава пальто всю подкладку вместе с ватой. Тогда, для симметрии, я выдрал подкладку из другого рукава и стал носить пальто «внакидку», как плащ, застегивая его на одну верхнюю пуговицу. Это делало меня похожим на огородное пугало.

Была у нас в хоре одна певица «из благородных», как я думал. Она одевалась не хуже наших артисток, от нее всегда пахло хорошими духами, и у нее была своя горничная, не менее красивая, чем сама госпожа. Однажды, увязывая в огромный узел костюмы своей барыни, горничная сказала мне:

— Чем шляться зря по закулисам, вы бы, господин актер, отнесли мне узел домой.

Я рыцарски выразил полную готовность служить ей. Приятно было мне, что она назвала меня актером.

Было морозно. Идти далеко. В сапоги мои набивался снег. Ноги замерзали. Но горничная интересно говорила о браке, о женщинах, о том, что она лично никогда не выйдет замуж, даже за актера не выйдет. Когда дошли

до дома, она выразила сожаление, что не может пригласить меня к себе и угостить чаем: во-первых, очень поздно, во-вторых, надо идти через парадный ход, а это не очень удобно для ее скромности. Чай? Это очень заманчиво, а сама она — того более.

— У вас комната отдельная?

— Да.

— Черный ход есть?

— Да. Но ворота заперты.

— Так я через забор.

— Если можете, перелезайте!

Я перелез. А чтобы не шуметь в доме, я снял сапоги и оставил их на крыльце, внизу черной лестницы. С удовольствием напился я чаю, закусил. Потом горничная предложила мне ночевать у нее. Всё шло прекрасно, очень мило и счастливо, но вдруг, часа в 3 ночи, раздался звонок.

— Это барин,— сказала моя дама и пошла отпирать дверь.

Я знал «барина». Он был богат, кривой, носил синее пенсне и сидел у нас в театре всегда в первом ряду. Я слышал, как он вошел в дом, как горничная разговаривала с ним, и спокойно дожидался ее, лежа в теплой, мягкой постели, под ватным одеялом из пестрых лоскутков. Вдруг около постели явился огромный пес, вроде сенбернара, понюхал меня и грозно зарычал. Я омертвел. Вдруг этот человек, постоянно бывающий в нашем театре, увидит меня здесь! Раздались шаги, дверь широко открылась, и «барин» спросил:

— Чего он рычит?

Горничная ударила собаку ногою в бок и ласково сказала ей:

— Иди прочь! Прочь, Султан...

Собака отошла, а горничная объяснила «барину»:

— Не знаю, что ему показалось.

«Барин» ушел, а я остался, восхищаясь присутствием духа моей дамы.

На рассвете я собрался домой. Через забор лезть было опасно — город проснулся. Горничная предложила выпустить меня парадным ходом. Я пошел за сапогами, но увы, они смерзлись и не лезли на ноги.

Кое-как я разогрел их и стремглав бросился домой, дав себе слово никогда больше не ходить к прелестным дамам в худых сапогах.

В театре дела шли великолепно. Труппа и хор жили дружно, работали отлично. Случалось, и не редко, что после спектакля мы оставались репетировать следующий до 4 и до 5 часов утра. Дирекция покупала нам по бутылке пива на брата, хлеба, колбасы, и мы, закусив, распевали. Хорошо жилось!

Недели за две до прощеного воскресенья Семенов-Самарский сказал мне:

— Вы, Шаляпин, были очень полезным членом труппы, и мне хотелось бы поблагодарить вас. Поэтому я хочу предложить вам бенефис.

Я чуть не охнул.

— Как бенефис?

— Так. Выбирайте пьесу, и в воскресенье утром мы ее поставим. Вы получите часть сбора.

К концу сезона у меня развилась храбрость, вероятно, граничащая с нахальством. У меня уже давно таилась в душе мечта спеть Неизвестного в «Аскольдовой могиле» — роль, которую всегда пел сам Семенов-Самарский. Я сказал ему:

— Мне бы хотелось сыграть в «Аскольдовой могиле».

— Кого?

— Неизвестного...

— Эге! Ну, что же! Вы знаете роль?

— Не совсем! Выучу!

— Играйте Неизвестного!

В прощеное воскресенье я приклеил себе черную бороду, надел азям, подпоясался красным кушаком и вышел на сцену с веслом в руке.

Роль Неизвестного начинается прозой и, как только я начал говорить, мне сразу стало ясно, что я говорю по «средневолжски», круто упирая на «о». Это едва не погубило меня, страшно смутив. Но за арию «В старину живали деды» публика все-таки аплодировала мне.

Ужасно было слышать мне самого себя, когда я читал во втором действии монолог: «Глупое стадо! Посмотрим, что-то вы заговорите!»

Публика улыбалась.

После этого я решил, что мне необходимо учиться говорить «по-барски», на «а».

После бенефиса Семенов-Самарский принес мне в конверте 50 рублей — подарок от публики — да кто-то из публики же подарил закрытые серебряные часы на стальной цепочке. Кроме того, от сбора «с верхушек» мне очистилось рублей 30. Я стал богатым человеком. Никогда у меня не было такой кучи денег. Да еще и часы.

Сезон кончился. Труппа разъезжалась. Дирижер подарил мне новенький жокейский картуз с пуговкой на макушке и с длинным козырьком. Я купил себе верблюжье пальто, мохнатое, темно-коричневое, кожаную куртку с хлястиком,— такие куртки носят машинисты,— купил сапоги, перчатки и тросточку. Напялив на себя всё это великолепие, я отправился гулять по главной улице Уфы, и каждый раз, когда встречный человек казался мне заслуживающим внимания, я небрежно вытаскивал из кармана мои часы и смотрел, который час. Очень хотелось, чтоб люди видели, что я при часах.

Чувствовал я себя человеком совершенно счастливым, а тут еще позвал меня к себе Семенов-Самарский и говорит:

— Я с некоторыми из артистов еду в Златоуст. Хотим сыграть там несколько отрывков из опереток и дадим концерт. Вы знаете какие-нибудь романсы?

Разумеется, я неистово обрадовался. Я знал арию Руслана «О поле, поле», «Чуют правду», «В старину живали деды» и романс Козлова «Когда б я знал».

— Вот и превосходно! — сказал Самарский и добавил с легонькой усмешкой, что едет и Таня Репникова.

Я почувствовал себя окончательно счастливым человеком. Таня Репникова, второстепенная артистка нашей оперетки, была женщина лет тридцати, шатенка, с чудными синими глазами и очень красивым овалом лица. Я был неравнодушен к ней, но не только не смел ей сказать об этом, а даже боялся, чтоб она не заметила моих нежных чувств. Она же относилась ко мне ласково и просто, как старшая сестра.

Я тотчас же отправился к ней с предложением помочь ей уложить вещи и выпросил разрешение устроить ее в поезде, на что она благосклонно согласилась. В вагоне я уложил ее спать в купе, затем вышел в коридор и ушел на площадку. Я впервые ехал по железной дороге. Было интересно следить, как мимо поезда течет земля серым потоком, мелькают деревья, золотыми нитями пронизывают воздух искры. Шел снег, но было довольно тепло. В снегу вспухали крыши деревень, двигались куда-то церкви, по полю плыли стога сена. Я любовался всем этим до утра, думая о Тане, о счастье любить женщину.

Утром приехали в Златоуст. Я устроил Таню Репникову в гостинице и сам снял номер рядом с обожаемой женщиной. Вскоре я услышал в ее номере мужской голос, радостные восклицания, веселый смех. В душе моей вспыхнуло ревнивое чувство. Но когда Таня позвала меня к себе и познакомила с мужчиной, чувство ревности сразу погасло. Соперник мой оказался очень милым и славным человеком, и при этом он был муж Тани, что, конечно, еще более увеличивало его достоинства. Наконец, он был актер-комик, а мне в ту пору хотелось знать всех актеров мира, и знакомство с каждым из них было для меня честью и радостью.

Спектакль мы устраивали в арсенале. Решено было поставить акт «Синей бороды», но вдруг оказалось, что Семенов-Самарский забыл взять с собою волосы и ему не из чего было сделать «синюю бороду». Тогда я отрезал солидный клок моих длинных волос, выкрасил их в синий цвет и предложил Самарскому. Он был тронут этим жестом. Он не знал, что, если бы ему потребовался мой палец или ухо, я охотно предложил бы ему и ухо и палец.

— Но, Шаляпин,— сказал он, глядя на меня с улыбкой,— в концерте нельзя выступать таким машинистом в кожаной куртке, да еще с неестественной плешью на голове. Возьмите мой фрак и завейте себе волосы.

Я сделал всё это, и вот первый раз в жизни я стою перед публикой во фраке. Публика смотрит на меня очень весело. Я слышу довольно глумливые смешки. Я знаю, что фрак не по плечу мне и что я, вероятно,

похож на журавля в жилете. Но всё это не смутило меня.

Я спел «Чуют правду». Меня наградили дружными аплодисментами. Понравились публике и ария Руслана и романс Козлова. Я очень волновался, но пел хорошо.

В антракте ко мне подошел какой-то военный человек, толстый, с одышкой, потный, лысый, с огромными усами,— подошел и говорит не без удивления:

— А я думал, что вы дискантом поете.

— Что вы,— говорю,— сколько же мне лет, по-вашему?

— Лет пятнадцать...

Я даже обиделся:

— Двадцать скоро.

— Скажи на милость! Здоровый голосище! Вот бы нам такого парня!

— Куда вам?

— В полицию! Я же исправник!

Семенов-Самарский дал мне за концерт 15 рублей.

«Пятнадцать целковых за один вечер,— думал я.— Чёрт знает, как меня балуют!»

Возвратясь в Уфу, я почувствовал себя одиноко и грустно, как будто на кладбище. Театр стоял пустой. Никого из актеров не было, и весь город создавал впечатление каких-то вековых буден.

Жил я на хлебах у прачки, в большом доме, прилепившемся на крутом обрыве реки Белой. Этот дом, уснащенный пристройками и флигелями, был, точно банка икрой, набит театральными плотниками, рабочими, лакеями из ресторанов — беднотой, искавшей счастья в пьянстве. Невесело жилось среди них мне, человеку, вкусившему радости призрачной, но яркой театральной жизни. Но мою жизнь немножко скрашивало то обстоятельство, что за мною сильно ухаживала дочь прачки, солдатка, очень красивая, хотя и рябая. Помню, она кормила меня какими-то особенными котлетами, которые буквально плавали в масле. Это было не очень вкусно, даже приторно, но, чтобы не огорчать солдатку, я ел котлеты.

Прошла неделя, другая. Деньги быстро таяли. Надо было искать работы. Но вдруг на наш грязный двор

въехала отличная коляска. В ней, правя сытой красивой лошадью, сидел превосходно одетый человек. Я обомлел от изумления, услыхав, что он спрашивает именно меня. Я вышел к нему и увидал, что это адвокат Рындзюнский, которого я не однажды видел в театре. Он поздоровался со мной, заявив, что желает говорить со мной «по делу». Не решаясь пригласить его в мою убогую комнату, я столбом встал перед ним среди двора, а он объяснил мне, что местный кружок любителей искусства затевает устроить спектакль-концерт и рассчитывает на мое благосклонное участие. Я был польщен, обрадован, немедля согласился, начал усердно готовиться к спектаклю, но вдруг, к ужасу моему, за два дня до спектакля простудился и охрип.

Как быть? Чего только не делал я с горлом: полоскал его бертолетовой солью, глотал сырые яйца. Ничто не помогало. Тут, на горе мое, я вспомнил, что от хрипоты помогает гоголь-моголь, в состав которого входят сырые яйца, коньяк и жженый сахар. Я тотчас же отправился в трактир, купил за 35 копеек полбутылки рома, вылил его в чашку, выпустил туда несколько штук яиц, затем растолок в тряпке сахар и стал поджаривать его на огне свечи в металлической ложке. Сочинив некое сильно пахучее и отвратительное на вкус пойло, я начал глотать его и пробовать голос. Мне показалось, что хрипота исчезает, а к вечеру, к репетиции, я был уверен, что голос звучит у меня совсем хорошо. Рындзюнский прислал мне фрак. Я оделся, сунул в карман бутылку с остатками гоголь-моголя и отправился к месту действия.

Но на улице я вдруг почувствовал, что пьянею, почувствовал, но не сделал из этого должных выводов, а храбро явился в Дворянское собрание и, кажется, очень развязно заговорил, встретив Рындзюнского на лестнице в зал:

— Здравствуйте, господин Рындзюнский! Как поживаете? Вот я и приехал! А!

Адвокат пристально оглядел меня и спросил — с испугом, показалось мне:

— Что с вами?

— Ничего! А что?

— Вы нездоровы?

— Нет, ничего, здоров!

Но я уже почувствовал в его вопросах нечто, угрожавшее мне неприятными последствиями. Так и случилось. Адвокат строго сказал мне:

— Вы положительно нездоровы! Вам следует сейчас же ехать домой и лечь!

Тогда, смущенный, я вынул из кармана бутылку проклятой бурды и объяснил:

— Я, ей-богу, здоров! Но вот, может быть, этот гоголь-моголь...

Он все-таки уговорил меня отправиться домой. С болью в сердце вышел я на улицу, чувствуя, что всё пропало. Дома, с горя, завалился спать, и дня два не решался показаться на глаза Рындзюнского, печально поглядывая на его фрак, висевший на стене моей комнаты. Наконец, собрав всю храбрость, я завернул фрак в бумагу и понес его хозяину. К моему удивлению, Рындзюнский встретил меня радушно, смеясь и говоря:

— Ну, батенька, хорош гоголь-моголь выдумали вы! Нет уж, в другой раз я не советую вам лечиться домашними средствами. А то еще отравитесь! Пожалуйте завтра на репетицию.

Я ушел домой, окрыленный радостью, и через два дня с успехом пел Мефистофеля.

Любители, публика и даже сам председатель уездной земской управы очень хвалили мой голос, говорили, что у меня есть способности к сцене и что мне нужно учиться. Кто-то предложил собрать денег и отправить меня в Петербург или Москву учиться, потом решили, что лучше мне не уезжать из Уфы, а жить здесь, участвовать в любительских спектаклях и служить в управе, где председатель даст мне место рублей на 25—30. Я буду петь и служить в управе, а тем временем доброжелатели мои соберут кучу денег на мою поездку в столицу для учения.

Мне очень не хотелось служить в управе, но, соблазненный перспективой учиться, я снова начал переписывать какие-то скучнейшие бумаги неуловимого для меня смысла и с первых же дней заметил, что все другие слу-

жащие относятся ко мне крайне недоверчиво, почти враждебно. Для меня, человека веселого и общительного, это было тяжело, не говоря уже о том, что это было совершенно ново для меня: никогда еще я не испытывал столь недружелюбного отношения. Замечая, что служащие остерегаются говорить при мне, прерывают беседы, как только я появляюсь среди них, я страдал от обиды и всё думал — в чем дело? Уж не принимают ли они меня за шпиона от начальства?

Когда мне стало невмоготу терпеть это, я откровенно заявил одному из служащих, молодому человеку:

— Послушайте, мне кажется, что все вы принимаете меня за человека, который посажен для надзора за вами, для шпионства. Так позвольте же сказать вам, что я сижу здесь только потому, что меня за это обещали устроить в консерваторию. А сам я ненавижу управу, перья, чернила и всю вашу статистику.

Этот человек поверил мне, пригласил меня к себе в гости и, должно быть в знак особенного доверия, сыграл для меня на гитаре польку-трамблан.

После сего отношение управцев ко мне круто изменилось в мою пользу. А кто-то из служащих даже сказал мне с чарующей простотой:

— Мы действительно думали, что ты — шпион. Да и как не думать? Сам председатель управы протягивает тебе руку, здороваясь с тобою. Ведь никому же из нас он не подает руки!

Вот чем начальство может скомпрометировать служащего!

Жил я тихо и скучновато. Товарищем моим по квартире у прачки был какой-то чиновник на костыле. Одна нога у него была отрезана по щиколотку. Это был ласковый и тихий человечек, видимо, очень больно ушибленный жизнью. Ложась спать, он всегда просил меня:

— Шаляпин, помурлыкай что-нибудь!

Я вполголоса напевал ему разные песенки. Он незаметно засыпал под них, а иногда и сам подтягивал мне замечательно фальшиво.

Эх, господи! Вспоминаешь сотни и тысячи этих кротких, запуганных жизнью людей, одиноких пустынножи-

телей, и так грустно становится на душе. Плохо живут люди!

Дочь прачки была тоже очень несчастная женщина и, видимо, истерическая. Она мало говорила, смотрела на всё хмурым взглядом и много, как лошадь, работала. Но иногда она напивалась пьяной, пела песни, плясала вприсядку и ругала мужиков словами, которые цензура совершенно не выносит. Грешен, у меня с ней был «роман».

Но однажды к нам на двор ворвался здоровенный слободской парень, в одной рубахе, без пояса, в тиковых штанах, босый, с оглоблей в руках. Он размахивал этой оглоблей, как Васька Буслаев тележной осью, бил окна, вышибал филенки дверей и орал:

— Передушу всех актеров! Передушу!

Так как актер в доме был один я, то я сразу догадался, что парень охвачен припадком свирепой ревности. Я тотчас же выскочил в окно на крышу сарая. За мною полез хромой товарищ, и едва мы успели отбежать от окна, как парень ворвался в нашу комнату и начал сокрушать всё, что попадало под его буйную руку: столы, стулья, посуду, гитару. Что нам делать? Хромой, кое-как спустившись с крыши на улицу, нашел полицейского и вскоре вернулся с ним во двор. Страж общественной безопасности, сопровождаемый нами, вошел в нашу комнату. На полу посреди ее, на черепках посуды, в обломках мебели, мирно спал сокрушитель, обнажив живот.

Будочник ткнул его ногою:

— Вставай!

Парень не шелохнулся. Тогда городовой отстегнул свой ремень и со словами: «Притворяется, сволочь!» — начал хлестать парня пряжкой ремня. Утомленный парень замычал, почесался, встал и, поглядев на будочника, качаясь, пошел к двери.

— Скорее уходи, дьявол! — кричал будочник.— Скорее, а то я тебя в полицию сведу!

Парень ускорил шаги, а городовой, надевая ремень, предложил нам:

— Ну, теперь надобно дать мне на чай!

Так закончился этот героический эпизод, внушив

мне уважение к полиции и сострадание к бунтующим людям.

Я съехал с квартиры от прачки, наняв комнату у какого-то столоначальника. Он тоже играл на гитаре. Мне кажется, что в ту пору все обыватели Уфы играли на гитарах. Столоначальник музицировал тихо и мечтательно, подняв глаза к небу и не моргая ими, точно деревянная кукла. Жил он с женой. Детей у них не было. Жизнь текла скучно и покойно. Казалось, что они оба и я с ними медленно засыпаем. Узнав, что я пою, столоначальник немедленно научил меня петь очень странный романс — «Не для меня придет весна». В этом романсе были удивительные слова:

Не для меня, в саду растя,
Распустит роза цвет душистый,
Погибнет труд мой безызвестный!
Не для меня, не для меня!

Когда я пел эту заунывную песню, столоначальник делал какие-то порывистые жесты, смахивал с глаз пальцами навернувшиеся слезы, уходил в переднюю за дверь, снова являлся и вообще вел себя очень нервно. Особенно же сильно волновало его пение, когда он был выпивши, а бывало это с ним не только 20-го числа. Однажды он грустно позавидовал мне:

— Счастлив ты, что можешь петь! У меня смолоду тоже был голос, да пропил я его.

Эта тихая жизнь начала душить меня. Я чувствовал, что из обещаний любительского кружка ничего не выйдет. В кружке начались какие-то нелады. Спектакли и концерты не устраивались. А уже подошел май.

В театре летнего сада появилась малороссийская труппа. Я тотчас же отправился в сад и завел знакомство с хористами. Всё это были очень веселые люди в свитках нараспашку, в вышитых рубахах, с яркими лентами вместо галстухов. Говорили они языком, не вполне понятным для меня. Раньше я слышал слова малороссийского языка, но почему-то не верилось, что это самостоятельный язык. Я думал, что так мягко

говорят «нарочно», из кокетства. А тут вдруг целые спектакли играют на этом языке.

Приятно было мне видеть этих новых людей, таких не подходящих к тихой, серой Уфе, приятно слушать новые славные песни.

Я рассказал хористам, что и я тоже актер в некотором роде, играл в этом самом театре, даже имел бенефис и получил подарок — вот эти часы.

Кажется, они не очень верили мне. Всё щелкали языком и тянули:

— Да-а... Мм...

Сказал я им, что меня хотят отправить в консерваторию. В это уж я и сам не верил. Консерватория тоже не увеличила интереса хористов ко мне. Тогда я однажды в трактире спел им что-то.

— Слухай,— сказали хористы,— чего ж ты не поступаешь к нам?

— А консерватория?

— Да ну ее к бесу, ту консерваторию! У нас вот какая консерватория: ездим из города в город, вот и всё! Хорошо, весело!

«Да, заманчиво»,— подумал я.

Пошел к управляющему труппой. Он послушал меня и сказал:

— Что ж, поступайте! Сорок рублей дадим...

Хорошее жалованье! Я совсем было решился поступить к малороссам, но вдруг мне стало жалко столоначальника с гитарой, его добрую жену, которая ухаживала за мною, как мать, и молодую, красивую учительницу, которая обыкновенно выходила на двор с книжкой в руках, как только я начинал петь. Я не был знаком с нею, даже голоса ее никогда не слыхал, но оставить ее в Уфе мне было жалко. А тут еще председатель управы подтвердил, что меня все-таки решено отправить учиться.

Труппа сыграла несколько спектаклей и уехала в Златоуст, откуда должна была перебраться в Самару. На другой день после ее отъезда я проснулся рано утром с ощущением гнетущей тоски о театре. Я чувствовал, что не могу больше оставаться в Уфе. Но уехать мне было не с чем. Но в тот же день я взял в управе ссуду

в 15 рублей, купил четвертку табаку, а вечером, раньше обыкновенного, отправился спать на сеновал. Я не решился сказать столоначальнику о том, что ухожу из города, но перед тем, как идти спать, почувствовал такой жгучий прилив нежности к нему, к его жене и крепко, благодарно расцеловал их. Невероятно жалко мне было этих людей, и не только потому, что они прекрасно относились ко мне, но так как-то, помимо этого. Пролежав на сеновале часа полтора, я тихонько слез, забрал с собой табак, гильзы и, оставив одеяло, подушку, всё мое «имущество», отправился на пристань, «яко тать в нощи».

В 7 часов утра я уже сидел на пароходе, терзаясь тем, что взял в управе ссуду, которую едва ли сумею возвратить.

Приехал в Казань. В Панаевском саду играла оперетка Любимова. Я пошел «наниматься» и застал Любимова в халате. Сидя за столом, он ел салат. Первый раз я видел человека, который ест траву, обильно поливая ее уксусом и маслом. Любимов оказался мрачным юмористом.

— Желаете петь в хоре?— спросил он меня.— Пожалуйста, пойте! Сколько хотите и когда хотите! Днем, ночью. Но денег я вам не буду платить за это, уж извините меня. Мне и тем, которые у меня сейчас поют, платить нечем!

И он стал набивать рот травой.

Не теряя времени, я снова сел на пароход, отходивший в Самару, надеясь застать там малороссийскую труппу. В Самаре жили отец и мать. Я не однажды писал им, что у меня всё идет великолепно, что я уже богат. Они отвечали мне, что живут плохо, но это «ничего» и что вообще «слава богу».

Ехал я в темно-синей шевиотовой тужурке, надетой на голое тело. Грудь и шею закрывали гуттаперчевые манишка с воротничком. Галстук был тоже гуттаперчевый, но эдакий красивый, с веселыми крапинками. Неловко было явиться к родителям таким франтом, и, приехав в Самару, я сначала отправился к малороссам. Управляющий труппой насмешливо поглядел на меня узенькими глазками и сказал:

— Теперь вы нам не нужны.

Я, должно быть, побледнел.

— Своих девать некуда,— добавил он, но тотчас же неожиданно предложил:

— За 25 рублей в месяц возьму!

«Чёрт с тобой!» — подумал я, тотчас же подписал контракт, взял аванс 5 рублей и бегом пустился к родителям.

Их не было дома. На дворе, грязном и тесном, играл мой братишка. Он провел меня в маленькую комнатку, нищенски унылую. Было ясно, что родители живут в страшной бедности. А как я могу помочь им? Пришел отец, постаревший, худой. Он не проявил особенной радости, увидав меня, и довольно равнодушно выслушал мои рассказы о том, как я жил, что собираюсь делать.

— А мы плохо живем, плохо! — сказал он, не глядя на меня.— Службы нет...

Из окна я увидал, что во двор вошла мать с котомкой через плечо, сшитой из парусины, потом она явилась в комнате, радостно поздоровалась со мною и, застыдившись, сняла котомку, сунула ее в угол.

— Да,— сказал отец,— мать-то по миру ходит.

Тяжело мне было. Тяжело чувствовать себя бессильным, неспособным помочь.

В Самаре я прожил дня два и отправился с труппой в Бузулук, городок, где по всем улицам ходили огромные свиньи. В садике Общественного собрания тоже гуляли свиньи, куры, овцы. Из Бузулука поехали в Уральск, чтоб играть там в присутствии наследника-цесаревича, но, так как у нас было лишнее время, решили заехать в Оренбург и отправились туда степью на телегах.

Стояли знойные летние дни. Мучила жажда. А по обеим сторонам дороги лежали бахчи арбузов и дынь. Разумеется, мы, хористы, пользовались этой сочной благодатью божьей. Избегая жары, мы ехали ночами, и вдруг в одну из ночей нас остановило гиканье каких-то всадников, которые, догнав нас, стали стрелять из ружей. Что такое? Разбойники?

Управляющий труппой поспешно скомандовал:

— Берите оружие! Вооружайтесь!

Мы живо достали из телег бутафорское оружие: тупые железные шашки, изломанные ружья, расхватали всё это и попрятались за телеги. Женщины кричали, визжали, а всадники, окружив нас со всех сторон, постреливали в наш табор. Хорошо еще, что было темно, да и стреляли в нас, должно быть, холостыми зарядами. Мы видели только огоньки выстрелов и черные силуэты лошадей. Признаюсь, я испугался, хотя, вообще говоря, и не трус. Но тут невольно подумал:

«Пропала моя жизнь!»

А управляющий храбро командовал:

— Не сдавайтесь, черти, не сдавайтесь! Держитесь до последнего! Надо продержаться до рассвета!

Но драться было не с кем. Всадники не наступали на нас, гарцуя в отдалении и всё постреливая. Так мы, вооруженные, и простояли до утра всем обозом. А когда рассвело, выбрали парламентеров и послали их ко врагу с белыми платками в руках. Всадники, завидя это, собрались в кучу. Некоторые из них спешились и вступили с нашими послами в крикливую беседу. Мы издали слушали крики, недоумевая: в чем же дело? Утро такое хорошее, ясное; восходит солнце; в поле — тихий праздник; всё вокруг так ласково и мирно, а мы собираемся воевать. Точно сон, нелепый и неприятный. Хочется протереть глаза...

Наконец наши парламентеры воротились и объявили, что все мы должны заплатить казакам по двугривенному с головы за то, что воровали дыни и арбузы. Только-то? Мы немедленно с радостью исполнили требование храброго войска и были отпущены из плена. Но тут одна из наших артисток, напуганная происшедшим, преждевременно разрешилась от бремени. Ее подруги, засучивая рукава кофточек, погнали нас прочь от кибитки роженицы, закричали, засуетились. На эту бабью суету, смеясь, смотрело солнце. Мы, мужчины, пустились в путь, оставив женщин среди поля встречать новорожденного человека.

Всю дорогу до Оренбурга казаки относились к нам более чем недружелюбно. Мне казалось, что мы путе-

шествуем по неприятельской стране накануне объявления ею войны России.

Из Оренбурга мы поехали в Уральск — город, поразивший меня обилием грязи и отсутствием растительности. Посредине городской площади стояло красное кирпичное здание — театр. В нем было неуютно, отвратительно пахло дохлыми крысами и стояла жара, как в бане. Мы сыграли в этом склепе для усопших крыс один спектакль, а на следующий день прибыл цесаревич и нас отправили к атаману, где он завтракал, петь песни на открытой сцене. Хор у нас был небольшой, но чудесный. Каждый хорист пел с великой любовью, с пониманием. Я уже тогда был запевалой и с великим увлечением выводил: «Куковала та сиза зозуля», «Ой, у лузи» и прочие славные песни южан.

Торжество угощения наследника происходило на огромном дворе атамана, засаженном чахлыми деревьями. Под их пыльной и редкой листвой была разбита белая полотняная палатка; в ней за столами сидели ряды великолепно одетых мужчин и дам. Странно было видеть такое великолепие в этом скучном, как бы наскоро построенном городе. Две маленькие девочки с распущенными волосами поднесли наследнику цветы, а какой-то толстый человек в казацком кафтане навзрыд плакал.

Пели мы часа три и удостоились получить за это царский подарок — по два целковых на брата. Антрепренеру же подарили перстень с красными и зелеными камнями. Город был обильно украшен флагами. Обыватели, бородатые староверы-казаки настроены празднично, но как-то чересчур степенно и скучновато. Мы, хористы, остановились в большом помещении над трактиром. Окна нашей квартиры, похожей на казарму, выходили в сторону базарной площади. Кто-то из хористов предложил:

— А что, братья, давайте устроим веселье и мы! Сложимся понемногу, купим водки, колбасы, хлеба, пряников, позовем в гости с базара казачек-торговок! Идет?

Так и устроили. Базарные торговки нимало не удивились, когда мы предложили им посетить нас. Вечером мы пели, плясали, и наконец пир наш превратился

в нечто подобное римским оргиям. Утром, проснувшись где-то в углу и видя всюду распростертых товарищей и торговок, я почувствовал себя не очень хорошо. И, как всегда, при всех случаях прегрешений моих, с грустью, со стыдом подумал:

«А что, если бы Таня Репникова узнала, как я живу, увидала бы эту картину?»

Из Уральска мы снова возвратились в Самару, потом поехали в Астрахань, играли в Петровске, Темир-Хан-Шуре, Узунь-Ада. Началась для меня пестрая, обильная впечатлениями, приятно-тревожная жизнь бродяги. Я уже совершенно свободно говорил и пел по-украински. Мне поручали маленькие роли. Я был доволен этой быстро бегущей жизнью, только иногда сердце сжимала горячая тоска о чем-то.

В Кизил-Арвате меня страшно поразил чугунолитейный завод. Впервые в жизни я видел, как расплавленный металл льется точно густое красное масло. И особенно удивил меня один рабочий: засучив рукав до плеча, он совал руку по локоть в расплавленную массу, около которой я задыхался от жары, совал руку и вытаскивал ее даже не обожженной. При этом он смеялся. Долго я не мог понять этой магии, пока один из актеров, Иваненко, не объяснил мне фокус.

Прекрасный человек и артист был этот Иваненко, но, как огромное большинство хороших русских людей, он пьянствовал, не щадя себя. Играл он восхитительно, так правдиво, так искренно, что я почти всегда плакал от какой-то необъяснимой радости. Особенно трогало меня, когда он в «Невольниках» пел:

Ой, зийшла зоря, та вечеровая.

Я всегда старался быть приятным и полезным ему, но как обидно было мне видеть его пьяным!

«Сцена — не Суконная слобода,— думалось мне,— не надо бы пить!»

А между тем многие артисты пили, и крепко.

Был у меня тогда товарищ Коля Кузнецов, земляк мой, казанец. Это был человек чистоплотный, аккуратный. Он всегда имел простыню,— ни у кого из хористов не было простыни. Он особенно долго умел

сохранять свое платье незапятнанным и чистым.

Я рассказываю как будто всё о пустяках, о мелочах, о маленьких людях; но эти мелочи имели для меня огромное значение. Я на них воспитывался. Мы ведь все воспитываемся мелочами. То, чему учат нас Шекспиры, Толстые, гении мира, даже на разум наш непрочно ложится, а мелочи жизни, как пыль в бархат, проникают в сердце, порою отравляя его, а порою облагораживая. И хочется рассказать о маленьких хороших людях. Большие-то сами о себе расскажут. А эти вот, мелочь, безвестно живущая, безгласно погибающая,— о них некому вспомнить. А ведь и они умеют любить; им тоже доступно прекрасное; их тоже мучает жажда хорошей жизни.

Коля Кузнецов был влюблен в одну из артисток труппы. Однажды, в Асхабаде, он вызвал меня из трактира Теусова, где я играл на бильярде, и предложил мне идти смотреть бал, устроенный офицерами. Бал разыгрывался на дворе офицерского собрания, но нас, конечно, не пустили во двор. Мы влезли на забор и стали смотреть на танцующих. Танцевала с офицерами и та артистка, которую любил Коля. Сидя на заборе, как галка, я вдруг заметил, что Коля что-то пьет из бутылки, а через две-три минуты увидел, что он падает с забора.

«Отравился»,— подумал я, прыгая на землю и едва удерживаясь от желания позвать на помощь.

Но, к счастью, оказалось, что мальчик хотел заглушить свою ревность лошадиным приемом водки. Я отвел его домой, и, господи! как он плакал всю ночь до утра! Утешая его, я думал:

«А любовь-то — не штучка!» И немножко завидовал человеку, который умеет так сильно любить.

Дорогой из Асхабада до Чарджуя я пережил нечто, что можно назвать и скверным и смешным, смотря по вкусу. Когда я, сидя в вагоне третьего класса, ел хлеб и колбасу с чесноком, в вагон вошел Деркач, хозяин труппы, человек чудовищно и уродливо толстый.

— Выброс в окно чёртову колбасу! Она воняет,— приказал он мне.

— Зачем бросать? Я лучше съем!

Деркач рассвирепел и заорал:

— Как ты смеешь есть при мне это вонючее?

Я ответил ему что-то вроде того, что ему, человеку первого класса, нет дела до того, чем питаются в третьем. Он одичал еще более. Поезд как раз в это время подошел к станции, и Деркач вытолкал меня из вагона. Что мне делать? Поезд свистнул и ушел, а я остался на перроне, среди каких-то инородных людей в халатах и чалмах. Эти чернобородые люди смотрели на меня вовсе не ласково. Сгоряча я решил идти вслед за поездом. Денег у меня не было ни гроша. Вечерело, но над песками по обе стороны дороги стояла душная муть. Я шагал, обливаясь потом и опасливо поглядывая по сторонам. Мне рассказывали, что в этих местах водятся тигры и другие столь же неприятные букашки. По полотну дороги, вдоль которого я угрюмо шагал, шмыгали ящерицы. Далеко в степи опускалось на песчаные барханы огромное красное солнце. По небу растекался расплавленный чугун. Я чувствовал себя нехорошо: этаким несчастным Робинзоном до его встречи с Пятницей. Кое-как добравшись до станции, я зайцем сел в поезд, доехал до Чарджуя и, найдя там труппу, присоединился к ней. Деркач сделал вид, что не замечает меня. Я вел себя так, как будто ничего не случилось между нами. Я очень опасался, что он оставит меня в этих странах, где живут тигры, существует «волосатик», ядовитый паучок «кара-курт», скорпионы, тарантулы, лихорадки и, наконец, безглагольные смуглые люди в халатах и чалмах, с белыми зубами людоедов и странным взглядом глаз, которые как бы щекочут вам кожу.

Как сладкий, яркий сон, помню Самарканд с его удивительными мечетями и мальчиками в белых халатиках на дворах мечетей. Жарко, тишина, мальчики, раскачиваясь, учат коран нараспев; где-то кричит отчаянно осел, ревет верблюд. Бесшумно, как тени, проходят восточные люди по узким улочкам, среди низеньких белых стен домов. Сонно поют муэдзины.

Бывало, идешь по такой улице, а к тебе подбегает сарт и убедительно ломаным языком предлагает девочку, показывая на пальцах ее года;

— Дэсит лэт — кочишь? Ую-й, харош! Как живуй, ну! Одинасыт лэт?

Я бегал от этих торговцев. Они возбуждали у меня страх.

Наконец, довольно долго покруживши по Азии, мы вернулись в Баку; на афишах я увидал, что в Тагиевском театре играет французская оперетта m-me Ласcаль. В числе артистов были Семенов-Самарский и его жена — Станиславская-Дюран. Я сейчас же пошел к Семенову-Самарскому. Он принял меня радушно и обещал устроить у французов.

В малороссийской оперетке мне жилось не очень легко, и я был рад возможности уйти из нее. Но когда я заявил об этом жене Деркача, комической старухе и на сцене и в жизни, эта дама дико обозлилась на меня:

— Мы хотели сделать из тебя человека, а что вышло? Что? Свинья вышла!

Такие сцены для меня были не редкость, но так как труппа относилась ко мне довольно равнодушно и я никогда не чувствовал, что из меня пытаются что-то сделать,— неожиданный гнев хозяйки удивил меня. Я удивился еще более, когда хозяин отказал мне выдать паспорт. А когда я стал требовать, он зловеще предложил:

— Пойдем в участок,— я передам тебе паспорт при полиции!

Я согласился. Пошли, но дорогой он начал чем-то угрожать мне, повторяя часто:

— Вот мы увидим в полиции, как всё это будет! Увидишь!

Признаюсь, мне стало жутко. Я знал, как обращаются с людьми в полиции. А тут еще, как будто в поучение мне, когда мы пришли в участок, там уже кого-то били, кто-то неистово призывал на помощь, умолял о пощаде. Я испугался и сказал хозяину, что паспорта мне не нужно,— я остаюсь в труппе. Мы возвратились в театр почти друзьями. Управляющий труппой был очень доволен этим. Но я все-таки вскоре перестал участвовать в спектаклях малорусской оперетки. Это было вызвано таким грустным случаем: однажды, играя Петра в «Наталке-Полтавке», мне

подали телеграмму; в ней было сказано: «Мать умерла. Пришли денег. Отец».

Денег у меня, конечно, не было. Хозяину я был должен. Посидев где-то в углу, погоревав, я все-таки решил попросить у хозяина вперед. За 25 рублей в месяц я играл ответственные роли, тогда как некоторые хористы получали по 40. Выслушав меня, хозяин сунул мне 2 рубля. Я попросил еще:

— Довольно,— сказал он.— Мало ли кто у кого умирает!

Это меня взорвало, и я перестал ходить на спектакли. А вскоре труппа уехала из Баку. Я остался в городе без паспорта и поступил в хор французской оперетки, где французов было человека три-четыре, а остальные евреи и земляки. Дела оперетки шли из рук вон плохо. Но, несмотря на это, мы превесело распевали разные слова, вроде:

— Колорадо, Ниагара, Шарпантье и о-де-ви...

В Баку не очень строго относились к иностранным языкам, и чепуха, которую мы пели, добродушно принималась за чистейший французский язык. Денег мне не платили. Только однажды управляющий труппой нашел, что хористу французской оперетки не подобает гулять в мохнатой текинской шубе, дал мне записку в какой-то магазин, и я получил из магазина драповое на вате пальто.

Но оперетка лопнула, и я буквально остался на улице. Пальто пришлось продать. Питаться нужно было осторожно: только хлебом и чаем. А уже наступила зима. Подул холодный ветер. С неба посыпалась крупа. Полились бесконечные дожди. Спать на лавках в саду было уже невозможно. Я и двое моих товарищей забирались в деревянный цирк, пустовавший в то время, и спали там на галерке, кутаясь в мою текинскую шубу все трое. Шуба была очень обширна, но все-таки ее не хватало на троих, и, должно быть, поэтому мои товарищи внезапно скрылись, ни слова не сказав мне. Теперь одному мне стало теплее спать, но еще труднее жить, и я едва не втянулся в историю, которая могла бы увести меня далеко за Урал на казенный счет и уже не в качестве певца.

Не помню, при каких обстоятельствах я встретился с молодым человеком, который называл себя бывшим драматическим актером. Он был более храбр и ловок, чем я, и потому, не имея ни гроша в кармане, умел жить в каких-то «номерах» и гостиницах. Он очень убедительно рекомендовал мне этот род жизни, и я согласился попробовать. Мы занимали комнату, жили в ней сутки. Хозяин требовал с нас денег, мы обещали ему заплатить и жили еще сутки, а потом скрывались незаметно в другую гостиницу.

Но однажды мой товарищ ушел один и не возвратился, а хозяин заявил мне, что не выпустит меня на улицу и не даст мне есть, если я не заплачу ему. Как быть? Голодая, я просидел в плену двое суток и, наконец, решился бежать. В комнате был балкончик, выходивший на двор, но на дворе день и ночь толпился какой-то народ. Наконец я заметил, что карниз под окном соединяется с какой-то стеной, и хотя стена была на высоте второго этажа, возвышаясь почти до крыши, однако,— чего не сделаешь с голода? Ночью я выбрался из окна на карниз, дополз кое-как до стены, сел на нее верхом и, усмотрев за нею какую-то темную кучу, прыгнул вниз. Я думал, что это навозная куча, но попал в какие-то обломки жести, железа и очутился на темном пустынном дворе. Вышел на улицу и отправился в один из темных притонов города, где бывал и раньше в трудные дни. Он всегда был набит какими-то оборванцами. Я пел им песни, а они угощали меня за это. Мне казалось, что среди них есть беглые каторжане. Большинство из этих людей не имело имен, существуя под кличками. Особенно интересовал меня один из них, по прозвищу «Клык», чернобородый, курчавый человек, с выбитыми зубами, низким лбом и притягивающим взглядом серых глаз. Его нечесаные волосы ниспадали на глаза целой копной. Голос его звучал властно, и было видно, что этот человек пользуется всеобщим уважением. Я был уверен, что этот человек удрал с каторги.

Он относился ко мне очень хорошо, называя меня «песенником» и постоянно уговаривая:

— Пой, брат! Ну, пой, прошу я тебя!

Я пел, а он плакал, иногда навзрыд, точно женщина о любимом человеке, внезапно умершем. Это мне нравилось в нем, и я готов был искренно привязаться к нему.

Но однажды сей джентльмен предложил вдруг нескольким ребятам, и мне в их числе, пойти вечером на площадь, где был цирк, и зарезать там какого-то торговца, который ходил в штопаной одежде, весь в заплатах, и у которого, по уверению «Клыка», под заплатами было зашито множество денег. «Ребята» отнеслись к этому предложению вполне одобрительно, а «Клык» начал распределять роли. Всё делалось так просто, как будто бы грабеж и разбой являлись предприятиями хотя и не легкими, но вполне признанными обычаем и законом. «Клык» и мне назначил роль в этом деле. Я должен был стоять на углу и следить за полицией. Не согласиться было невозможно. Хотя эти люди относились ко мне прекрасно, но если бы я отказался от участия в «деле», они, конечно, избили бы меня.

Когда наступил день, в который решили зарезать торговца, я не явился в притон и больше уже ни разу не показывался туда, боясь, что меня вздуют за «измену» или, что еще хуже, сочтут за шпиона.

Но, распростившись с этими людьми, я потерял всякую возможность пить и есть. Предлагал себя певчим в соборный хор, но безуспешно. Я был так растрепан, грязен, что меня, вероятно, принимали за пьяницу и вора. Начал работать с крючниками на пристани «Кавказ и Меркурий» по 30 копеек в день. Это немного поддержало меня. Но тут разразилась холера, сразу принявшая характер ужасный: люди корчились на улицах, там и тут валялись трупы, которые не успевали подбирать солдаты, вымазанные дегтем. Смерть гуляла по городу, точно губернатор. Крючники разбежались со страха. Я снова остался без работы и хлеба, питаясь почти исключительно морской опресненной водою, которую пил весь город. В Баку царил некий хаос довременный. Власти разбежались. Обыватели издыхали сотнями в день, точно мухи осенью. Жизнь остановилась. Только на вокзале

кипела работа: стоял грохот и шум. Но я и тут не мог найти заработка.

Вдруг фортуна улыбнулась мне: я нашел на улице ситцевый платок с узелком на одном конце его, а в узелке оказалось четыре двугривенных. Я тотчас же бросился в татарскую лавку есть ляли-кэбаб, наелся, пошел на вокзал и, предложив кондуктору оставшиеся деньги, попросил его отвезти меня в Тифлис. Кондуктор оказался добрым малым. Он взял с меня до Тифлиса только 30 копеек. И вот на тормозной площадке товарного вагона я добрался до Тифлиса.

Каким-то образом я узнал, что в городе Семенов-Самарский и что офицер Ключарев собирает оперную труппу в Батум. В эту труппу вступали: Вандерик и Флята-Вандерик, были выписаны: Вальтер, Люценко, Круглов. Среди хористов я встретил Нейберга и двух товарищей, бросивших меня в Баку.

Был великий пост. По-русски петь запрещалось, а потому опера приняла название итальянской, хотя итальянцев в ней было только двое: флейтист в оркестре и хорист Понтэ, мой знакомый по Баку, очень славный человек. Вскоре меня заставили петь Оровезо в «Норме», для чего я должен был переписать свою партию поитальянски русскими буквами. Воображаю, как сладостно звучал итальянский язык в моих устах!

Из Батума перебрались в Кутаис. Здесь я с честью пел Кардинала в «Жидовке», Валентина в «Фаусте», но вскоре кто-то из артистов,— чёрт его побери,— украл жену Ключарева, хозяина дела, уехал с нею, и опера разлезлась.

Я воротился в Тифлис с хористами Нейбергом, Кривошеиным и Сесиным. Все четверо мы поселились на одной квартире. Сесин отличался изумительной способностью: куда бы он ни приезжал, он немедленно находил себе невесту, ежедневно посещал ее, пил, ел, а иногда, пользуясь правами жениха, занимал у родителей ее немножко денег. В Тифлисе он тоже немедленно нашел невесту, и это было очень полезно для нас: он почти ежедневно приносил нам от нее котлеты, фрукты, хлеб, снабжал нас пятаками и гривенниками. Но, к несчастью, в Тифлисе ему не повезло. Операция

с невестой быстро расстроилась, и Сесин исчез из города. Трудно стало нам без жениха.

Товарищи мои скоро устроились куда-то, а я, более ленивый и не так ловко умевший приспособляться к жизни, остался один и голодный. Хозяйка квартиры, добрая женщина, не очень настаивала на уплате денег за квартиру, и я, отупевший от неудач, спал. Когда спишь, не хочется есть. Однажды я проспал более 48 часов кряду.

Голодать по два дня я уже привык. Но теперь приходилось жить, не вкушая пищи, по трое суток, по четверо. Это уж не для меня.

Искал я работы, но безуспешно. Костюм у меня был оборван. Белья вовсе не было, но все-таки я ходил в шляпе. Зашел однажды на лесопильный завод,— рабочие, глядя на шляпу, смеются: «барин»!

Голодать в Тифлисе особенно неприятно и тяжко, потому что здесь все жарят и варят на улицах. Обоняние дразнят разные вкусные запахи. Я приходил в отчаяние, в исступление, готов был просить милостыню, но не решался и, наконец, задумал покончить с собою. Я задумал сделать это так: войду в оружейный магазин и попрошу показать мне револьвер, а когда он будет в руках у меня, застрелюсь. Теперь понимаю, что всё это было затеяно и глупо и неосуществимо, но тогда я твердо решил покончить с собою так или иначе. Жить мне очень хотелось, но как тут жить?

Когда я стоял у двери оружейного магазина, меня окликнул знакомый голос. Я обернулся и узнал итальянца Понтэ.

— Что с тобою? — тревожно спрашивал он.— Почему у тебя такое лицо?

Я ничего не мог ответить ему. Я заплакал. Узнав, что я голодаю четвертые сутки, Понтэ увел меня к себе. Его жена тотчас же накормила меня макаронами. Съел я их невероятно много, хотя мне было стыдно пред женою Понтэ.

Эта встреча с итальянцем, его радушие и макароны подкрепили мои силы. На другой же день я прочел афишу, которая извещала, что в таком-то саду будет

разыгран любительский спектакль. Я пошел в этот сад, встретил у входа в него человека, одетого эксцентрично, как цирковой артист. Он почему-то обратил на меня внимание, стал расспрашивать — кто я, что со мною? Я рассказал. Тогда этот человек, оказавшийся актером Охотиным, увел меня в отдаленную аллею сада и предложил спеть что-нибудь и, подумав, сказал, что даст мне русский костюм, в котором я буду выступать на открытой сцене сада.

Садик был плохонький, тесный. Публика посещала его неохотно. Но я усердно пел, получая по 2 рубля за выход, раза два в неделю. Здесь я познакомился со служащими управления Закавказской дороги и, рассказывая им «за угощение» разные анекдоты, рассказал однажды о моей запутанной жизни. Этот рассказ вызвал общее сочувствие. Мои слушатели, узнав, что я знаком с канцелярской работой, предложили мне подать прошение бухгалтеру дороги. Я подал и был зачислен писцом на жалованье в 30 рублей. Это было тем более кстати, что в ту пору я жил не один. Незадолго пред этим я познакомился с хористкой Марией Шульц, очень красивой девушкой, но, к сожалению, великой пьяницей.

Однажды, в трудные дни голодовки, она предложила мне поселиться у нее. Она очень нравилась мне, хотя лицо ее отекло от пьянства и в поведении было что-то размашистое, неприятное. Но я чувствовал и видел, что у этого несчастного человека сердце доброе и милое. Когда я сказал ей, что нам неудобно будет жить в одной комнате, она просто заметила:

— Ну, какое же неудобство! Когда вы будете раздеваться, я отвернусь, а когда я буду раздеваться — вы отвернетесь!

Это показалось мне достаточно убедительным, и я переехал к ней, в маленькую конурку. Мария спала на кровати у одной стены комнаты, а я — на полу, на какой-то мягкой рухляди, у другой. Вполне естественно, что мы через неделю перестали «отворачиваться» друг от друга. У нее были кое-какие сбережения, но, разумеется, мы скоро проели их. Потом она начала таскать в заклад свои юбки, простыни, и, наконец,

мы очутились с нею в темном подвале без окон, куда свет проникал только через стекло в верхней филенке двери.

Мучительно стыдно было мне жить на средства этой девушки, и велика была радость моя, когда я получил заработок. Теперь я жил «семейно». Возвращаюсь со службы, а Мария готовит на керосинке борщ и поет. Подвал наш чисто выметен. Мы начали понемножку заводить кое-какие хозяйственные вещи. Но мне было ужасно тяжко видеть Марию почти каждый вечер пьяной. Я уговаривал ее бросить пить. Да и сама она, я видел, хотела бы отделаться от пьянства, но воли у нее не хватало. И я добился только того, что она стала прятать водку под кровать, напиваясь ночью, когда я засыпал. Так мы и жили жизнью, в которой было кое-что приятное, но которую я не пожелаю даже и недругу.

Я очень тосковал о театре, и когда ко мне явился кто-то из товарищей хористов с предложением устроить концерт в Коджорах, дачной местности в сорока верстах от Тифлиса, я с радостью согласился на это, взял на службе двухдневный отпуск и отправился с товарищами пешком в Коджоры. Собралось нас человек восемь. Нами предводительствовал хормейстер Карл Венд, отличный хормейстер, хороший человек и отчаянный алкоголик. Но концерт не состоялся вследствие глубочайшего равнодушия коджорской публики и потому, что на несчастье наше небеса разразились каким-то доисторическим ливнем, ураганом, стихийным безобразием.

Много я видел хороших дождей на своем веку, но никогда не испытывал такого ужаса! Валились деревья, с гор текли пенные потоки, летели камни, ревел ветер, опрокидывая нас, с неба лились ручьи чуть не в руку толщиной. Под этим ливнем мы возвращались в Тифлис, боясь опоздать на службу. Я боялся этого больше всех. Подвигались мы едва-едва. Иногда приходилось становиться на четвереньки, чтобы ветер и вода не сбросили нас с дороги в пропасть сбоку ее. Но все-таки дошли благополучно. Обсушившись, я отправился на службу, но к полудню почувствовал сильнейший озноб

и боль в горле. Меня тотчас же отправили в железнодорожный лазарет и там поместили в отдельную комнату. Оказалось, что у меня дифтерит.

«Пропадет голос!» — с ужасом подумал я. Тревожило меня и то, что Мария Шульц, не зная о болезни моей, вероятно, страшно беспокоится. Я послал ей записку. Но когда Мария пришла, ее, конечно, не пустили ко мне.

В лазарете было мучительно скучно. Меня, кажется, забыли в нем. Доктор не приходил, и я валялся день за днем на койке, одетый в какой-то арестантский халат. Хотелось есть, а мне давали только какой-то жиденький супец, хотя я чувствовал себя вполне здоровым. Я умолял, чтоб меня отпустили домой, но сторож заявил мне, что через неделю придет доктор и тогда — может быть. Через неделю да еще может быть!

— Пойдите вы к чёрту! — решил я, тихонько пробрался в чулан, где лежало мое платье, переоделся, вылез в окно и убежал домой.

Но когда я на другой день пришел на службу, меня не пустили заниматься, так как из лазарета дано было знать, что я убежал. Я чуть не со слезами доказывал начальству, что совершенно здоров, и наконец добился, что меня послали к доктору, который и признал меня здоровым.

Вскоре я получил письмо от Семенова-Самарского. Он писал, что если я хочу, он может устроить меня рублей на сто в Казань, в оперу Перовского на вторые роли. Можно получить аванс на дорогу. Я вспыхнул великой радостью и тотчас телеграфировал: «Жду аванса», и через некоторое время мне перевели из Казани четвертной билет. В тот же день я отказался от службы и объявил моей подруге, что уезжаю. Жалко было мне ее, очень жалко, но театр — прежде всего! Я купил банку какао, Мария сварила его, и мы устроили прощальный пир, попивая какао и распевая песни.

Но тут случилось нечто неожиданное. Давно уже сослуживцы мои говорили мне, что у меня хороший голос и что мне следовало бы поучиться петь у местного профессора пения Усатова, бывшего артиста им-

нераторских театров. И вот, в день отъезда из Тифлиса, я вдруг решил:

— Пойду к Усатову! Чем я рискую?

Пошел. Когда меня впустили в квартиру певца, прежде всего под ноги мне бросилась стая мопсов, а за ними явился человечек низенького роста, круглый, с закрученными усами опереточного разбойника и досиня бритым лицом.

— Вам что угодно? — не очень ласково спросил он.

Я объяснил.

— Ну что ж, давайте покричим!

Он пригласил меня в зал, сел за рояль и заставил меня сделать несколько арпеджий. Голос мой звучал хорошо.

— Так. А не поете ли вы что-нибудь оперное?

Так как я воображал, что у меня баритон, то предложил спеть арию Валентина. Запел. Но когда, взяв высокую ноту, я стал держать фермата, профессор, перестав играть, пребольно ткнул меня пальцем в бок. Я оборвал ноту. Наступило молчание. Усатов смотрел на клавиши, я на него — и думал, что всё это очень плохо. Пауза была мучительная. Наконец, не стерпев, я спросил:

— Что же, можно мне учиться петь?

Усатов взглянул на меня и твердо ответил:

— Должно.

Сразу повеселев, я рассказал ему, что вот — собираюсь ехать в Казань петь в опере, буду получать там 100 рублей; за пять месяцев получу 500 рублей; сто проживу, а четыреста останутся, и с этими деньгами я ворочусь в Тифлис, чтобы учиться петь.

Но он сказал мне:

— Бросьте всё это! Ничего вы не скопите! Да еще едва ли и заплатят вам! Знаю я эти дела! Оставайтесь здесь и учитесь у меня. Денег за учение я не возьму с вас.

Я был поражен. Впервые видел я такое отношение к человеку. А Усатов говорил:

— Ваш начальник — знакомый мой. Я напишу ему, чтоб он вновь принял вас на службу.

Окрыленный неизведанной радостью, я бросился с письмом Усатова к моему начальнику, но оказалось,

что мое место было уже занято. Убитый этим, я снова возвратился к Усатову.

— Ну что ж, напишу письмо другому! — сказал он и отправил меня к владельцу какой-то аптеки или аптекарского склада, человеку восточного типа. Этот, прочитав письмо, спросил меня, знаю ли я какие-нибудь языки.

— Малороссийский,— сказал я.

— Не годится. А латинский?

— Нет.

— Жаль. Ну, вы будете получать от меня 10 рублей в месяц. Вот вам за два вперед!

— А что нужно делать?

— Ничего. Нужно учиться петь и получать от меня за это по 10 рублей в месяц.

Всё это было совершенно сказочно. Один человек будет бесплатно учить меня, другой мне же станет платить за это деньги!

С авансом из Казани у меня было 45 рублей. Усатов велел мне снять комнату получше и взять пианино напрокат. Если я возвращу аванс, я буду не в состоянии сделать этого. Тогда я написал в Казань, что внезапно захворал и не могу приехать.

Это, конечно, нехорошо. Но я утешаю себя тем, что многие и часто поступают гораздо хуже ради более низких целей.

* * *

Домашние мои дела шли довольно плохо. Моя подруга становилась всё более несдержанной, и я ничем не мог помочь ей. В пьяном виде она была довольно сварлива, и часто это ставило меня в положения, которых я хотел бы избежать. Однажды она поругалась с женою городового, жившей на нашем дворе. Городовиха назвала ее кличкой, зазорной для женщины. Я, в свою очередь, обругал городовиху, а вечером явился ее супруг, начал угрожать мне, что упечет меня туда, куда Макар не гоняет телят, ворон не заносит костей, и даже еще дальше. Наконец он бросился бить меня, но, хотя я и очень боялся полиции, однако

опыт казанских кулачных боев послужил мне на пользу, и городовик был посрамлен мною.

Дом, в котором жил я с Марией, был густо набит странным сортом людей, которые интересовались всем, кроме самих себя. Некоторые же из сожителей по дому усиленно интересовались мною. Так, например, какой-то бородатый, свирепого вида человек, одетый всегда в белую блузу и почти всегда полупьяный, любил науськивать на меня свою собаку. Человек этот смотрел на всё так, как будто весь мир надоел ему смертельно, а я — особенно. Собака у него была большая и тоже свирепая. Бывало, иду я по двору, а он убеждает собаку:

— Гектор, возьми его, дьявола; пиль, Гектор! Куси его, шарлатана!

Собака, не торопясь, шла ко мне. Я прижимался к стенке и умоляюще смотрел на нее, на ее хозяина. Он рычал, собака подражала ему. Эта забава очень не нравилась мне, а человек возбуждал у меня чувство страха.

Особенно поразил он меня в тот день, когда я собрался идти к Усатову. Я очень много пел в этот день и, выйдя из комнаты в сени, услыхал сверху лестницы грозный голос:

— В дьякона бы тебя, чёртов сын, а ты тут жить мешаешь всем, сволочь настоящая!

Я немедленно скрылся в подвал.

Мне было тяжело среди этой дикой публики, а Мария делала мою жизнь еще более тяжелой, пропивая вещи, со всеми ссорясь. Однажды, проходя мимо какого-то духана, я увидал, что она пляшет лезгинку, а трактирные обыватели гогочут, щиплют ее, пьяную и жалкую. Я увел ее домой. Но она злобно сказала мне, что когда мужчина пользуется ласками женщины, он должен платить ей за это, а я — голоштанник и могу убираться ко всем чертям. Мы поругались, и Мария уехала в Баку. Очень огорчил меня ее отъезд. Она была единственным человеком, с которым я мог поделиться и горем и радостью. Не скажу, что я очень любил ее, и не думаю, чтобы она меня любила,— нас, вероятно, связывала общность положения; но

это все-таки была крепкая, дружеская связь. А кроме того, женщина, как я уже сказал, всегда являлась для меня силой, возбуждавшей лучшее в сердце моем.

На уроках Усатова я познакомился с его учениками. Их было человек пятнадцать. Все — люди разного положения и достатка: офицеры, чиновники, дамы из общества. Был среди них Иосиф Комаровский, теперь помощник режиссера в Большом театре, бас Стариченко, человек самонадеянный и до смешного самолюбивый, и Павел Агнивцев, который впоследствии сошел с ума. Я очень увлекался его чудесным голосом, и мне нравилась его солидная манера держаться на людях.

В доме Усатова всё было чуждо и необычно для меня: и мебель, и картины, и паркетный пол, и чай с бутербродами, которые так великолепно приготовляла жена моего учителя, Мария Петровна. Очень удивляло меня и то, что ученики, нисколько не стесняясь, хохотали при профессоре и его жене, рассказывали друг другу разные истории и вообще держались совершенно свободно, как равные. Я впервые видел такие отношения, и хотя они мне нравились, но усвоить их я не решался. Был я тогда очень отрепан и грязноват, и хотя в баню ходил часто, но держать себя в чистоте не мог: у меня была одна рубаха, которую я сам стирал в Куре и жарил на лампе, чтоб истребить насекомых, прочно поселившихся в ней.

Однажды на уроке Усатов сказал:

— Послушайте, Шаляпин, от вас очень дурно пахнет. Вы меня извините, но это нужно знать! Жена моя даст вам белья и носков,— приведите себя в порядок!

Я был сконфужен до слез. Я тогда еще не понимал, что если мы делаем добро людям, так не стесняемся формой. Я взял сверток белья и на следующий урок пришел чисто вымытый, выбритый. Усатов снова обратился ко мне с предложением — обедать у него. Я поблагодарил, но обедать не пошел. Это уж было совсем не по силам для меня! Видел я, как они обедают! За столом прислуживает девушка, подставляя разные тарелки; на столе лежат салфетки, масса ножей,

вилок, ложек. А кто знает — какая ложка для чего и что каким ножом нужно резать?

Но все-таки Усатовы заставили меня обедать у них, и я претерпел немало мучений при этом. Подавались кушанья, не виданные мною. Я не знал, как надо есть их. В тарелке с зеленой жидкостью плавало яйцо, сваренное вкрутую. Я стал давить его ложкой, оно, разумеется, выскочило из тарелки на скатерть, откуда я его снова отправил в тарелку, поймав пальцами. Зрители смотрели на мои операции молча, но неодобрительно,— я чувствовал это. Претерпев эти пытки несколько раз, я, конечно, научился есть, не смущая соседей такими выходками, как, например, погружение пальцев в солонку или выковыривание ногтем мяса из зубов. Но это дорого стоило мне. К тому же Усатов имел благородную привычку говорить обо всем с чарующей простотой, от которой у меня зеленело в глазах.

— Шаляпин, не надо шмыгать носом во время обеда! — советовал он.

Но платков у меня не было, а когда пища горяча и вкусна, как же можно не шмыгнуть носом?

— Если вы будете есть с ножа, то разрежете себе рот до ушей,— поучал Усатов.

Затем убеждал меня сидеть за столом прямо, не трогать ножом рыбу и вообще очень усердно занимался моим светским воспитанием.

Однажды он велел мне разучить арию из «Фенеллы» и романс Бахметьева «Борода ль моя, бородушка», а когда я разучил эти вещи, он отправил меня знакомиться с кружком любителей музыки, помещавшимся в доме Арцруни, на Грибоедовской улице. В этом кружке устраивались ученические и любительские спектакли, и он существовал независимо от известного «Тифлисского артистического кружка». Я познакомился с любителями и стал аккуратно посещать собрания кружка.

На одном из концертов пела барышня в пенсне, с черными глазками, задорно вздернутым носиком, одетая в какое-то воздушное платье. Пела она романс Брауна:

Плыви, моя гондола,
Озарена луной.
Раздайся, баркарола,
Над сонною рекой...

Певица показалась мне неземной красавицей. Ее маленький гибкий голосок очаровал меня. Я аплодировал ей, забыв всё на свете, и ушел с концерта в состоянии восторга. Между прочим, я видел, как она протянула из-за кулисы руку и некто на сцене поцеловал ее.

«Эх,— подумал я,— есть же такие счастливцы!»

Спустя несколько дней, Усатов объявил мне, что я буду выступать на концертах кружка, а кружок даст мне за это стипендию. Он подарил мне фрак. Но Усатов был маленький и толстый, а я — длинный и худой. По счастью, у меня были приятели портные. Они довольно ловко приспособили фрак к размерам моего скелета.

Наступил день первого моего дебюта в кружке. Я вышел на сцену и запел: «Борода ль моя, бородушка». Публика засмеялась, хотя и добродушно. Я был уверен, что смеются над фраком, но оказалось — надо мной: пел я о бороде очень трогательно, но никаких признаков бороды в ту пору на лице моем не было. Со сцены я казался совершенным мальчишкой. Но когда я покончил с бородой, мне охотно аплодировали, и, раскланиваясь, я заметил среди публики барышню, которая задела меня за сердце.

«Вот для кого надо петь! — решил я.— Но что петь?» И я спел на бис «Любви все возрасты покорны».

Мне показалось, что барышня аплодирует более восторженно, чем вся другая публика.

После концерта танцевали, и аккомпаниаторша вдруг предложила познакомить меня с этой барышней. Я молча согласился и пошел к ней, через весь зал, по блестящему полу, пошел на кривых подгибавшихся ногах. Барышня тепло пожала мне руку, наговорила комплиментов. Я отвечал ей невпопад и думал: «Какой я дурак, как неуклюж!»

Если б она предложила мне проводить ее пешком из

Тифлиса в Архангельск, я, конечно, согласился бы; если б я знал, где она живет, я ходил бы под ее окнами. Я был влюблен со всею силой юности.

Тут ко мне подошел итальянец Фарина, один из членов кружка, и объявил, что я буду получать у них 15 рублей в месяц, и предложил мне помогать им всем, чем я могу помочь. Разумеется, я с радостью согласился и стал принимать деятельное участие во всех затеях кружка: пел в концертах, играл в драме — Разгуляева в «Бедность не порок», Несчастливцева в «Лесе», Петра в «Наталке-Полтавке»,— ставил декорации, чистил лампы, заведовал бутафорией и вообще работал за совесть.

Занятия у Усатова продолжались своим чередом. Профессор был чрезвычайно строг и мало церемонился с учениками, особенно такими, каков был я. Если у меня что-либо выходило плохо, он выковыривал дирижерской палочкой из банки нюхательный табак и громко нюхал, а то закуривал папиросу в палец толщиной. Это были явные признаки его недовольства и раздражения.

Слыша, что голос ученика начинает слабеть, Усатов наотмашь бил ученика в грудь и кричал:

— Опирайте, чёрт вас возьми! Опирайте!

Я долго не мог понять, что это значит — «опирайте». Оказалось, надобно было опирать звук на дыхание, концентрировать его.

Увлеченный работой в кружке и переживая волнения влюбленности, я стал учиться менее усердно и частенько выучивал уроки не очень твердо. В этих случаях я прибегал к такой уловке: ставил на фортепьяно раскрытые ноты, а сам, отойдя в сторону, скашивал глаза и читал с листа. Но Усатов заметил это и однажды ловко встал между нотами и мною, закрыв их. Я перестал петь. Тогда он бесцеремонно начал колотить меня палкой, приговаривая:

— Лодырь, лодырь, ничего не делаешь!

Эти истязания стали повторяться довольно часто и понудили меня принять свои меры защиты. Инструмент стоял четверти на полторы от стены. Я отодвинул его еще на вершок, и, когда Усатов замахивался на

меня палкой, я убегал за фортепьяно. Он был толст и не мог достать меня, только кричал и топал ногами.

Но однажды я так рассердил его, что он швырнул в меня нотами и закричал неистово:

— Вылезай, чёрт проклятый! Вылезай, я тебя понял!

Я вышел. Он с наслаждением отколотил меня палкой, и мы снова начали урок.

Впоследствии, встречаясь с ним, мы вспоминали эти уроки палкой и оба хохотали. Хороший человек был мой учитель!

Усатов приготовил со мной третий акт «Русалки» для спектакля в музыкальном кружке, а кроме того, серенаду Мефистофеля и трио. Худой и длинный, я был очень смешон в костюме Мефистофеля, но пение публике понравилось. Особенно же велико было ее впечатление, когда я начал петь Мельника:

— Да, стар и шаловлив я стал.

И теперь помню, как жутко тихо стало в зале, когда я спел эту фразу. Мне страшно аплодировали, когда я кончил. Публика даже встала. А на следующий день я прочитал в газете «Кавказ» заметку, в которой автор ее сравнивал меня со знаменитым Петровым. Заметка была подписана — Карганов. Я знал, что это был офицер-сапер, знаток и любитель музыки. Впоследствии он написал книгу о Бетховене.

Прочитав эту заметку, я с трепетом душевным почувствовал, что со мною случилось что-то невероятное, неожиданное, чего у меня и в мечтах не было. Я, пожалуй, сознавал, что Мельник спет мной хорошо, лучше, чем я когда-либо пел, но все-таки мне казалось, что заметка преувеличивает силу моего дарования. Я был смущен и напуган этой первой печатной хвалой. Я понимал, как много от меня потребуется в будущем. Усатов тоже хвалил меня:

— Ну что, лодырь? — говорил он, похлопывая меня по плечу: — То-то, вот! Вот так-то!

Я не решился сказать ему, что читал заметку Карганова. Совестно было.

Тем временем я продолжал встречаться с барышней. Ее звали Ольга. Отец ее, присяжный стряпчий, относился к ней довольно равнодушно. Она жила с ма-

терью, в маленькой красивой квартирке. Мамаша — простая женщина, смотрела на жизнь очень реально. Я скоро заметил, что ей больше всего нравятся те богатые армяне, которые обращают внимание на ее дочь. Вообще говоря, в мамаше было что-то странное и, пожалуй, противное.

Ольга училась в Петербургской консерватории, играла на рояле. Она очень хорошо и картинно рассказывала мне о Петербурге, о том, как хорош этот город, как забавно кататься зимою на вейках, и вообще она была очень интересной, очень милой девушкой. Но взгляд у нее был гордый, эдакий «расточающий презрение».

Я стал часто бывать у нее, хотя это не очень нравилось мамаше. Ольга аккомпанировала мне. Я пел. Я любил ее больше, чем она меня. Я чувствовал, ей что-то мешает отнестись ко мне так беззаветно, как я относился к ней. Но все-таки наши отношения вскоре приняли вполне определенный характер, после чего она рассказала мне, что у нее уже был роман с тем композитором, который написал любимый ею романс «Плыви, моя гондола».

— Теперь этот человек живет в Америке,— сказала она.

Мне подумалось, что, может быть, именно эта история мешала ей отнестись ко мне так искренно, как я относился к ней, и что теперь, когда я всё знаю, моя возлюбленная почувствует себя ближе ко мне. Но этого не случилось. Покровительственное отношение мамаши к богатым армянам, возмущая меня, возбуждало мою ревность. Я начал нервничать. Однажды мне показалось, что Ольга, аккомпанируя мне, нарочно фальшивит и путает меня. Тогда я сказал ей довольно грубо:

— Не хочу заниматься с вами!

Она швырнула в меня коробкой конфет и вышла из комнаты. Я остался один, ошеломленный. Это так странно было. Человек, который казался мне духовно тонким, который несомненно был интеллигентнее меня, швыряет в меня, как в собаку, чем попало. Посидев некоторое время один, я пошел домой, чувствуя, что

случилось что-то непоправимое. Свет померк предо мною, и в течение долгого времени, до новой встречи с Ольгой, я чувствовал себя точно отравленным или в тяжелом похмелье. Спать я не мог. Кровать качалась подо мною, точно лодка на воде. Наконец у меня не хватило сил, и я пошел к Ольге, но встретил ее на улице. Она первая подошла ко мне, протянула руку и дружески попросила меня не придавать значения ее глупой вспышке. Мы помирились.

Но вскоре разыгралась история еще глупее. Однажды, когда мы с Ольгой ехали в фаэтоне, мы увидали, что нас заметила мамаша, которая не была осведомлена об отношениях между нами. Мы с Ольгой, несколько встревоженные, заехали в магазин, купили чего-то и отправились на квартиру. Дверь оказалась запертой,— значит, мамаша еще не пришла. Я поставил самовар, и, ожидая мамашу, мы сидели, мирно беседуя. Я говорил Ольге, что мне хочется поступить на сцену,— тяжело мне все-таки учиться на чужие средства, просил ее не оставлять меня и, если случится, ехать вместе со мною.

В это время за шкафом около кровати раздался какой-то странный звук: как будто что-то лопнуло. Мы бросились к шкафу, и — каково было наше изумление, когда за шкафом оказалась мамаша! Возмущенная своим открытием и тем, что мы тоже открыли ее, она начала колотить и меня и дочь стулом. Ольга крикнула мне, чтоб я уходил. Я ушел и всю дорогу хохотал, как безумный, не потому, что мне было смешно, а от нервного потрясения. И было мне жалко, до слез жалко любовь мою за то, что в нее вторгается пошлость.

Полагая, что после такой сцены Ольга должна оставить мать, я послал ей письмо, в котором известил, что жду ее и что мы сумеем прожить на 35 рублей в месяц,— всё, что я имел тогда. Мне не ответили на мою записку, и я заключил, что, видимо, Ольга помирилась с матерью. Так оно и было, к недоумению моему. Я снова стал бывать у Ольги, как раньше, но юношеский романтизм мой заволокло серое облако каких-то сомнений и подозрений.

В конце лета стали говорить, что зимою в казенном

театре будет играть опера Любимова и Форкатти. Я еще не знал ни одной оперы целиком, но все-таки спросил Усатова, не попробовать ли мне поступить на сцену.

— Отчего же нет? Попробуем! Будете и петь и учиться у меня. Надо только выучить несколько опер. «Русалка» и «Фауст» — это ваши кормильцы, так и знайте! Надо еще выучить «Жизнь за царя».

Я выучил эти три оперы. В один прекрасный день к Усатову явился Любимов слушать Агнивцева и меня. Агнивцев понравился ему, и он заключил с ним контракт по 250 рублей в месяц. А я не понравился, хотя пел третий акт «Русалки» — то, за что меня хвалили больше всего.

«Далек еще я от того, чтоб играть на сцене»,— с грустью подумалось мне.

Но кто-то посоветовал Любимову послушать меня еще раз в любительском кружке. Он послушал, и на этот раз я понравился ему.

— Я могу заплатить вам полтораста рублей в месяц,— предложил он.

«Эко хватил,— подумал я.— Я бы и за половину пошел!»

Заключили контракт. Я стал ходить на репетиции и однажды услыхал, как дирижер Труффи говорил кому-то:

— Какой кароши колос у этот молодой мальшик!

Я страшно обрадовался.

* * *

Сезон начали «Аидой». Всё шло очень хорошо, но вдруг Амнерис зацепилась платьем за декорацию и никак не могла отцепиться. Я, верховный жрец, помог ей, приподняв шлейф. А на другой день прочел в газете строгий выговор рецензента: недопустимо, чтоб верховный жрец носил шлейф Амнерис.

Вскоре вышло как-то так, что весь басовый репертуар лег на мои плечи, и я, неожиданно для себя, занял в опере первенствующее положение. Этому особенно помогли «Паяцы» Леонкавалло, впервые по-

ставленные в Тифлисе. Роль Тонио легко укладывалась в диапазоне моего голоса, и я довольно удачно играл ее. Опера ставилась часто и шла с неизменным успехом.

Я готовил роли, как блины пек. Бывало, сегодня назначат роль, а завтра ее надо играть. Если б у меня еще раньше не образовалась известная привычка к сцене, уменье держаться на ней, напряженная, спешная работа была бы, наверное, и мучительна и пагубна для меня. Но я был уже давно «театральным человеком». У меня выработалась способность не теряться на сцене, и я слишком любил свое дело для того, чтобы относиться к нему легкомысленно. И хотя у меня не было времени изучать новые роли, я все-таки учил их на ходу, по ночам. Каждая роль брала меня за душу.

Я продолжал ходить к Усатову. Он иногда похваливал меня, иногда строго распекал. Я всегда внимательно и с любовью слушал поучения этого человека, который, вытащив меня из грязи, бескорыстно отдавал мне свой труд, свою энергию и знания. Как учитель пения, он был, так сказать, механический учитель, преподаватель внешних приемов техники. Но он хорошо знал музыку и любил ее. Он часто собирал всех нас, учеников, и рассказывал нам о том или ином музыкальном произведении, объясняя их достоинства, указывая недостатки, воспитывая мой вкус.

Однажды в музыкальном кружке была поставлена сцена в корчме из «Бориса Годунова». Я играл пристава. И вот, когда Варлаам начал петь свою тягостную, внешне нелепую песню, в то время как на фоне аккордов оркестра Самозванец ведет разговор с шинкаркой, я вдруг почувствовал, что со мною случилось что-то необыкновенное. Я вдруг почувствовал в этой странной музыке нечто удивительно родное, знакомое мне. Мне показалось, что вся моя запутанная, нелегкая жизнь шла именно под эту музыку. Она всегда сопровождала меня, живет во мне, в душе моей и более того — она всюду в мире, знакомом мне. Это я теперь так говорю, а тогда я просто почувствовал какое-то благоговейное слияние тоски и радости. Мне хотелось плакать и смеяться. Первый раз я ощутил тогда, что музыка — это голос души мира, ее безглагольная песнь.

В один из последних дней сезона мне дали бенефис за то, что я «оказал делу больше услуг, чем ожидали от меня», как выразился управляющий труппой. Я поставил сразу две оперы — «Паяцы» и «Фауста» — целиком. Я был выносливый, как верблюд, и мог петь круглые сутки. За эту страсть к пению меня даже с квартиры выгоняли.

Но накануне бенефиса умер комендант Тифлиса, генерал Эрнст, человек, очень похожий на скелет человечий. Был он невероятно сух, костляв. Лицо землистое, глаза мертвые. Про него рассказывают множество анекдотов, один другого смешнее. Например, едет он в непогоду по улице и видит военного писаря в галошах и белых перчатках.

— Стой! — кричит Эрнст,— сними галоши!

Писарь снял и вытянулся, стоя в грязи.

— Вытри галоши руками!

Писарь вытер грязь с галош перчатками.

— Надень галоши и ступай на двое суток под арест.

Говорили, что, когда он начинал ругать жену, она садилась за рояль и играла гимн, а генерал тотчас становился во фронт. В театре у нас он сидел всегда в ложе над оркестром, как раз над ударными инструментами и медью. Однажды, заметив, что трубы, поиграв немножко, молчат, он решил, что это недопустимый беспорядок, вызвал директора театра и спрашивает:

— Это почему же трубы не играют?

— У них паузы.

— Что? А жалованье они получают тоже с паузами?

— Жалованье получают, как все.

— Потрудитесь же сказать им, чтобы они в следующий раз играли без пауз! Я не потерплю лентяев!

Когда я пел Гремина, Эрнст спросил кого-то:

— Кто этот молодой человек?

Ему сказали.

— Гм-м... странно! Я думал, что он из генеральской семьи. Он очень хорошо играет генерала.

Потом он пришел ко мне за кулисы, похвалил меня, но сказал, что костюм мой не полон, нет необходимых орденов.

— И перчатки паршивые! Когда вы будете петь генерала Гремина еще раз, я вам дам ордена и перчатки!

И, действительно, в следующий раз он явился в театр задолго до начала спектакля, велел мне надеть костюм и, тыкая меня пальцем в живот, грудь, плечи, начал командовать:

— Во фронт! Пол-оборота направо! Кругом — арш!

Я вертелся, маршировал, вытягивался струной и заслужил генеральское одобрение.

Вынув из платка звезду и крест, генерал нацепил ордена на грудь мне и сконфуженно сказал:

— Послушайте, Шаляпин, вы все-таки потом возвратите мне ордена!

— Конечно, ваше превосходительство!

Еще более сконфузившись, генерал объяснил:

— Тут был один — тоже бас. Я дал ему ордена, а он их, знаете... того, пропил, что ли, чёрт его возьми! Не возвратил, знаете...

Так вот этот чудак и умер как раз накануне моего бенефиса; я испугался, вообразив, что спектакль отменят. Но не отменили. Спектакль имел большой успех. Собралось множество публики, мне подарили золотые часы, серебряный кубок, да сбора я получил рублей 300.

А Усатов вытравил со старой, когда-то поднесенной ему ленты слово: «Усатову», написал «Шаляпину» и поднес мне лавровый венок.

Я очень гордился этим!

Сезон кончился. Что делать дальше? Естественно, что мне захотелось ехать в Москву, центр артистической жизни. Усатов одобрил мое намерение и дал мне письма к управляющему конторой императорских театров Пчельникову, к дирижеру Альтани, Барцалу, режиссеру и еще кому-то.

В середине мая рано утром я с Агнивцевым отправился на почтовую станцию. Агнивцеву не повезло в опере. Он бросил петь в середине сезона. Пришла на станцию Ольга с матерью. Я начал уговаривать ее ехать со мною. Она отказалась. Ее отношения ко мне давно уже приняли характер того любопытства, с которым смотрят на акробата в цирке: свернет он

себе шею в этот вечер или завтра? Я чувствовал это обидное отношение, но все-таки любил девушку. И когда лошади потащили нас вдоль Ольгинской улицы на Военно-Грузинскую дорогу, сердце мое мучительно сжалось.

По Военно-Грузинской дороге я ехал первый раз. Я много слышал о дивной красоте ее, но я ничего не видал, потому что всё время плакал, хотя и стыдно было пред товарищем, который дружески и безуспешно утешал меня. И только за Ананауром величественная красота Кавказа немного успокоила меня.

Во Владикавказе мы решили дать концерт. Сняли зал, напечатали афиши, билеты, но ни одного билета не продали, и концерт не состоялся. Это не обескуражило нас. Агнивцев предложил ехать в Ставрополь, где живет его родственник-офицер, способный помочь нам. Поехали в Ставрополь. По скучной пыльной дороге прибыли в еще более скучный город и тотчас отправились к родственнику. Он принял нас тепло и радушно, охотно начал хлопотать об устройстве концерта, а мы с Агнивцевым стали искать аккомпаниатора.

Нам сказали, что в городе есть пианистка, ученица Рубинштейна, дали ее адрес. И вот мы стоим пред маленьким домиком со стеклянной террасой, беседуя с женщиной в подоткнутой до колен юбке, с грязной тряпкой в руке. Она сообщила нам, что ее барыне сейчас нехорошо, так что барыня легла в постель.

— А все-таки я скажу ей, что кавалеры пришли.

Пригласила нас войти в комнату, а сама исчезла. Мы сели. Откуда-то из-за стены до нас долетали тяжелые вздохи, стоны. Наконец приоткрылась дверь, и вошла женщина. Лицо у нее было синее, глаза болезненно расширены.

— Я, действительно, ученица Антона Григорьевича Рубинштейна, но сейчас ни аккомпанировать, ни вообще заниматься музыкой не могу!— объявила она и тотчас же исчезла, крикнув кому-то:

— Беги за бабкой!

Мы ушли, унося с собою некоторое недоумение. У ворот мы снова встретили бабу в подоткнутой юбке.

Она вертела головой направо и налево, очевидно, соображая, куда ей бежать. Когда я спросил ее, чем больна хозяйка, баба спокойно сообщила:

— Родить собралась...

Признаюсь, это вообще прекрасное намерение в данном случае показалось нам несвоевременным и огорчило нас.

Но родственник Агнивцева отправил нас к другой аккомпаниаторше. В ту эпоху, очевидно, все музыканты Ставрополя были женского пола. На этот раз мы увидали пред собой молодую блондинку с пышными волосами, видимо, очень веселую. Она смеялась над всем, что мы говорили ей.

— Так вы хотите, чтоб я аккомпанировала вам? — спрашивала она, заливаясь смехом.— Да ведь я с Левиным играла! Понимаете? С самим Левиным!

Мы оба смутились, не зная, кто этот Левин.

Но все-таки просили ее помочь нам, очень усердно просили. Однако она решительно сказала:

— Я не могу аккомпанировать артистам, которые никому не известны! Но я могу дать вам записку к одной барышне...

Слово «барышня» она очень подчеркнула. Мы с благодарностью взяли записку и отправились к «барышне». Пришли на окраину города, в глухую улицу, к длинному забору, за которым среди бурьяна возвышался небольшой покосившийся домик. На крыльце дома лежала собака, похожая на кусок войлока. По двору развешано белье. Мы долго по очереди стучали в запертые ворота. Наконец какая-то очень недоверчивая женщина, расспросив подробно, кто мы, откуда и зачем, впустила нас во двор и вызвала на крыльцо дряхлую старушку с трясущейся головой.

Агнивцев, как бывший офицер, элегантно расшаркался пред нею и спросил — здесь ли живет m-elle такая-то?

— Зачем вам ее?

— А вот у нас письмо к ней.

Убежденный, что имеет дело с бабушкой аккомпаниаторши, Агнивцев подал ей послание блондинки, и вдруг мы увидали, что старушка вскрывает его.

А. М. ГОРЬКИЙ И Ф. И. ШАЛЯПИН С ДРУЗЬЯМИ.
Мустамяки, 1914 г.

— Виноват,— сказал Агнивцев,— письмо адресовано m-elle...

— Мамзель — это я,— не без гордости сказала старушка.

Мы поняли, почему так весело смеялась блондинка, рекомендуя нам «барышню». Прочитав письмо, старушка сказала нам, что уже лет тридцать не подходит к роялю.

Наше положение становилось безвыходным. Но какой-то добрый человек оповестил нас, что в городе есть еще одна аккомпаниаторша. Пошли к четвертой. Эта жила в каком-то овраге и оказалась женою околоточного надзирателя, женщиной очень миловидной и приветливой. Выслушав нашу просьбу, она страшно покраснела и сказала нам:

— Видите ли, я мало училась, играю только для себя и едва ли пригодна вам.

Мы умолили показать нам ее искусство. Играла она отчаянно, не имея никакого представления о ритме и движении пьесы. Ноты читала плохо, но все-таки кое-как мы ее научили. Я был все-таки настолько музыкален, что сам замедлял темп, когда она путала, но Агнивцев уж если начинал петь, то «чесал» до конца, не справляясь с аккомпанементом и не обращая внимания на него. Я решил, что во время концерта буду сидеть с женою околоточного у рояля и тыкать пальцем в ноты, в то место, куда убежит Агнивцев за время, пока она разбирается в нотах.

Как бы то ни было, но концерт состоялся и прошел не без успеха. Особенно доволен был околоточный!

На другой день, взяв билет третьего класса, мы поехали в Москву. Дорогой какие-то милостивые государи ловко втянули меня в игру в три туза, и я проиграл 250 рублей. Было стыдно, и я ничего не сказал об этом Агнивцеву.

Москва, конечно, ошеломила нас, провинциалов, своей пестротой, суетой, криком. Как только мы наняли комнату, я бросился смотреть Большой театр. Грандиозное впечатление вызвали у меня его колонны и четверка лошадей на фронтоне. Я почувствовал себя таким ничтожным, маленьким пред этим храмом.

На следующий день отправился в контору императорских театров. В передней сидели сторожа с орлами на позументах, и было ясно, что они смертельно скучают. Бегали какие-то люди с бумагами в руках, с перьями за ушами. Всё это мало было похоже на театр. Сторож взял у меня письмо, недоверчиво повертел его в руках и стал лениво спрашивать:

— Это от какого Усатова? Кто он таков? Подождите!

Я присел на скамью-ящик,— типичная мебель строго казенного учреждения; в ней обычно хранятся свечи, сапожные щетки, тряпицы для стирания пыли. Сидел час, полтора, два. Наконец попросил сторожа напомнить обо мне г. Пчельникову. После некоторых пререканий сторож согласился «напомнить», ушел и приблизительно через полчаса сообщил мне, что г. Пчельников принять меня не может и велел сказать, что теперь, летом, все казенные театры закрыты.

Внушительно, хотя и не очень вежливо.

Альтани и Авраменко жили в Пушкине. Я поехал к ним, был принят ими более любезно, но и они тоже сказали мне, что сезон закончен и что голоса пробуют у них, в казне, великим постом. Но для меня великий пост уже наступал: денег у меня почти не было. Мы с Агнивцевым записались в театральное бюро Рассохиной. Я отдал туда мои фотографии, афиши, вырезки из газет. Рассохина пожелала слышать мой голос, и, видимо, он понравился ей.

— Отлично! — сказала она,— мы найдем вам театр!

Скоро деньги у меня и совсем исчезли. Мы с Агнивцевым обедали в трактире за 50 копеек. Мне всё еще не хотелось сознаться товарищу, что я проиграл деньги, и я стал отказываться ходить обедать с ним. Но одному сидеть в конуре да еще без обеда было скучно, и дня через два я сказал товарищу, в чем дело. Он страшно изругал меня и предложил есть на его счет,— после я заплачу ему.

Павлуша Агнивцев был очень милый и добрый человек, но он был раздражающе аккуратен. Если он расходовал 7 копеек, то записывал за мною 3½. Это, конечно, правильно, однако и скучно же!

— Да запиши ты за мной 4 копейки! — просил я его.

Он возражал вполне резонно:

— Зачем же? Половина семи — три с половиной, половина пяти — два с половиной...

От этой дружеской арифметики я уходил на Воробьевы горы и оттуда любовался величием Москвы, которая, как всё на свете, издали кажется красивее, чем вблизи. Сидя там в одиночестве, я с тревогой и грустью думал о себе, вспоминал мою жизнь, Тифлис, где мною было изжито немало счастливых часов, думал об Ольге, которой писал длинные письма, всё более редко получая ответы на них. Не удалась мне моя первая юношеская любовь...

Прошло с месяц времени. В начале июня я получил от Рассохиной повестку, приглашавшую меня явиться в ее бюро. Захватил с собою ноты и побежал. В зале бюро сидел огромный детина с окладистой бородою, кудрявый, в поддевке, эдакий широкогрудый, густобровый богатырь. На груди у него висело фунта три брелоков. Смотрел он на всех внушительно и сердито. Вот это — настоящий московский антрепренер.

— Лентовский,— сказали мне.

Я уже слышал это знаменитое имя и немножко струсил, а Лентовский, осмотрев меня с ног до головы, сказал Рассохиной:

— Можно.

— Пойте,— предложила Рассохина.

Я запел арию из «Дон-Карлоса», глядя в затылок аккомпаниатора. Послушав немного, Лентовский сказал:

— Довольно. Ну, что вы знаете и что можете?

Я рассказал, что знаю. А вот что я могу — этого не знаю!

— «Сказки Гофмана» пели?

— Нет.

— Вы будете играть Миракля. Возьмите клавир и учите. Вот вам сто рублей, а затем вы поедете в Петербург, петь в «Аркадии».

Всё это: лаконизм Лентовского, сто рублей, его густые брови, брелоки — вызвало у меня подавляющее впечатление. Вот как действуют московские антрепренеры! Я подписал контракт, даже не прочитав, что

подписываю, и, счастливый, бросился домой. Вскоре я подписал еще контракт на зимний сезон в Казань, к Унковскому, но в бюро мне сказали, что Унковский требует гарантию в том, что я действительно приеду, и поэтому я должен подписать вексель на 600 рублей.

Я подписал и поехал в Петербург, дружески простившись с Агнивцевым.

Ему всё не везло. За последнее время у него еще начались какие-то недоразумения с голосом: он перестал петь баритоном и запел тенором. Прожив тяжелую жизнь, полную неудач и разочарований, он несколько лет тому назад, будучи крестьянским начальником в Сибири, буйно помешался и помер.

По дороге в Петербург я представлял себе этот город стоящим на горе, думал увидеть его белым, чистым, утопающим в зелени. Мне казалось, что он не может быть иным, если в нем живут цари.

Было немножко грустно увидать многочисленные трубы фабрик и тучу дыма над крышами, но все-таки своеобразная, хмурая красота города вызвала у меня сильное впечатление.

«Аркадия» тоже представлялась мне роскошным, невиданным садом, но оказалось, что это нечто вроде Панаевского сада в Казани, так же тесно застроенное, с такой же деревянной роскошью. В саду шли какие-то спектакли. На открытой сцене пела великолепная шансонетная певица Паола Кортэз. Я ежедневно ходил слушать ее, впервые видя столь талантливую женщину. Я не понимал, что́ она пела, но любовался ее голосом, интонациями, жестами. Ее песенки проникали куда-то глубже уха.

Прошло недели две. Явился Лентовский, и начались какие-то беспорядочные репетиции, неладные спектакли. Оказалось, что хозяин предприятия не Лентовский, а буфетчик, и у него с Лентовским тотчас же начались не только ссоры, но и драки. Знаменитый московский импрессарио походя бил буфетчика и, занятый этим делом, не особенно много обращал внимания на оперу. К тому же его увлекала феерия «Волшебные пилюли», для которой он пригласил весьма искусных акробатов. Они лазили по деревьям, прова-

ливались сквозь землю при громе и молнии, их топили, давили, вешали. Всё это было очень забавно, но в большом количестве — надоедало.

Я играл Миракля, но «Сказки Гофмана» успеха не имели. Публика не ходила в сад. Я должен был получать 300 рублей в месяц, но кроме сотни рублей, данной мне в Москве, не получил ничего. Часто я обращался к знаменитому антрепренеру с просьбой дать мне два-три рубля. Он давал полтинники. А мне уже надоело голодать, да и неловко как-то заниматься этим в столице.

В конце сезона со мною случилось комическое, но неприятное происшествие. Познакомился я в саду с какими-то двумя дамами, одна из которых, по твердому убеждению Лентовского, была шпионкой. Но я интересовался ею отнюдь не с этой стороны. Однажды я поехал с нею и ее подругой куда-то на извозчике. Ноги у меня были длинные, и, сидя в пролетке, я должен был выставить их на улицу. Поворачивая за угол, извозчик задел моими ногами за фонарный столб. Я взвыл от боли, но мне стало еще хуже, когда я увидал, что сапог мой разлетелся вдребезги. Дамы завезли меня к себе на квартиру, растерли ушибленную ногу, но они не могли починить сапог! Я очень настойчиво просил у Лентовского денег на сапоги, но он не дал. К счастью, у меня были новые резиновые галоши. Они блестели, как лаковые сапоги. И я долго гулял в них по улицам великолепной столицы.

Сезон в «Аркадии» кончился скандально. Мне нужно ехать в Казань, а денег нет. Тут кто-то предложил мне вступить в оперное товарищество, которое собиралось ставить спектакли в Панаевском театре.

— У меня подписано условие в Казань.

— Это пустяки — условие! Условие — это ерунда!

Странно. Я думал несколько иначе. Я был убежден, что если условие заключено, необходимо выполнить его. К тому же я подписал вексель на 600 рублей. Я задумался.

Уезжать из Петербурга не хотелось. Мне нравились широкие улицы, электрические фонари, Нева, театры, общий тон жизни.

Однажды я пошел в Панаевский театр, где собрались уже все члены товарищества во главе с дирижером Труффи, знакомым мне, — пошел и сказал, что готов вступить в труппу. Я был хорошо встречен.

И вот я заседаю с хорошими товарищами, мы подписываем какие-то бумаги, достаем откуда-то деньги, репетируем. Вдруг, по случаю смерти императора Александра III, объявили, что все театры будут закрыты на шесть недель. Но мы начали «хлопотать», и нам милостиво разрешили петь.

Спектакли пошли у нас удачно. Мне лично удалось быстро обратить на себя внимание публики, и ко мне за кулисы начали являться разные известные в музыкальном мире люди. Всем нравилось, как я пою Бертрама в «Роберте-Дьяволе». В. В. Андреев сообщил, что мною интересуются в Мариинском театре, а вскоре, вслед за этим, мне предложили сходить туда и спеть что-нибудь Направнику.

Надо сказать, что однажды, когда я пел в «Фаусте» «заклинание цветов», публика единодушно, к моему искреннему удивлению, потребовала повторить арию. Это удивило и товарищей по сцене,— раньше на эту арию как-то не обращали внимания. И вот, когда я решил пойти к Направнику, В. В. Андреев посоветовал мне спеть именно «заклинание цветов». Направник был очень сухой человек, необщительный, сдержанный. Никогда нельзя было узнать, что нравится ему, что — нет. Прослушав меня, он не сказал ни слова. Но вскоре я узнал, что мне хотят устроить пробу на сцене Мариинского театра, в присутствии директора. Я знал, что этому театру нужен бас, так как знаменитый Мельников в то время уже кончил свою карьеру.

Разумеется, я не мечтал занять его место и был очень встревожен, когда мне предложили для пробы приготовить арию Руслана, одну из коронных Мельникова. Проба состоялась. Но ария Руслана, видимо, не удовлетворила моих экзаменаторов и испытателей. Мне предложили спеть еще что-нибудь. Я спел четвертый акт «Жизни за царя» — арию и речитатив. Арию я пел, как поют все артисты, а речитатив — по-своему, как исполняю его и теперь. Кажется, это

вызвало у испытателей моих впечатление, лестное для меня. Помню, Фигнер подошел ко мне, крепко пожал мою руку, и на глазах его были слезы. На другой день мне предложили подписать контракт, и я был зачислен в состав труппы императорских театров.

Рад я был этому? Не помню, но, кажется, не очень, потому что в то время радостей у меня было много. Продолжая петь в Панаевском театре, я усердно продолжал развивать мои знакомства. Я хорошо подружился с В. В. Андреевым, у которого по пятницам собирались художники, певцы, музыканты. Это был мир, новый для меня. Душа моя насыщалась в нем красотою. Рисовали, пели, декламировали, спорили о музыке. Я смотрел, слушал и жадно учился. Часто с этих пятниц гурьбою отправлялись в ресторан Лейнера — излюбленное место артистов и там тоже беседовали и пели до рассвета. Тут я познакомился с Мамонтом Дальским, в ту пору молодым и пользовавшимся успехом у публики.

Я часто выступал в студенческих концертах и на благотворительных вечерах. Однажды за мной приехал В. И. Качалов, в то время студент и распорядитель на вечере. Он приехал в карете. Это мне страшно понравилось. До того я видел, что в каретах разъезжают только знатные дамы да архиереи. А теперь — не угодно ли? — я сам еду в карете!

Ах, как я был тогда молод и, скажу прямо, хорош в наивности своей! В. И. Качалов что-то говорил мне, о чем-то спрашивал, но я отвечал ему невпопад, поглядывая в окно и вспоминая детство, Казань, ночи, которые я спал в экипажах, когда работал у скорняка. От этой кареты также исходил приятный запах кожи и какой-то особенной материи.

Когда я вышел на эстраду Дворянского собрания, я был поражен величественным видом зала, его колоннами и массой публики. Сердца коснулся страх, тотчас же сменившийся радостью. Я запел с большим подъемом. Особенно удались мне «Два гренадера». В зале поднялся неслыханный мною шум. Меня не отпускали с эстрады. Каждую вещь я должен был петь по два,

по три раза и, растроганный, восхищенный настроением публики, готов был петь до утра.

Мои приятели искренно поздравляли меня с успехом. Все говорили, что это сослужит мне большую службу и в казенном театре. Разумеется, я жил в восторге и всё чаще выступал на благотворительных вечерах, на студенческих концертах. Вскоре дошло до того, что однажды мы с Дальским провели курьезный вечер. Нас пригласили участвовать в каком-то концерте, но карету за нами не прислали. Мы решили, что если за нами не едут, так мы сами приедем. Но куда? Отправились в какой-то зал и спрашиваем распорядителей концерта, не участвуем ли и мы у них.

— Нет, не участвуете, к сожалению, но если б вы пожелали принять участие...

Мы раздеваемся, исполняем свои номера и едем на следующий концерт. Снова попали не туда, где нас ждут. Однако и здесь я пел. Дальский декламировал. Побывав не без удовольствия для самих себя и для публики в четырех концертных залах, мы так и не попали туда, куда были приглашены.

Я был отчаянно провинциален и неуклюж. В. В. Андреев усердно и очень умело старался перевоспитать меня; уговорил остричь длинные, «певческие» волосы, научил прилично одеваться и всячески заботился обо мне. Это было необходимо, потому что со мною происходили всяческие курьезы. Так, например, пригласили меня в один очень барский дом на чашку чая. Я напялил на себя усатовский фрак, блестяще начистил смазные сапоги и храбро явился в гостиную. Со мною рядом сели какие-то очень веселые и насмешливые барышни, а я был безобразно застенчив. Вдруг чувствую, что кто-то под столом методически и нежно пожимает мне ногу. По рассказам товарищей я уже знал, что значит эта тайная ласка, и от радости, от гордости немедленно захлебнулся чаем.

«Господи,— думал,— которая же барышня жмет мою ногу?»

Разумеется, я не смел пошевелить ногою, и мне страшно хотелось заглянуть под стол. Наконец, не стерпев сладкой пытки, я объявил, что мне нужно

немедленно уходить, выскочил из-за стола, начал раскланиваться и вдруг вижу, что один сапог у меня ослепительно блестит, а другой порыжел и мокрый. В то же время из-под стола вылезла, облизываясь, солидная собака; морда у нее испачкана ваксой, язык грязный. Велико было мое разочарование, и хохотал я, как безумный, шагая по улице в разноцветных сапогах. Андреев сказал мне, что чай пить во фраках не ходят и что фрак требует лаковых ботинок.

* * *

В контракте с дирекцией казенного театра было сказано, что я имею право на три дебюта и что, если я не понравлюсь на этих дебютах, контракт будет сочтен недействительным. Я тотчас же заказал визитные карточки «Артист императорских театров». Мне очень льстило это звание. Я гордился им.

Первый дебют мне дали в «Фаусте». Уже тогда я мечтал сыграть Мефистофеля так, как играл его впоследствии и теперь играю, но начальство приказало мне надеть установленный им костюм, а грим, сделанный мною по-своему, с отступлением от принятого шаблона, вызвал в театре странное и насмешливое отношение ко мне. Это меня несколько смутило, расхолодило, и, кажется, я спел Мефистофеля не очень удачно.

Затем приказали мне петь Цунигу в «Кармен». Эту роль я исполнил с комическим оттенком и вызвал ею лучшее впечатление.

Главный режиссер спросил меня, не знаю ли я Руслана, и пояснил мне, что на исполнение мною этой роли будет обращено особенное внимание дирекции. Я в то время уже заразился той самонадеянностью, которая, кажется, свойственна всем молодым артистам. Я уже испытал успех в Панаевском театре, на благотворительных концертах, получал цветы от поклонниц, частенько слышал сзади себя свое имя, произносимое особенным, волнующим шёпотом. Похвалы товарищей, газетные рецензии — всё это, вместе взятое, вскружило

мне голову, и я думал о себе уже как о выдающемся артисте.

Зная, как скоро я могу учить роли, я сказал режиссеру, что в три недели я могу выучить не одного, а двух Русланов, если нужно.

— Учите,— приказал он.

Я тотчас нашел аккомпаниатора и на скорую руку, за три недели якобы выучил партию. Но вот наступил день спектакля. Дирижирует Направник. Я нарядился русским витязем, надел толщинку, наклеил русую бородку и вышел на сцену. С первой же ноты я почувствовал, что пою плохо и очень похож на тех витязей, которые во дни святок танцуют кадрили и лансье в купеческих домах. Поняв это, я растерялся и, хотя усердно размахивал руками, делал страшные гримасы, это не помогло мне. Дирижер, сидя за пюпитром, тоже делал страшное лицо и шипел на меня:

— Шш!

На другой день в газетах писали, что некто Шаляпин, молодой артист, пел Руслана весьма скверно. Упрекали дирекцию за то, что она после Мельникова поручает такую роль, как Руслан, музыкально невежественному молокососу. И еще немало горьких истин было сказано по моему адресу. Слава богу, что это позорище совершилось в самом начале моей карьеры! Это послужило мне на пользу, отрезвило меня, заставило серьезно задуматься над самим собою и делом, которому я служил. Нахальство и самонадеянность, которыми я был заражен, как рукою сняло с меня!

Мне назначили новые репетиции и дали петь Руслана еще раз. Я пел несколько лучше, но, испытывая страх вороны под дулом ружья, внутренно трепетал. У меня замирало сердце, мне не хватало дыхания.

Дебюты кончились. Меня оставили на службе и поручили много ролей. Забрав казенные клавиры, я переехал на лето в Павловск, вместе с моим однолетком Вольф-Израэлем, виолончелистом Мариинского театра, и ежедневно начал ходить к Таскину, отличному музыканту и аккомпаниатору, доброму товарищу, разучивая с ним мои партии. Жил скромно: гулял по парку,

ловил рыбу и размышлял, как надо играть ту или другую роль.

Мои товарищи и знакомые единодушно говорили мне:

— Вам надо работать! Голос у вас — не дурной, но вам не хватает работы!

Я не особенно ясно понимал, что это значит — работать. Я думал, что мне нужно как можно больше петь вокализы, экзерсисы. Я делал это. И все-таки слышал:

— Вам надо работать!

Но никто не мог толково объяснить мне, что и как я должен работать.

Начался сезон, но и тут «работать» мне не пришлось. Мне не давали петь. Я спел только Руслана и пошабашил. Потом в прекрасной старой опере Чимарозы «Тайный брак» я несколько раз играл графа Играл Цунигу и больше ничего! Это очень тревожило меня, и я утешался лишь пением в благотворительных концертах.

Но концерты требовали чуть не каждый раз свежую рубашку. Я получал 200 рублей в месяц, но так как, служа в Панаевском театре, я подписывал все бумаги, какие предлагали мне подписать, и подписал бы даже приговор, осуждавший меня на смертную казнь, то оказалось, что на меня обращено какими-то людьми взыскание всех долгов Панаевского товарищества. Поэтому, как только я поступил в казенный театр, вслед за мною в кассу его посыпались повестки, исполнительные листы и прочая строго законная бумага. С меня взыскивали и 500 рублей, и 716, и тысячу, и, наконец, даже пять тысяч. Так как я в суд не ходил, боясь судебных учреждений, то решения суда состоялись заочно и всегда не в мою пользу.

В кассе театра с меня вычитали половину жалованья, и я получал в месяц сто рублей. На эти деньги трудно было жить. Наверное я платил бы эти неведомые мною долги лет шестнадцать, если бы за меня не вступился М. Ф. Волькенштейн. Он взял у меня доверенность, выиграл два последних взыскания и освободил меня от необходимости работать на чужого дядю.

В театре дела мои шли всё хуже. Я знал, что всякий раз, когда кто-нибудь из состава театрального совета предлагал дать мне роль, большинство голосов отвергало это предложение. Разнообразные чехи прямо говорили, что если дать роль Шаляпину, так это будет «сплошной позор». До некоторой степени я заслужил такое отношение тем, что спел Руслана скверно. Однако оно казалось мне несправедливым. Если я плох, поучите меня! Но учили меня тоже плохо.

Очень может быть, что я был неуклюж на сцене. Может быть, мои жесты были несовместимы с ритмом, но я был уверен, что я знаю и чувствую русский язык лучше, глубже, чем знают его чехи. А режиссер Палечек поучал меня:

— Ви поэте — шлапа! Не «шлапа», а «шла-а-па» надо пэть! Ви понимаэтэ: «шла-а-па»!

Он говорил:

— Когда ви поспешись ис-за кулису со вашем длинном ногом...

А тут еще Дальский, читая недельный репертуар, пилил меня:

— Нужно быть таким артистом, имя которого стояло бы в репертуаре по крайней мере дважды в неделю. А если артиста в репертуаре нет, значит, он не нужен театру.

И указывал мне на Александринский театр:

— Вот, смотри: понедельник, «Гамлет», играет Дальский; среда, «Женитьба Белугина», еще раз Дальский; пятница, «Без вины виноватые», снова Дальский. А вот: «Русалка», поет Корякин, а не Шаляпин; «Рогнеда», поет Чернов, а не Шаляпин.

Эти реплики волновали меня.

— Что же делать? — спрашивал я товарища.— Не дают мне играть!

— Не дают — уйди, не служи!

Легко сказать — уйди, а куда? С горя я шел в ресторан Лейнера. Частое посещение мною этого ресторана создало в публике легенду о моем непробудном пьянстве. Чем дальше шел сезон, тем больнее и трудней становилось мне. Особенно угнетали меня репетиции.

На них меня учили все: режиссер, суфлер, хористы и даже, кажется, плотники.

В. В. Андреев особенно близко к сердцу принимал мои неудачи и старался всячески быть полезным мне, расширяя круг знакомств, поучительных для меня.

Однажды он привел меня к Тертию Филиппову, о котором я уже слышал, как о человеке значительном в мире искусства, приятеле Островского, поклоннике всего самобытного. Здесь я увидел знаменитую «сказительницу» Орину Федосову. Она вызвала у меня незабываемое впечатление. Я слышал много рассказов, старых песен и былин и до встречи с Федосовой, но только в ее изумительной передаче мне вдруг стала понятна глубокая прелесть народного творчества. Неподражаемо прекрасно «сказывала» эта маленькая, кривобокая старушка с веселым детским лицом о Змее Горыныче, Добрыне, о его «поездочках молодецкиих», о матери его, о любви. Предо мною воочию совершалось воскресение сказки, и сама Федосова была чудесна, как сказка.

А когда сели за ужин, начал рассказывать И. Ф. Горбунов, поразивший меня талантом своим не менее, чем Федосова. Впервые видел я, как человек двумя-тремя словами, соответствующей интонацией и мимикой может показать целую картину. Слушая его бытовые сценки, я с изумлением чувствовал, что этот человек магически извлекает самое существенное из жизни Бузулуков, Самар, Астраханей и всех городов, в которых я бывал и откуда вынес множество хаотических впечатлений, отложившихся на душе моей серой пылью скуки.

Я пел разные романсы и трио: «Ночевала тучка золотая» с Корякиным и еще кем-то, причем Корякин так мощно произносил слово «тихонько», что стекла в окнах звенели. Тертий Филиппов отнесся ко мне очень ласково.

В другой раз меня повели к нему слушать удивительного мальчика, виртуоза на фортепьяно. Мальчик был худенький, чахлый и какой-то незаметный. Но, когда он сел к инструменту и начал играть, я даже недоуменно оглянулся, услыхав звуки неописуемой

силы и нежности. Казалось, мне показывают некий таинственный фокус. Мальчик был — Гофман.

Чем больше видел я талантливых людей, тем более убеждался, как ничтожно всё то, что я знаю, как много нужно мне учиться. Но как учиться, чему?

Беседуя с Дальским, я не раз говорил ему, что искусство, которому я служу, непонятно мне, не удовлетворяет меня. Я жалел, что не играю в драме, потому что, мне кажется, пение не может выразить так много, как живое слово. Дальский, конечно, соглашался со мною, и тогда у меня явилась настойчивая мысль: нельзя ли соединить оперу с драмой?

В конце сезона режиссер Кондратьев заявил мне, что я буду петь Мельника в «Русалке».

— Мне кажется, что это — не моя роль,— сказал я, вспомнив, как холодно приняла публика Тифлиса мое исполнение этой роли.

Но Кондратьев обругал меня глупцом и приказал готовиться к спектаклю, назначенному утренним в прощеное воскресенье. Когда я учил роль Мельника, Дальский предложил мне прочитать ему вступительную арию. Я прочитал.

— Мне кажется,— сказал Дальский,— ты неверно понимаешь характер Мельника. Это — не вертлявый, бойкий мужичонка, а солидный, степенный мужик.

Я тотчас понял мою ошибку. В Тифлисе я играл Мельника именно вертлявым мужичонком.

В прощеное воскресенье я спел Мельника с большим успехом — первым и единственным за весь сезон. Мне много аплодировали, поднесли венок, но среди товарищей по сцене успех мой прошел незамеченным. Никто не поздравил меня, никто не сказал ласкового слова. А когда я шел за кулисы с венком в руках, режиссер, делая вид, как будто всё это не касается его, отвернулся от меня и равнодушно засвистел.

Помимо неуспехов моих, мне противно было ходить в театр из-за отношения начальства к артистам. Я был уверен, что артист — свободный, независимый человек. А здесь, когда директор являлся за кулисы, артисты вытягивались пред ним, как солдаты, и пожимали снисходительно протянутые им два директорских паль-

ца, слащаво улыбаясь. Раньше я видел такое отношение только в канцеляриях. Здесь оно казалось мне неуместным. Однажды режиссер сделал мне строгое замечание за то, что я в Новый год не съездил к директору и не расписался в «книге визитов». Но мне казалось унизительным выражать начальству почтение через швейцара, да я, кажется, и не знал, что существует такая церемония. Было и еще немало мелочей, которые очень тяготили меня. Я перестал гордиться тем, что считаюсь артистом императорских театров.

За весь сезон помню только одно приятное впечатление — знакомство с Римским-Корсаковым, когда готовили «Ночь под Рождество». С огромным интересом смотрел я на молчаливого, вдумчивого композитора, в его глаза, скрытые за двойными очками. Казалось, что к нему относятся не лучше, чем ко мне, незаметному человеку. Помню, как бесцеремонно вычеркивали целые страницы его оперы, как он морщился, протестовал, а ему с каменной настойчивостью доказывали, что, если оперу не сократить, она покажется публике скучной и длинной.

Может быть, сокращающие люди были правы, потому что часто интересное представление и прекрасная музыка действительно не нравились публике, и она говорила:

— Как это скучно! Русские композиторы всегда такую тоску наводят!

Не нравилось, если в опере нет таких арий, как, например, «На земле весь род людской»,— и говорили:

— Вот «Трубадур» — это я понимаю!..

И вообще русская музыка была не в почете, как мне казалось.

Однажды мне захотелось спеть в концерте «Трепак» Мусоргского. Эта вещь страшно нравилась мне. На репетиции у артистки, которая устраивала концерт, я встретил известного в то время музыкального критика. Он должен был аккомпанировать на концерте.

— Почему вы поете «Трепак»? — спросил он.

— Мне очень нравится.

— Но ведь это же страшная мерзость,— сказал он любезно,

— Все-таки я спою ее...

— Ваше дело, пойте,— сказал он, пожав плечами.— Дайте мне ноты, чтоб я мог хорошенько просмотреть их дома.

Ноты я ему дал, но, не надеясь, что он способен хорошо аккомпанировать произведению, к которому относится так резко и несправедливо, я просил Длусского аккомпанировать мне на концерте. Критик, говорили, очень обиделся на меня.

На концерте, когда я спел «Трепак», мне стало ясно, что и публика не любит такие вещи.

Впоследствии, приехав в Петербург с Мамонтовской оперой, я пел в концертах ряд вещей, над которыми много работал, но критик отнесся к ним и ко мне весьма недоброжелательно. Впрочем, мне думается, что критика и недоброжелательство — профессии родственные.

* * *

В конце Пушкинской улицы, за маленькой площадью, на которой стоит крошечный Пушкин, возвышается огромное здание, похожее на цейхгауз — вещевой склад. Это — Пале-Рояль, приют артистической богемы Петербурга. В мое время сей приют был очень грязен, и единственное хорошее в нем, кроме людей, были лестницы, очень отлогие. По ним легко было взбираться даже на пятый этаж, где я жил в грязненькой комнате, напоминавшей «номер» провинциальной гостиницы. В портьерах, выцветших от времени, сохранилось много пыли, прозябали блохи, мухи и другие насекомые. В темных коридорах всегда можно было встретить пьяненьких людей обоего пола. Скандалы, однако, разыгрывались не очень часто. В общем же в Пале-Рояле жилось интересно и весело. Дальский жил в одном коридоре со мною. К нему постоянно приходили актеры, поклонники, поклонницы. Он охотно ораторствовал с ними, зная всё на свете и обо всем говоря смело, свободно. Я внимательно вслушивался в его беседы.

Часто бывал у нас старик Гулевич, рассказчик, живший в числе «призреваемых» в «Убежище для

артистов». Это был человек своеобразно остроумный. Он сам создавал удивительные рассказы о том, как ведут себя римские папы после смерти, как Пий IX желал прогуляться по Млечному Пути, что делается в аду, в раю, на дне морском. На страстно́й неделе Гулевич сказал мне:

— У нас в «Убежище», конечно, тоже будут Пасху встречать, но я приду к тебе.

В субботу он явился с какими-то узелками в руках. Я обрадовался, думая, что он принес пасхальных яств и питий для разговенья,— обрадовался потому, что у меня в кармане ни гроша не было. Но оказалось, что Гулевич притащил десяток бумажных фонариков и огарки свечей.

— Вот,— сказал он,— сам делал целую неделю! Давай развесим их, а в 12 зажжем! И будет у нас иллюминация!

Когда я сказал ему, что фонарики — это хорошо, а разговеться нам нечем, старик очень огорчился. На несчастье, дома никого не было. Дальский и другие знакомые ушли разговляться — кто куда. Грустно было нам.

Вдруг Гулевич поглядел на икону в переднем углу, подставил стул, снял ее и понес в коридор, говоря:

— Когда актерам грустно, они не хотят, чтобы ты грустил вместе с ними.

В коридоре он поставил икону на подоконник лицом к стеклу.

Вдруг является человек в ливрее и говорит:

— Вы господин Шаляпин? Госпожа такая-то просит вас пожаловать к ней на разговенье!

Эта госпожа была очень милой и знатной дамой. Меня познакомил с нею Андреев, и я часто пел в ее гостиной. Я отправился, взяв пальто у коридорного,— мое пальто заложил или пропил кто-то из соседей. В столовой знатной дамы собралось множество гостей. Пили, ели, смеялись, но я помнил о старике Гулевиче, и мне было неловко, скучно. Тогда я подошел к хозяйке и тихонько сказал ей, что хочу уйти, дома у меня сидит старик, ждет меня,— так не даст ли она мне разных разностей для него.

Она отнеслась к моей просьбе очень просто, велела наложить целую корзину всякой всячины, дала мне денег, и через полчаса я был в Пале-Рояле, где Гулевич, сидя в одиночестве и меланхолически поплевывая на пальцы, разглаживал свои усы.

— Чёрт побери! — сказал он, распаковывая корзинку,— да тут не только водка, а и шампанское!

Тотчас же принес икону, повесил ее на место и объяснил:

— Праздновать вместе, а скучать — каждый по-своему!

Мы чудесно встретили Пасху, но на следующий день, проснувшись, я увидел, что Гулевич лежит на диване, корчится и стонет.

— Что с тобой?

— Чёрт знает! Не от доброй души дали тебе всё это, съеденное нами! Заболел я...

Вдруг вижу, что бутылка, в которой я держал полосканье для горла, пуста.

— Позволь,— куда же девалось полосканье?

— Это было полосканье? — спросил Гулевич, подняв брови.

— Ну да!

— Гм... Теперь я всё понимаю. Я, видишь ли, опохмелился им, полосканьем,— сознался старик, поглаживая усы.

В таких вот смешных и грустных полуфарсах проходила моя «домашняя» жизнь в Пале-Рояле, а за кулисами театра я всё более чувствовал себя чужим человеком. Товарищеских отношений с артистами у меня не было. Да я и вообще не наблюдал их на сцене казенного театра.

Что-то ушло из души моей, и душа опустела. Казалось, что, идя по прекрасной широкой дороге, я вдруг дошел до какого-то распутья и не знаю — куда идти. Что-то необходимо было для меня, а что? Я не знал.

Кончился сезон. Я получил какие-то роли для изучения к будущему сезону и раздумывал, куда бы мне поехать на лето. Как вдруг пришел знакомый баритон Соколов и предложил мне ехать на Всероссийскую

выставку в Нижний. Он восторженно рассказал мне о составе труппы, о задачах, поставленных ею, и я решил ехать.

Я еще никогда не бывал на Волге выше Казани. Нижний сразу очаровал меня своей оригинальной красотой, стенами и башнями кремля, широтою водного пространства и лугов. В душе снова воскресло счастливое и радостное настроение, как это всегда бывает со мною на Волге.

Снял я себе комнатку у какой-то старухи на Ковалихе и сейчас же отправился смотреть театр, только что отстроенный, новенький и чистый. Начались репетиции. Я познакомился с артистами, и между нами сразу же установились хорошие товарищеские отношения. В частных операх отношения артистов всегда проще, искреннее, чем в казенной.

Среди артистов был Круглов, которому я поклонялся, посещая мальчишкой казанский театр.

Вскоре я узнал, что опера принадлежит не г-же Винтер, а Савве Ивановичу Мамонтову, который стоит за нею. О Мамонтове я слышал очень много интересного еще в Тифлисе от дирижера Труффи. Я знал, что это один из крупнейших меценатов Москвы, натура глубоко артистическая. Но Мамонтова в Нижнем еще не было. У г-жи Винтер устраивались после спектаклей интересные вечера, на которых собиралась вся труппа. На этих вечерах я балагурил, рассказывал анекдоты, разные случаи из моей жизни. У меня было что рассказать. Эти рассказы приобрели для меня сердечный интерес товарищей, и я чувствовал себя прекрасно.

Однажды, придя на обед к Винтер, я увидел за столом плотного коренастого человека, с какой-то особенно памятной монгольской головою, с живыми глазами, энергичного в движениях. Это был Мамонтов. Он посмотрел на меня строго и, ничего не сказав мне, продолжал беседу с молодым человеком, украшенным бородкой Генриха IV. Это — К. А. Коровин.

Как всегда, я начал беспечно шутить, рассказывать. Все смеялись. Смеялся и Мамонтов, очень молодо и охотно. При нем, Коровине и Мельникове, сыне из-

вестного артиста, милое общество стало еще милее и живей.

Вскоре приехал из Италии балет. Как сейчас помню удивительно веселый шум и гам, который внесли с собою итальянцы в наш театр. Всё — все их жесты, интонации, движения так резко отличались от всего, что я видел, так ново было для меня! Вся эта толпа удивительно живых людей явилась в театр прямо с вокзала, с чемоданами, ящиками, сундуками. Никто из них ни слова не понимал по-русски, и все они были, как дети.

Мне показалось, что мой темперамент наилучше подходит к итальянскому. Я тоже мог неутомимо орать, хохотать, размахивать руками. Поэтому я взял на себя обязанность найти для них квартиры. Я объявил им об этом различными красноречивыми жестами. Они тотчас окружили меня и начали кричать, как будто сердясь и проклиная меня. Но это была только их манера говорить.

Пошли по городу искать комнаты. Лазили на чердаки, спускались в подвалы. Итальянцы кричали:

— Саго, саго! [1]

Хватались за головы, фыркали, смеялись и, как я понимал, были всем крайне недовольны. Я, конечно, убеждал их «мириться с необходимостью»,— на то я и русский.

Как-никак, но наконец удалось устроить их.

По мере того как я играл, Мамонтов всё чаще являлся в театр и за кулисы. Он никогда не говорил мне ни «хорошо», ни «плохо», но стал относиться ко мне заметно внимательнее, ласковей, я б сказал, нежнее. Надо сказать, что в Нижнем я имел вполне определенный и шумный успех.

Однажды, гуляя со мной по Откосу, Мамонтов стал расспрашивать меня, что я намерен делать в будущем. Я сказал, что буду служить в императорском театре, хотя мне трудно там. Он ничего не ответил мне на это и стал говорить о своих делах на выставке, о том, что кто-то не понимает его.

---

[1] Дорого, дорого! *(Итал.)*.

— Странные люди,— говорил он.

Я тоже не понимал его речей. В другой раз он предложил мне:

— Поедемте на выставку!

Я знал, что Мамонтов — строитель какой-то железной дороги, и поэтому ожидал, что им выставлены машины, вагоны. Но каково было мое удивление, когда он привел меня в большой тесовый барак, на стенах которого были как бы наклеены две огромные картины, одна против другой.

Одна картина изображала Микулу Селяниновича и Вольгу-богатыря. Написана она была в высшей степени странно: какими-то разноцветными кубиками, очень пестро и как-то бессвязно. До сей поры я видел картины, выписанные тщательно, раскрашенные, так сказать, изящно и напоминавшие гладкую музыку итальянских опер. А это какой-то хаос красок.

Однако Савве Ивановичу эта картина, очевидно, нравилась. Он смотрел на нее с явным удовольствием и всё говорил:

— Хорошо! А, чёрт возьми...

— Почему это хорошо? — спросил я.

— После поймете, батюшка! Вы еще мальчик...

Он рассказал мне сюжет другой картины. Это была «Принцесса Грёза» Ростана. И затем, по дороге в город, он горячо рассказал мне, как несправедливо отнеслось жюри художественного отдела выставки к Врубелю, написавшему эти странные картины.

— Красильщики,— говорил он о членах жюри.

Всё это очень заинтересовало меня, и в свободное время я стал посещать художественный отдел выставки и павильон Врубеля, построенный вне ограды ее. Скоро я заметил, что картины, признанные жюри, надоели мне, а исключенный Врубель нравится всё больше. Мне казалось, что разница между его картинами и теми, которые признаны, та же, что между музыкой Мусоргского и «Травиатой» или «Риголетто».

Сезон шел весело, прекрасно. В театре у нас жила какая-то радостная и неиссякаемая энергия. Я с грустью думал, что всё это скоро кончится и снова я начну посещать скучные репетиции казенного театра, участ-

вовать в спектаклях, похожих на экзамены. Было тем более грустно, что Мамонтов, Коровин и все артисты труппы Винтер стали для меня дорогими и нужными людьми.

Но вот однажды Мамонтов, гуляя со мною по улицам Нижнего, предложил мне перейти в Москву и остаться в труппе Винтер. Я обрадовался, но тотчас вспомнил, что контракт императорского театра грозит мне неустойкой в 3600 рублей.

— Я мог бы дать вам 6000 в год и контракт на три года,— предложил Мамонтов.— Подумайте!

Среди итальянских балерин была одна, которая страшно нравилась мне. Танцевала она изумительно, лучше всех балерин императорских театров, как мне казалось. Она всегда была грустной. Видимо, ей было не по себе в России. Я понимал эту грусть. Я ведь сам чувствовал себя иностранцем в Баку, Тифлисе, да и в Петербурге. На репетициях я подходил к этой барышне и говорил ей все итальянские слова, известные мне:

— Allegro, andante, religioso, moderato! [1]

Она улыбалась, и снова лицо ее окутывала тень грусти.

Как-то случилось, что она и две подруги ее ужинали со мною после спектакля в ресторане. Была чудесная лунная ночь. Мне хотелось сказать девицам, что в такую ночь грешно спать, но я не знал слова «грех» по-итальянски и начал объяснять мою мысль приблизительно так:

— Фауст, Маргарита — понимаете? Бим-бом-бом. Церковь — кьеза. Христос нон Маргарита. Христос нон Маргарита?

Посмеявшись, подумав, они сказали:

— Маргарита пекката.

— Ага, пекката,— обрадовался я.

И наконец, после долгих усилий, они сложили фразу: La notte e gessi bella, que dormire è peccato.— Ночь так хороша, что спать грешно.

---

[1] Быстро, неторопливо (спокойно), возвышенно (молитвенно), умеренно! *(Итал.)*.

Эти разговоры на русско-итальянском языке очень забавляли балерин и не менее — меня.

Вскоре Торнаги — девушка, которая так нравилась мне, заболела. Я начал ухаживать за нею, носил ей куриный бульон, вино и, наконец, уговорил ее переехать в дом, где я квартировал. Это облегчало мне заботы о ней. Она рассказывала мне о своей прекрасной родине, о солнце и цветах. Конечно, я скорее чувствовал смысл ее речей, не понимая языка.

Однажды, кажется при Мамонтове, я сказал, что если бы я знал по-итальянски, то женился бы на Торнаги, и вскоре после этого мне стало известно, что Мамонтов оставляет балерину в Москве.

И все-таки мне пришлось поехать в Петербург, снова жить в Пале-Рояле и ходить на казенные репетиции. Осень, туман и дождь. Петербург с его электрическими фонарями перестал нравиться мне.

В начале сезона мне дали роль князя Владимира в «Рогнеде» и на репетициях всё время ворчали, что эту роль замечательно играл Мельников, а вот у меня ничего не выходит. Показывали, как ходил Мельников по сцене, что он делал руками, но, очевидно, Мельников был не похож на меня, а я на него,— из моих подражаний ему действительно получалось что-то курьезное! Я чувствовал, что та индивидуальность, которую я представлял себе князем Владимиром, не может делать жестов и движений, которые навязывал мне режиссер. Роль прошла бледно, и единственно, чего я достиг, это добросовестной отделки ее музыкального содержания. По этому поводу мне пришлось пережить много неприятностей с Направником. Но впоследствии я понял, что Направник с его педантичным требованием строго ритмического исполнения ролей был прав и что мое отношение к ритму внушено мне благодаря именно работе со мною этого маститого художника.

Спустя недели три после начала сезона приехала Торнаги и стала уговаривать меня перебраться в Москву, к Мамонтову. Скрепя сердце, я не согласился. Но вскоре меня охватила такая тоска, что я сам бросился в Москву, и вечером, в день приезда, сидел с артистами в ложе г-жи Винтер. Меня встретили

радостно и родственно. В театре было скучновато. Публики собралось немного. По сцене ходил неуклюжий Мефистофель и, не выговаривая шестнадцати букв алфавита, тянул:

— Фон тфой тетский бефмятефный...

После спектакля за ужином у Тестова С. И. Мамонтов снова предложил мне петь у него. Меня мучила проклятая неустойка за два сезона. Наконец Мамонтов сказал, что дает мне 7200 рублей в год, а неустойку мы с ним делим пополам: 3600 платит он, 3600 — я.

И вот я снова у Мамонтова. Первый спектакль — «Жизнь за царя» — очень волновал меня. Вдруг я не оправдаю доверия ко мне товарищей, надежд антрепренера?

Но на другой день видный тогда театральный критик С. Кругликов писал в отчете о спектакле:

«В Солодовниковском театре появился, кажется, очень интересный артист. Его исполнение роли Сусанина было очень ново и своеобразно. Артист имел большой успех у публики, к сожалению, малочисленной».

Заметка имела влияние. На следующие представления «Жизни за царя» публики собиралось всё больше с каждым разом.

Нужно было петь Мефистофеля в «Фаусте». Я сказал Мамонтову, что роль Мефистофеля, как я играл ее до сей поры, не удовлетворяет меня. Я вижу этот образ иначе, в другом костюме и гриме, и я хотел бы отступить от театральной традиции.

— Ради бога! — воскликнул Мамонтов.— Что именно хотите вы сделать?

Я объяснил ему. Мы отправились в магазин Аванцо, пересмотрели там все наличные изображения Мефистофеля, и я остановился на гравюре Каульбаха. Заказали костюм. В день спектакля я пришел в театр рано, долго искал подходящий к костюму грим и наконец почувствовал, что нашел нечто гармонирующее.

Явившись на сцену, я как бы нашел другого себя, свободного в движениях, чувствующего свою силу и красоту. Я был тогда молод, гибок, эластичен, и фигура моя больше подходила к образу Мефистофеля,

чем подходит теперь. Играл я и сам радовался, чувствуя, как у меня всё выходит естественно и свободно. Успех я имел огромный. С. Кругликов писал на следующий день:

«Вчерашний Мефистофель в изображении Шаляпина, может быть, был не совершенным, но, во всяком случае, настолько интересным, что я впредь не пропущу ни одного спектакля с участием этого артиста».

Тон рецензии был серьезен и совершенно не похож на обычные заметки о спектакле.

С. И. Мамонтов сказал мне:

— Феденька, вы можете делать в этом театре всё, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу!

Всё это одело душу мою в одежды праздничные, и впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным победить все препятствия.

* * *

Я уже говорил о том, что опера так, как она есть, не удовлетворяла меня. Я видел, что Даргомыжский в «Русалке», явно придавая некоторым фразам драматизм, как бы стремился соединить оперу и драму в одно целое, и видел, что, наоборот, певцы и режиссеры всегда подчеркивают в опере моменты лирические в ущерб драме и тем обездушивают, обессиливают оперу.

— Что такое опера? — полупрезрительно говорил Дальский.— В опере нельзя играть Шекспира!

Я не верил в это. Почему же нельзя?

В то же время я видел, как резко отличаются оперы Римского-Корсакова от «Риголетто», «Травиаты», «Фра-Дьяволо» и даже «Фауста». Но разобраться в этом, предъявить к самому себе точные требования я не мог и чувствовал себя сидящим где-то между двух стульев.

Теперь, когда Мамонтов предоставил мне право работать свободно, я тотчас начал совершенствовать все роли моего репертуара: Сусанина, Мельника, Мефистофеля и т. д.

Мне никто не мешал, меня не били по рукам, говоря, что я делаю не те жесты. Никто не внушал мне, как делали то или это Петров и Мельников. Как будто цепи спали с души моей.

Постепенно расширялся круг моих знакомств с художниками. Однажды ко мне за кулисы пришел В. Д. Поленов и любезно нарисовал мне эскизик для костюма Мефистофеля, исправив в нем некоторые недочеты. В театре и у Мамонтова постоянно бывали Серов, Врубель, В. В. Васнецов, Якунчикова, Архипов. Наиболее нравились мне Врубель, Коровин и Серов.

Сначала эти люди казались мне такими же, как и все другие, но вскоре я заметил, что в каждом из них и во всех вместе есть что-то особенное. Говорили они кратко, отрывисто и какими-то особенными словами.

— Нравится мне у тебя,— говорил Серов К. Коровину,— свинец на горизонте и это...

Сжав два пальца, большой и указательный, он проводил ими в воздухе фигурную линию, и я, не видя картины, о которой шла речь, понимал, что речь идет о елях. Меня поражало уменье людей давать небольшим количеством слов и двумя-тремя жестами точное понятие о форме и содержании.

Серов особенно мастерски изображал жестами и коротенькими словами целые картины. С виду это был человек суровый и сухой. Я даже сначала побаивался его, но вскоре узнал, что он юморист, весельчак и крайне правдивое существо. Он умел сказать и резкость, но за нею всегда чувствовалось все-таки хорошее отношение к человеку. Однажды он рассказывал о лихачах, стоящих у Страстно́го монастыря. Я был изумлен, видя, как этот корснастый человек, сидя на стуле в комнате, верно и точно изобразил извозчика на козлах саней, как великолепно передал он слова его:

— Прокатитесь? Шесть рубликов-с!

Другой раз, показывая Коровину свои этюды — плетень и ветлы,— он указал на веер каких-то серых пятен и пожаловался:

— Не вышла, чёрт возьми, у меня эта штука! Хотелось изобразить воробьев, которые, знаешь, сразу поднялись с места... фррр!

Он сделал всеми пальцами странный жест, и я сразу понял, что на картине «эта штука» действительно не вышла у него.

Меня очень увлекала эта ловкая манера художников метко схватывать куски жизни. Серов напоминал мне И. Ф. Горбунова, который одной фразой и мимикой изображал целый хор певчих с пьяным регентом. И, глядя на них, я тоже старался и в жизни и на сцене быть выразительным, пластичным. Мой репертуар стал казаться мне заигранным, неинтересным, хотя я и продолжал работать, стараясь внести в каждую роль что-либо новое. Я знал, что у Римского-Корсакова есть опера «Псковитянка», но когда предложил поставить ее, чтоб сыграть роль Ивана Грозного, все в театре и даже сам Мамонтов встретили мое предложение скептически. Но все-таки Мамонтов не протестовал против моего выбора, оказавшегося счастливым и для театра и для меня. Я попал на ту вещь, которая открыла предо мною возможность соединения лирики и драмы.

Но когда я начал более внимательно изучать оперу, она испугала меня; мне показалось, что всё в ней очень трудно, не по моим силам. Да и на публику, вероятно, не произведет никакого впечатления: в опере у меня не было ни арии, ни дуэта, ни трио, ничего, что требуется традицией. В то время у меня не было такого великолепного учителя, как В. О. Ключевский, с помощью которого я изучал роль Бориса Годунова. Мне приходилось пользоваться указаниями художников, которые кое-что охотно объяснили и несколько ввели меня в понимание эпохи и характера грозного царя.

Но каков был мой ужас, когда я пришел режиссировать оперу и с горьким изумлением убедился, что роль Грозного не идет у меня!

Я знал, что Грозный был ханжа. Поэтому слова его «Войти аль нет?», которые он произносит на пороге хоро́м Токмакова и которыми начинается драма, я произнес тихонько, смиренно и ядовито. В том же тоне я повел роль и дальше. На сцене разлилась невообразимая скука и тоска. Это чувствовал и я и все товарищи. На второй репетиции дело пошло не лучше. Я изорвал ноты, что-то сломал, бросился в уборную

и там заплакал с отчаяния. Пришел С. И. Мамонтов, похлопал меня по плечу и посоветовал дружески:

— Бросьте нервничать, Феденька! Возьмите себя в руки, прикрикните хорошенько на товарищей да сделайте-ка немножко посильнее первую фразу!

Я сразу понял свою ошибку. Да, Грозный был ханжа, но он был Грозный. Выскочив на сцену, я переменил тон роли и почувствовал, что взял верно. Всё оживилось. Артисты, подавая реплики на мой «грозный» тон, тоже изменили отношение к ролям.

Чтоб найти лицо Грозного, я ходил в Третьяковскую галлерею смотреть картины Шварца, Репина, скульптуру Антокольского. Это не удовлетворило меня. Но кто-то сказал мне, что у инженера Чоколова есть портрет Грозного работы В. Васнецова. Кажется, этот портрет и до сих пор неизвестен широкой публике. Он произвел на меня большое впечатление. На нем лицо Грозного изображено в три четверти. Царь огненным темным глазом смотрит куда-то в сторону.

Из соединения всего, что дали мне Репин, Васнецов и Шварц, я сделал довольно удачный грим, верную, на мой взгляд, фигуру.

Опера была написана, кажется, в 74-м году, а в 97-м ставилась впервые. Естественно, что публика не знала ее, и, когда я выехал на сцену верхом, все ожидали, что я начну петь. Но занавес опустился, хотя никто ничего не пел. Несмотря на недоумение, вызванное в публике этой немой картиной, публика все-таки дружно и сердечно аплодировала, так что пришлось поднимать занавес несколько раз.

«Псковитянка» имела решительный успех и прошла в сезон раз 15, всегда при полном сборе. Мамонтов тоже отнесся к «Псковитянке» с восторгом, хотя он и был горячим поклонником итальянской оперы. У него пели знаменитейшие певцы: Мазини, Таманьо, Ван-Занд.

Кстати, многие, как я слышал, говорят:

— Да, Мазини прекрасный певец, но его нужно было слушать отвернувшись. Смотреть на него не следовало.

Это неверно, я думаю. Пел он, действительно, как архангел, посланный с небес для того, чтоб облагоро-

дить людей. Такого пения я не слыхал никогда больше. Но он умел играть столь же великолепно! Я видел его в «Фаворитке». Сначала он как будто не хотел играть. Одетый небрежно, в плохое трико и старенький странный костюм, он шалил на сцене, точно мальчик, но вдруг, в последнем акте, когда он, раненный, умирает, он начал так чудесно играть, что не только я, а даже и столь опытный драматический артист, как Дальский, был изумлен и тронут до глубины души этой игрой.

* * *

Летом 98-го года я был приглашен на дачу Т. С. Любатович в Ярославскую губернию. Там, вместе с С. В. Рахманиновым, нашим дирижером, я занялся изучением «Бориса Годунова». Тогда Рахманинов только что кончил консерваторию. Это был живой, веселый, компанейский человек. Отличный артист, великолепный музыкант и ученик Чайковского, он особенно поощрял меня заниматься Мусоргским и Римским-Корсаковым. Он познакомил меня с элементарными правилами музыки и даже немного с гармонией. Он вообще старался музыкально воспитать меня.

«Борис Годунов» до того нравился мне, что, не ограничиваясь изучением своей роли, я пел всю оперу, все партии: мужские и женские, с начала до конца. Когда я понял, как полезно такое полное знание оперы, я стал так же учить и все другие целиком; даже те, которые пел раньше.

Чем дальше вникал я в оперу Мусоргского, тем яснее становилось для меня, что в опере можно играть и Шекспира. Это зависит от автора оперы. Сильно поражен был я, когда познакомился с биографией Мусоргского. Мне даже, помню, жутко стало. Обладать столь прекрасным, таким оригинальным талантом, жить в бедности и умереть в какой-то грязной больнице от алкоголизма! Но потом я узнал, что не первый русский талант кончает этим, и воочию убедился, что — на горе наше — Мусоргский не последний кончил так.

Изучая «Годунова» с музыкальной стороны, я за-

хотел познакомиться с ним исторически. Прочитал Пушкина, Карамзина. Но этого мне показалось недостаточно. Тогда я попросил познакомить меня с В. О. Ключевским, который жил тоже на даче в пределах Ярославской губернии.

Поехал я к нему, историк встретил меня очень радушно, напоил чаем, сказал, что видел меня в «Псковитянке» и что ему понравилось, как я изображал Грозного. Когда я попросил его рассказать мне о Годунове, он предложил отправиться с ним в лес гулять. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей. Идет рядом со мною старичок, подстриженный в кружало, в очках, за которыми блестят узенькие мудрые глазки, с маленькой седой бородкой,— идет и, останавливаясь через каждые пять — десять шагов, вкрадчивым голосом, с тонкой усмешкой на лице, передает мне, точно очевидец событий, диалоги между Шуйским и Годуновым, рассказывает о приставах, как будто лично был знаком с ними, о Варлааме, Мисаиле и обаянии Самозванца. Говорил он много и так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенное впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом в изображении В. О. Ключевского. Он так артистически передавал их, что, когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось:

«Как жаль, что Василий Осипович не поет и не может сыграть со мною князя Василия!»

В рассказе историка фигура царя Бориса рисовалась такой могучей, интересной. Слушал я и душевно жалел царя, который обладал огромной силою воли и умом, желал сделать русской земле добро и создал крепостное право. Ключевский очень подчеркнул одиночество Годунова, его юркую мысль и стремление к просвещению страны. Иногда мне казалось, что воскрес Василий Шуйский и сам сознается в ошибке своей,— зря погубил Годунова!

Переночевав у Ключевского, я сердечно поблагодарил его за поучение и простился с этим удивительным человеком. Позднее я очень часто пользовался его глубоко поучительными советами и беседами.

Начался сезон репетициями «Бориса Годунова». Я сразу увидал, что мои товарищи понимают роли неправильно и что существующая оперная школа не отвечает запросам творений такого типа, какова опера Мусоргского. Несоответствие школы новому типу оперы чувствовалось и на «Псковитянке». Конечно, я и сам человек этой же школы, как и все вообще певцы наших дней. Это школа пения — и только. Она учит, как надо тянуть звук, как его расширять, сокращать, но она не учит понимать психологию изображаемого лица, не рекомендует изучать эпоху, создавшую его. Профессора этой школы употребляют темные для меня термины «опереть дыхание», «поставить голос в маску», «поставить на диафрагму», «расширить реберное дыхание». Очень может быть, что всё это необходимо делать, но все-таки суть дела не в этом. Мало научить человека петь каватину, серенаду, балладу, романс, надо бы учить людей понимать смысл произносимых ими слов, чувства, вызвавшие к жизни именно эти слова, а не другие.

На репетициях оперы, написанной словами Пушкина и Карамзина, недостатки оперной школы сказались особенно ярко. Тяжело было играть, не получая от партнера реплик в тоне, соответственном настроению сцены. Особенно огорчал меня Шуйский, хотя его пел Шкафер, один из артистов, наиболее интеллигентных и понимавших важность задачи. Но все-таки, слушая его, я невольно думал:

«Эх, если б эту роль играл Василий Осипович Ключевский!»

Декорации, бутафория, оркестр и хор — всё это было у С. И. Мамонтова довольно хорошо, но все-таки я сознавал, что на императорской сцене, при ее богатых средствах, «Бориса Годунова» можно бы поставить неизмеримо лучше.

Наступил день спектакля. После «Псковитянки» я стал, пожалуй, весьма популярным артистом в Москве. Публика посещала спектакли с моим участием более чем охотно.

«Борис» сначала был встречен холодновато и вяло. Я немножко испугался. Но сцена галлюцинации про-

извела очень сильное впечатление, и опера закончилась триумфально.

Мне было странно видеть, что «Годунов» раньше не вызывал такого впечатления, а ведь эта вещь написана шекспировски сильно и красиво. Следующие спектакли публика слушала музыку более чутко, с первого акта проникаясь красотами ее.

Я заметил, что каждая роль почти никогда не удавалась мне сразу. Сколько я ни занимался, все-таки главная работа совершалась в течение спектакля, и мое пониманис роли углублялось, расширяясь с каждым новым представлением. Только Грозный удался мне сразу, а все другие роли становились тем более значительны и выпуклы, чем чаще я играл их.

Летом 98-го года, живя у Любатович на даче, я обвенчался с балериной Торнаги в маленькой сельской церковке. После свадьбы мы устроили смешной, какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах и озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина.

Поутру, часов в шесть, у окна моей комнаты разразился адский шум — толпа друзей с С. И. Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. Это немножко напомнило мне Суконную слободу.

— Какого чёрта вы дрыхнете? — кричал Мамонтов.— В деревню приезжают не для того, чтоб спать. Вставайте, идем в лес за грибами.

И снова колотили в заслоны, свистели, орали. А дирижировал этим кавардаком С. В. Рахманинов.

* * *

В следующий сезон мы поставили «Хованщину». Досифей был неясен мне. Я снова обратился к В. О. Ключевскому, и он любезно, подробно и ярко рассказал

мне о Хованских, князе Мышецком, о стрельцах и царевне Софье.

Сначала мы боялись, что оперу не разрешат нам. В ней есть сцены, напоминающие богослужебные действия. Но разрешили.

Первый спектакль прошел с успехом, но не могу сказать, чтоб эта опера вызвала у публики такое же впечатление, как «Борис», «Псковитянка». Слушали внимательно, но без энтузиазма. А мне казалось, что Москва должна бы встретить «Хованщину» особенно сердечно.

Кажется, на третьем спектакле, когда я пел: «Сестры, храните завет господень! Во имя господа сил...» — с галерки раздался оскорбленный московский голос:

— А ты будет про бога-то, довольно! Как не стыдно!

Все струхнули, полагая, что после этого случая оперу снимут со сцены, но, к счастию, голос цензора с галерки не дошел до ушей строгой власти.

С. И. Мамонтов всё больше и больше увлекался русской музыкой. Мы поставили «Майскую ночь», «Царскую невесту» и «Садко», только что написанного Римским-Корсаковым. Мамонтов стал принимать живейшее участие в постановках, сам придумывал разные новшества, и хотя порою они казались нелепыми, но в конце концов он был всегда прав. Его артистическое чутье не обманывало его. Например, в «Садко», декорации для которого писал Врубель, изумительно изобразивший морское дно, С. И. ввел серпантин, танец, истасканный по эстрадам кафешантанов, которому, казалось бы, нет места в серьезной опере. Но балеринам сделали прекрасные костюмы, и серпантин на дне морском вышел чудесно, явившись чем-то новым и великолепно передавая волнение морское.

В первом представлении этой оперы я не участвовал почему-то, но так как артист, который пел Варяжского гостя, оказался слаб, на втором спектакле эту роль дали мне.

Помню, когда я одевался варягом по рисунку Серова, в уборную ко мне влетел сам Валентин, очень взволнованный,— все художники были горячо увле-

чены оперой «Садко» и относились к постановке ее, как к своему празднику.

— Отлично, чёрт возьми! — сказал Серов.— Только руки... руки женственны!

Я отметил мускулы рук краской, и, подчеркнутые, они стали мощными, выпуклыми... Это очень понравилось художникам, они похвалили меня:

— Хорошо! Стоишь хорошо, идешь ловко, уверенно и естественно! Молодчина!

Эти похвалы были для меня приятнее аплодисментов публики. Я страшно радовался.

Чем больше я играл Бориса Годунова, Грозного, Досифея, Варяжского гостя и Голову в «Майской ночи», тем более убеждался, что артист в опере должен не только петь, но и играть роль, как играют в драме. В опере надо петь, как говорят. Впоследствии я заметил, что артисты, желавшие подражать мне, не понимают меня. Они не пели, как говорят, а говорили, как поют.

В то время, когда мне стало ясно всё это, приспел момент играть Сальери — задача более сложная и трудная, чем все предыдущие. Диалоги и монологи опер, игранных мною, все-таки были написаны в известной степени по «старо-оперному», а Сальери целиком приходилось вести в, так сказать, мелодическом речитативе. Я страшно увлекся этой совершенно новой задачей и, зная, что всё, что может затруднить меня, мне объяснит и облегчит С. В. Рахманинов, отправился к нему. Великолепный, чудесный артист С. В.!

Все музыкальные движения были указаны автором «Моцарта и Сальери» обычными терминами: аллегро, модерато, анданте и т. д., но не всегда возможно было считаться с этими указаниями. Иногда я предлагал Рахманинову изменить то или иное движение. Он говорил мне:

— Здесь это возможно, а здесь нельзя.

И, не искажая замыслов автора, мы нашли тон исполнения, очень выпукло рисующий трагическую фигуру Сальери. Моцарта пел Шкафер, артист, всегда относившийся с любовью к своим ролям. С огромным волнением, с мыслью о том, что Сальери должен будет

показать публике возможность слияния оперы с драмой, начал я спектакль. Но, сколько я ни вкладывал души в мою роль, публика оставалась равнодушна и холодна.

Я терялся. Но снова ободрили художники. За кулисы пришел взволнованный Врубель и сказал:

— Чёрт знает как хорошо! Слушаешь целое действие, звучат великолепные слова, и нет ни перьев, ни шляп, никаких ми бемолей!

Я знал, что Врубель, как и другие — Серов, Коровин,— не говорят пустых комплиментов; они относились ко мне товарищески серьезно и не однажды очень жестоко критиковали меня. Я верил им, и я видел, что все они искренно восхищаются Сальери. Их суд был для меня высшим судом.

После представления «Моцарта и Сальери» я убедился, что оперы такого строя являются обновлением. Может быть, как утверждают многие, произведение Римского-Корсакова стоит не на одной высоте с текстом Пушкина, но все-таки я убежден, что это — новый род сценического искусства, удачно соединяющий музыку с психологической драмой.

Великим постом 98-го года опера Мамонтова переехала в Петербург, в театр консерватории, невыгодный для артистов в смысле акустическом, а также и для публики. Он представлял длинный коридор с небольшой сценой в глубине. На сцене негде было повернуться, и такие картины, как въезд Грозного или первый акт «Годунова», не очень удавались нам. Тем не менее спектакли шли с большим и всё возрастающим успехом.

Однажды, после моей сцены с Токмаковым, я, сидя в уборной, услыхал за дверью громовой, возбужденный голос:

— Да покажите же, покажите его нам, ради бога! Где он?

В двери встала могучая фигура с большой седой бородой, крупными чертами лица и глазами юноши.

— Ну, братец, удивили вы меня! — кричал он.— Здравствуйте. Я забыл вам даже здравствуйте сказать. Здравствуйте же! Давайте познакомимся! Я, видите ли, живу здесь, в Петербурге, но и в Москве

бывал, и за границей, и, знаете ли, Петрова слышал, Мельникова и вообще, а таких чудес не видал! Нет, не видал! Вот спасибо вам! Спасибо!

Говорил он громогласно, «волнуясь и спеша», а сзади его стоял другой, кто-то черный, с тонким одухотворенным лицом.

— Вот мы, знаете, пришли. Вдвоем пришли; вдвоем лучше, по-моему. Один я не могу выразить, а вдвоем... Он тоже Грозного работал. Это Антокольский! А я — Стасов Владимир...

У меня, как говорится, «от радости в зобу дыханье сперло». Я с восхищением смотрел на знаменитого великана, на Антокольского и смущенно молчал.

— Да вы еще совсем молоденький! Сколько вам лет — пятнадцать? Откуда вы? Рассказывайте!

Я что-то рассказал ему. Он растроганно поцеловал меня и, со слезами на глазах, ушел. Антокольский тоже сердечно похвалил меня. Оба они ушли, оставив меня задыхаться от счастья.

На другой день я зашел к Стасову в Публичную библиотеку и снова увидал его юношеские глаза, услышал кипучие громогласные слова.

— Ну, батюшка, здравствуйте! Очень рад! Спасибо! Я, знаете, всю ночь не спал, всё думал, как вы это ловко делаете! Ведь эту оперу играли здесь когда-то, но плохо. А какая вещь, а? Вы подумайте, каков этот Римский-Корсаков, Николай Андреевич! Ведь что может сделать такой человек, а? Только вот не все его понимают! Садитесь! Нет, не сюда, а вот в это кресло.

Он отвязал от ручек кресла шнур, не позволявший сесть в него, и объяснил:

— Здесь, знаете, сидели: Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, да-с!

Я смутился, поколебался.

— Нет, нет, садитесь! Ничего, что вы еще молоденький!

Этот человек как бы обнял меня душою своей. Редко кто в жизни наполнял меня таким счастьем и так щедро, как он.

Он расспрашивал меня о моей артистической карьере, поругивал казенные театры, называя их «Ваганьковскими», и, вдруг, спросил:

ково кладбище», хвалил за то, что я ушел, не стесняясь неустойкой.

— Чёрт с ними, с неустойками! Что такое деньги? Деньги будут! Это всегда так: сначала не бывает денег, а потом явятся. Деньги — дрянь! А Савва Мамонтов молодец! Молодчина! Ведь какие штуки разделывает, а? Праздник! А ведь раньше пустяками занимался — итальянской оперой! Римский-Корсаков — тоже молодец. Ах, как я рад! Русское искусство — это, батенька, рычаг, это знаете, ого-го! На Ваганьковом, конечно, ничего не понимают! Там министерство и прочее. Но это ничего! Все люди — люди, и будут лучше. Это их назначение — быть лучше. Ничего!

Он потрясал бородою, кипел, кричал, размахивал руками, весь — неукротимая энергия, весь — боевой задор и безграничное русское добродушие.

Он стал ежедневным посетителем нашего театра. Бывало, выйдешь на вызов, а среди публики колокольней стоит Стасов и хлопает широкими ладонями. Если же ему что-либо не нравилось, он, не стесняясь, громко ругался.

В «Новом времени» появилась «разносная» статья. В ней доказывали, что «Псковитянка» плохая опера, а Грозный в изображении Шаляпина тоже скверная штука. Читал я эту статью и с огорчением видел, что построена она очень логично, убедительно.

«Должно быть, автор — очень умный человек»,— с грустью подумалось мне.

Я чувствовал себя октябрьской мухой. Но когда я зашел к Стасову в библиотеку, он встретил меня боевым криком:

— Знаю, читал! Чепуха! Не обращайте внимания! Это не человек писал, а верблюд! Ему всё равно! Ему что угодно. Сена ему — отворачивается, апельсин ему — тоже отворачивается! Верблюд! Я ему отвечу, ничего!

На следующий день в «Новостях» была напечатана под заголовком «Куриная слепота» статья Стасова. В этой статье он яростно разбивал в пух и прах все положения нововременского критика.

Всегда, как только на пути моем встречались труд-

ности и я нуждался в добром совете, я шел к Стасову, как к отцу. Иногда даже нарочно приезжал из Москвы поговорить с ним, и не было случая, чтоб Вл<адимир> Вас<ильевич> не помог мне.

Ему очень понравился Сальери. Восторженно отзываясь об этой опере, он убеждал меня:

— Вам, знаете, необходимо сыграть еще одну замечательную вещь,— «Каменного гостя» Даргомыжского! Это — превосходное произведение! Вы должны сыграть его!

Просмотрев оперу Даргомыжского, я понял, что для Лауры и Дон-Жуана необходимы превосходные артисты. Обычное исполнение исказило бы оперу. Но, не желая огорчать В. В., я разучил всю оперу целиком и предложил ему спеть все партии единолично... Он очень обрадовался, нашел, что это «великолепно», и вскоре у Римского-Корсакова устроен был вечер, на котором, кроме хозяина и Стасова, присутствовали братья Блюменфельд, Цезарь Кюи, Врубель с супругой и еще многие.

Я спел всего «Каменного гостя», затем «Раешника», сатиру Мусоргского, «Песню о блохе», «Семинариста» и много других его вещей. Было удивительно весело!

За ужином спели квартет Бородина «Серенада четырех кавалеров одной даме»; Римский-Корсаков пел второго баса, я — первого, Блюменфельд — первого тенора, а Цезарь Кюи — второго. Это вышло неописуемо забавно!

Особенно хорош был Римский со своею седой бородой, в двойных очках. Он отнесся к этой музыкальной шутке так же серьезно, без улыбки, как относился к «Каменному гостю».

— «Ах, как люблю я вас!» — угрюмо выводил он. А веселый старенький Кюи так сладко повторял эту же фразу:

— «Ах, как люблю я вас!»

И все четверо, едва удерживая смех, мы распевали:

— «Ах, как мы любим вас!»

Больше всех восторгался и шумел, конечно, юный и седобородый богатырь Вл. Вас. Стасов. Казалось, что это вовсе не почтенная компания людей, известных

всей культурной России, а студенческий вечер. Мне казалось, что все эти прекрасные люди так же молоды, как я, и я чувствовал себя среди них удивительно легко, просто. Незабвенный вечер!

Вл. Вас. Стасов очень пожалел, что «Каменного гостя» нельзя поставить на сцене, но согласился со мною: партнеров у меня нет; роли Лауры, Жуана некому петь так, как требуют они.

— Но если найдутся артисты на эти роли, мы поставим оперу. Даете слово? — сказал он.

Я дал слово, но, к сожалению, мне не пришлось сыграть «Каменного гостя» и до сего дня. Встречаясь со мною, Стасов всегда напоминал:

— А за вами должок-с, Федор Иванович!

Но так и умер великан, не увидав «Каменного гостя» на сцене.

Удивительный человек! Помню, я немножко прихворнул во время сезона. Вдруг ко мне в четвертый этаж является Стасов. В то время ему было уже лет семьдесят. Я изумился.

— Владимир Васильевич, да как же это вы пешком на такую колокольню?

— А вот, шел домой и думаю: что же это он хворает? Дай-ка зайду, проведаю, мне по пути.

Он жил на Песках, а я на Колокольной. Это всё равно, как по пути из Киева в Москву заехать в Астрахань. Сидел он у меня долго, рассказывая о заграничных музеях, о миланском театре «La Scala», Эскуриале и Мадриде, о своих знакомых в Англии.

— Вам, батюшка, надо в Англию поехать, да! Они там не знают этих штук. Это замечательный народ — англичане! Но музыки у них нет! «Псковитянки», «Бориса» нет! Им надо показать Грозного, надо! Вы поезжайте в Англию.

— Да ведь надо языки знать!

— Пустое! Какие там языки? Играйте на своем языке, они всё поймут! Не надо языков!

Любил этот редкий человек русское искусство и глубоко верил в его мощь.

* * *

Мои успехи на сцене были замечены дирекцией императорских театров. Как раз в это время был назначен новый управляющий конторой театров, полковник Теляковский. В театральных кругах смеялись:

— Вот недурно придумано! Человек заведовал лошадьми, а теперь будет командовать актерами!

Вскоре после его назначения я познакомился с ним, и он вызвал у меня прекрасное, даже скажу — светлое чувство глубокой симпатии. Было ясно, что этот человек понимает, любит искусство и готов рыцарски служить ему. Я как-то сразу начал говорить ему о моих мечтах, о том, какой хотел бы я видеть оперу. И эти разговоры кончились тем, что он предложил мне подписать контракт с казенным театром.

Мой контракт в частной опере кончался, мне было приятно, что я снова начну служить в императорских театрах, которые дают несравненно более возможностей для широкой работы, для правильной постановки опер. К тому же Теляковский сказал:

— Вот мы все и будем постепенно делать так, как вы найдете нужным.

И я подписал контракт на три года, с окладом 9000 первый год, 10 — второй, 11 — третий и с неустойкой в 15 тысяч рублей. Но когда начался сезон в частной опере, мне стало невыразимо жалко товарищей и С. И. Мамонтова. И вот я снова решил остаться у них, но Теляковский сказал мне, что такую вещь нельзя сделать, не уплатив неустойку. Я задумался. Неустойка неустойкой, а что если меня за каприз мой вышлют из Петербурга или вообще запретят мне петь? При простоте наших отношений к человеку всё возможно!

Однако я всё же начал искать у моих состоятельных знакомых 15 тысяч рублей. Все относились ко мне очень любезно, но на грех денег у них не оказалось. Ни у кого не оказалось. Все они как-то сразу обеднели, и с болью в душе я простился с частной оперой.

* * *

Весной 97-го года я осуществил давно желанную мечту — поехал за границу. Еще в Варшаве мне бросилась в глаза резкая разница со всем тем, что я видел на Руси и что наблюдал теперь. Конечно, извозчики ругаются везде одинаково, и жандармы, городовые в Польше таковы же, как в Москве, но все-таки на всем здесь лежал отпечаток иной жизни, иных привычек и навыков. Я насторожился, ощущая какое-то приятное беспокойство. От Варшавы поезд помчался со страшной быстротой. Мне стало казаться, что сейчас он слетит с рельс, и я всё выходил на площадку, чтобы в случае катастрофы спрыгнуть с нее. Да и удобнее было с площадки смотреть на чужую, густо заселенную землю, на поля, так мало схожие с русскими полями. Здесь всё росло густо, мощно, всюду чувствовалась любовная забота человека о своей земле. Стояли среди полей каменные сараи, крытые черепицей; дымились трубы фабрик.

Промелькнула мимо меня Вена. Она показалась мне необъятной. А за нею сразу поплыли мимо меня пейзажи, которые я видел только на картинках и которые в действительности показались мне еще чудесней. Мелькали горы, воздушные мосты, сказочные замки, каменные лестницы. И всюду какое-то праздничное благоустройство.

Я не спал вплоть до Парижа, три ночи и два дня, с каждым часом чувствуя, что приближаюсь к сказке. Чарующее впечатление оставляли ночные огни фабрик и зарева, колебавшиеся в темных небесах.

Наконец, вот он — Париж! Необъятное количество народа на вокзале и около него ошеломило меня. Потолкавшись среди бойких французов, чувствуя себя вдруг заряженным каким-то весельем, я собрал свои вещи, взял извозчика и поехал по адресу, данному мне Мельниковым: улица Коперника, 40.

Было часов шесть утра. Огромные серые дома, бульвары, церкви — всё, что я видел, вдруг показалось мне приятно знакомым, как будто я уже однажды

был здесь, и я тотчас же вспомнил прочитанные в отрочестве романы Монтепена, Габорио, Террайля.

Люди в синих блузах и фартуках поливали улицы водою и мыли мостовую щетками, как матросы палубу парохода. Заставить бы их Москву помыть! Или — еще лучше — Астрахань!

В улице Коперника извозчик остановился пред маленьким домом в два этажа. На мой звонок вышел человек в белом фартуке и начал говорить со мной по-французски. Чудак! Я подробно объяснил ему ногами, руками и всяческой мимикой, что говорить со мною по-французски совершенно бесполезно и что мне нужно видеть Мельникова. Явилась милая старушка, отлично причесанная, просто и очень чисто одетая. Я заметил, что волосы на голове ее сдерживались волосяной же сеткой.

«Ловко сделано!» — подумал я.

Я спросил ее на чистом русском языке, в каком номере живет Мельников. Она поняла меня, показала дверь, и я забарабанил, упрекая товарища:

— Довольно спать! Стыдно спать в Париже!

Мне открыли дверь, и я с радости, что в Париже и могу говорить по-русски, запел. Приятели зажали мне рот, сказав, что все в пансионе спят и орать не полагается.

Умываясь, одеваясь, распивая кофе, я страшно торопился. Хотелось бежать куда-нибудь. В груди кипело буйное веселье. Приятели не пустили меня, сказав, что поведут гулять после завтрака.

Я осмотрелся. Комната была обставлена как-то особенно уютно. Всё — чисто, красиво. Камин, над ним зеркало в золотой раме, статуэтки на каминной доске. Должно быть, не дешево стоит эта чистота и простота. Но оказалось, что за комнату с завтраком, кофе, обедом, вином и чаем берут только одиннадцать франков.

— Ну, значит, кормят плохо!

Но и кормили хорошо, как я убедился за завтраком. Всё это привело меня в тихий телячий восторг.

Завтракало человек десять: пятеро русских, мои приятели, аббат, почтенный и веселый старичок, учи-

тель пения, журналист, молодой грек и, наконец, явилась удивительно красивая гречанка по имени Каллиопа. Выпил я стакан вина, другой; захотелось выпить еще, но я не решался, думая, что это неловко будет. Но мои приятели сказали, что вина можно пить сколько угодно, а хозяйка, вслушавшись в их слова, добавила, что это ей, кроме удовольствия, ничего не доставит.

«Любезно»,— подумал я.

После завтрака меня повели смотреть Эйфелеву башню. Я влез на ее верхнюю площадку и оттуда почти благоговейно, долго смотрел на огромный мировой город. Очень удивило меня, что на башне мало французов.

— Привыкли, видно, уж не интересуются этой удивительной постройкой.

Но приятели сказали мне, что башня — ерунда. В Париже множество красот, пред которыми она — ничтожество. Это снова удивило меня.

Но я понял ничтожество железной башни, когда присмотрелся к Парижу и попал в Лувр. Я кружился по этому музею, опьяненный его сокровищами, несколько часов кряду, и каждый раз, как только у меня было свободное время, снова возвращался туда. Очаровал меня Лувр, очаровал Париж, нравились парижане, особенно — аббат в нашем пансионе.

Он был очень милый, добродушный старикан, пил вино, никогда не напиваясь, мило подсмеивался вместе с другими над своим саном, и всё у него выходило очень просто, искренно, и никогда он не терял чувства собственного достоинства. Вот это чувство, это сознание своей личности, особенно бросалось мне в глаза у всех парижан, даже у извозчиков и слуг.

Прожив в Париже с месяц, я переехал в Дьепп, к одному профессору, даме, у которой учились петь мои приятели. Я тоже должен был изучать партию Олоферна в «Юдифи». Мне не нашлось комнаты в доме. Предложили поселиться на чердаке. Там было очень чисто, хотя туда складывали лишнюю и поломанную мебель. Мне поставили хорошую кровать, и вообще я устроился очень удобно. Время было летнее.

Я заметил, что всюду во Франции, даже у прислуги, хорошие постели. Почему это?

— Потому, что человек треть своей жизни проводит в постели,— просто и ясно сказала мне хозяйка.— Для того, чтоб хорошо работать, надо хорошо отдыхать.

«Умно рассуждают здесь»,— подумал я.

На берегу моря в ресторане играл отличный оркестр, на эстраде выступали веселые певицы, куплетисты. Всё это было очень хорошо, кроме игры в «железные лошадки». Соблазнили меня эти «лошадки». Я поставил на одну из них пять франков и, конечно, не замедлил проиграть все мои деньги. Савва Мамонтов выбранил меня, дал еще денег и отечески запретил мне играть в «лошадки».

Проводила меня «заграница» еще более ласково, чем встретила. У профессорши, где я жил, училась пению молодая пианистка, очень милая барышня. Когда я разучивал «Юдифь», она любезно аккомпанировала мне и, несмотря на мои настояния, не желала взять с меня никакого вознаграждения за свой труд. Ей хотелось выучиться ездить на велосипеде. Я охотно выучил ее в благодарность за добрую помощь мне; бегал с нею по площади Дьеппа, показывал разные приемы езды. По-французски я знал всего несколько фраз, и понимали мы друг друга плохо, разговаривая междометиями, жестами и смехом.

Накануне отъезда в Россию я ушел на свой чердак рано, чтобы пораньше проснуться. И вдруг на рассвете я почувствовал сквозь сон, что меня кто-то целует. Открыл глаза и увидал эту милую барышню. Не могу передать сложного чувства, которое вызвала она у меня своей великолепной лаской. Я был и удивлен, и растроган почти до слез, и страшно рад. Мы с нею никогда не говорили и не могли говорить о любви, я не «ухаживал» за нею и не замечал с ее стороны никаких романтических намерений. Я даже не мог спросить ее, зачем она сделала это. Но я, конечно, понял, как много было в ее поступке чисто человеческой и женской ласки. Я никогда больше не встречал ее и уехал из Франции под странным впечатлением, и радостным

и грустным, как будто меня поцеловала какая-то новая жизнь.

Ехал я через Берлин, но он и вообще Германия не вызвали у меня памятных впечатлений.

Чем ближе к родине, тем всё более блеклыми становились краски, серее небо, ленивее и печальнее люди. Жалко было мне дней, прожитых во Франции. Вернутся ли они для меня? Досадное, тревожное чувство зависти глодало душу: почему люди за границей живут лучше, чем у нас, веселее, праздничней? Почему они умеют относиться друг к другу более доверчиво и уважительно? Даже лакеи в ресторанах Парижа и Дьеппа казались мне благовоспитанными людьми, которые служат вам, как любезные хозяева гостю, не давая заметить в них ничего подневольного и подобострастного. На несчастье, приехав в Москву, я узнал, что мой багаж где-то застрял. Как я ни добивался узнать, где именно, никто из служащих вокзала не мог ничего объяснить мне. Все говорили одно и то же:

— Придите завтра.

Это раздражало и в то же время вызывало чувство грусти, стыда за неловкость нашу. Я не знал, что мне нужно было визировать мой паспорт у австрийского консула, и не сделал этого. Меня задержали на австрийской границе, но всё обошлось благополучно, всё было сделано быстро: у меня взяли немного денег на какую-то телеграмму, взяли паспорт и отпустили, а на другой день по приезде в Москву я получил паспорт почтой. А вот здесь, у себя дома, я хожу по станции день, два, говорю на русском языке, который всем понятен, но мои соотечественники делают недовольные гримасы и заявляют, что им некогда возиться, отыскивая какой-то мой багаж. Во Франции я был нем, но каждый человек терпеливо выслушивал мою болтовню и старался понять меня. Сердце наполнялось тоской и обидой. Когда я высказал кому-то эти несколько наивные мысли и ощущения, мне заметили:

— Мы не можем тягаться с заграницей! Давно ли мы начали жить?

Но, право же, вовсе не нужно жить шестьсот лет

для того, чтоб научиться держать город в чистоте! И почему молодое государство должно жить в грязи?

Очень волновали меня эти обидные мысли, и я стал мечтать о новой поездке за границу.

А тут еще мне сказали, что С. И. Мамонтов арестован и сидит в тюрьме. Это меня окончательно подавило. Это показалось мне нелепым, невероятным. Савва Иванович так непохож был на человека, которого следует посадить в тюрьму. Я знал его только как человека, который беззаветно любит искусство. Я слышал, что, и сидя в тюрьме, он занимается скульптурой, лепит голову Грозного, составляет рисунки и краски для своей мастерской керамики, придумывает новые способы обжигания кафеля. И так неловко, стыдно было думать, что старик, друзьями которого были Врубель, Серов, Поленов, Коровин, В. Васнецов, человек, которого всегда окружали лучшие, талантливейшие люди русской земли, сидит в тюрьме.

* * *

Мой первый выход на сцене императорских театров состоялся в «Фаусте». Публика приняла меня радушно. Мне поднесли венок и пергамент в виде щита, с надписью на нем: «Со щитом иль на щите».

Я, кажется, говорил уже, что меня и раньше убеждали служить в казенных театрах, так как они могут дать больше средств и возможностей для достижения тех целей, о которых я мечтал. И оркестр и хор императорских театров были, разумеется, неизмеримо лучше хора и оркестра частной оперы. Здесь можно было создать прекрасные декорации, костюмы и даже, может быть, новую школу оперных артистов. Когда я говорил об этом с В. А. Теляковским, он соглашался со мною и обещал, что с будущего сезона мы начнем делать то или другое. Первый сезон, конечно, придется обойтись тем, что есть. Поэтому «Бориса Годунова» ставили в старых декорациях. Но все-таки мне дали право заказывать костюмы по моему вкусу и выбору. Однако артистами продолжали распоряжаться люди в вицмундирах, люди, не имеющие никакого отноше-

ния к запросам искусства и явно неспособные понимать его культурную силу, его облагораживающее влияние.

В частной опере я привык чувствовать себя свободным человеком, духовным хозяином дела. Мне и здесь захотелось поставить известную границу между вицмундирами из конторы и артистами. Поэтому, заметив однажды чиновника, который командовал на сцене, покрикивая на артистов, как на солдат или сторожей, я в форме довольно убедительной попросил его удалиться со сцены куда ему угодно и не мешать артистам. Чиновник, очень удивленный и несколько оробевший, ушел, а я сказал товарищам, что все мы, конечно, должны уважать чиновников, как людей, необходимых для беспорядка, но на сцене им не место, на сцене они должны играть роли ничтожные и незаметные. Когда они понадобятся нам, мы сами придем к ним в контору. А в театре, на сцене мы хозяева. Артистам это понравилось. Некоторые усмотрели нечто героическое в моем поведении и даже выразили мне свою признательность за попытку освободить их от ига чернильных и бумажных людей. Актерская семья как будто стала жить дружнее. Чиновники являлись на сцену только в случаях действительной необходимости. В. А. Теляковский говорил:

— Не артисты для нас, а мы для артистов.

Но в скором времени всё это стало на старые рельсы. Реформы, каковы бы они ни были, не имеют на Руси прочного успеха. Сами же товарищи начали говорить чиновникам, что, конечно, Шаляпин, с одной стороны, прав, но с другой — нельзя же так резко и сразу.

— И вообще он, знаете, нетактичен! Конечно, мы промолчали тогда, но вы понимаете...

Чиновники понимали, что люди снова хотят таскать им гусей с заднего крыльца, и в скором времени обо мне начало слагаться мнение, как о человеке заносчивом, зазнающемся, капризном, деспоте и грубом мужике. Не стану скрывать правды: я действительно грубоват с тем, кто груб со мною. «Как аукнется, так и откликнется». И ведь не всякий может охотно подставлять спину, когда по ней бьют палкой.

Слухи о невыносимом характере моем проникли и за пределы театра, в публику, которую — хлебом не корми, дай только ей осудить кого-нибудь!

Разрасталась и легенда о моем пьянстве. Говорилось, что дома я бью людей самоваром, сундуками и разной тяжелой мебелью. Однажды я пел серенаду Мефистофеля не стоя, как всегда, а сидя на ступеньках крыльца Маргариты. После этого стали говорить, что Шаляпин пел спектакль вдребезги пьяный, до того пьяный, что не мог стоять на ногах и пел лежа.

Всё это, конечно, мелочи. Но комар — тоже мелочь. Однако если вам начнут надоедать шестьсот комаров, жизнь и вам не покажется веселым праздником.

Привыкший с малых лет проводить свободное время в трактирах и ресторанах, я, естественно, находил в этом удовольствие и теперь. Не потому, что любил пьянство и пьянствовал, а потому, что трактир с детства был для меня местом, где люди всегда интереснее, веселей и свободнее, чем дома. Это уж не мною устроено.

Бывало, в детстве, когда я был певчим, забежишь между ранней и поздней обедней в трактир, а там играет музыкальная машина. Меня страшно забавляли палочки, которыми невидимая сила колотит по коже барабана. А особенно нравилось мне, как чудесно шипит машина, когда ее заводят. Кроме того, в трактире сидят эдакие степенные люди и важно рассуждают: почем вчера продавали швырок, произносят необыкновенные слова — «мездра», «сувойка», «бутак». Эдаких слов дома не услышишь! Скорняки, лесопромышленники, разная мастеровщина — всё это очень интересный, своеобразный народ. В конце концов, вовсе не моя вина, что я воспитывался в трактире, а не в лицее.

Я любил видеть эдаких благовоспитанных господ, которые, отведав всяческих напитков и, несколько озадаченные силой их, спрашивают слугу:

— Послушай, есть у вас Кло де Вужо?

А находчивый ярославец бойко и любезно отвечает:

— Помилуйте, как же-с! По коридору, вторая дверь налево!

Смешно сидеть в ресторане после спектакля, сыграв Мефистофеля или жреца в «Лакме». Какой-нибудь наив-

ный и добродушный человек, видя меня в обыкновенном костюме, с человечьим лицом, восхищается:

— Господи, какой он молодой! Поверить нельзя! Господин молодой человек Шаляпин, какой вы молодой, ей-богу!

Забавно слышать, как люди рассуждают — торчит у меня кадык и достаточно ли торчит? Ибо, по мнению многих, сила голоса зависит от того, насколько выдается кадык.

Вообще в трактире всегда есть чему посмеяться, есть чего послушать.

Но наступило время, когда посещение трактиров стало сопрягаться для меня с некоторыми неприятностями. Сидишь один за бутылкой вина, обдумывая что-либо, вдруг к тебе подходит господин с мокренькими усами и спрашивает, неуверенно стоя на ногах:

— Ш-шаляпин? Когда так, я тебя страшно люблю и желаю поцеловать.

Не зная, почему усы у него мокренькие,— от вина или от других причин, отказываешься целоваться с ним, хотя бы под тем предлогом, что он не женщина. Тогда благорасположенный человек становится человеком обиженным и рассказывает друзьям своим:

— Шаляпин — распутник! Сейчас он сам сказал мне, что любит целоваться с женщинами!

И начинает расти легенда о распутстве Шаляпина. У нас любят рассказать о человеке что-нибудь похуже. Даже пословицу выдумали: «Добрая слава лежит, а худая бежит». Я вовсе не хочу сказать о себе, что я безукоризненный человек. Весьма вероятно, что, как все, я делаю дурного гораздо больше, чем хорошего. Но иногда так хочется почувствовать всех людей друзьями, так бы обнял всех и обласкал от всей души, а вокруг тебя все ощетинились, смотрят подозрительно, враждебно и как бы ожидают: «А ну, чем ты нас обидишь? Чем огорчишь?»

При таком отношении иногда, действительно, чувствуешь необоримую потребность огорчить и обидеть.

Я знал, что «публика» любит меня. Любовь ее была очевидна. Но,— может быть, это большой грех мой,— чем больше любили меня, тем более становилось мне

как-то неловко и страшно. Эта любовь становилась похожа на ту, которой богата Суконная слобода и которую я наблюдал до пресыщения, до тоски.

Сначала влюбленный пишет возлюбленной ласковые письма, назначая ей свидания; потом они вместе, нежно вздыхая, смотрят на луну, а посторонние восхищаются:

— Глядите, какие счастливые!

Потом возлюбленная осмеливается поступить против желания или выгоды влюбленного, и тогда он говорит ей:

— Отдай, дура, назад мои нежные письма!

И после этого начинает рассказывать о возлюбленной разные пакости.

Романы «публики» с личностью у нас на Руси тоже частенько принимают суконно-слободской характер. В отношениях мужчины с женщиной все-таки возможно взаимное возвышение друг друга. Хороший мужчина нередко возвышает до себя плохую женщину; хорошая женщина часто способна перевоспитать плохого мужчину. Но «публика»,— извиняюсь пред нею, хотя за правду и не нужно извиняться,— публика не в состоянии воспитать личность артиста, художника. Артист талантливее ее. И выходит как-то так, что публика невольно стремится принизить личность до себя. Чтобы не «высовывалась».

Все эти соображения, хотя и не новые, являются, однако, плодом моих личных «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Повторяю, я чувствовал, что публика любит меня, и я радовался этому, но и боялся любви. Я думал: хорошо, что я работаю и моя работа, очевидно, радует людей. Правда, работаю я не так, как хотелось бы мне. Есть целый ряд необоримых условий, которые мешают мне делать работу мою лучше, ярче. Эта сторона интимной жизни артиста, эти условия его профессии, осложненные чисто русскими особенностями быта, публике неведомы. Жаль. Знай она это, может быть, она менее любила бы меня, но не так уж строго осуждала за мои недостатки. Есть суд друзей и суд врагов. Суд публики — не суд дружеский.

* * *

Я уже начал сравнительно недурно говорить по-итальянски и мечтал о поездке за границу, о дебютах в Париже, Лондоне, но — не считал это осуществимым. Уже несколько раз я ездил во Францию, но всегда чувствовал себя там маленьким и ничтожным самоедом. Смущало меня и поведение соотечественников. Некоторые из них публично показывали такие фокусы, что становилось несколько стыдновато за них.

Однажды на каком-то бульваре российский человек, одетый под Лентовского в поддевку и сапоги, влез на стул у ресторана, вынул из кармана бутылку коньяка и закричал, размахивая ею. Сбежались люди. В Париже толпа собирается на всякий скандал изумительно быстро. Господин в поддевке воткнул горлышко бутылки в свой волосатый рот и единым духом высосал всё ее содержимое, очевидно, желая демонстрировать мощь и силу своего желудка. Французы охали, находя, что это поистине удивительно! Но мне стало не по себе. Я думал, что Русь не только этим должна быть интересна для Европы. А такие и подобные фокусы показывались русскими довольно часто.

В 99-м году я поехал на Всемирную выставку в Париж особенно охотно и с какими-то смутными надеждами. Я знал, что там будет В. В. Андреев со своим оркестром балалаечников и еще много русских людей, которые могут показать Русь не только со стороны ее любви к потреблению спиртных напитков. Ведь, в конце-то концов, Европу и не удивишь этим. Там тоже умеют выпить!

Андреев, как и в Петербурге, старался провести меня в различные парижские кружки любителей пения и музыки. Я выступал на разных five o'clock'ах, хотя и не был салонным певцом. Вещи Мусоргского, Шуберта, Шумана, Глинки созданы не для салонов. Но все-таки эти вещи имели вполне определенный успех. Был приглашен я и в редакцию «Фигаро» на вечер, устроенный ею. Особенно сильный восторг французов на этом вечере вызвали «Два гренадера».

Жил я, как всегда, в улице Коперника, у милой старушки Шальмель. Желание научиться говорить по-французски побеждало мою застенчивость, и я храбро искажал язык любезных французов. Это частенько ставило меня в ужасные положения.

У Шальмель жила девушка-американка. Она сама говорила по-французски так, как будто во рту у нее всегда лежала горячая картофелина. К несчастью, она тоже была застенчива и, к еще большему несчастию ее, ей приходилось беседовать со мною. И вот однажды, желая сказать ей:

«Какая вы невинная, застенчивая», я сказал: «Какая вы беременная».

Она вздрогнула, посинела и, выговорив что-то франко-американское, быстро ушла от меня. Я видел, что она как будто обиделась, но, не чувствуя вины пред нею, отнесся к этому спокойно.

Но вскоре Мельников строго спросил меня:

— Послушай, что ты наговорил американке?

— Да ничего особенного!

— Но все-таки?

Я повторил сказанное мною барышне, он дико расхохотался и объяснил мне мою ошибку. Меня даже в пот ударило. Трудный язык, чёрт побери! Но все-таки я одолел его наконец... Эта поездка в Париж и пение на вечерах повлекли за собою результат, неожиданный мною и крайне важный для меня: весною следующего года я получил телеграмму от миланского театра «La Scala», мне предлагали петь «Мефистофеля» Бойто и спрашивали мои условия. Сначала я подумал, что это чья-то недобрая шутка, но жена убедила меня отнестись к телеграмме серьезно. Все-таки я послал телеграмму в Милан с просьбою повторить текст, не верилось мне в серьезность предложения. Получил другую телеграмму и, поняв, что это не шутка, растерялся, стало страшно. Я не пел по-итальянски, не знал оперу Бойто и не решался ответить Милану утвердительно. Двое суток провел в волнении, не спал и не ел, наконец додумался до чего-то, посмотрел клавир оперы Бойто и нашел, что его Мефистофель по голосу мне. Но и это не внушило мне уверенности, и я послал

телеграмму в Милан, назначая 15 000 франков за десять спектаклей, в тайной надежде, что дирекция театра не согласится на это. Но — она согласилась!

Чувство радости чередовалось у меня с чувством страха. Не дожидаясь партитуры, я немедленно принялся разучивать оперу и решил ехать на лето в Италию. Рахманинов был первым, с кем я поделился моей радостью, страхом и намерениями. Он выразил желание ехать вместе со мною, сказав:

— Отлично. Я буду заниматься там музыкой, а в свободное время помогу тебе разучивать оперу.

Он так же, как и я, глубоко понимал серьезность предстоящего выступления, обоим нам казалось очень важным то, что русский певец приглашен в Италию, страну знаменитых певцов.

Мы поехали в Варадзе, местечко недалеко от Генуи, по дороге в Сан-Ремо, и зажили там очень скромно, рано вставая, рано ложась спать, бросив курить табак. Работа была для меня наслаждением, и я очень быстро усваивал язык, чему весьма способствовали радушные, простые и предупредительные итальянцы.

Чудесная, милая страна очаровала меня своей великолепной природой и веселостью ее жителей. В маленьком погребке, куда я ходил пить вино, его хозяин, узнав, что я буду петь Мефистофеля в Милане, относился ко мне так, как будто я был самым лучшим другом его. Он всё ободрял меня, рассказывая о Милане и его знаменитом театре, с гордостью говорил, что каждый раз, когда он бывает в городе, то обязательно идет в «La Scala». Слушал я его и думал:

«Ах, если б и в Милане трактирщики так же любили музыку, как этот!»

Осенний сезон в императорском театре я провел очень нервно, думая только о Мефистофеле и Милане. Оперу Бойто я выучил за лето целиком, зная, по обыкновению, не только свою партию, но и все другие.

Я давно мечтал о том, чтоб сыграть Мефистофеля голым. У этого отвлеченного образа должна быть какая-то особенная пластика. Чёрт в костюме — не настоящий чёрт. Хотелось каких-то особенных линий.

Но как выйти на сцену голым, чтоб это не шокировало публику?

Я рассказал о моей затее приятелям художникам. Они очень одобрили ее. А. Я. Головин сделал мне несколько рисунков, хотя голого Мефистофеля он не дал мне. Кое-чем воспользовавшись у Головина, я решил играть хоть пролог оголенным от плеч до пояса. Но этого было мало в сравнении с тем, что рисовалось мне. Да и центром роли был не пролог, а шабаш на Брокене. Я стал в тупик. Мне рисовалась какая-то железная фигура, что-то металлическое, могучее. Но строй спектакля, ряд отдельных сцен, быстро сменявших одна другую и отделенных короткими антрактами, стеснял меня. Пришлось уступить необходимости, примирившись с таким образом Мефистофеля на Брокене, как его изображают все. Я внес только некоторые изменения в костюм. Это, конечно, не удовлетворило меня.

Сделав костюмы, я отправился в Милан. На этот раз я как будто не видел Италии, поглощенный всецело мыслями о театре. Директор «La Scala», инженер по образованию, принял меня очень радушно, сообщил, что репетиции у них уже начались и что меня просят завтра же явиться на сцену.

Взволнованный, не спавший несколько ночей, я на другой день пошел в театр — он показался мне величественным и огромным. Я буквально ахнул от изумления, увидав, как глубока сцена. Кто-то хлопнул ладонями, показывая мне резонанс. Звук поплыл широкой густою волной, так легко, гармонично.

Дирижер Тосканини, молодой человек, говоривший тусклым хриплым голосом, сказал мне, что здесь раньше была церковь во имя «Мадонны делла Скала», потом церковь переделали в театр. Я очень удивился. В России превращение одного храма в другой было бы невозможно.

Разглядывая всё, что показывали мне, я ощущал невольный трепет страха. Как буду я петь в этом колоссальном театре, на чужом языке, с чужими людьми? Все артисты,— в их числе Карузо, тогда еще только начинавший петь молодой человек,— начали репетицию вполголоса. Я тоже стал петь как все, вполголоса,

будучи утомлен и находя, что неловко как-то петь полным голосом, когда никто не поет так. Молодой дирижер показался мне человеком очень свирепым. Он был очень скуп на слова, не улыбался как все, поправлял певцов довольно сурово и очень кратко. Чувствовалось, что этот человек знает свое дело и не терпит возражений.

Посредине репетиции он вдруг обратился ко мне, хрипло говоря:

— Послушайте, синьор! Вы так и намерены петь оперу, как поете ее теперь?

Я смутился.

— Нет, конечно.

— Но, видите ли, дорогой синьор, я не имел чести быть в России и слышать вас там, я не знаю ваш голос. Так вы будьте любезны петь так, как на спектакле!

Я понял, что он прав, и начал петь полным голосом. Тосканини часто останавливал других певцов, делая им различные замечания, давая советы, но мне не сказал ни звука. Я не знал, как это понять, и ушел домой встревоженный.

На следующий день — снова репетиция в фойе, прекрасной компате, стены которой были украшены старинными портретами и картинами. От всего вокруг веяло чем-то, что внушало уважение. Каких только артистов не было в этой комнате!

Начали репетицию с пролога. Я вступил полным голосом, а когда кончил, Тосканини на минуту остановился и, с руками, еще лежавшими на клавишах, наклонив голову немного вбок, произнес своим охрипшим голосом:

— Браво.

Это прозвучало неожиданно и точно выстрел. Сначала я даже не понял, что это относится ко мне, но так как пел один я, приходилось принять одобрение на свой счет. Очень обрадованный, я продолжал петь с большим подъемом, но Тосканини не сказал мне ни слова более.

Кончилась репетиция. Меня позвали к директору. Он встретил меня очень ласково и заявил:

— Рад сказать вам: вы очень понравились дирижеру. Мы скоро перейдем к репетициям на сцене, с хором и оркестром, но предварительно вам надо померить костюмы.

— Костюмы я привез с собою!

Он как будто удивился.

— Ага, так! А вы видели когда-нибудь эту оперу?

— Нет, не видал.

— Какие же у вас костюмы? У нас, видите ли, существует известная традиция. Мне хотелось бы заранее видеть, как вы будете одеты.

— В прологе я думаю изобразить Мефистофеля полуголым...

— Как?

Я видел, что директор страшно испугался. Мне показалось, что он думает:

«Вот варвар, чёрт его возьми! Он сделает нам скандал!»

— Но, послушайте,— убедительно заговорил он,— ведь это едва ли возможно!

Я начал объяснять ему, как думаю изобразить Мефистофеля. Он слушал и, покручивая усы, недоверчиво мычал:

— Мм... Ага...

На следующих репетициях я заметил, что являюсь предметом беспокойного внимания и дирекции и труппы. А секретарь директора, добрый малый, с которым я быстро и дружески сошелся, прямо заявил мне, что я напугал всех моим намерением играть Мефистофеля голым.

Изображать Мефистофеля в пиджаке и брюках мне было трудно. Тосканини, заведовавший и сценой, подходил ко мне и говорил, что он просил бы меня встать так-то, сесть вот так, пройти вот эдак, и то завинчивал одну свою ногу вокруг другой штопором, то по-наполеоновски складывал руки на груди и вообще показывал мне все приемы тамбовских трагиков, знакомые мне по сценам русской провинции. Когда я спрашивал его: почему он находит эту или иную позу необходимой,— он уверенно отвечал:— Perchè questo è una

vera posa diabolika!— Потому что это настоящая дьявольская поза!

— Маэстро,— сказал я ему,— я запомнил все ваши указания. Вы не беспокойтесь. Но позвольте мне на генеральной репетиции играть по-своему, как мне рисуется эта роль!

Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Хорошо! Va bene!

На репетиции в костюмах и гриме я увидал, что итальянцы относятся к гриму в высокой степени пренебрежительно. В театре не было парикмахера. Парики и бороды сделаны примитивно. Всё это надевается и наклеивается кое-как. Когда я вышел на сцену одетый в свой костюм и загримированный, это вызвало настоящую сенсацию, очень лестную для меня. Артисты, хористы, даже рабочие окружили меня. Охая и восторгаясь, точно дети, дотрагивались пальцами, щупали, а увидав, что мускулы у меня подрисованы, окончательно пришли в восторг.

Итальянцы — это народ, который не умеет и не хочет скрывать порывы своей впечатлительной души.

Конечно, я был рад их радости и очень тронут.

Кончив пролог, я подошел к Тосканини и спросил его, согласен ли он с тем, как я играю. Он впервые открыто и по-детски мило улыбнулся, хлопнул меня по плечу и прохрипел:

— Non parliamo più! — Не будем говорить больше об этом!

Приближался день спектакля, а тем временем в Милане шла обычная работа театральных паразитов. Нигде в мире нет такого обилия людей, занимающихся всякого рода спекуляциями около театра, и нигде нет такой назойливой и нахальной клаки, как в Италии. Все артисты, еще неизвестные публике, обязаны платить клаке дань, сумма которой зависит от оклада артиста. Разумеется, я не был знаком с этим институтом и даже никогда не слыхал о том, что он существует. Вдруг мне говорят, что приходили какие-то люди, которые берутся... «сделать мне успех» и поэтому просят дать им несколько десятков билетов, а потом заплатить

им 4000 франков за то, что они будут аплодировать мне на первом представлении.

Я велел гнать их в шею. Но все-таки это подлое предложение обеспокоило меня: неприятно было чувствовать каплю грязного яда в кубке того священного меда, который я носил в сердце моем.

Эти люди пришли на следующий день за ответом и сказали:

— Мы берем только 4000 франков с синьора Шаляпина потому, что он нам симпатичен. Мы видели его на улице и находим, что у него славное лицо. С другого мы взяли бы дороже...

Когда их попросили убираться ко всем чертям, они ушли, заявив, что синьор Шаляпин пожалеет о них.

Возмущенный и взбешенный, я отправился к директору театра и сказал ему:

— Я приехал к вам сюда с таким чувством, с каким верующий идет причащаться. Эти люди действуют на меня угнетающе. Я и без их помощи ночей не сплю, боясь провалиться. Уж лучше я вернусь в Россию. У нас там таких штук не делают!

Директор принял всё это очень близко к сердцу, успокоил меня и обещал охранить от нахальных притязаний клаки. Но, к сожалению, прием, который он избрал для моей защиты, оказался весьма неудачен и смутил меня. На другой день, когда я еще спал, ко мне явились какие-то люди в штатских костюмах, присланные комиссаром полиции, и заявили моей теще, что они переодетая полиция, которой поручено арестовать клакеров, как только сии последние явятся ко мне. Теща и другие родственники мои предупредили меня, что будет гораздо лучше, если я предложу полицейским уйти к чёрту. В Италии не любят прибегать к защите полиции. Я оделся, вышел к полицейским и стал уговаривать их — уйти! Я сказал им, что могу посидеть, побеседовать с ними, выпить вина, но что мне будет крайне неприятно, если в моей квартире кого-то арестуют. Этого я не могу допустить. Полицейские, видимо, поняли мое положение и очень любезно объяснили мне:

— Вы, синьор Шаляпин, правы, но вы не можете отменить распоряжение нашего комиссара. Мы должны

выполнить его поручение, хотя и понимаем, что для вас это неприятно!

Я снова бросился к директору, убеждая его убрать полицию. Он телефонировал комиссару, и этих милых людей убрали. Я успокоился. Но этот случай стал известен в театральном мире и в городе.

В день спектакля я шел в театр с таким ощущением, как будто из меня что-то вынули и я отправляюсь на страшный суд, где меня неизбежно осудят. Вообще — ничего хорошего не выйдет из этого спектакля, и я, наверное, торжественно провалюсь!

В театр я пришел рано, раньше всех. Меня встретили два портье, люди, которые почему-то очень полюбили меня, постоянно во время репетиции торчали за сценой и ухаживали за мною, точно няньки. Ко мне все в театре относились очень хорошо, дружески, но эти двое изумляли меня своими заботами. Один из них был старик с сильной проседью в волосах, но черными усами. Другой — тоже человек почтенного возраста, толстенький и пузатый. Оба веселые, как дети, оба любили выпить вина, и оба были очень забавны. Они знали всех артистов, которые пели в «La Scala» за последние два десятка лет, критиковали их манеру петь, изображали приемы и позы каждого, сами пели, плясали, хохотали и казались мне смешными, добрыми гениями театра.

— Не волнуйтесь, синьор Шаляпино,— говорили они, встретив меня.— Будет большой успех, мы это знаем! О да, будет успех! Мы служим здесь два десятка лет, видали разных артистов, слышали знаменитые спектакли. Уж если мы вам говорим: успех будет,— это верно! мы знаем!

Очень ободрили меня эти славные люди.

Начался спектакль. Я дрожал так же, как на первом дебюте в Уфе, в «Гальке», так же не чувствовал под собою сцены, и ноги у меня были ватные. Сквозь туман видел огромный зал, туго набитый публикой.

Меня вывезли на каких-то колесиках в облака. Я встал в дыре, затянутой марлей, и запел:

— Хвала, господь!

Пел, ничего не чувствуя, просто пел наизусть то, что знал, давая столько голоса, сколько мог. У меня

билось сердце, не хватало дыхания, меркло в глазах, и всё вокруг меня шаталось, плыло.

Когда я кончил последние слова, после которых должен был вступить хор, вдруг что-то громко и странно треснуло. Мне показалось, что сломались колесики, на которых я ехал, или падает декорация. Я инстинктивно нагнулся, но тотчас понял, что этот грозный глуховатый шум течет из зала.

Там происходило нечто невообразимое. Тот, кто бывал в итальянских театрах, тот может себе представить, что такое аплодисменты или протесты итальянцев. Зал безумствовал, прервав «Пролог» посредине, а я чувствовал, что весь размяк, распадаюсь, не могу стоять. Чашки моих колен стукались одна о другую, грудь заливала волна страха и восторга. Около меня очутился директор во фраке. Бледный, подпрыгивая, размахивая фалдами, он кричал:

— Идите, что же вы? Идите! Благодарите! Кланяйтесь! Идите!

Тут же оказался и толстенький портье. Приплясывая, он орал:

— Ага, видите? Что я вам говорил? Уж я знаю! Нет, уж это кончено! Браво!

Он аплодировал и орал так же, как публика, а потом, пританцовывая, пошел на свое место.

Помню, стоя у рампы, я видел огромный зал, белые пятна лиц, плечи женщин, блеск драгоценностей и трепетания тысяч рук,— точно птичьи крылья бились в зале. Никогда еще я не наблюдал такого энтузиазма публики.

Дальше петь было легче, но после напряжения в «Прологе» я чувствовал себя обессиленным. Нервы упали. Но все-таки весь спектакль прошел с большим успехом. Я все-таки ждал каких-то выходок со стороны клакеров, обиженных мною. Однако ничего не было, ни одного свистка, ни шипения. После я узнал, что и клакеры в Италии любят искусство, как вся остальная публика. Оказалось, я и клакерам понравился.

Отношение директора, и артистов, и даже рабочих ко мне было чудесно. Они так радостно, так дружески поздравляли меня, что я был тронут до глубины души.

* * *

В Италии весь состав служащих театра, от директора до последнего плотника, всегда горячо и по-итальянски живо интересуется всем, что происходит на сцене. Рабочие во время спектакля собираются за кулисами, внимательно слушают и в антрактах обсуждают, кто как пел, играл, часто поражая меткостью своих суждений, детальным знанием оперы. Казалось бы, что спектакли, идущие изо дня в день, должны надоесть им, что скучно слушать несколько раз кряду одну и ту же оперу. Но каждый день за кулисами я слышал голоса рабочих:

— Сегодня такой-то пел еще лучше, чем вчера!

— О да! Молодчина!

— Но ария в четвертом акте прошла слабее!

— Слабее? Нет!

И начинается оживленный спор.

Если же артист не в голосе или что-нибудь не удавалось, они молча разводили руками, ничего не говоря; но по выражению лиц было ясно, что все испытывают чувство досады за неудачу.

Позже мне приходилось петь в Англии, Франции, Германии, Америке, в Монте-Карло, и всюду я замечал, что если в театре итальянские рабочие, они всегда больше и глубже других реагируют на всё, что дает сцена.

В свободные вечера я ходил в «La Scala» слушать оперы, в которых не был занят. Дирекция любезно дала мне место в партере, и я смог наблюдать итальянскую публику уже не со сцены, а, так сказать, находясь в недрах ее. Как сейчас, помню представление оперы «Любовный напиток», в которой замечательно пел Карузо, тогда еще молодой человек, полный сил, весельчак и прекрасный товарищ. Натура по-русски широкая, он был исключительно добр, отзывчив и всегда охотно, щедро помогал товарищам в трудных случаях жизни.

Так вот, пел Карузо, уже любимец миланской публики, арию в «Любовном напитке», пел изумительно. Публика бисирует. Карузо каким-то чудом поет еще лучше. В бешеном восторге публика снова единодушно просит:

— Бис! Карузо, дорогой, бис!

Рядом со мной сидел какой-то человек в пенсне, с маленькой седой бородкой. Он всё время очень волновался, но не кричал, а лишь про себя вполголоса говорил:

— Браво!

По внешнему виду это был мелкий торговец, хозяин или старший приказчик галантерейного магазина, человек, умеющий ловко продать галстух. Когда Карузо спел арию первый раз, этот человек тоже кричал «бис», но после второго он уже только аплодировал. Но когда публика начала требовать третий раз, он вскочил и заорал хриплым голосом:

— Что же вы, чёрт вас побери, кричите, чтобы он пел третий раз?! Вы думаете,— это пушка ходит по сцене, пушка, которая может стрелять без конца? Довольно!

Я был изумлен таким отношением к артисту. Я видел, чувствовал, что этот человек готов с наслаждением слушать Карузо и три и десять раз, но он понимал, что артисту нелегко трижды петь одну и ту же арию. С таким бережным отношением к артисту я встречался впервые.

И вообще итальянцы относились к опере, к певцам крайне серьезно. Они слушали спектакль с увертюры очень внимательно и чутко. Часто бывало, что в наиболее удачных местах публика единодушно, полушёпотом возглашала:

— Браво!

И эта сдержанная похвала являлась для артистов более ценной, чем взрыв аплодисментов.

В антрактах, в фойе, устраивались целые диспуты. Люди, собираясь группами, теребили друг друга за пуговицы, споря о достоинствах исполнения артистом той или иной роли, и меня поражало их знание истории оперы, истории миланского театра.

Со мною раскланивались какие-то неведомые мне люди. Я смущенно приподнимал шляпу, думая, что они ошибаются, принимая меня за своего знакомого. Но секретарь директора сказал мне, что это абоненты театра выражают свое почтение артисту, который нравится им. И это меня тронуло, ибо резко отличалось от тех форм, в каких выражаются симпатии на моей родине. Там че-

ловек становится у тебя под носом, аплодирует прямо в ухо и кричит:

— Браво, Шаляпин!

За всем этим чувствуется, что тебе оказывают милость и как бы хотят сказать:

«Мы тебя одобряем, а ты это цени!»

Вообще у нас на Руси очень любят объясняться в любви, делают это громко, публично, но искренно любить и уважать не любят или не умеют.

Мне привелось видеть, как итальянская публика возмущается, и это было ужасно! Я давно уже слышал, что в «La Scala» предполагается поставить новую оперу с участием Таманьо, и меня очень удивляло, что о композиторе ни слова не говорят как о музыканте, а только рассказывают его биографию. Говорили, что это поразительно красивый молодой человек, что он недурно поет маленькие песенки под собственный аккомпанемент и что в него влюбилась какая-то принцесса, бросила своего мужа и сделала из бедного музыканта состоятельного человека. Вот этот человек и являлся автором новой оперы. Он от себя и на свои средства пригласил Таманьо и французскую певицу, известную в то время.

Публика так заинтересовалась этим спектаклем, что я не мог достать билета на первое представление ни за какие деньги и должен был воспользоваться любезностью известного музыкального ⟨издателя⟩ Рикорди, который предложил мне место в своей ложе, где сидела его мать, старушка лет семидесяти, композиторы Пуччини, Масканьи и еще кто-то.

Оркестр сыграл довольно жиденькую увертюру, и вслед за тем из оркестра же раздались довольно нерешительные аплодисменты. В нашей ложе все молча переглянулись, а в зале кто-то довольно громко и как бы успокаивая публику сказал:

— Это музыканты приветствуют Тосканини, своего дирижера!

Поднялся занавес, и на сцене стали разыгрывать нечто из римской жизни. Кто-то, одетый в тогу, скучно пел под музыку, тоже весьма скучную. Мне показалось, что публика совершенно не обращает внимания на сцену, на пение и музыку; в зале тихо; в ложе, соседней с на-

шей, разговаривали о том, на каком пароходе удобнее ехать из Генуи в Неаполь и на каком удобнее из Генуи в Марсель, а также, где лучше кормят, где веселее жить.

Кончилось первое действие. Публика ничем не выразила своего отношения к нему — ни одного хлопка, ни звука. Просто все встали и пошли в фойе. Как будто опера еще не начиналась и никто ничего не видал, не слышал.

Во втором действии очень много пела французская певица, голос у нее — контральто — был очень звучным, но пела она с какими-то завываниями при переходах от ноты к ноте. Я видел, что публика морщится. Один смешно дергает ноздрей, другой болезненно прищуривает глаз, все как будто лимон сосут.

Наконец явился Таманьо. Автор приготовил ему эффектную выходную фразу. Она вызвала единодушный взрыв восторга публики.

Таманьо — этс исключительный, я бы сказал, вековой голос. Такие певцы родятся в сто лет один раз. Высокого роста, стройный, он был настолько же красивый артист, насколько исключительный певец. Дикция его была безупречна. Я не встречал второго певца, который бы произносил все слова роли своей так отчетливо и точно, как умел делать это Таманьо.

После него снова долго пела француженка. Таманьо сердито прерывал ее краткими репликами. Затем они обнимались. А потом, а потом не стало слышно ни артистку, ни оркестра. Пел только Таманьо, и больше ничего не было нужно. Закончился акт. В зале разразилась поистине буря аплодисментов. Старушка, мать Рикорди, чудесно помолодев, неистово кричала: «Браво!»

Вышел Таманьо с певицей и, действительно, с красивым человеком, одетым во фрак. Я сразу догадался, что это автор оперы, но публика не хотела понять этого, и в зале раздались громкие вопросы:

— Кто это?

Одни говорили — режиссер, другие уверяли — секретарь Таманьо, третьи громко утверждали, что это директор сыроваренной фабрики, знакомый Таманьо.

Наконец кто-то крикнул:

— Это автор оперы!

Тогда весь зал моментально заголосил:

— Таманьо соло!

Стоял адский шум. Таманьо, очевидно, не расслышал, что его вызывают одного, и снова вышел с композитором. Но тут разразился такой адов концерт, какого я не только никогда не слыхал, а и представить себе не мог бы. Почтенные, солидные, прекрасно одетые люди, сидевшие в партере, в ложах, и всё население театра точно обезумело: пищали, визжали, рычали, так что мне стало даже боязно и жутко, захотелось уйти из театра. Мать Рикорди, перегнувшись через барьер ложи, кричала страшным голосом, точно она была лично оскорблена до глубины души:

— Убирайся вон, мошенник! Вон, маскальцоне, ладро![1] Вор!

Третье действие шло в высшей степени оригинально. В нем участвовала вся публика, вместе с оркестром и певцами. Это было нечто невообразимое! Сначала стали передразнивать певицу: ей подвывали, имитируя ее манеру петь, мяукали, лаяли, пели похожие арии известных опер. С одной стороны галерки спрашивали другую, в какой ресторан идти ужинать. Кто-то спрашивал, не лучше ли сейчас уйти, а то после этого удивительного спектакля ужинать поздно! Здоровались, сообщали друг другу о здоровье знакомых. Необходимо сказать, что всё это делалось без признака злости.

Злоба была заметна лишь в тот момент, когда Таманьо в третий раз вывел композитора на сцену. А теперь публика просто дурила. Каждый по-своему веселился, вознаграждая себя за скуку неудачного спектакля. Какие-то элегантные офицеры в ложе над оркестром высовывали музыкантам языки. Музыканты отвечали им жестами, которые выражали комическое извинение. Потом я узнал, что офицеры издевались над оркестром за то, что оркестр аплодировал увертюре.

— Ну, этот спектакль не кончится,— говорили в нашей ложе. А Рикорди спросил меня:

— Хотите подождать конца или идем сейчас? Может быть, подождете? Это, наверное, кончится оригинально!

---

[1] негодяй, вор! *(Итал.)*.

— Что же может быть оригинальнее?

— А бывает, что несколько человек из публики берут дирижера вместе со стулом и уносят его в фойе!

— Разве это не обижает дирижера?

— Нет! Почему? Ведь это делается по-товарищески, шутя. Дирижер и сам понимает, что оперу продолжать нельзя. Что ж ему обижаться?

Но на этот раз дирижера не вынесли из оркестра. Спектакль благополучно кончился при совершенно пустом зале. Вся публика ушла раньше финала. Выходя из театра, я слышал, как говорили капельдинеры:

— Чёрт побери дирекцию, которая ставит такие оперы! Публика поломала стулья. Изволь чинить их теперь!

Оказалось, что капельдинеры исполняли в театре роль столяров.

«Боже мой,— думал я после этого спектакля,— если б что-нибудь подобное случилось со мною! Не пережил бы я такой драмы!»

Но впоследствии я узнал, что многие из крупных артистов бывали в подобных переделках. Такова публика. Хорошо, так хорошо, и вот тебе в награду искренний наш восторг! Ну, а если плохо, так мы тоже не станем стесняться в выражениях нашей оценки! Но здесь порицание артисту отнюдь не является позором для него. В порицании нет издевательства над личностью. Оно остается в рамках эстетической оценки. Вне театра артист такой же полноправный гражданин, как все, и никто не смеет издеваться над ним.

На одной из репетиций знакомый мой портье сказал, дружески подмигнув:

— Сегодня на репетицию приедет синьор Бойто!

Я не знал, что автор «Мефистофеля» в Милане, и с естественным любопытством ждал его. Явился элегантно одетый человек лет пятидесяти, тщательно выбритый, в пенсне, похожий на польского магната, изысканный в манерах и аристократически простой в отношении к людям. Меня представили ему, и всё время, репетируя, я посматривал на него, пытаясь понять, как он относится к своей опере. Но он смотрел на всё так спокойно, как будто репетировали не его вещь. Послу-

шал некоторое время, сказал всем нам красиво сделанные комплименты и ушел.

В перерыве репетиции, когда все пошли курить в соседнюю комнату, Джиованино, портье, рассказал нам, что «Мефистофеля» уже ставили лет двадцать тому назад и что опера торжественно провалилась.

Милый Джиованино, страстный поклонник Бойто, ругал публику, не понявшую такую оперу. Особенно нравился ему «Пролог», беседа сатаны с богом, трубы в оркестре и заключительные слова дьявола:

Люблю подчас со Старпком встречаться,
Держу язык, чтоб с ним не препираться.
Но вежливость его, однако же, приятна,—
Он даже с чёртом вежливо умеет обращаться.

Расхваливая оперу, Джиованино утверждал, что на первый спектакль Бойто не придет,— он страшно нервен.

— Однако на репетиции он был совершенно спокоен,— сказал я.

Джиованино засмеялся:

— Да разве он покажет свое волнение? Он сам актер, не хуже нас! Он умеет быть сдержанным!

Действительно, Бойто не был на первом представлении, но о ходе его ему после каждого действия сообщали по телефону.

После спектакля Джиованино уже знал, что Бойто очень обрадован. Милый портье-артист говорил мне:

— Вы увидите, как он будет благодарить вас! Давно мы уже решили поставить эту оперу, но всё не было подходящего Мефистофеля. У нас много чудесных певцов, но здесь нужен певец и актер — как вы! А главное — наши певцы едят много макарон, что делает их толстыми!

Но Джиованино сам был толст и поэтому тотчас же оправдал толщину.

— Иначе нельзя в Италии! Это такая прекрасная страна! Здесь люди много работают и у всех превосходный аппетит! И много хорошего вина! А тому, кто ест макароны и пьет хорошее вино, тому неловко быть

худым! Нехорошо! Конечно, есть у нас и худые, но ведь это больные люди!

Бойто был только на одном спектакле, причем не показался в зрительном зале, а сидел в ложе за кулисами. Скоро мне сказали, что он хотел бы видеть меня. Я тотчас же отправился к нему, в небольшую квартирку около городского вала. На столе в его кабинете курились какие-то ароматические монашки. Он был холост и, видимо, очень любил разные изящные вещи.

Он оказался очень веселым и шутливым человеком. Зная, что он пишет оперу «Нерон», я спросил что-то по поводу этой работы. Тогда он сделал страшное лицо, вынул из ящика письменного стола огромный пистолет, положил его мне на колени и сказал комически мрачно:

— Застрелите меня!

— Что вы?

— Да, застрелите меня за то, что я занимаюсь глупостями! Застрелите сейчас же,— шутил он.

Но и по шутке было видно, что этот человек относится к своей работе с огромным напряжением. Позже мне случалось, бывая в Милане, заходить к нему, но я так и не узнал ничего об этой опере. А однажды, когда я стал рассматривать партитуру, он шутливо закрыл ее, сказав, что это «музыка секретная».

Он много расспрашивал меня о русском театре, о музыке, говорил, что очень любит ее, особенно Бородина.

Я знал, что Бойто пишет либретто для опер Верди. Мне говорили, что он считается в Италии поэтом еще более значительным, чем музыкантом. Либретто «Мефистофеля» сделано им по Гёте, Марло и другим источникам.

Удивительный факт рассказали мне об отношении итальянской публики к Верди. Однажды композитор приехал на какую-то станцию и прошел в буфет. Публика, узнав его, моментально встала, сняв шляпы, и никто не садился, пока знаменитый старец не сел сам. Никто не кричал ему «браво», не аплодировал. Все продолжали пить и есть, разговаривая. Но когда Верди встал, чтоб идти в вагон, публика тоже встала и, снимая с себя верхнее платье, расстилала его под ноги компози-

тора, и он, раскланиваясь, прошел до вагона по одежде своих сограждан.

После первого представления я получил записку на маленьком клочке бумаги, в ней стояло:

«Браво, брависсимо, синьор Шаляпин» и разные комплименты. Подпись была неразборчива, что-то вроде Амасини. Но жена сказала мне, что это пишет Анжелло Мазини. Страшно обрадованный, я бросился к нему. Я уже говорил о том, какое чарующее впечатление вызывал у меня его дивный голос.

Этот замечательный человек и божественный певец принял меня ласково и добродушно, но я увидел пред собою не архангела, а человека удивительно простого, одетого как итальянский рабочий, в потертые брюки, разорванную рубашку с очень странным галстухом; на ногах — стоптанные туфли. Оглядывая меня голубыми проницательными глазами, он красиво заговорил о том, что рад видеть в Италии успех русского артиста, что он любит Россию, как свою вторую родину; в ней он составил свое «серое благополучие», как он выразился, подразумевая успех материальный, а главное,— в России он испытал то глубокое духовное удовлетворение, в котором видит смысл жизни.

— В России,— говорил он,— меня так любят, что, когда я приезжаю туда, я чувствую себя королем! Можете себе представить, как мне приятно видеть ваш заслуженный успех! Аплодируя вам, я делал это действительно от души, как бы благодаря Россию в вашем лице за то, что она дала мне!

Тронутый его словами, я выразил сожаление, что не знал о его присутствии в театре,— я непременно в антракте зашел бы в его ложу.

— Ложу? — усмехнувшись, сказал он.— Вы не нашли бы меня ни в одной из лож. Я всегда сижу на галерке!

Мазини угостил меня кофе, мускатным вином и коньяком. Он сам приносил на подносе эти напитки, хотя я видел, что у него есть слуга. А провожая меня, он обнаружил намерение подать мне пальто. Страшно смущенный, я всячески противодействовал этому, но любезный — и, может быть, слишком любезный — хозяин сказал театрально:

— Синьор Шаляпин, я хочу сделать себе удовольствие!

Он подчеркнул слово себе.

Спустя две недели после первого спектакля я прочитал в «Новом времени» письмо Мазини. Он сообщал о моем успехе в «La Scala». Удивительная и трогательная любезность!

Продолжая знакомство с этим оригинальным человеком, я заметил, что он живет очень одиноко. У него как будто нет и друзей, ни даже просто знакомых, хотя его знал весь Милан, весь мир. Когда он шел по галерее Виктора Эмануила, все говорили почтительно:

— Вот Мазини!

Посмеивались добродушно над его демократическим костюмом и над обыкновеннейшей пеньковой бечевкой, которая заменяла ему цепочку часов. Были люди, утверждавшие, что Мазини болезненно скуп, но я знал, что это неверно и вздорно. Мазини знал, каким трудом достаются деньги, но он не жалел их там, где не надо жалеть. И он был истый демократ по своим привычкам, по натуре.

Рассказывал я ему о том, как волновался на репетициях, на спектакле, о попытках клаки эксплуатировать меня.

— Вот видите,— сказал он, указывая на галерею Виктора Эмануила, — вам не нужно ходить в эту галерею! Здесь гнездится вся та мерзость, которая может помешать артисту делать его доброе, святое дело! Здесь мало людей! Тут главным образом гуляют собаки. «Cane» — собака — по-итальянски синоним плохого певца.

Когда хотят сказать — он поет плохо, то говорят кратко:

— Э, cane!

Кончив мои спектакли, я отправился с товарищами артистами в ресторан. Публика, подходя к нашему столу, поздравляла меня, выражала сожаление, что спектакли уже кончились. Всё это носило удивительно простой и милый характер и было лишено даже признака наянливости. Когда в ресторане осталась одна молодежь, а семейные люди, поужинав, ушли, я пригла-

сил оставшихся к нашему столу и от избытка чувств спросил две дюжины шампанского. Лакеи, да и публика, посмотрели на меня так, как будто вдруг усомнились в моих умственных способностях, но приглашение приняли, к радости моей.

Среди публики оказался Габриэло д'Аннунцио, в то время молодой, здоровый блондин с остренькой бородкой. Он сказал тост, должно быть очень литературномудреный, я ничего не понял. Впоследствии я познакомился с ним очень близко, и еще недавно, перед самой войной, мы с ним мечтали о пьесе, в которой были бы гармонично объединены и драма, и музыка, и пение, и диалог.

Из Италии, через Париж, я воротился в Россию. Настроение у меня было великолепное. Я чувствовал, что сделал нечто не только для себя.

* * *

С приездом на родину началась обычная «канитель», возобновилось бесчисленное количество разных мелких огорчений, а холодный пепел мелочей прекрасно гасит огонь души.

Работа артиста — работа нервная. Я воспитывался не в салонах, и хотя знаю, как не надо вести себя, но не всегда помню это. По природе моей я несдержан, иногда бываю резок и всегда нахожу нужным говорить правду в глаза. К тому же я впечатлителен, обстановка действует на меня очень сильно. С «джентльменами» я тоже могу быть «джентльменом», но среди хулиганов,— извините,— сам становлюсь хулиганом. «Как аукнется, так и откликнется».

Мне захотелось поставить «Мефистофеля» Бойто в Москве, в мой бенефис. Я очень рассчитывал дополнить здесь всё, чего мне не хватало в Милане.

Опера Бойто была незнакома в России. Естественно, что на репетициях ее я принужден был выступать пред товарищами как бы режиссером. Приходилось рассказывать и объяснять разные разности даже балету. Особенно часто и много требовала пояснений сложная

сцена на Брокене. Я сразу заметил, что артисты принимают мои объяснения с явным неудовольствием.

— Чего он учит нас? — ворчали они.— Какое право имеет он учить?

О моем праве учить я не задумывался, потому что чувствовал себя не учащим, а только советующим. Но и за советы мне приходилось испрашивать извинения, хотя в них ничего обидного не было. Естественно, что иногда я срывался. Однажды, например, шутливо назвал действия моего приятеля, режиссера Василевского, действиями «турецкой лошади». Василевского это не задело, но на другой день в газетах появилось сообщение, что я назвал хористок «коровами».

Прочитав это, я спросил хористок — было ли что-либо подобное? Они сказали: не было, но опровергнуть заметку не догадались, а мне показалось неудобным опровергать ее от своего лица.

Было и еще немало различных «инцидентов». Все ходили по сцене обиженными, перестав делать то, что до сей поры делали сносно. Спектакль прошел с грехом пополам, совершенно не удовлетворив меня, хотя публика отнеслась к нему очень хорошо. Но я так и не мог ничего сделать с «Мефистофелем». Он не удовлетворяет меня и до сего дня.

Ах, эта боязнь наступить на чье-нибудь раскоряченное самолюбие! Как она мешает работать, жить, чувствовать себя свободным человеком и другом людей!

А бенефис вызвал неприязненное ко мне отношение у товарищей и создал в публике слух о моей жадности к деньгам. Особенно окреп этот слух после того, как я, желая избавить публику от эксплуатации барышников, устроил продажу билетов на бенефис у себя на квартире. Тут уж прямо решили:

— Шаляпин — лавочник!

Это было очень несправедливо и обидело меня. Из веселого человека я стал заметно для себя превращаться в парня, подозревающего всех в недоброжелательстве и раздражительного. Мне стало ясно, что Бова-богатырь, избивающий метлою тысячи врагов, действительно сказка. Я начал уклоняться от знакомств в театральном мире. Тогда про меня стали говорить:

— Зазнается!

Я оправдываю себя? Нет, я просто рассказываю. Каждый человек имеет право воображать, что где-то у него есть неведомый ему, но искренно любящий его друг. Так вот я рассказываю для этого друга так, как умею и могу. У меня нет причин оправдываться и нет оснований щадить себя. Дружеский суд, как бы он ни был суров, я приму с благодарностью. Я достаточно силен для этого.

Вне артистического мира у меня было много знакомств среди купечества, в кругу богатых людей, которые вечно едят семгу, балык, икру, пьют шампанское и видят радость жизни главным образом в этом занятии.

Вот, например, встреча Нового года в ресторане «Яр», среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского, и все человекоподобные — во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя 12 часов еще нет. Но после 12 пьяны все поголовно. Обнимаются и говорят друг другу с чисто русским добродушием:

— Люблю я тебя, хотя ты немножко мошенник!

— Тебе самому, милый, давно пора в тюрьме гнить!

— П-поцелуемся!

Целуются троекратно. Это очень трогательно, но — немножко противно. Замечательно, что хотя все очень пьяны, но почти никто не упускает случая сказать приятелю какую-нибудь пакость очень едкого свойства. Добродушие при этом не исчезает.

Четыре часа утра. К стенке прижался и дремлет измученный лакей с салфеткой в руках, точно с флагом примирения. Под диваном лежит солидный человек в разорванном фраке —торчат его ноги в ботинках, великолепно сшитых и облитых вином. За столом сидят еще двое солидных людей, обнимаются, плачут, жалуясь на невыносимо трудную жизнь, поют:

— Эх, распошел! — и говорят, что порядочным людям можно жить только в цыганском таборе.

Потом один говорит другому:

— Постой, я тебе покажу фокус! Половой — шампанского!

Половой приносит вино, открывает.

— Гляди на меня,— говорит фокусник, мокренький и липкий. Его товарищ старается смотреть сосредоточенно и прямо, что стоит ему больших усилий. Фокусник ставит себе на голову полный стакан вина и встряхивает головой, желая поймать стакан ртом и выпить вино на лету. Это не удается ему. Вино обливает его плечи, грудь, колени. Стакан летит на пол.

— Не вышло! — справедливо говорит он.— Нечаянно не вышло! Погоди, я еще раз сделаю...

Но товарищ его, махнув рукою, вздыхает:

— Н-не надо!

И слезно поет:

Эх-х, распошел, распошел...

Это, конечно, смешно, однако и грустно.

Эти пьяные, добрые люди с какой-то надорванной струною в душе любят меня. Очень часто, обнимая и целуя, они говорят мне:

— Вы — наш! Ведь вас Москва сделала! Мы сделали вас!

Однажды я должен был ответить на эту слишком назойливую ласку:

— Послушайте, кожаное рыло, я не ваш! Я — свой, я — божий!

Закричали, что я «зазнался», а на другой день было сказано, что Шаляпин презирает Москву.

Иногда я чувствовал, что подвыпившая компания желала бы вздуть меня, как били в Суконной слободе удачливых людей за то, что им сопутствует удача. Они смотрят на меня, сжав кулаки, и так ядовито спрашивают:

— Сколько получаешь? А? Зазнался!

Но видя, что я сам не прочь подраться, они обыкновенно не решались. Постепенно я отошел и от этой компании.

А в театре меня угнетало казенное отношение к делу. К спектаклям все относились в высокой степени хладнокровно, машинообразно. Если захочешь сказать, спеть какую нибудь фразу иначе против принятой традиции, поживее, приходится пускать в ход какие-то увещания, улещивания и трепетать в страхе, как бы не возмутилось чье-нибудь слишком чуткое самолюбие. Го-

воришь дирижеру, что хорошо бы спеть эту фразу медленнее, выразительнее, а он отвечает, что скрипки и виолончели не могут растянуть этот пассаж. Очень может быть, что он прав, я не настолько музыкально образован, чтоб спорить с ним; но мне всегда казалось и кажется, что оркестр императорских театров почти чудо и для него невозможное не существует. Каждый музыкант этого оркестра — законченный артист, в оркестр берут людей по конкурсу.

Между прочим, почти у всех дирижеров, за исключением Рахманинова и нескольких итальянцев, с которыми я пел, я всегда замечал отсутствие чувства ритма. Как-то всё шатается, болтается, точно тоненькая палка в большом сапоге.

Меня обвиняют в том, что я «не создаю школы», забывая, что никого нельзя заставить учиться. У нас даже обучением грамоте и то не очень интересуются. Преждевременно требовать, чтобы было введено обязательное обучение сценическому искусству. Да и позволит ли человеку его во все стороны раскоряченное самолюбие учиться чему-то у Шаляпина, который не учился в консерватории? Не позволяет. Я отнюдь не отрицаю: все учатся. Но все учатся до первого успеха, до поры, пока человека не ослепил свет рампы и не оглушил гром аплодисментов. Этот гром редко бывает для души артиста «весенним, первым громом», оплодотворяющим ее. В большинстве случаев это последний гром, предвещает увядание и осень.

Говорят мне: откройте свой театр. Очень хорошо,— думаю я,— вот я открыл театр, усердно сам работаю в нем и требую усердной работы от других. Не говоря о том, что после первого же сезона мои сотрудники любезно наградят меня чином эксплуататора или живодера, что одно и то же,— они, как люди более меня образованные и культурные, замордуют меня своей культурностью. Это неизбежно. Спросит меня какой-нибудь эдакий режиссер-новатор о том, какого цвета чулки носили испанские дворяне при дворе Карла V, а я не знаю!

Режиссеры — это замечательно образованный народ! Я сам слышал, как один режиссер с глубокой тоской, с искренним возмущением говорил бутафору:

— Что это за канделябры? Разве в ту эпоху были такие канделябры? Ведь у Андрея Степановича Пушкина в «Борисе Годунове» прямо сказано...

Или, например, тенор: он должен играть принца, а ходит по сцене парикмахером; я скажу ему:

— Сударь, вам необходимо усвоить несколько иной порядок жестов и движений. Вы подходите к вашей возлюбленной так, как будто намерены обрить ее!

А он мне ответит:

— Прошу не учить меня!

Я бы на него рассердился, а он бы убежал со сцены в середине спектакля. И вот я выхожу к публике, кланяюсь ей и смущенно заявляю:

— Милостивые государыни и милостивые государи, по случаю холеры, неожиданно постигшей тенора, мы не можем кончить спектакля, а потому я предлагаю вам: уезжайте, пожалуйста, домой и развлекайтесь сами, как вам угодно!

Публика, переломав мебель, разошлась бы, а на другой день тенор пишет письмо в лучшие газеты:

«Вовсе у меня не холера. Это клевета известного скандалиста Шаляпина, и со сцены я изгнан чувством собственного достоинства, которое, будучи возмущено им, заставило меня от волнения потерять навсегда голос и средства к жизни, вследствие чего я и предъявляю к нему иск в 600 тысяч рублей, приглашая всех присутствующих на спектакле во свидетели этого факта».

Вот вам и свой театр!

Конечно, всё это шутки. Но российская действительность очень горазда на шутки. Она сочиняет анекдоты получше анекдотов Горбунова и сатиры ядовитее Щедрина.

А говоря серьезно, я не вижу в театральных людях той живой любви к своему делу, которой это дело настоятельно требует, без которой оно — мертвое дело. Конечно, для артиста нет надобности мести пол на сцене, ставить декорации и чистить лампы, как это, в свое время, делал я по молодости лет и от избытка сил. Но если, например, попросить артиста «с именем» исполнить выходную роль — вы думаете, он не обидится?

Еще как обидится! И уж обязательно напишет письмо в редакцию самой либеральной газеты, которая специально занимается защитой разных угнетенных личностей, но не всегда ясно видит, как порою личность угнетает дело.

Хорошо быть скульптором, композитором, живописцем, писателем! Сцена этих людей — кабинет, мастерская. Они одни. Дверь к ним закрыта. Их никто не видит. Им не мешают воплотить волнения их душ так, как они хотят. А попробуйте-ка воплотить свою мечту в живой образ на сцене, в присутствии трехсот человек, из которых десять тянут во все стороны от твоей задачи, а остальные, пребывая равнодушными, как покойники, ко всему на свете, вовсе никуда не тянут!

Коллективное творчество возможно только при условии сознания всеми работниками единства цели и необходимости осуществить ее. Где же у нас это сознание? А при полном отсутствии его всякий артист, любящий искусство искренно и страстно, живет и работает «в пустыне» — увы! — не безлюдной!

Очень вероятно, что часто я веду себя на репетициях весьма нервозно, может быть, деспотично, грубо и даже обижаю больших и маленьких людей. Об этом так много говорят, что я сам готов поверить в это. Я не оправдываюсь, нет! И не потому не оправдываюсь, что знаю — каждый человек в чем-нибудь виноват, но по какой-то другой причине, которая не вполне ясна для меня.

Видите ли что: конечно, человек — творец всякого дела, но дело ценнее человека, и он должен поступаться своим самолюбием, должен в интересах дела! Да, да, нехорошо кричать на маленького человека. Кто этого не знает? Хотя все кричат на него. Однако — если человек не хочет работать? Не хочет понять важность роли, исполняемой им? В этих случаях я кричу. Не потому кричу, что не уважаю личность человека, нет; уважать людей я умею, и было бы ужасно уродливо, если б именно я не уважал их, я, которому пришлось видеть трудную человеческую жизнь снизу доверху, на всех ее ступенях. Я кричу на людей и буду кричать, потому что люблю их дело и знаю, что всего лучше они

тогда, когда сами относятся к работе с любовью, сами понимают красоту и ценность деяния!

Кстати, я ведь и за границей на чужих мне людей тоже покрикивал не стесняясь. Однако там меня, как я знаю, не считают деспотом, тираном и адовым исчадием. Там как-то умеют находить за словами, хотя бы и резко сказанными, мотивы, почему они сказаны.

Кто-то говорил мне, что длинные уши — признак плохо развитого слуха и что ослы не упрямы, не глупы, а просто глухи. Не знаю, верно ли это, но если верно, то, очевидно, у людей за границей уши короче, чем у нас.

Однако надо кончить с этим, а то выходит, как будто я жалуюсь. Если это выходит, то вовсе не потому, что я хочу жаловаться, а только потому, что я не умею рассказывать. Сказать хочется много, а слов не хватает.

Все-таки я думаю, что обо мне судили бы лучше, будь я более политичен, тактичен, дипломатичен, или, проще говоря, более лжив. Но я плохо воспитан и не люблю двоедушия, не терплю лжи и поэтому часто оказываюсь гусем, который сам является на кухню к поварам:

— Жарьте меня, милостивые государи.

Они, конечно, очень рады и, не зарезав, начинают у живого у меня выщипывать перья, перо за пером.

Ну что ж! «И раки не живут без драки, подерутся, помирятся да опять растопырятся!»

* * *

Мой успех в Италии повлек за собою для меня весьма хорошие последствия; вскоре я получил приглашение петь в Монте-Карло, в театре Рауля Гинсбурга, человека, известного во всей Европе, Америке, Азии, Африке и вообще во вселенной, а также, вероятно, и за пределами ее.

Монте-Карло, один из красивейших уголков земли, имеет, благодаря окаянной рулетке, весьма скверную репутацию, но театр там хороший, и отношение к делу в нем такое же прекрасное, как везде за границей. Все артисты, хористы, музыканты работают за совесть, с любовью к делу, все аккуратны, серьезны, и работа идет

споро, весело, легко. Мне пришлось разучить несколько опер на итальянском и французском языках.

Рауль Гинсбург, маленький человек с большим носом, умными и этакими «комбинационными» глазками, встретил меня очень шумно; он закричал, коверкая русский язык:

— Ах, как я р-рада!

И тотчас же, извиваясь, точно его жарили на невидимом огне, он, выговаривая по шестисот слов в минуту, рассказал мне, что любит Россию, служил в русской армии во время турецкой кампании, первый вошел в Никополь и даже был ранен ударом штыка. В доказательство последнего факта он быстро расстегнул брюки и показал мне шрам в паху. Всё это было удивительно забавно, необычайно и весело.

— Вот, дорогая Шаляпин, какой р-рана! Она показывает, как я любит Рюсси! Моя душа есть на русский народ, и я за нему дрался, как лев! Потому я и рада видеть тебя на мой театр всегда Монте-Карло! Да, да! Император Александр III — это мой интимный друг! И это я, который взял Никополь!

— Зачем? — спросил я.

— О! Война! На война всегда что-нибудь берут: один город, еще один и еще, потом берут всё!

Мне казалось, что герою лет 35, не больше. В момент, когда он брал Никополь, ему было от роду лет 10, я думаю. Позже я узнал, что Гинсбург старше и что Никополь он брал лет четырнадцати. Но все-таки это был очень милый и живой человек. Он сообщил мне далее, что у него есть собственный замок, музей, замечательные картины, что он богат и занимается театром не ради материальных выгод, а из любви к музыке. Он и сам намерен написать оперу. Это несколько смутило меня.

В труппе Гинсбурга был замечательный артист — Рено, о котором мне говорили, что он превосходно исполняет роль Мефистофеля в «Гибели Фауста». Естественно, что это меня заинтересовало, и когда поставили «Гибель Фауста», я действительно увидал, что Рено сделал свою роль на редкость рельефно, играет с тонким чувством художественной меры. Я пошел за кулисы, познакомился с артистом и выразил ему мое восхище-

ние, а дома тщательно взвесил своего Мефистофеля и Мефистофеля Рено. Мне показалось, что мы понимаем этот образ различно, так же, как различно понят он Берлиозом и Бойто.

Я начал спектакли тоже «Мефистофелем». Театр Гинсбурга маленький, сцена тоже, в уборных повернуться негде, но в общем всё было уютно и как-то изящно. Но всего лучше был сам Рауль Гинсбург во фраке, неистощимо веселый, неоправданно восхищающийся.

— Какая есть замечательно спектакль сегодня! — восторгался он, хотя спектакль еще не начали.

Спектаклем, как и в Милане, интересовались все рабочие, артисты. У всех чувствовалось то живое отношение к делу, которое удваивает силы артиста.

«Пролог» был принят публикой очень горячо и сердечно. Это воодушевило меня, и сцену на Брокене я провел так, как редко удается. Помогал театр. В нем не было тех огромных расстояний, как в московском или миланском. Всё доходило до публики целостно, зрители прекрасно видели и мимику и каждый жест. Публика устроила мне овацию, а затем пришел взволнованный Рено, мой коллега и соперник, крепко пожал мне руку и так просто, искренно сказал:

— Это хорошо, мой друг!

Рауль Гинсбург, счастливый и сияющий, скакал на одной ножке, шумел, как ребенок, и осыпал меня комплиментами. Я никогда не видал такого антрепренера, как этот Гинсбург. Даже когда артист был не в голосе, не в настроении, что нередко случалось и со мною, Гинсбург сиял восторгом. И если он видел, что артист опечален неудачей, он тотчас же говорил:

— Как никогда в мире, поешь сегодня! Как никто, никогда не поет!

Может быть, он думал скверно, но говорил всегда хорошо. Это прирожденный театральный человек, по-своему талантливый. Он отлично знал условия сцены, знал всё, что будет интересно на ней, тонко чувствовал ее эффекты и дефекты.

Мне нередко приходилось ругаться с ним. Случалось, что мы не разговаривали недели по две кряду, но никогда я не терял симпатии к нему и не чувствовал с его сто-

роны утраты уважения ко мне. Да и я, в сущности, всегда уважал его, ибо видел, что этот человек любит дело.

Однажды мы так поссорились, что дело едва не дошло до дуэли. Это было гораздо более смешно, чем страшно.

Однажды Гинсбург «при помощи бога», как он говорил, написал оперу «Иван Грозный». Чёрт знает, чего только не было наворочено в этой опере! Пожар, охота, вакханалия в церкви, пляски, сражения; Грозный звонил в колокола, играл в шахматы, плясал, умирал. Были пущены в дело наиболее известные русские слова: изба, боярин, батюшка, закуска, извозчик, степь, водка и была даже такая фраза:

— Барыня, барыня, ne pleurez pas[1], барыня!

Это было поистине фундаментальное произведение невежества и храбрости. Но Гинсбург искренно был уверен, что написал превосходную вещь, и говорил:

— Это очень удивительный пиес! Я думаю — нет нигде другой, которая есть лучше! Всё умрет, останутся только Моцарт и я, этот, который есть пред вами! О, да! Если публик не поймет сейчас этот вещь, она поймет ее через тысячу лет.

Я рассердился и сказал гениальному Раулю, что, по моему мнению, он — нахал. Тогда он тоже рассердился, покраснел и объявил мне:

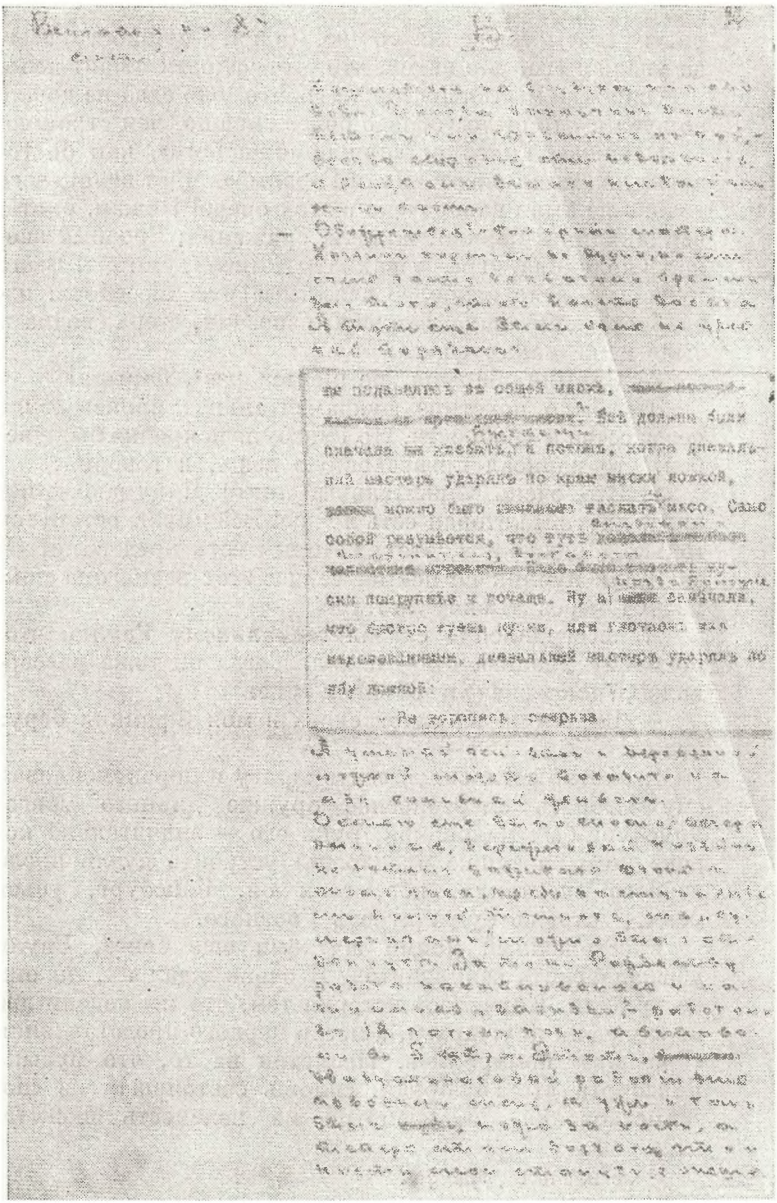
— Шаляпин, за такой слова в моя Франция берут шпаги!

Я охотно согласился взять шпагу и порекомендовал ему выбрать смертоносное оружие длиннее моего: Гинсбург был маленький, руки его — значительно короче моих, а также предложил устроить дуэль после первого спектакля, ибо, если он, Гинсбург, убьет меня,— кто же будет играть Грозного?

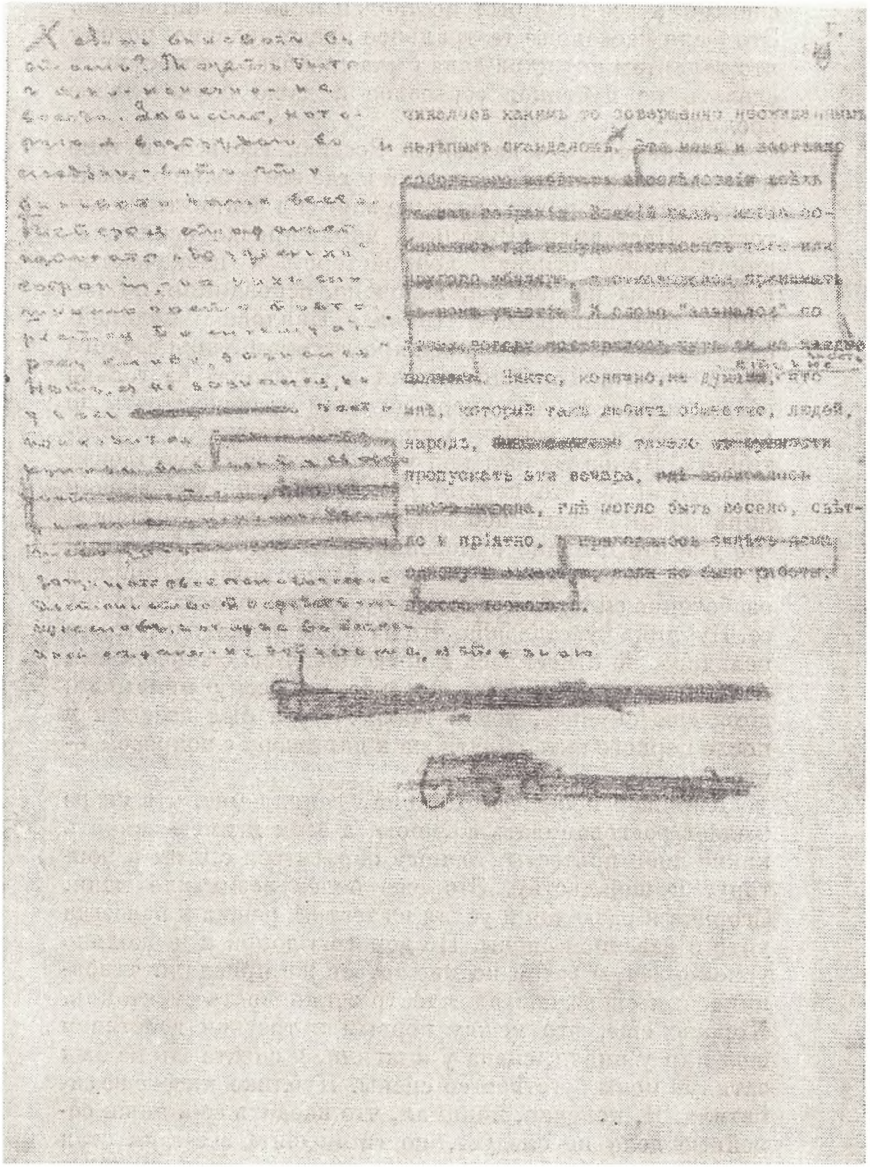
Рассерженный моими шутками еще более, Рауль убежал искать секундантов. Я очень ждал их, но они не пришли. Кончилась история тем, что мы недели две не замечали друг друга, а после первого представления «Грозного» помирились. Несмотря на то, что музыка Гинсбурга была сборная, сплошь состоявшая из «позаимствований», и, несмотря на нелепость сюжета,

---

[1] не плачьте *(франц.)*.



ЗАВТОБИОГРАФИЯ
Страницы машинописи



Ф. И. ШАЛЯПИНА.>
с правкой М. Горького.

спектакль все-таки был поставлен и сыгран интересно. Это было настоящее театральное представление, потому что талантам артистов дана была свобода, и они сумели сделать из пустяков серьезное и даже поучительное зрелище.

А возвратясь в казенную Россию, где всё опутано цепями различных запрещений и где все страшно любят командовать, я почти сразу же влетел в неприятную историю. Поставили «Русалку»; дирижировал некий славянин, ранее бывший хормейстером и назначенный в дирижеры по тем же, вероятно, основаниям, по которым при императоре Николае Павловиче полицейский чиновник был назначен профессором Харьковского университета. Так как я знал в «Русалке» не только свою партию, но всю оперу целиком от первой ноты до последней, я не особенно внимательно отнесся к репетициям. Каков же был мой ужас, когда я почувствовал на спектакле, что первый акт безобразно исковеркан дирижером: темпы перевраны, ритма нет! Казалось, что всё это сделано намеренно,— до того плохо было! Я оказался связанным по рукам и по ногам. Дирижер озабоченно смотрел в партитуру, точно впервые видел ее. Публика чувствовала, что на сцене происходит что-то неладное, но относилась к представлению с терпеливым равнодушием существа, которое ко всему привыкло: дома еще скучнее, чем в театре. Но я был взбешен и после первого акта обратился к дирижеру с вопросом — что он делает?

Дирижер повышенным тоном заявил мне, что он не желает разговаривать со мною, а если я имею заявить какие-либо протесты, то могу обратиться с этим в контору, к начальству. Это еще более возмутило меня. Сгоряча я разделся и уехал из театра, решив и навсегда уйти с казенной сцены. Но дорогою домой я несколько успокоился, а затем ко мне тотчас же прислали чиновника, и я снова поехал в театр заканчивать спектакль. Хорошо еще, что между первым и третьим действием шел пир у князя, сцена у княгини, и спектакль не был затянут моим бегством со сцены. Публика ничего не заметила. Я, конечно, понимал, что вводить ее в наши семейные дела не следует, но «инцидент» все-таки стал

известен ей, и через день я читал в газетах заметку, озаглавленную: «Очередной скандал Шаляпина», читал и думал:

«Да, много еще придется мне сделать таких скандалов, много, хотя и без толку. „Шилом моря не нагреешь“, как ни накаливай шило».

* * *

В один поистине прекрасный день ко мне приехал С. П. Дягилев и сообщил, что предлагает мне ехать в Париж, где он хочет устроить ряд симфонических концертов, которые ознакомили бы французов с русской музыкой в ее историческом развитии. Я с восторгом согласился принять участие в этих концертах, уже зная, как интересуется Европа русской музыкой и как мало наша музыка известна Европе.

Когда я приехал в Париж и остановился в отеле, где жил Дягилев, я сразу понял, что затеяно серьезное дело и что его делают с восторгом. Вокруг Дягилева движения и жизни было едва ли не больше, чем на всех улицах Парижа. Он сообщил мне, что интерес парижан к его предприятию очень велик и что хотя помещение для концертов снято в Большой опере, но положительно нет возможности удовлетворить публику, желающую слушать русскую музыку. Рассказал, что в концертах примет участие Н. А. Римский-Корсаков, что в Париже Рахманинов, Скрябин и еще много русских композиторов. Дирижерами концертов выступят: Римский-Корсаков, Блюменфельд и Никиш.

Мы начали концерты исполнением первого действия «Руслана и Людмилы», что очень понравилось публике. Потом я с успехом пел Варяжского гостя из «Садко», князя Галицкого из «Игоря», песню Варлаама из «Бориса Годунова» и ряд романсов с аккомпанементом фортепиано. Особенно нравилась французам, которых напрасно считают легкомысленными, музыка Мусоргского. Все говорили о ней с искренним восторгом.

Успех концертов был солиден, и это подало нам мысль показать в будущем сезоне Парижу русскую оперу, например, «Бориса Годунова». Так и сделали.

Когда было объявлено, что опера Дягилева будет играть «Бориса», парижская пресса и публика заговорила о русском сезоне, как о «сезоне гала». Никогда не забуду, с какой любовью, как наэлектризованно относились к работе на репетициях хористы и оркестр Большой оперы! Это был праздник!

Мы ставили спектакль целиком, что невозможно в России вследствие цензурных условий. У нас, например, сцена коронации теряет свою величавость и торжественность, ибо ее невозможно поставить полностью, а в Париже в этой сцене участвовали и митрополит и епископы, несли иконы, хоругви, кадила, был устроен отличный звон. Это было грандиозно. За все 25 лет, что я служу в театре, я никогда не видал такого величественного представления.

Сначала мы устроили генеральную репетицию, пригласив на нее избранное общество Парижа: художников, литераторов, журналистов. К сожалению, ко дню репетиции не успели сделать костюмы и не закончили декорации, над которыми работали Коровин и Головин. А отложить репетицию было уже невозможно, и все мы очень волновались, боясь, что не вызовем должного впечатления, разгуливая по сцене и распевая в обычном платье, без грима. Мои костюмы были готовы, но я тоже не одевался и не гримировался, чтобы не нарушать общей картины.

Начали мы оперу. Пропел я мою фразу. Вступил хор. Хористы пели великолепно, как львы. Я думаю, что такого хора французы не слыхали. Вообще мне кажется, что за границей нет таких хоров, как в России. Я объясняю это тем, что у нас хористы начинают петь с детства по церквам и поют с такими исключительными, оригинальными нюансами, каких требует наша церковная музыка.

Лично я очень скорбел о том, что нет надлежащей обстановки, что я не в надлежащем костюме и без грима, но я, конечно, понимал, что впечатление, которое может и должен произвести артист, зависит, в сущности, не от этого, и мне удалось вызвать у публики желаемое впечатление, когда я проговорил:

— Что это там, в углу, колышется, растет?..

Я заметил, что часть публики тоже испуганно повернула головы туда, куда смотрел я, а некоторые вскочили со стульев...

Меня наградили за эту сцену бурными аплодисментами. Успех спектакля был обеспечен. Все ликовали. Мои товарищи искренно поздравляли меня, некоторые, со слезами на глазах, крепко жали мне руку. Я был счастлив, как ребенок.

Так же великолепно, как генеральная репетиция, прошел и первый спектакль. Артисты, хор, оркестр и декорации, все и всё было на высоте музыки Мусоргского. Я смело говорю это, ибо это засвидетельствовано всей парижской прессой. Сцена смерти Бориса произвела потрясающее впечатление. О ней говорили и писали, что это «нечто шекспировски грандиозное». Публика вела себя удивительно. Так могут вести себя только экспансивные французы — кричали, обнимали нас, выражали свою благодарность артистам, хору, дирижеру, дирекции.

Вспоминая это, не могу не сказать: трудна моя жизнь, но хороша! Минуты великого счастья переживал я благодаря искусству, страстно любимому мною. Любовь — это всегда счастье, что бы мы ни любили, но любовь к искусству — величайшее счастье нашей жизни!

К великому сожалению, мы вынуждены были исключить из спектакля великолепнейшую сцену в корчме, ибо для нее нужны такие артисты, каких мы, несмотря на всё богатство России талантами, не могли тогда найти. В молодости я не однажды играл в один и тот же вечер и Бориса и Варлаама, но здесь не решился на это. Я смотрел на этот спектакль, как на экзамен нашей русской зрелости и оригинальности в искусстве,— экзамен, который мы сдавали пред лицом Европы. И она признала, что экзамен сдан нами великолепно.

«Бориса» мы сыграли раз десять, и на этот раз других опер в Париже не ставили.

Ко мне пришел новый директор миланского театра и предложил поставить Годунова в «La Scala». Зная приблизительно вкусы итальянской публики, я подумал, что Мусоргский не понравится ей, и сказал это директору, но он вполне резонно возразил:

— Но я — итальянец, и меня эта опера потрясает; почему же вы думаете, что другим итальянцам она не понравится?

Любя Милан и его чуткую публику, я, конечно, очень хотел петь в «La Scala», но в Париже мы пели оперу по-русски, а директор «Scala» хотел ставить ее своими средствами, то есть собственными артистами и хором. Значит, и я должен петь по-итальянски, но перевода оперы не было. Директор тотчас заявил мне, что, если я согласен петь, он тотчас же даст оперу перевести хорошему знатоку языка, принципиальное согласие которого на перевод уже получено. Я согласился, продолжая сомневаться, что всё это возможно, и ожидая, что миланцы скоро известят меня: нет, мы не можем поставить эту варварскую оперу!

Но, возвратясь на родину, я узнал, что дирекция «Scala» уже заказывает Головину эскизы декораций, а вскоре получил и партитуру с переводом, сделанным очень плохо: были даже изменены некоторые движения в нотах, иные ноты прибавлены, иные вычеркнуты. Это было недопустимо.

Я обратился к дирижеру петербургского балета Дриго с просьбой помочь мне исправить перевод. Дриго очень любезно согласился на это, и, взаимно помогая друг другу, мы довольно хорошо перевели оперу заново.

Чуть ли не первым встретил меня в Милане милый портье Джиованино. Он дружески расцеловался со мной и, выпуская из рта по шестисот слов в минуту, сообщил, что знает о моем успехе в Париже, сердечно поздравляет меня и что еще с лета интересуется оперой «Борис Наганов».

— А, синьор Шаляпин, Россия должна сказать нам свое слово вашими устами! Да! Да! Она должна говорить миру, как говорим мы, итальянцы!

Вот, подите-ка, каков Джиованино, портье! Удивляли меня эти люди.

Начались репетиции. Дирижировал оперой Витали, человек лет тридцати, хороший музыкант и прекрасный дирижер. Пригласив меня в репетиционный зал, он попросил показать ему некоторые темпы и начал исполнять оперу на рояле. Я был поражен, как верно и

проникновенно понимает он музыку Мусоргского. Играя, он всё время восхищался красотою оперы, оригинальностью сочетаний аккордов, и было видно, что этот человек глубоко проникся творчеством русского гения. Я был счастлив видеть это.

Естественно, что во время репетиции на мою долю выпала роль режиссера,— приходилось показывать и объяснять артистам, хору многое, что было чуждо итальянцам, не понималось ими. Все относились ко мне с редким вниманием. Я чувствовал, как русское искусство побеждает и восхищает этих впечатлительных людей и, тронутый до глубины души, ликовал.

Было много курьезов. Меня, например, спрашивали:

— Как одеваются русские иезуиты?

— Очень разнообразно,— отвечал я.

Пристава оделись по рисункам, а помощники их вышли на сцену в форме современных русских будочников; бояре напоминали разбойников с русских лубочных картин; декорации были написаны слабо и олеографично, как вообще пишут их за границей. Но оркестр играл великолепно, божественно; он являлся как бы куском воска в руках талантливого дирижера, и дирижер вдохновенно лепил из него всё, что хотел в любой момент. Изумляло меня внимание музыкантов к движениям магической палочки дирижера.

Хор тоже прекрасно пел, но от итальянцев нельзя требовать того, что дают русские хористы, большинство которых с детства воспитывается на церковной музыке. Почти все итальянские хористы вне сцены — рабочие люди: портные, драпировщики, перчаточники, иногда мелкие торговцы. Все они любят пение. У всех голоса поставлены самой природой и тонко развит слух. Многие из них сами мечтали о карьере артистов. Но голоса у них, я бы сказал, какие-то блестящие: когда нужно петь во всю силу голоса, это у них выходит замечательно, с подъемом. Но трудно добиться минорного, тихого и нежного пения. Чтобы достигнуть необходимого эффекта молитвы в келье Пимена, хор пришлось поставить далеко за кулисами и дирижировать вспышками электрической лампочки, кнопка которой помещалась под рукою дирижера в оркестре. Это вышло очень хо-

рошо. Пимен и Дмитрий выделились вполне рельефно, а хор был едва слышен.

Не могу описать всего, что было пережито мною в день спектакля,— меня как будто на раскаленных угольях жарили. А вдруг не понравится опера? Я уже знал, как будут вести себя в этом случае пламенные итальянцы. Конечно, было бы плохо, если б провалился я, но в этом спектакле моя личность была неразрывно связана с дебютом русской музыки, русской оперы, и я дрожал от страха.

Но вот раздались первые аккорды оркестра. Ни жив ни мертв, слушал я, стоя за кулисами. Пели хорошо, играли отлично,— это я чувствовал, но все-таки весь театр качался предо мною, как пароход в море в дурную погоду.

Первая картина кончилась. Раздались дружные аплодисменты. Я несколько успокоился. Дальше успех оперы всё возрастал. Итальянцы, впервые видя оперу-драму, были изумлены и взволнованы. Спектакль был выслушан с затаенным дыханием. Всё в нем было тонко понято, отмечено и принято как-то особенно сердечно.

Бешено обрадованный, я плакал, обнимал артистов, целовал их. Все кричали, восторженные, как дети: хористы, музыканты и плотники— все участвовали в этом празднике.

«Вот что объединяет людей,— думал я,— вот она — победная сила искусства!»

Милый портье Джиованино вел себя так, как будто он сам написал «Бориса Наганова».

Я сыграл оперу восемь раз и уехал в Монте-Карло, откуда еще дважды приезжал в Милан по настойчивому желанию публики, влюбившейся в оперу Мусоргского.

Чем проще играешь, тем легче это кажется со стороны, и частенько эта «кажимость» создавала курьезные недоразумения, забавные вопросы. Артисты-итальянцы неоднократно говорили мне:

— Чёрт вас знает, как просто и ловко держитесь вы на сцене! А между тем у вас нет заранее подготовленных жестов и поз. Каждый раз вы ведете сцену иначе, по-новому...

Насколько умел, я объяснял им, в чем дело, но это не могло устранить курьезных недоразумений.

Внимательнее других следил за тем, как я играю, Чирино, обладатель прекрасного голоса, певший Пимена. «Борис Годунов» страшно нравился ему. Он находил, что я играю эту роль хорошо, но, говорил он:

— Жаль, что у Шаляпина голос хуже моего! Я, например, могу взять не только верхнее соль, но и ля бемоль. Если б я играл Бориса, пожалуй, у меня эта роль вышла бы лучше. В сущности — игра не так уж сложна, а пел бы я красивее.

Чирино не скрывал своих мнений и от меня. Очень деликатно он всегда просил позволения смотреть, как я гримируюсь. Грим казался ему самым трудным делом. Я гримировался при нем и рассказывал ему, как это делается.

— Да,— говорил он,— это всё не сложно, но в Италии не найдешь таких красок, и нет хороших париков, бород, усов!

Сыграв последний спектакль, я позвал Чирино и сказал:

— Милый друг, вот тебе парик, борода и усы для Бориса, вот тебе мои краски! Я с удовольствием подарил бы тебе и голову мою, но она необходима мне!

Он был очень тронут, очень благодарил меня.

Через год я снова был в Милане и однажды, идя по корсо Виктора Эмануила, вдруг увидал, что через улицу, останавливая лошадей, натыкаясь на экипажи, летит Чирино.

— Бон жиорно, амико Шаляпин! — вскричал он и горячо расцеловался со мною, к удивлению публики.

— Почему такая экзальтация? — спросил я, когда он несколько успокоился.

— Почему? — кричал он.— А потому, что я понял, какой ты артист! Я играл Бориса и провалился! Я сам знаю, что играл ужасно. Всё, что казалось мне таким легким у тебя, представляет непобедимые трудности. Грим, парики,— ах, всё это чепуха! Я рад сказать и должен сказать, что ты — артист!

— Тише! — уговаривал я его,— на нас смотрят.

Но он кричал:

— К чёрту всех! Я должен сознаться, что не умел ценить тебя! Я люблю искусство, и вот я тебе целую руку!

Это было слишком, но итальянцы не знают меры своим восторгам. И, сказать правду, я был тронут этой похвалой товарища.

Вообще итальянцы относились ко мне удивительно симпатично и дружески.

Помню другой случай. Репетируя в Милане же «Фауста» Гуно, я заметил, что прекрасная певица, игравшая Маргариту, совершенно не умеет держаться на сцене. Она играла отвратительно. Выбрав удобный момент, я подошел к ней и в мягкой форме сказал об этом.

— Да,— печально согласилась она,— я чувствую, что не умею играть. Как жаль, что я мало знакома с вами,— я попросила бы вас показать мне роль!

Я обрадовался и, оставшись с нею после репетиции, спел ее партию, показал ей несколько сцен, и она превосходно восприняла мои советы. На спектакле публика принимала ее очень ласково, а пресса на другой день единодушно отметила, что артистка провела свою роль ново, оригинально, что она сделала большие успехи. Она привезла мне наутро кучу цветов и благодарностей, но я сказал ей, что уже с избытком вознагражден за мою маленькую помощь ее прекрасной игрой.

И вообще, не хвастая, скажу, что всюду за границей артисты не брезговали советоваться со мной о своих ролях, а иногда и учились у меня немножко, чему я всегда искренно радовался.

В России отношение несколько иное, к сожалению.

Ставили в императорском театре «Бориса Годунова». Я сразу же увидел, что артисты относятся к своим ролям очень хладнокровно и «спустя рукава». Шуйского пел довольно известный тенор, молодой человек с хорошим голосом. Пел он прекрасно, но вне тона роли, и пел, собственно, не Шуйского, а так вообще пел.

Я осмелился заметить ему, что это пение не отвечает духовному облику хитрого князя Шуйского.

— Я не знаю, не думал об этом,— сознался тенор.

Тогда я предложил ему посмотреть и послушать, как

я понимаю князя Василия, и спел его партию. Он прослушал меня внимательно, сказал спасибо и повторил свои фразы значительно лучше. Эту сцену видели другие артисты, и вот что получилось: они тотчас собрались в фойе и там начали протестовать, находя, что Шаляпин — не режиссер, а такой же артист, как и все, и что у него нет права показывать и учить. Сошлись на необходимости заявить об этом лично мне, чтоб отучить меня от захвата прав режиссера, но почему-то не выразили.

Такого рода отношение било меня по рукам. Когда я высказывал дирекции мое отрицательное отношение к постановкам опер, дирекция говорила:

— Попробуйте поставьте сами!

— Дайте мне абсолютную власть на сцене!

Директор прекращал беседу, зная, что если б у меня была эта власть, я не позволил бы поднять занавеса до поры, пока не был бы совершенно уверен, что художественное исполнение спектакля доведено до законной высоты.

Решили поставить «Хованщину». На репетиции я увидал, что эту оперу распевают, как «Риголетто» или «Мадам Баттерфляй», то есть как оперу, драматизм которой вовсе не важен, либретто не имеет значения, и которую можно спеть без слов — всю на а или на о, на у. Выходят люди в соответственном эпохе одеянии,— да и это не обязательно,— выходят и поют: одни — а-а-а, другой — о-о-о, а хор зудит — у-у-у! Это может быть сделано очень весело, очень страшно, очень скучно, но это не имеет никакого отношения к тексту оперы и музыке Мусоргского.

Не сдержав моего огорчения, я сказал товарищам, что, распевая оперу в таком духе, мы ее обязательно провалим, а публику погрузим в сон и скуку. Затем я стал петь все партии так, как понимал их. На этот раз мне поверили и выслушали меня с дружеским вниманием, даже хор согласился, что я прав. Это страшно ободрило меня. Я разгорелся и провел репетицию с огромным напряжением, особенно выдвигая великолепно написанный образ Марфы. Всё шло хорошо; на генеральной репетиции опера не только понравилась публике, но даже имела огромный успех. Это уж окончательно

привело меня в блаженное состояние. Помню, я говорил хористам какую-то речь, плакал от радости и, наконец, предложил отправиться в Казанский собор спеть панихиду по Мусоргскому. Отправились охотно,прекрасно спели. Потом я отвез венки Мусоргскому и Стасову.

Когда «Хованщина» прошла с выдающимся успехом в Петербурге, захотелось поставить ее в Москве. Но, приехав в Москву, я тотчас узнал, что артисты волнуются, ожидая от меня каких-то невероятных требований. Пригласив к себе дирижера, я предложил ему просмотреть оперу совместно со мною. Он любезно согласился на это. Мне казалось, что в интересах большего драматизма, большей выпуклости некоторые такты следует изменить: здесь задержать, там ускорить. Дирижер, указывая на пометки автора: аллегро, модерато,— протестовал против моих указаний, не желая нарушать требований автора, но в конце концов согласился со мною. Замечу, что вообще я строго придерживаюсь авторских указаний и только в этом случае решился незначительно отступить от них. Однако на оркестровой репетиции я увидал, что дирижер помахивает палочкой с великолепным равнодушием, и музыка рассвета приобрела какой-то тусклый, грубый характер. Я обратил на это внимание директора одной высшей музыкальной школы, сидевшего рядом со мною. Он согласился, что дело идет плохо.

Вышел на сцену хор и начал петь врозь, небрежно, неодушевленно. Я сказал хору:

— Господа, не пойте вразброд, будьте внимательнее, следите за оркестром!

Тогда дирижер заметил, что если хор поет врозь с оркестром, так это потому, что он больше «играет», чем поет. Слово «играет» было подчеркнуто, и я понял, что мое желание сделать массовые сцены более живыми не нравится дирижеру. Тогда я заявил ему, что хор не идет за оркестром вовсе не потому, что он играет, а потому, что дирижер не обращает на хористов должного внимания.

— Ах, так вам не нравится, как я дирижирую,— воскликнул почтенный маэстро и, положив палочку на пюпитр, ушел, оставив оркестр без головы. Неко-

торые из артистов проводили его аплодисментами, а по моему адресу раздались свистки. Репетиция остановилась.

Конечно, и я так же, как дирижер, мог уйти домой, но тогда спектакль провалился бы. Оперу я знал. Сесть самому за пюпитр и продолжать репетицию? А вдруг музыканты, из сочувствия дирижеру, начнут играть фальшиво или вовсе не станут играть? «Очередной скандал Шаляпина» разрастется, но пользы делу от этого не будет.

Я решил телефонировать в Петербург, чтоб оттуда прислали другого дирижера, одного молодого и весьма талантливого человека. На другой день утром он был в Москве, и в 12 часов мы начали генеральную репетицию, а вечером должен был состояться спектакль. Репетиция прошла хорошо. Все относились к делу внимательно, пели ритмично, и вообще всё шло как-то необычно гладко. Газеты были наполнены заметками о деспотизме, грубости и неблаговоспитанности моей. Это не очень уместное предисловие к спектаклю, требовавшему огромного напряжения сил, и это, конечно, настроило публику весьма враждебно ко мне.

Когда я вышел на сцену, публика сердито молчала. Нужно было победить это настроение, что, кстати сказать, вовсе не входит в цели искусства, как я его понимаю. Однако, когда я, под удары великолепного колокола, спел заключительную фразу: «Отче, сердце открыто тебе»,— публика, очевидно, забыв мой «очередной скандал», наградила меня пламенными рукоплесканиями. Я убежал в уборную и разревелся там.

Частенько мне приходилось реветь и волком выть, но это я делал один на один, сам с собою, публика же знает по газетам только о том, как я дебоширю. Ну, что же делать? Я не оправдываю себя,— знаю, что это бесполезно. Но невыносимо тяжело бывает мне порою, господа! Уж очень несоизмеримо противоречие между тем, чего хочется, с тем, что есть. И поверьте, что, когда чувствуешь себя царем, дьяволом или мельником, вовсе не легко и не приятно в те же самые минуты чувствовать вокруг себя злейшую обывательщину, небрежнейшее и казенное отношение к твоим святыням.

Пение — это не безделица для меня и не забава, это священное дело моей жизни. А публика рассматривает артиста, как тот — извините за сравнение — извозчик, с которым я однажды ехал по какой-то бесконечной московской улице.

— А ты чем, барин, занимаешься? — спросил меня извозчик.

— Да вот, брат, пою!

— Я не про то,— сказал он: — Я спрашиваю — чего работаешь? А ты — пою! Петь мы все поем! И я тоже пою: выпьешь иной раз и поешь. А либо станет скушно и тоже запоешь. Я спрашиваю — чего ты делаешь?

Я сказал ему, что торгую дровами, капустой, а также имею гробовую лавку со всяким материалом для похорон.

Этот мудрый и серьезный извозчик выразил, на мой взгляд, мнение огромной части публики, для которой искусство тоже не дело, а так себе, забава, очень помогающая разогнать скуку, заполнить свободное время.

* * *

Спектакли в Милане и Монте-Карло сделали меня довольно известным артистом, и потому я получил предложение петь в Нью-Йорке.

Я давно уже интересовался Новым Светом и страной, где какие-то сказочно энергичные люди делают миллиарды скорее и проще, чем у нас на Руси лапти плетут, и где бесстрашно строят вавилонские башни в 60 этажей высотою.

Заключив в Париже контракт, который обязывал меня петь «Мефистофеля», «Фауста», «Севильского цирюльника» и «Дон-Жуана», я сел на пароход и через шесть суток очутился на рейде Нью-Йорка.

Думы о выступлении в суровой стране «бизнесменов», о которой я много слышал необычного, фантастического, так волновали меня, что я даже не помню впечатлений переезда через океан.

Прежде всего мое внимание приковала к себе статуя Свободы, благородный и символический подарок Фран-

ции, из которого Америка сделала фонарь. Я вслух восхищался грандиозностью монумента, его простотой и величием, но француз, который всю дорогу немножко подтрунивал над моими представлениями об Америке, сказал мне:

— Да, статуя хороша и значение ее великолепно! Но обратите внимание, как печально ее лицо! И почему она, стоя спиной к этой стране, так пристально смотрит на тот берег, во Францию?

Но скептицизм француза надоел мне еще дорогой, и я не придал значения его словам. Однако почти тотчас же я познакомился с тем, как принимает Америка эмигрантов из Европы, видел, как грубо раздевают людей, осматривают их карманы, справляются у женщин, где их мужья, у девушек — девушки ли они, спрашивают, много ли они привезли с собой денег. И только после этого одним позволяют сойти на берег, а некоторых отправляют обратно, в Европу. Этот отбор совершается как раз у подножия величавой статуи Свободы.

Уже на пристани меня встретили какие-то бизнесмены — деловые и деловитые люди, театральные агенты, репортеры,— всё люди крепкой кости и очень бритые, люди, так сказать, «без лишнего». Они стали расспрашивать меня, удобно ли я путешествовал, где родился, женат или холост, хорошо ли живу с женой, не сидел ли в тюрьме за политические преступления, что я думаю о настоящем России, о будущем ее, а также и об Америке.

Я был очень удивлен и даже несколько тронут их интересом ко мне, добросовестно рассказал им о своем рождении, женитьбе, вкусах, сообщил, что в тюрьме еще не сидел, и привел пословицу, которая рекомендует русскому человеку не отказываться ни от сумы, ни от тюрьмы.

— Ол райт,— сказали они и сделали «бизнес»: на другой день мне сообщили, что в газетах напечатали про меня нечто невероятное: я — один на один хожу на медведя, презираю политику, не терплю нищих и надеюсь, что по возвращении в Россию меня посадят в тюрьму.

Далее оказалось, что любезная предупредительность этих милых людей стоит некоторых денег,— каждый из них представил мне небольшой счетец расходов на хлопоты по моему приему.

«Что город, то норов»,— подумал я, но не оплатил счетов. Десять рук в один карман — это много.

Остановился я в какой-то великолепной гостинице, роскошной, как магазин дорогой мебели. За обедом кормили крабами, лангустами в каких-то раковинах. Пища была какая-то протертая, как будто ее уже предупредительно жевали заранее, чтобы не утруждать меня. Наглотавшись оной пищи, я пошел на 5-ю улицу смотреть многоэтажные дома крезов. Но оказалось, что гигантские дома находятся в Сити, деловой части города, а на 5-й улице всё особняки, довольно обыкновенной европейско-якиманской архитектуры. Город производил удивительное впечатление: всё живое в нем стремительно двигалось по всем направлениям, словно разбегаясь в ожидании катастрофы. Ехали по земле, под землей, по воздуху, поднимались в лифтах на 52-й этаж, и всё это с невероятной быстротой, оглушающим грохотом, визгом, звоном и рычанием автомобильных рожков. Над головой едут поезда электрической железной дороги,— невольно натягиваешь шляпу плотнее: как бы не выкинули чего-нибудь на голову тебе.

Невольно вспоминалась Италия, где под каждое окно можно прийти с гитарой и спеть серенаду любимой женщине. Попробуй-ка спеть серенаду здесь, когда любимая женщина живет в 49-м этаже!

Вокруг стоит такой адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят еще такой же грандиозный, но невидимый. В этой кипящей каше человеческой я сразу почувствовал себя угрожающе одиноким, ничтожным и ненужным. Люди бежали, скакали, ехали; вырывая газеты из рук разносчиков, читали их на ходу и бросали под ноги себе; толкали друг друга, не извиняясь за недостатком времени, курили трубки, сигары и дымились, точно сгорая. Солнце светило сквозь дым и пыль, лицо у него было обиженное и безнадежное, точно оно думало:

«Лишнее я здесь!»

На улицах ни одного воробья, хотя это самая храбрая птица на свете.

Шесть дней, в ожидании репетиции, ходил я по городу, заглядывая всюду, куда пускали. Был в музеях, где очень много прекрасных вещей, но все вывезены из Европы.

Наконец я в театре «Метрополитен». Наружный его вид напоминает солидные торговые ряды, а внутри он отделан малиновым бархатом. По коридорам ходят бритогубые желтолицые люди, очень деловитые и насквозь равнодушные к театру.

Начали репетировать «Мефистофеля». Я увидал, что роли распределены и опера ставится по обычному шаблону: всё было непродуманно, карикатурно и страшно мешало мне. Я доказывал, сердился, но никто не понимал меня или не хотел понять.

— Здесь тонкостей не требуют, было бы громко,— сказал мне один из артистов.

Единственным человеком, который поддержал меня и мои требования, был импресарио. Его разбил паралич, и на репетицию он был принесен в кресле. Увидав, как я мучаюсь, он зычно крикнул режиссерам:

— Прошу слушать и исполнять то, чего желает Шаляпин!

После этого режиссер пошел на некоторые уступки, но это не улучшило спектакля.

Нервно издерганный, я почувствовал себя больным и накануне спектакля послал дирекции записку, извещая, что не смогу играть, не в силах.

В виде ответа на мою записку ко мне явилась длинная и костлявая дама или барышня в очках, с нахмуренными бровями и сурово опущенными углами рта. Показывая на меня пальцем, она спросила о чем-то по-английски. Я понял, что она желает знать, я ли Шаляпин.

— Да, это я.

Я был в халате, за что извинился перед нею на хорошем русском языке. Тогда она красноречивыми жестами предложила мне лечь в постель. Я испугался, позвал слугу, говорившего по-французски, и он объяснил мне, что эта дама — доктор; ее прислала ди-

рекция, чтобы вылечить меня к завтрашнему спектаклю. Я попросил сообщить докторисе, что преисполнен уважения к ней, но не нуждаюсь в ее хлопотах. Но дама все-таки настояла, чтоб я лег в постель. Лег я и с ужасом увидал, что почтенная докторша вынимает из своей сумки аппараты для промывания кишечника.

— Не надо! — взвыл я.— Я болен не в этом смысле — понимаете?

Нет, она не понимала! Тогда я взмолился:

— Буду петь, только уйдите от меня!

Ушла. Эта курьезная сцена, насмешив меня, несколько успокоила, и я спел спектакль довольно хорошо, хотя и чувствовал себя измученным.

Но оказалось, что американская пресса предупредила общество, что я — обладатель феноменального, стенобитного баса. Кому же не известно, какой силы басы водятся в России? Теноров там совсем нет, а вот русский бас — это явление совсем исключительное: нередко такие басы тремя нотами опрокидывают колокольни.

В театре, видимо, ожидали, что я выйду на сцену, гаркну и вышибу из кресел первые шесть рядов публики. Но так как я не изувечил американских ценителей пения, то на другой день в газетах писали приблизительно так:

— Какой же это русский бас? Голос у него баритонального тембра и очень мягкий...

Но в общем пресса отнеслась ко мне снисходительно, хотя все-таки заявила, что «Шаляпин — артист не для Америки». О характере моей игры, о моем понимании ролей ничего не говорили. Говорили только о голосе.

Очень поразил меня такой случай. У меня заболело горло, и я отправился к какому-то специалисту по горловым болезням. Судя по обстановке, это был человек с большой практикой. Великолепный кабинет, обставленный какими-то странными аппаратами и машинами, которые приводились в действие электричеством; всё, окружавшее его, указывало на его научную солидность. Сам он оказался человеком очень внимательным, почтенным и милым.

Заплатив ему за визит, я предложил доктору ложу. Он любезно принял и спросил — что именно я пою?

— Мефистофеля в «Фаусте».

— Расскажите мне сюжет, прошу вас,— сказал он.

Я подумал, что он шутит, но оказалось — доктор действительно не знает «Фауста» Гуно и не читал никогда Гёте!

Спектакли шли один за другим. Приехал знаменитый венский дирижер Малёр. Начали репетировать «Дон-Жуана». Бедный Малёр! Он на первой же репетиции пришел в полное отчаяние, не встретив ни в ком той любви, которую он сам неизменно влагал в дело. Все и всё делали наспех, как-нибудь, ибо все понимали, что публике решительно безразлично, как идет спектакль. Она приходила «слушать голоса» — и только. Итальянцы-артисты пробовали сделать что-нибудь получше, но самые стены малинового театра охлаждали рвение.

Поставили «Севильского цирюльника». Мне показалось, что в этой опере я имел значительный успех. Но — каково было мое изумление, когда дня через два после спектакля я получил анонимное письмо с вырезками из газет. В них меня ругательски ругали и всё на одну тему, которая приблизительно так формулировалась:

«Тяжело и стыдно смотреть, как этот сибирский варвар, изображая священника, профанирует религию».

Поняли!

Разумеется, я всегда был далек от церковных соображений, играя Дон-Базилио.

Из первоклассного отеля я перебрался в другой, тоже довольно роскошный, но какой-то странный, точно в каждой комнате его лежал покойник. Необычно тихо. Все говорят вполголоса. По коридорам бесшумно гуляют зловещие старушки. Впрочем, я только спал в этом морге, а дни шатался по городу, посещая разные увеселительные места.

В Нью-Йорке на каждом шагу можно встретить огненную вывеску с адресом какого-нибудь «Мюзик-холла». Это небольшие театрики, где поют, декламируют, танцуют, упражняются различные акробаты,

увеселяют эксцентрики, жонглеры и тому подобные артисты. Это очень разнообразно и порою весело. Публика хохочет от души.

Но мне захотелось побывать в серьезном театре, послушать Шекспира на его родном языке. Оказалось, что такого театра нет и что Шекспира играют только приезжие иностранцы, например, Сальвини. Это удивило меня, но знакомый журналист объяснил мне, что Америка смотрит на театр иначе, чем Европа.

— Здесь,— сказал он,— люди так много работают, что у них не является желания смотреть драмы и трагедии. Жизнь и без этого достаточно драматична. Вечером следует посмотреть что-нибудь веселое, забавное.

Это пояснение еще более усилило гнетущее чувство одиночества, давившее меня. Жилось ужасно скучно, и я сладко мечтал о дне, когда уеду в Европу.

Однажды, гуляя по городу, я попал в порт и увидал там пароход Добровольного флота, кажется, «Смоленск». Я взошел на палубу и попросил позволения осмотреть пароход. Какой-то офицер спросил, кто я, мило обрадовался и тотчас познакомил меня с капитаном и командой. Собрались матросы,— все такие славные, веселые парни, и вдруг я почувствовал себя перенесенным на Волгу. Устроили обед. Так странно и забавно было есть в Нью-Йорке щи с кашей, пить водку, слушать сочный говор на *о*. Нашлись песенники. Я стал запевать, и заиграло русское веселье. Пели «Из-под дуба, из-под вяза», плясали «барыню» и «трепака». Это был самый счастливый день мой в Америке. К сожалению, пароход скоро ушел, и снова я остался один «в пустыне,— увы! — не безлюдной».

Деньги мне платили хорошие — по 8000 франков за спектакль. Кто-то посоветовал мне не держать денег при себе, а положить их в банк. Я так и сделал, поместив их в отделение банка, которое находилось в одном доме с театром. Но каково же было мое огорчение, когда за несколько дней до моего отъезда мне сообщили, что банк лопнул! Плакали мои денежки!

Накануне отъезда ко мне явились журналисты и стали спрашивать, какое впечатление вызвал у меня Нью-Йорк. Я показал им газетные вырезки, в которых

меня ругали за «профанацию религии», и откровенно заявил, что они не очень тонко понимают искусство. Напомнив, что комедия «Севильский цирюльник» написана французом, опера — итальянцем, а я — русский, играю в ней испанского попа, я выразил уверенность, что они и не будут понимать искусство до поры, пока сами не создадут американских Бомарше и Россини.

Кажется, это им не понравилось. Впоследствии один знакомый еврей писал мне, что после моего отъезда нью-йоркские газеты много писали о моей неблагодарности, неблаговоспитанности и прочих грехах.

Потом я несколько раз получал приглашения в Нью-Йорк, но всегда отклонял их и только в 1914 году подписал контракт на поездку по городам Соединенных Штатов с русской труппой. Но началась война, и контракт был расторгнут.

Вскоре я получил приглашение в Южную Америку. Мне очень не хотелось ехать туда, но старик Чекки, мой импресарио, настаивал на поездке и не отступался, хотя я нарочно поставил ему драконовские условия. И вот, в мае месяце я еду в Буэнос-Айрес. Это было замечательно спокойное и веселое путешествие. В течение 18 суток море не шелохнулось, и мы плыли, точно по стеклу. При переезде через экватор устроили празднество в честь Нептуна, купали людей, впервые переступивших экватор. Не хочу состязаться с Гончаровым, превосходно описавшим эту веселую английскую забаву, скажу только, что всё это было до слез смешно.

Удивительный порт Рио-де-Жанейро привел меня в совершенный восторг своею живостью, красивой пестротой и какой-то блестящей праздничностью. Казалось, что здесь люди трудятся играючи. Так легко и весело кипела жизнь. Здесь всё напоминало милую Европу: и масса людей латинской расы — итальянцев, португальцев, французов, испанцев, и характер зданий, и наконец прекрасный, только что отстроенный театр, какого я еще не видал. На дело здесь смотрели тоже по-европейски, и спектакли, прилично поставленные, шли с большим успехом.

14-го июля, в день национального праздника Франции, ко мне пришла депутация французов и предложила спеть в театре Марсельезу. Конечно, я согласился и спел вместе с хором прекрасную песнь Франции. Это вышло очень торжественно. В театре стоял потрясающий душу гул. Аплодировали представители всех наций. Во всех ярко горела любовь к Франции, первой красавице мира. Был европейский праздник в честь свободы и красоты.

Французская колония Буэнос-Айреса вычеканила медаль в память этого дня и в мою честь и поднесла ее мне. Это лучший знак отличия, полученный мною.

Назад я ехал на английском пароходе, который останавливался в пути на острове св. Винцента, на Мадере. Очень поразил меня своим суровым видом остров св. Винцента, совершенно голый и какой-то обожженный, точно камень, упавший с неба. Мне сказали, что на всем острове растет только одно дерево, которое туземцы считают священным. Эти туземцы, тоже голые, как их земля, изумительно красивы, точно отлиты из великолепной бронзы древними греками, чародеями пластики. Они подъезжали к бортам парохода на каких-то очень примитивных барках, на утлых челноках и, звонко крича, требовали, чтобы им бросали в воду монету, как этого всегда требуют мальчишки в Неаполитанском заливе. И так же ловко, как мальчишки, они ныряли в синюю воду, ловя монеты на лету.

На Мадере мы, конечно, пили крепкий сок этой благословенной земли и ездили по камню улиц острова не на колесах, а на полозьях. Это не потому, что мы излишне вкусили мадеры, а уж такой порядок там, чтобы и в трезвом виде ездить по камням на полозьях. В некоторых уездах Вятской губернии тоже и зиму и лето ездят на санях. Мне приятно было вспомнить это, хотя в Вятской губернии поступать так заставляют болота.

С моим приятелем французом, старым актером, который сопровождал меня в качестве товарища и секретаря, случилось несчастье: когда мы отходили от пристани Буэнос-Айреса и француз раскланивался со

своими приятелями на пристани, он вдруг, смертельно побледнев, закричал:

— Ça y est! [1]

— Что такое?

— Меня обокрали!

Оказалось, что в заднем кармане брюк он хранил все деньги, заработанные им в течение целой жизни,— 14 тысяч франков. Так как он всюду расплачивался за меня, то воры, проследив это, очевидно, рассчитывали украсть деньги, которые заработал я. Бедняга француз был так убит этой кражей, что я испугался за него, ожидая, что он лишится ума или бросится в воду. Я возместил ему эти 14 тысяч, чем тотчас привел беднягу в нормальное состояние.

— Зачем ты носишь деньги с собой? — спросил я его.

Тогда он объяснил мне, что живет с одной женщиной гражданским браком, он не молод и, если деньги положить в банк, женщина, в случае его смерти, будет не в состоянии наследовать их. А так она просто возьмет их, вот и всё.

Эта забота о жене очень тронула меня.

По дороге выяснилась еще одна неприятность, на этот раз уже для меня лично. Я узнал, что мой приятель за каждое представление в Буэнос-Айресе платил клакерам по 50 песет, что составляло на наши деньги рублей 25.

— Это зачем? — спросил я, взбешенный.

Француз сказал:

— Видишь ли, я знаю, что для тебя это не нужно, но это было положительно необходимо для них. Они бедные люди, какие-то неаполитанцы, очень разбойничьего вида, очень голодные. Конечно, они не могли помешать твоему успеху, но могли бы во время спектаклей кашлять, чихать. Так вот, чтобы они не делали этого, я и платил им.

Что мне было делать с этим наивным человеком? И вот, благодаря ему, клакеры, единственный раз за всю мою карьеру, получили от меня деньги.

---

[1] Так и есть! *(Франц.)*.

* * *

Мои успехи заинтересовали наконец и Англию. Несколько раз я получал предложения петь в Ковент-Гарденском театре, но почему-то всё откладывал поездку в Лондон.

Как-то летом я, живя в деревне, спокойно ловил рыбу, предполагая недели через две ехать в Оранж, где Рауль Гинсбург затеял поставить спектакль на открытом воздухе в развалинах древнего римского театра. Вдруг приносят телеграмму от некоей дико богатой американки из Лондона. Американка предлагала мне приехать в Лондон на один вечер, спеть несколько романсов в ее гостиной. Не зная моего адреса, она разослала телеграммы по всем направлениям, и я получил телеграмму сначала от дирекции императорских театров, потом от одного знакомого, потом еще.

Это американское предложение и удивило и неприятно взволновало меня. Было в нем что-то уж слишком эксцентрическое и нью-йоркское. Не желая ехать, я ответил телеграммой же, назначив американке невероятные условия приезда, но это нимало не смутило ее, она тотчас ответила мне согласием, и, волей-неволей, я оказался вынужденным ехать в Лондон.

Поехал. Остановился в отеле, очень высоко, в маленькой комнатке с овальным окном. Было невероятно жарко и душно. Я разделся, пододвинул к окну стол, влез на него и стал рассматривать чудовищный город. Та его часть, которая открылась предо мной, была как-то невероятно величественна. Я видел Вестминстерское аббатство, Тауэр, мост через Темзу и ряды домов, как будто иссеченных из гранита. Всё казалось особенно крепким, созданным на века, несокрушимо вросшим в землю, от всего исходило впечатление какой-то особенной, немного хмурой силы. Это впечатление насыщало душу бодростью.

На другой день отправился к американке. Она жила в дивном особняке, спрятанном среди богатейшего парка. Встретила меня почтенная дама с молодым лицом и седыми волосами, напоминавшая портреты

Екатерины Великой. В гостиной сидели еще две-три дамы. Мне предложили чаю, и завязалась беседа на французском языке. Скоро я заметил, что американку чрезвычайно интересует вопрос — способен ли я оправдать те деньги, которые взял с нее? Она так часто намекала, что ей хотелось бы сегодня, сейчас же послушать меня. Чтоб она не мучилась, я сел за рояль и начал петь, аккомпанируя сам себе. Она, видимо, осталась довольна. На следующий день я с аккомпаниатором, ныне профессором консерватории, явился к американке и был встречен мажордомом в пестром платье, в гамашах, украшенным аксельбантами. Он провел нас в маленькую комнату с окном, открытым в сад. В саду гудели голоса людей и раздавался свист соловья. На деревьях щедро развешаны разноцветные японские фонари; под деревьями сидели джентльмены с проборами от переносья до затылка и великолепно разодетые леди. Всё это жужжало, смеялось, курило, всюду сверкали огни, отражаясь в моноклях и на мраморно твердых манишках, и весь гул покрывался свистом соловья. Странно — откуда явился этот бесстрашный соловей? Да и петь ему не время среди лета. Неужели в Англии и соловьи иначе воспитаны?

Когда мажордом принес нам чай, я спросил его о соловье:

— Эта птица в клетке сидит?

Но важный человек объяснил мне, усердно искажая французский язык, что птица сидит просто на дереве и что собственно это не птица, а джентльмен, исполняющий обязанности ее,— джентльмен, который умеет свистеть соловьем.

— Это очень обыкновенный человек,— ему платят, как всем артистам. Сегодня он получит десять фунтов.

— И сидит на дереве?

— О да. Совершенно свободно.

«Как бы и меня не попросили на дерево влезть»,— беспокойно подумал я.

Но всё обошлось благополучно. Я пел романсы русских авторов на русском языке, и это произвело должное впечатление. Меня заставляли бесконечно бисировать. В первом ряду сидели худощавые дамы,

вставленные в корсеты; аплодируя, они болтались в корсетах, как пестики в ступках. Я понравился. После концерта хозяйка пригласила меня остаться поужинать. Всё было удивительно просто и свободно. Ужинали a la fourchette — кто сидел, кто стоял, все весело болтали, относясь ко мне удивительно мило и радушно.

Я невольно вспомнил такой же концерт в Петербурге, в одном аристократическом доме. Там после концерта хозяин пригласил гостей и в их числе товарищей моих по сцене ужинать, а мне сунул, как доктору, пятьдесят рублей и любезно проводил меня до прихожей. «Что город, то норов».

У американки я познакомился с леди Грэй. Она пригласила меня к себе, а когда я приехал к ней, стала меня убеждать петь в Конвент-Гарденском театре. У меня были причины отказаться от ее лестного предложения. Тогда она заявила мне, что меня желает послушать королева, что она уже говорила с нею об этом и на днях я буду приглашен в Виндзор.

День моего концерта в Виндзоре был назначен, но я не мог поехать туда, ибо явился посланный из Оранжа и заявил, что я должен немедленно ехать туда; из-за меня задержаны репетиции. Я извинился перед леди Грэй и отправился в Париж, откуда вместе с известным Колонном поехал в Оранж. Там я встретил Поля Мунэ — геркулеса, умницу и весельчака, который сразу зажег меня симпатией к нему. Он как-то обнял меня всего своим весельем и тем особенным блеском ума, которым обладают только французы.

— Завтракаем? — предложил он.

Пошли в ресторан. Я знал, что Мунэ, окончив университет, превосходно защитил диссертацию о вреде алкоголя. Но во время завтрака он вдруг начал заказывать то одно вино, то другое, третье. Чувствуя, что это обилие вин начинает действовать на меня сокрушительно, а веселый Мунэ пьет больше меня и как ни в чем не бывало, я пожаловался ему.

— Привыкайте, привыкайте,— сказал он.— Вино— это необходимо для жизни, а для артиста — это нектар, возбуждающий вдохновение.

— Но как же ваша диссертация о вреде алкоголя? — спросил я его.

— О, тогда я был молод, и диссертация — это теория! А жизнь — это жизнь, пожирающая все теории, как Сатурн своих детей. Уверяю вас, что теперь я не взялся бы и не сумел бы защитить диссертацию о вреде вина, но с удовольствием готов защищать его пользу.

После я видел его на сцене, где он был так же хорош, как в жизни.

Спектакль в Оранже остался у меня в памяти, как одно из сильных впечатлений жизни. Была чудесная южная ночь; в темно-синем небе горели яркие звезды, под ними, на каменных уступах древнего амфитеатра, сидела многочисленная публика рядами пестрых пятен, ярко освещенными электрическим огнем. Высоко, в нише полуразвалившейся стены, стоял я в костюме Мефистофеля. Я залез туда по каким-то шатким, наскоро устроенным лестницам, по веревкам, не без риска упасть. Было жутко. Из расщелин циклопической постройки время от времени доносились какие-то хриплые звуки, сердитые вздохи,— это ночные птицы тревожно шуршали крыльями о камни.

Заиграл оркестр. На меня упал холодный луч рефлектора.

— Ave, Signor! — запел я.

Откуда-то дунула сильная струя воздуха и отнесла мой возглас в сторону от публики. Я переменил позу, продолжая петь, возбуждаемый необычностью обстановки.

Может быть, всё это было не очень художественно, но во всяком случае фантастично и весьма понравилось публике; после «Пролога» она неистовствовала. Я спустился по лестницам и веревкам вниз на арену и, раскланиваясь, снова почувствовал себя в театре.

* * *

Наконец мне пришлось петь и в Лондоне.

С большим трепетом в душе ехал я туда. Мне казалось, что русская музыка, русские оперы едва ли

будут понятны англичанам. Несмотря на то, что я уже был в Лондоне, имел некоторое представление об этом городе и народе-аристократе, мне со всех сторон говорили, что англичане надменны, ничем не интересуются, кроме самих себя, и смотрят на русских, как на варваров. Это несколько тревожило меня за судьбу русских спектаклей, но в то же время и возбуждало мой задор, мое желание победить английский скептицизм ко всему неанглийскому. Не очень веря в себя, в свои силы, я был непоколебимо уверен в обаянии русского искусства, и эта вера всегда со мной.

И вот я в Лондоне, с труппой, собранной Дягилевым. Репетирую, осматриваю город и убеждаюсь, что узнать его, осмотреть его богатства можно приблизительно года в три, не меньше. Особенно поразил меня Британский музей, этот грандиозный храм, где собраны изумительнейшие образцы мировой культуры. И вообще весь Лондон, от доков до Вестминстерского аббатства, вызвал у меня подавляющее впечатление своей грандиозностью, солидной и спокойной уверенностью его людей в их силе, их значении.

И снова в душу проникла тревога: не оценят эти люди своеобразия нашей музыки, нашей души!

Я был дико счастлив, когда после первой картины «Бориса Годунова» в зале театра раздались оглушительные аплодисменты, восторженные крики «браво!» А в последнем акте спектакль принял характер победы русского искусства, характер торжественного русского праздника. Выражая свои восторги, англичане вели себя столь же экспансивно, как итальянцы,— так же перевешивались через барьеры лож, так же громко и кричали, и так же восторженно блестели их зоркие, умные глаза.

Но еще более праздничен был наш последний спектакль. Публика единодушно вызывала и благодарила всех, начиная с инициаторов русского сезона господина Бигэна с сыном, прекрасным музыкантом и дирижером, вызывала артистов, дирижера, режиссера, хор,— всех по очереди. Кто-то из публики сказал прекрасную речь. Товарищи предложили мне ответить, и я искренно благодарил Лондон за его трогательное отношение к

нам. Всё это было незабвенно хорошо, а главное, как-то особенно искренно, задушевно.

«Вот тебе и хладнокровные британцы»,— думал я, с восторгом глядя на взволнованную публику.

Как-то сразу после первого же спектакля я стал любимцем лондонской публики, и — с гордостью скажу — ко мне одинаково прекрасно относились и очаровательные светские дамы, и простой мастеровой народ. Мне пришлось бывать и в гостиной премьер-министра и в квартирках музыкантов оркестра, пить шампанское в посольствах и портер с театральными плотниками.

Поверьте мне, я говорю всё это не для того, чтоб любоваться Федором Шаляпиным, который из Казани, сапожной мастерской попал в аристократические гостиные Лондона,— не в этом суть, не в этом! Суть в том, что я — человек загнанной, замученной страны, страны, которая, несмотря на трудную жизнь свою, создала великое искусство, нужное всему миру, понимаемое всеми людьми земли!

Я не умею хорошо сказать то, что чувствую, но чувствую я хорошо. И не о Шаляпине я рассказываю, а о русском человеке, которого люблю. Ну да, много горечи в этой любви и, как всё в нашем мире, наверное, любовь тоже несправедлива, но никто не нуждается в ней так много, как все мы, Русь!

* * *

Без курьезных случайностей жизнь моя никогда не обходилась. Должны были случиться курьезы и в Лондоне. Я много получал писем и, не зная английского языка, конечно, не читал их. Однажды, вытащив из-под комода какое-то письмо на очень хорошей бумаге, я дал прочитать его человеку, знавшему английский язык. К смущению моему, оказалось, что это письмо жены министра, г-жи Асквит. В нем меня приглашали завтракать. Я опоздал к завтраку у министра ровно на пять дней! Что делать? По законам вежливости, я должен был извиниться. Обратился к дамам, подругам г-жи Асквит,— во всех трудных случаях жизни лучше

всего помогают дамы! Они устроили так, что г-жа Асквит извинила мне мою небрежность и все-таки пригласила на завтрак к себе.

Чудесно живут англичане. Так уютно, так просто в то же время. И чем аристократичнее семья, тем более легко чувствуешь себя в ней. Есть у них какое-то исключительное внутреннее убеждение в ценности каждого человека, кто б он ни был.

Я так часто обедал и завтракал в чужих домах, что счел нужным устроить обед у себя. Посоветовавшись об этом с англичанами и получив от них обещание помочь мне в моей затее, я снял целый этаж какого-то ресторана, а одна почтенная леди заявила, что она непременно желает сама устроить обед, я же должен взять на себя только организацию танцев, музыки, пения и вообще увеселительной части. На этом и порешили.

Обед начался торжественно и чинно. За столом сидели высокородные англичане, немецкий посланник и Лихновский, с женами, испанские маркизы и всяческая знать. Говорили тосты, прославляя искусство. По обязанности хозяина и я тоже должен был сказать тост,— хозяйка вечера очень настаивала на этом. Трудно было мне, бедняге! Но, подумав, я все-таки решился и начал говорить голосом человека, приговоренного к каторжным работам на двадцать лет, речь о том, что искусство — прекрасно, Англия тоже прекрасна и всё вообще очень хорошо, но всего лучше дамы, и что если б не было женщин, так не было бы ни искусства, ни жизни, да и вселенная едва ли существовала бы. На что мне вселенная, солнце, звезды, земля, если нет любимой женщины?

Гости очень весело и охотно согласились с этим.

После обеда пел квартет Чупрынникова, играл мой приятель, польский еврей, Артур Рубинштейн. Публике особенно понравился квартет. Одна барышня, англичанка, из очень высокой семьи, плясала «русскую» и даже вприсядку, и всё это было удивительно мило. Я еще раз убедился, как великолепно и просто держат себя истинно культурные люди.

Я уехал из Лондона счастливый. Я видел каких-то особенных людей. У меня осталось впечатление, что

эти островитяне, при всей их деловой серьезности и высоком уважении к труду, носят в себе что-то удивительно милое, детское и неистощимо веселое.

На следующий год Дягилев снова собрал труппу для Лондона, прибавив к операм первого сезона еще две: «Хованщину» и «Князя Игоря». В последней опере я играл две роли: Владимира Галицкого и Кончака. Нашими спектаклями заинтересовался король. Он приехал слушать «Бориса Годунова» и так же горячо, как вся публика, аплодировал нам. После сцены с видением ко мне в уборную прибежал взволнованный Бигэн и сообщил, что король хочет видеть меня. Идти в ложу короля мне пришлось через зал сквозь публику. Так и пошел в костюме и гриме. Публика поднялась, разглядывая царя Бориса, только что сходившего с ума.

Когда я вошел в ложу, король молча поднялся, и наступило несколько секунд тишины, очень смутившей меня. Затем мне почему-то показалось, что король застенчив, и я решился,— хотя этого не полагается по этикету,— сам заговорить с ним. Я сказал, что невыразимо счастлив играть в присутствии короля такого великолепного народа, каков английский. Он ласково изъявил мне удовольствие, вызванное у него прекрасной оперой, и выразил удивление по поводу простоты, с которой я веду роль. Добродушно улыбаясь, он выразил надежду, что видит русскую оперу в Лондоне не в последний раз. После я слышал от Бигэна и других, что король уехал весьма довольный спектаклем и просил передать его благодарность всем участникам.

Торжественному спектаклю предшествовала маленькая неприятность.

Дело в том, что король не мог быть в театре в день, назначенный им, и английские антрепренеры попросили труппу остаться в Лондоне еще на сутки. Артисты согласились, но хор предложил антрепренеру Бигэну уплатить за излишний спектакль, кажется, по 10 фунтов на человека, в хоре было человек 70. Антрепренер был весьма опечален.

А раньше этого торжественно разыгрался отвратительный скандал с моим участием в нем. В этот сезон почему-то вся труппа была настроена нервно. Еще по

дороге в Париж между хором и Дягилевым разыгрались какие-то недоразумения. Кажется, хористы находили, что им мало той платы, которая была обусловлена контрактами. В Лондоне это настроение повысилось. Отношения хора с антрепризой всё более портились, и вот однажды, во время представления «Бориса Годунова», я слышу, что оркестр играет «Славу» перед выходом царя Бориса, а хор молчит, не поет. Я выглянул на сцену; статисты были на местах, но хор полностью отсутствовал. Не могу сказать, что я почувствовал при этом неожиданном зрелище! Но было ясно, что спектакль проваливают. Мы в чужой стране; публика относится к нам сердечно и серьезно; мы делаем большое культурное дело — представляем Англии русское искусство... Как же быть мне? Необходимо идти на сцену. Оркестр продолжает играть. Я вышел один, спел мои фразы, перешел на другую сторону и спрашиваю какого-то товарища:

— В чем дело? Где хор?

— Чёрт знает, происходит какое-то свинство. Хор вымещает Дягилеву, а что, в чем дело,— не знаю!

Я взбесился. По-моему, нельзя же было в таких условиях вытаскивать на сцену, пред лицо чужих людей, какие-то дрязги личного свойства. Выругав хор и всех, кто торчал на сцене, я ушел в уборную. Но тотчас вслед за мною туда явился один из артистов и заявил, что хор считает главным заговорщиком и причиной его неудовольствия именно меня, а не только Дягилева, и что один из хористов только что ругал Шаляпина негодяем и так далее. Еще более возмущенный, не отдавая себе отчета в происходящем, не вникая в причины скандала и зная только одно — спектакль провалится! — я бросился за кулисы, нашел ругателя и спросил его, на каком основании он ругает меня!

Сложив на груди руки, он совершенно спокойно заявил:

— И буду ругать!

Я его ударил. Тогда весь хор бросился на меня с разным дрекольем, которым он был вооружен по пьесе «Грянул бой»...

Если б не дамы-артистки, находившиеся за кулиса-

ми, меня, вероятно, изувечили бы. Отступая от толпы нападавших, я прислонился к каким-то ящикам, они поколебались; отскочив в сторону, я увидал сзади себя люк глубиною в несколько сажен. Если бы меня сбросили туда, я был бы разбит. На меня лезли обалдевшие люди. Кто-то орал истерически:

— Убейте его, убейте, ради бога!

Кое-как я добрался до уборной под защитой рабочих-англичан. Шеф рабочих через переводчика заявил мне, чтоб я не беспокоился и продолжал спектакль, так как рабочие уполномочили его сказать мне, что они изобьют хор, если он решится помешать мне.

Ну, что ж? Буду продолжать. Я не настолько избалован жизнью, чтоб теряться в таких обстоятельствах. Всё это бывало: били меня, и я бил. Очевидно, на Руси не проживешь без драки.

Обидно было, что английские рабочие оказались культурнее русских хористов да, может быть, культурнее и меня самого.

Спектакль кончился благополучно. Хор добился своего. Публика, очевидно, ничего не заметила. Скандал разыгрался во время антракта, при закрытом занавесе.

После спектакля мне сказали, что человек, которого я ударил, лежал несколько минут без памяти. Я поехал к нему и застал у него на квартире еще несколько человек хористов. Высказав ему свое искреннее сожаление о происшедшем, я просил простить меня. Он тоже искренно раскаялся в своей запальчивости. Плакали, обнимались, наконец пошли все вместе ужинать в ресторан и предали сей печальный инцидент забвению, как это всегда бывает в Суконной слободе. Суконную слободу мы всюду возим с собою.

Английская публика все-таки узнала об этом скандале, но пресса не уделила ему ни одной строчки, насколько я знаю. Англичане нашли, что это наше «частное дело» и не следует обсуждать его публично. Но на родину были посланы телеграммы, излагавшие «очередной скандал Шаляпина». В русских газетах я прочитал множество статей, полных морали и упреков по моему адресу. Писали о том, что вот-де Россия посла-

ла в Европу своего представителя, а он вон что делает, дерется!

О, чёрт вас возьми, господа моралисты! Пожили бы вы в моей шкуре, поносили бы вы ее хоть год! Та среда, в которой вы живете, мало имеет общего с той, в которой я живу. А впрочем, если человек привычен проповедовать мораль, лучше уж не мешать ему в этом, а то он станет еще злее и придирчивее!

Антрепренер Дягилев, возвратясь в Россию, не позаботился объяснить причины скандала и мою роль в нем. У нас не принято придавать значение клевете на человека, хотя бы этот человек и был бы товарищем тех, кто слушает клевету на него.

Во второй мой приезд в Лондон, когда я пришел на оркестровую репетицию, весь оркестр во главе с дирижером был уже на месте. Я вышел на сцену, приблизился к рампе, и дирижер представил меня музыкантам, оркестр встретил меня аплодисментами.

Как и в других театрах, музыканты здесь работали определенное количество часов в день. Шла репетиция «Псковитянки». Не то мы ждали декорации, не то кто-то с кем-то спорил, но репетиция затянулась. Пробило 4 часа, музыканты должны были кончать. Дирижер Купер обратился ко мне и сказал, что он сейчас отпустит музыкантов, а мне предлагает петь оперу без репетиции. Меня лично это нисколько не взволновало; я свою роль знал и, в сущности, репетировал исключительно для других. Я со сцены ответил ему, что если нельзя продолжать, то делать нечего, придется петь без репетиции. Говорили мы по-русски. В оркестре никто не понимал, о чем идет речь, но музыканты за нами следили. Когда дирижер заявил, что он отпускает оркестр, какой-то почтенный седовласый музыкант-скрипач поднялся со своего места и что-то сказал дирижеру. Дирижер обратился ко мне и перевел, что так как оркестр догадался, в чем дело, то предлагает г. дирижеру и г. Шаляпину закончить репетицию. Это было поистине очень трогательно. Мы, русские, у себя дома к такого рода любезности, к такого рода любовному отношению к делу и пониманию важности его не привыкли.

Эти симпатичные люди, веселые, скромные, всё

больше и больше располагали меня к себе. С некоторыми из них у меня завязались довольно приятельские отношения. В свободные минуты я приглашал то того, то другого из них к себе на чашку чая, а однажды в свою очередь получил приглашение прийти к одному из них. Мы поехали с Купером вместе. Музыкант жил в скромной улице, в небольшом уютном домике. Квартирка его была очень бедна. Однако в ней всё было как-то особенно уютно, удобно и красиво. Пришло еще несколько музыкантов; они сыграли нам квартет Чайковского и еще что-то из Бородина; играли очень хорошо, с большим подъемом и любовью. Потом мы пили чай, кушали бутерброды, курили и разговаривали друг с другом как могли, но все как равные.

Когда я вышел из этого милого дома, прослушав чудное исполнение русской музыки, я невольно вспомнил другой вечер в Москве. Артисты и музыканты собрались в ресторане чествовать Цезаря Кюи. Сидели, обедали. Всё было хорошо. Но к концу некоторые выпили больше, чем следует, и вдохновились, начали говорить речи. Один из музыкантов, в ответ на предложенный за мое здоровье тост, неожиданно заявил:

— Конечно, Шаляпин — знаменитость. За его здоровье всегда пьют, а сам он — больше всех. Но ведь здесь мы собрались не для такой дутой знаменитости, как господин Шаляпин. Если пить, то мы должны всё время пить за здоровье Цезаря Кюи! Я кончил.

«Лучше бы ты не начинал»,— подумал я.

Настроение создалось отвратительное. Не сдержись я, могло бы произойти что-нибудь худшее.

Уж таково мое несчастье, но всегда, когда мне случалось бывать на разных таких собраниях,— были ли то художники, музыканты, артисты или литераторы,— почти каждое собрание оканчивалось каким-то совершенно неожиданным и нелепым скандалом. Я ли виноват в этом? Может быть, и я, но — конечно — не всегда. Зависть, которую я возбуждаю в людях,— вот что виновато чаще всего. Теперь я стараюсь избегать «дружеских» собраний: на них слишком часто повторяется по моему адресу слово «зазнался». Нет, я не зазнался, но у нас часто приходится защищать свое человеческое

достоинство посредством приемов, которые во всякой иной стране недопустимы, я это знаю. Никто, конечно, не думает и не знает, что мне, который так любит общество, людей, народ, тяжело пропускать эти вечера, где могло быть весело, светло и приятно.

Как и в первый мой приезд, мне приходилось бывать на разных обедах, завтраках, и я снова решил устроить для англичан five o'clock tea [1], пригласил приятелей хористов, виолончелиста и аккомпаниатором Похитонова. Английские друзья помогли мне устроить вечер очень изящно и красиво. Собрались художники, журналисты, литераторы, один из великих князей с женой, наш посланник, г-жа Асквит, принцесса Рутланд, леди Грэй, г-жа Уокер, Роза Номарш. Великолепно пел хор! Изумительно! Все хористы поняли, что они представляют русское искусство, и с поразительной красотой исполняли русские песни, а также и церковные песнопения. Наша церковная музыка вызвала у англичан особенно глубокое впечатление, особенно горячие похвалы.

Много пел я и соло и с хором. Сначала пели всё торжественные и грустные вещи, а потом разошлись, великолепно спели ряд веселых песен, и это сразу изменило тон вечера, приподняло настроение, все вдруг стали проще, милее.

Англичане очень благодарили меня и всех нас за концерт, а на другой день я получил массу любезных писем от моих гостей. Директор Лондонской консерватории восторженно писал, что, прожив много лет и много видев, он никогда еще не переживал ничего подобного пережитому вчера, на концерте. Писем, подобных этому, у меня целая коллекция; они подписаны знаменитейшими именами мира, и каждое из них — восторженный дифирамб русскому искусству.

Я объехал всю Европу, был в обеих Америках: Северной и Южной, я всюду видел — это свободные страны, да! Но нигде я не чувствовал такой широкой свободы, какова она в Англии. Особенно поражали меня митинги Гайд-Парка. Вот говорит социалист, а ря-

---

[1] вечерний чай *(англ.)*.

дом с ним ораторствует анархист. Публика слушает того и другого с одинаковым вниманием и уважением к мысли. Вот католик пламенно защищает религию, и тут же не менее пламенно уничтожает ее атеист. Меня страшно удивляло, когда мне переводили содержание наиболее ярких мест той или другой речи, и, по русской привычке, я смотрел на полицейского. Иногда хотелось даже спросить его:

— Что же это вы, сударь? Как же это вы слушаете подобные ужасы?

Он, полицейский, мужественно и непоколебимо спокойно слушал всё. На его глазах ниспровергали Британскую империю, а он усы покручивает и на хорошеньких женщин одобрительно смотрит! Он — свободный слуга свободного общества,— какое-то невероятное явление!

Однажды приятель англичанин сказал мне, указывая на пламенного оратора:

— Ругает полицию вообще и в частности английскую!

— А полицейский?

— Вот полисмены!

Они слушали речь, расставив ноги, заложив руки за спину, совершенно спокойно, как будто дело шло не о них. Казалось, что они взвешивают, что́ правда в словах оратора и что́ неправда.

Публика расходилась с митингов, распевая песни. Одни пели революционные гимны, другие — церковные псалмы. И ничего! Англия не разваливается от этих песен!

В Гайд-Парке люди располагаются на траве, иногда они даже завтракают, сидя на лужайках, хотя всюду много дорожек, скамеек.

— Чего же они мнут траву? — спросил я приятеля.

— Разве на траве не приятнее сидеть, чем на скамье? — удивился он.

Везде было написано, что парк предоставляется охране публики, и публика действительно не рвала цветов с куртин. У нас бы при такой свободе деревья с корнями выдрали из земли. Однажды, проходя по улице, я услышал музыку; оркестр играл Марсельезу.

Шла огромная толпа женщин, украшенных бантиками. В руках они несли корзины цветов. По бокам процессии шагали полицейские, покуривая трубочки, смешно-важные. Время от времени какая-нибудь женщина что-то кричит, крик подхватывает вся толпа, заглушая музыку. Над толпою густо колыхались разноцветные флаги, знамена, плакаты с надписями. Всё было так цветисто, радужно. Впереди, играя на турецком барабане, идет красивая девушка. Я остановился разинув рот, удивленный этой картиной. Барышня с барабаном подскочила ко мне и обнаружила намерение заткнуть мне рот ударником, но тотчас засмеялась и приколола мне в петлицу цветок. Всё это вышло у нее удивительно весело и мило. Оказалось, что это процессия суфражисток.

Ночами, когда город оголяется, зажиточный люд прячется в дома,— лондонские улицы, как улицы всех городов мира, показывают человечье горе и нищету. Являются какие-то молчаливые испитые женщины с детишками на руках. Когда такой женщине дашь шиллинг, она немедленно несет его в ближайший бар. Алкоголиков в Лондоне множество; днем они незаметны, а ночью становятся видимы, точно гнилушки.

Британский музей — великая и премудрая книга о мировой культуре, книга, написанная удивительно просто и понятно.

Я уехал из Лондона, чувствуя себя окрепшим, помолодевшим.

* * *

Как-то в Монте-Карло Рауль Гинсбург объявил нам, артистам, что мы приглашены в Берлин на несколько спектаклей, а я должен играть там «Мефистофеля», «Дон-Карлоса» и «Севильского цирюльника». Что ж, при хорошем настроении и в аду играть можно. Я еще никогда не пел в Германии и поехал в Берлин с большим любопытством. Ехали почему-то в поезде, специально заказанном великолепным Раулем. Можно бы, конечно, обойтись и без этого, но у Рауля Гинсбурга была некоторая склонность к замоскворецкому раз-

маху, в чем я не без гордости вижу влияние русской культуры на этого интернационального человека.

Ехали весело, останавливались на станциях, где заранее по телеграфу заказывались для нас завтраки и обеды и где собирались люди из ближайших селений смотреть, как мы едим, пьем, поем и даже пляшем. Дорогой в каждом вагоне образовались филиальные отделения Монте-Карло: играли в карты, но главным образом в «носы», то есть проигравшего щелкали картами по носу. Весьма педагогическая игра.

Германия,— извините, пожалуйста! — тоже очень интересная и культурная страна, хотя в ней чувствуется некоторая связанность и тяжесть, не замеченные мною во Франции и Англии. Слишком часто бросается в глаза лаконическая надпись «Verboten». И еще «Abort». Слова эти пишут очень четко, огромными буквами. Я знал, что «verboten» значит «запрещено», а слово «abort» [1], знакомое мне только в одном смысле, долго вызывало у меня недоумение. Такое, казалось бы, благоустроенное государство и вдруг... Странно!

С первых же дней я почувствовал, что, в противоположность соседним культурным странам, в Германии понятие о свободе — чисто философское понятие и подчинено понятию — порядок. Какой-то злой шутник уверял меня, что там люди имеют право рождаться только осенью 13 октября и должны умирать тоже в дни, заранее установленные начальством. Это неправда,— немцы, как и все другие люди, умирают «по вся дни».

По приезде в Берлин мы быстро прорепетировали в Королевском театре все оперы. «Verboten» всячески мешал мне, а также товарищам итальянцам и французам, но дружными усилиями мы его преодолели.

Первым шел «Мефистофель». Как всегда, волнуясь перед спектаклем, я закурил в моей уборной папиросу; явился бородатый, точно каменный, пожарный и сказал мне:

— Verboten!

Указывая ему пальцами на мое сердце, голову и прочие члены, я стал убеждать его, что курить — необ-

[1] уборная *(нем.)*.

ходимо для меня. Он не поверил и произнес длинную речь, в которой я понял только одно слово — «штраф!»

Ну, и пускай штраф, а курить я буду! Он ушел нахмурясь, и мне показалось, что за кулисами готовятся арестовать меня. Тут, на счастье, явился Гинсбург, и я попросил его выхлопотать мне у соответствующей власти разрешение курить. Всемогущий Гинсбург устроил это сложное дело. Снова явился пожарный, принес два ведра воды, поставил их около меня с боков и объяснил, что вода имеет свойство гасить огонь.

— Jawohl! [1] — сказал я.

Успокоенный пожарный вышел из уборной, но встал у двери ее и так простоял весь спектакль. Мне очень хотелось, чтобы он взял в руки брандспойт, но я не знал, как сказать ему это.

Всё, что мы играли, очень нравилось и публике, переполнявшей уютный и милый Королевский театр, и кайзеру Вильгельму, который держался среди публики удивительно просто, словно публика была любезным хозяином, а он её почетным гостем.

«Мефистофель» очень удивил немецких драматических артистов. Кроме Барная, которого я уже знал как режиссера Королевского драматического театра, ко мне в уборную приходили и другие артисты, удивленные тем, что я играю оперу, как драму. Я выслушал немало тяжеловесных комплиментов, построенных очень многословно и прочно.

Император посещал каждое представление, не стесняясь, хохотал на весь театр, перевешивался через барьер ложи и вообще вел себя, как добрый немецкий бурш. В последний вечер мы дали сборный спектакль из разных опер. Я играл в «Севильском цирюльнике». Император перешел в ложу рядом с кулисами и пригласил во время антракта к себе Рено, француза, игравшего Мефистофеля в «Гибели Фауста», меня, Купера и режиссера.

Войдя в ложу, мы увидали Вильгельма, стоявшего, опираясь на правую ногу, с рукою на эфесе шпаги. Он был уже не молод; под усами, лихо закрученными квер-

[1] Так точно! *(Нем.)*.

ху, глубокие морщины; волосы с сильной проседью. Острые глаза серовато-синего цвета и вся его фигура говорили о большой энергии, настойчивости.

— Ведь вы русский артист? — обратился он ко мне на французском языке.

— Да, я артист императорских театров.

— Очень рад видеть вас у себя и восхищаюсь вашим своеобразным талантом. Мне хочется подарить вам что-нибудь на память о нашей стране и нашем театре. Вы поете Вагнера?

— Только в концертах, опер его еще не решался петь.

— А как относятся в России к этому композитору?

Я сказал, что его чтут и любят.

Кайзер взял футляр из рук какого-то высокого человека во фраке и вынул из футляра золотой крест Прусского Орла. Он сам хотел приколоть мне орден на грудь, но ни у кого не нашлось булавки, хотя в ложе были женщины и в их числе — императрица. Улыбаясь, он передал мне орден в руки.

Неловко было мне стоять в костюме Дон-Базилио, в засаленной рясе латинского священника, с ужасной физиономией и невероятным носом. Серьезный тон вовсе не совпадал с моей фигурой и лицом. Я чувствовал это, видя, как все и сам кайзер невольно улыбаются, глядя на меня. Я был очень рад, когда беседа кончилась, хотя кайзер Вильгельм держался очень просто. Чувствовалось, что это властитель могучей страны, но не стесняло. Он умел красиво встать, красиво поднять руку, сказать слово, как настоящий артист. Я думаю, что, признавая императора хорошим артистом, я говорю ему большой комплимент, и я говорю это искренно.

Рено, Купер и режиссер тоже получили ордена и, естественно, были очень польщены этим. Мы решили «спрыснуть» подарок и большой компанией отправились в гостиницу «Бристоль», где я жил. Прицепили ордена к фракам и вошли в зал ресторана. Слуги, до этого дня не обращавшие на нас особого внимания, теперь как-то особенно изгибались пред нами, шаркали подошвами сапог и смотрели на наши кресты благоговейно. Метрдотель сообщил нам, что в погребе ресторана

есть отличные вина, которые подаются только в исключительных случаях; не желаем ли мы? Мы поспешно заявили, что желаем пить отличные вина во всех случаях жизни. Принесли отличное вино. Мы стали пить и произносили чепуховые речи, взаимно поздравляя друг друга прусскими дворянами. Было очень весело. Мы вели себя так забавно, что даже немцы смеялись. Весьма жалею, что в эту ночь среди публики ресторана не было почтенных русских граждан, известных всему миру своим отвращением к алкоголю; вот когда они окончательно убедились бы, что Шаляпин воистину жестокий алкоголик, ибо — увы! — я не стеснялся в потреблении отличного вина, равно как и мои товарищи.

В ресторане было уже пусто и огни наполовину погасли, когда мы нашли, что пора расходиться по постелям. Вино подействовало мне на ноги, и, прежде чем выйти в дверь, я должен был основательно прицелиться к ней. Но сознание было ясно, и я очень хорошо помню, что стрелка часов показывала четыре. Однако я забыл номер моей комнаты. Идти вниз к швейцару и снова подниматься вверх,— на это я не решился. Вот дверь, как нельзя более похожая на дверь моей комнаты. Я отворил ее и вошел.

Невидимый в темноте человек заговорил по-немецки хриплым голосом. Это удивило меня; я спросил, что он делает тут, и объяснил ему, что я пришел к себе спать, а он пусть уйдет,— мне ничего не нужно.

Вспыхнул огонь. С широкой постели вскочила полуплешивая фигура с кудряшками на висках. Притоптывая голыми ногами, этот человек, неприлично одетый и распухший со сна, заорал на меня, сжав кулаки, но, заметив крест на моей груди, перестал волноваться и внушил мне, что я ошибся, что это не моя комната.

— Не моя? В таком случае прощайте, ауфвидерзейн!

Поддерживая под локоть, почтенный человек вывел меня за дверь и оставил в коридоре пред рядом дверей совершенно таких же, как дверь моей комнаты. Но я уже понимал, что своей двери не найду никогда. Поэтому я дошел до лестницы, сел на ступени и, посидев немножко, мирно заснул, как и следует благовоспитанному человеку. Но вскоре меня разбудили люди в зе-

леных фартуках с дьявольскими машинками в руках. Я очень просил их оставить меня в покое. Они не понимали меня, с некоторым ужасом разглядывая золотой крест на лацкане фрака. Тогда, вспомнив, что я заплутался, я собрал все знакомые немецкие слова и сказал им:

— Nommer mein Zimmer — фью! Забыл, понимаете? Zimmerman! Zalz — не зал, а комната — понятно? Черти зеленые, поймите!

Поняли. Нашли мою комнату и водворили меня в оную, где я и проспал целый день. Вот к чему приводят ордена!

Уж если говорить о них, то я должен упомянуть, что мне пожалованы еще: правительством Франции — Крест Почетного Легиона, эмиром Бухарским — звезда и русским правительством — Станислав 14-й степени или 16-й,— орден, который дают министерским курьерам и, кажется, ночным сторожам за беспорочную службу в течение двадцати пяти лет.

Всем известно, что я очень люблю ордена и страстно добиваюсь оных, но я их не ношу, находя, что еще мало имею. Надевал я их только однажды, что было в Москве в 905 году, во дни народных волнений, до «конституции». Жил я тогда в скучном и темном Зачатьевском переулке. Электричество не горело, воды не было и вообще ничего не было,— была всеобщая забастовка. Ходили упорные слухи, что не сегодня — завтра черная сотня начнет истреблять порядочных людей. Мне было грустно. Я сидел дома в полном одиночестве, в халате и туфлях. И вот, желая развлечь себя, я надел на халат все ордена, перекинул через плечо ленту от венка, поднесенного мне, надел на шею подаренные часы, прикрепил к халату и другие подарки небольшого веса и стал ходить по комнате, распевая:

— Последний нонешний денечек...

Как раз в эти минуты ко мне пришел приятель художник, взволнованный событиями. Обрадовавшись ему, я встретил его, забыв о своем маскарадном костюме. Об этом напомнило мне его искреннее и дикое изумленье.

— Что это такое? — вскричал он, испуганно глядя на меня.

Его испуг, его вытаращенные глаза были донельзя комичны. Я сказал ему с грустью:

— Что такое? Да вот, брат, последний день торжества бюрократии!

И снова мрачно запел:

— Последний нонешний денечек...

Художник страшно обиделся.

— Кругом происходит бог знает что,— сказал он сердито и свирепо,— на всех домах становятся какие-то отметки, кресты, и у тебя на двери поставлен углем крест, а ты балаганишь! Разве такими вещами играют? Не дай бог, если увидят тебя эдаким,— расстреляют! И за дело!

Он повернулся и удрал, снова оставив меня в одиночестве и скуке. Итак, единственный раз в жизни воспользовался я своими орденами, да и то они не принесли мне ни пользы, ни удовольствия.

В моем духовном завещании я напишу, что когда у меня начнется агония, люди в цилиндрах из бюро похоронных процессий должны тотчас же, положив ордена на подушки, нести их, не торопясь, на кладбище и там, у могилы, дожидаться меня четверо суток, не взирая ни на какую погоду. Такова моя воля. Вот это будет самореклама!

* * *

В 1904-м году, когда я приехал в Харьков, ко мне пришла депутация от рабочих с предложением спеть что-нибудь у них в «Доме рабочих», созданном на их же собственные средства. Я охотно согласился, скажу больше: согласился с радостью. Это предложение отвечало моей мечте. Давно уже хотелось мне попеть для простых людей, для того народа, из среды которого я вышел. Но это желание, столь трудно осуществимое в наших условиях, возникая, быстро исчезало в суете привычной жизни.

Времени для концерта рабочим у меня не было. Вечером этого дня я пел в опере, а утром, на другой день, должен был ехать в Киев. Решили устроить концерт в «Доме рабочих» днем. День был праздничный. Стояла осень. Темнело очень рано. Зал «Рабочего дома» невелик, а рабочих десятки тысяч, Огромное большин-

ство, конечно, не могло попасть в зал. Поэтому рабочие, оставшиеся на улице, перерезали электрические провода: дескать — «Не нам, так и не вам».

Но публика, собравшаяся в «Доме», немедленно вышла из затруднения, достав откуда-то стеариновые свечи. Получилась очень курьезная картина. Это был не концерт, а какое-то богослужение в темной пещере. Когда я выходил на сцену, по бокам у меня торжественно шагали двое рабочих со свечами в руках. Каждый из них держал по две свечи. Эти двое светили мне, а другая группа освещала аккомпаниатора. Публики я не видал. Предо мною простирался некий мрак египетский, и в нем, не дыша, что-то жило — огромное, внимательное, страшноватое и волновавшее меня. Должен сказать, что никогда я не встречал публики более отзывчивой и внимательной, чем рабочие. Сначала, до концерта, в темной зале стоял адский шум, хохот, крики, и казалось, что нет сил, способных унять этот вулкан звуков. Но у рабочих есть своя дисциплина, которой может позавидовать обычная публика. Стоило только показаться на сцене певцу в окружении свеченосцев, как, буквально в несколько секунд, весь зал онемел, притаился, точно исчезло из него всё живое. Это было изумительно и, я говорю, даже как-то жутко.

Стоя пред этой черной и немой пустотой, я пел романс за романсом, рассказывая о композиторах, объясняя, что тот или другой из них хотел выразить своей музыкой. После каждого романса зал ревел:

— Еще, еще, Федор Иваныч!

Этот крик сотен грудей и глоток, единодушный и мощный, удивительно окрылял меня. Я начал петь в 4 часа и, не замечая времени, не испытывая утомления, допелся до того, что рядом со мною на сцене очутился антрепренер оперы, умоляя меня идти скорее в театр, где уже собралась и скандалит «дорогая» публика. Не хотелось мне уходить из этой необычной, удивительно приятной обстановки. Но надобно было кончить концерт.

Я обратился к рабочим с предложением петь хором. Они шумно согласились. Спели «Ой у лузи», потом «Вниз по матушке по Волге», но всё это не подходило к

настроению. Тогда я предложил спеть «Дубинушку», и хор спел ее с удивительным подъемом. Хотя и в темноте,— ибо свечи уже догорели, на сцене мерцала только одна,— я все-таки дирижировал, размахивая рукою. Антрепренер тащил меня за полы. Пришлось кончить концерт. Я простился с рабочими одновременно и в повышенном настроении и в грустном. Хорошо было на душе, но как будто оторвалось от нее что-то.

Рабочие схватили меня могучими руками, подняли и вынесли со сцены на улицу.

— Спасибо! — кричали они.

А я отвечал:

— Вам спасибо, дорогие товарищи.

И все испытывали очень радостное настроение, все, кроме одного, который сидел где-то за кулисами и дрожал. Это — Исай Григорьевич Дворищин, ныне почетный гражданин, а в ту пору — друйский мещанин. Исая Дворищина я знал давно. Разъезжая по разным городам, я часто замечал среди хористов бойкого и веселого юношу лет 18-ти. И на репетициях, и во время спектаклей эта ловкая, неутомимо живая фигурка остроумно потешала и артистов, и публику, придумывая какие-то очень комические штуки и вставляя их как раз тогда, когда артистов или публику угнетало уныние. Он всегда удивительно тонко понимал настроение среды и, комик по природе своей, чрезвычайно легко вносил в него свой юмор. Шутки его и анекдоты изобличали в нем талантливого человека, порою прямо чаровали меня. Я очень скоро почувствовал к нему симпатию, и наши отношения стали отношениями добрых товарищей. Исай Дворищин — еврей. Жизнь очень запугала его, не однажды зло смеялась над ним, но не вытравила из него ни чувства собственного достоинства, ни горячей любви и тонкого чутья ко всему прекрасному.

Когда мне приходится усомниться в том или ином понимании роли, я обращаюсь к Исаю, и он умеет сделать всегда очень верное замечание. Он немножко любит рядиться в костюм шута, но это его способ самозащиты от грубостей злой жизни. Редкие чувствуют под шутовским нарядом честную душу и острый ум человека, много испытавшего и знающего цену жизни, людям.

Игра, которая наиболее удается ему,— это изображение страха пред начальством, начиная с городового и кончая высшими чинами, представляющими безграничие власти. Это он показывает мастерски, так, что иногда думаешь: а ведь он и в самом деле панически боится властей! Боязнь, которая у нас на Руси и не еврею знакома, а уж для еврея-то почти обязательна!

Так вот этот самый Исай после пения «Дубинушки» начал умолять меня:

— Бога ради, Федор Иванович, бегите скорее из этого «Дома»!

— Почему?

— Как почему? Вы же знаете, что начальство может привезти пушки и расстрелять и вас, и публику, и меня, и всё!

— За что?

— А что вы поете? Ага?

— Ну, какие пустяки!

— Пустяки? Если начальству «Исайя, ликуй!» не понравится, то оно вас и за «Исайя, ликуй» расстреляет!

Но пушек не подвезли, и всё обошлось вполне благополучно.

— До следующего раза,— объяснил Исай.

Слух о концерте для рабочих в Харькове тотчас же дошел до Киева, и когда я приехал в этот город, ко мне тоже явилась депутация киевских рабочих, предлагая устроить концерт для них. Случайно я знал, что в Киеве свободен цирк, где могло поместиться 4—4½ тысячи людей. Уговорившись с рабочими, я отправился к начальству хлопотать о разрешении концерта в цирке. Генерал-губернатором Киева в то время был Сухомлинов, которого я не однажды встречал уже у Драгомирова, этого остроумного человека и широкой русской натуры. Сухомлинов казался мне человеком очень скромным, он всегда молчал, держался в сторонке, но почему-то я не решился сразу поехать к нему, а поехал к Савичу, губернатору. Выслушав мою просьбу, Савич решительно сказал:

— Невозможно!

Я всячески убеждал его, указывая на то, как редко для меня выпадает возможность петь для простого на-

рода и как необходимо знакомить народ с искусством. В ответ на мои убеждения почтенный и милый г. Савич позвал меня к себе в кабинет и там показал мне курьезный документ: бумагу охранного отделения с надписью — «Секретно». В бумаге сообщалось, что, по сведениям охранного отделения, Ф. Шаляпин дает концерты в пользу революционных организаций и что поощрять таковую деятельность не надлежит.

Это было нелепо и не содержало в себе ни капли правды. Я по натуре моей демократ, я люблю мой народ, понимаю необходимость для него политической свободы, вижу, как его угнетают экономически, но я никогда не занимался делом, приписанным мне охранным отделением. Г-н Савич, видимо, поверил моей искренности и разрешил устройство концерта, взяв с меня честное слово, что этот концерт не обратится в политическую демонстрацию. Я дал это честное слово и предложил даже отрубить мне руки, ноги, голову, если произойдет что-либо, выходящее из рамок концерта. Я был уверен, что рабочие умнее и дисциплинированнее, чем о них думает администрация. Это не хулиганы, не уличный сброд. Но я сказал, что сам лично отвечаю за порядок только в том случае, если не будет полиции. На это условие долго не соглашались, но наконец я получил разрешение и радостно сообщил его рабочим, которые дожидались меня в гостинице.

Накануне концерта рабочие пригласили меня к себе в слободу, где я снова увидал забытую мною жизнь Суконной слободы: те же хибарушки, та же бедность и тараканья обстановка, только пьяных не было да никто не ругался. Настроение жителей слободы показалось мне праздничным. Люди были чисто одеты, приятно улыбались, смотрели на меня ласково, точно на старого знакомого, приглашали зайти в их хибарки, и когда я заходил, угощали меня и чаем и вином. Всё это было удивительно задушевно, просто.

Приближалось время концерта, а я всё еще побаивался, что в последнюю минуту полиция запретит мне петь. Но тут помог милый мой Исай. Он бегал по участкам, рассказывал приставам анекдоты обо мне, изображал меня в уборной театра, в вагоне и т. д. Он умеет

рассказывать про меня так уморительно, что люди со смеху покатываются. Вся эта его беготня по киевским участкам очень помогла нам, но все-таки в день концерта, когда я сидел в ванне, вбежал Исай и тревожным шёпотом сообщил:

— Пристав идет!

— Что такое? Зачем?

В соседнюю комнату действительно кто-то вошел, звякая шпорами. Тогда Исай сказал мне:

— Это я сам пригласил его в гости. Вы извините меня! Он милый человек, и его надо угостить, обласкать. Он очень милый человек, но,— кто его знает,— он может и повредить нам.

Приняв тон забулдыги, я пригласил пристава в ванную, извинился, что являюсь пред ним голый, и предложил закусить со мною, сказав, что одно из величайших удовольствий жизни моей — пить водку, сидя в ванне. Живо сервировали «закуску» на табурете. Пристав сел на другой и, выпивая, начал беседу о разных невзгодах жизни вообще, а полицейской — в особенности. Пить мне было противно, но я делал вид, что это самое естественное и приятное для меня, а пристав, называя меня «русским баяном», доказывал мне, что самая окаянная жизнь — это полицейская.

Он не только не обиделся на то, что я принял его в ванне, но очень мило говорил:

— Чёрт знает, до чего это оригинально! Бывал я в разных положениях, на разных приемах, но впервые пью водку с человеком, который сидит в ванне! Жаль — мала ванна! А то бы и я залез. Сидели бы мы друг против друга и у каждого бутылка в руке, а?

Исай, восхищаясь этой идеей, сочувствовал тяжкой жизни полицейского человека и всё говорил, что уж наш-то концерт не может доставить полиции никаких хлопот.

— Уж Федор Иванович не подведет вас, будьте покойны!

Мы расстались с приставом друзьями, и действительно я не желал подводить ни полицию, ни кого-либо другого. Но мы забыли учесть одно очень важное условие: рабочих в Киеве было несколько десятков тысяч,

а цирк, в самом лучшем случае, мог вместить тысяч шесть — семь.

В день концерта, с 4-х часов утра, по улицам Киева «пошли народы». Остановился трамвай на Крещатике, толпа заткнула всю ширину улицы. Перед цирком копошилась живая икра, гудела земля. Прибежал Исай и, сообщив об этом, рассказал еще, что на его глазах разносчик, торговавший открытками, сказал кому-то, кто хотел купить у него мой портрет: «Если ты еще раз спросишь открытку этого проклятого жида Шаляпина, так от твоей морды ничего не останется!»

— Федор Иваныч, в народе говорят, что вы еврей, ей-богу! Изобьют вас! Давайте убежим! Чёрт его дери, концерт!

— Не дури!

— Нет, право. Убежим? Говорят, войска вызваны!

Действительно, мимо окон нашей гостиницы, которая помещалась рядом с цирком, прошла пехота, а вслед за нею какая-то кавалерийская часть, раздвигая публику. Я был уверен, что концерт запретят, и надеялся лишь на то, что полиция не пролезет сквозь толщу толпы до начала спектакля.

Мы сами, участники концерта, очутились в курьезной невозможности попасть в цирк. Как ни умолял Исай пропустить нас, толпа, при всем ее желании, не могла сделать этого, а только проглотила Исая и он где-то долго кричал:

— Стойте! Позвольте! Я участвую... я в концерте! Черти...

Но в цирк пройти было необходимо. Тогда я предложил пробраться через окно гостиницы на крышу цирка, что и было принято моими храбрыми товарищами: скрипачом Аверьино и пианистом Корещенко. Вылезли в окно, пробрались по карнизу к водосточной трубе, а по ней спустились на крышу цирка. Для меня это было делом легким, привычным с детства. Но очень трудно пришлось Аверьино, круглому толстенькому человечку, и Корещенко, мечтательному, изнеженному, как турецкий паша. Это было очень комическое путешествие, если смотреть со стороны, но мы не смеялись. Кое-как, помогая товарищам, я провел их по крыше до окна в конюш-

ни, спустил в окно, и наконец мы очутились на арене цирка, на дне огромной чаши, края которой облеплены сотнями людей, невообразимо шумевших.

Нас встретили оглушающим криком: ура!

А какой-то сильно подвыпивший человек вылез на арену и, размахивая руками, заявил мне:

— Здесь нет буржуев! Кто здесь буржуи? Что для буржуев?

Рабочие моментально убрали его, и концерт начался. Не хвастаясь, скажу,— пел я, как никогда в жизни не пел! Настроение было удивительно сильное, возвышенное. После каждого романса раздавался какой-то громовый удар, от которого цирк вздрагивал и трещал. Пел я много, не чувствуя усталости, не желая остановиться. Но все-таки необходимо было кончить,— время подвигалось к полуночи. Публика начала требовать, чтоб я запел «Дубинушку».

Я сказал:

— Давайте хором петь, все!

— Хорошо, просим! — ответили мне сотни голосов.

Много раз певал я «Дубинушку», пел ее с большими хорами, с великолепными оркестрами, но такого пения не слыхал никогда до того дня, когда хор в 6000 человек грянул:

«Эх, дубинушка, ухнем!»

Не только мы, концертанты и рабочие, заплакали от прилива восторженного чувства, но даже переодетые жандармы и полицейские подтягивали нам со слезами на глазах.

О присутствии в цирке переодетых жандармов и всяких людей из охраны мне сказали рабочие, узнавшие некоторых замаскированных стражей порядка и благочиния.

Концерт кончился прекрасно. Рабочие разошлись в полном порядке. Киев остался на своем месте. Россия нисколько не пострадала, а я пережил один из лучших дней жизни.

Мне очень хотелось бы ежегодно устраивать для рабочих один или два концерта, но должен сказать, что это сопряжено почти с неодолимыми затруднениями и огромной затратой сил.

Великим постом 1915 года я затеял спектакль для рабочих в петроградском Народном доме. Я считал это необходимым: год тяжелый, настроение рабочей массы удрученное. Хотелось ввести в трудную жизнь рабочих людей что-нибудь праздничное, яркое.

Мои друзья помогли мне распространить билеты на концерт через больничные кассы при фабриках и заводах, и дело шло хорошо, гладко. Но за несколько дней до спектакля на Охте случилось несчастие: взорвало одну из мастерских порохового завода. Были крупные жертвы. Официальное сообщение о несчастии запоздало, как всегда, и это еще более усилило тревогу. Администрация Народного дома стала говорить, что спектакль, пожалуй, несвоевременен. Я же считал, что печальный случай на Охте, увеличивая общее впечатление всемирной бойни, тем настоятельнее повелевает мне внести в тяжкий день то хорошее, на что я способен.

Накануне спектакля градоначальник по телефону предложил мне отменить спектакль, потому что, по сведениям градоначальства, кто-то собирается устроить мне скандал во время спектакля. При всем уважении моем к градоначальнику я не поверил сведениям, сообщенным ему, и, ответив, что скандала не боюсь, попросил разрешить спектакль. Градоначальник повторил, что спектакль будет сорван, да еще так, что инициатором срыва сделают меня же самого. Когда я предложил разрешить спектакль, градоначальник заговорил о несчастье на пороховом заводе и о том, что спектакль произведет дурное впечатление на массу рабочих. В конце концов он сказал, что запретит спектакль, и часа через два прислал мне заявление об этом, но — по смыслу заявления выходило, что спектакль не администрацией запрещается, а я сам отменяю его. Этот разговор происходил ночью. Было уже часа два. Газеты заканчивали набор, и заметку об отмене концерта нужно было сдавать сейчас же в печать. Все волновались, особенно Исай. Он говорил:

— Когда вы, Федор Иванович, умрете, начальство искренно скажет вам спасибо!

Наконец я почтительно заявил градоначальнику, что с доводами его не согласен и что, если ему не угодно

взять на себя инициативу запрещения спектакля, я ни в каком случае не соглашусь отменить спектакль. На этом и покончили. Было уже 6 часов утра, а спектакль начинался в 2 часа дня. Издерганный переговорами и бессонной ночью, я был уверен, что первое мое выступление пред рабочими в оперном спектакле не удастся мне так, как я хотел бы.

Но всё обошлось не только благополучно, а и прекрасно. Перед началом спектакля я видел, что все мои друзья, и особенно Исай, стараются держаться бодро, но мои друзья,— к чести их скажу,— плохие актеры, и было ясно, что они чего-то ждут, боятся за меня. Но у меня нервы были уже притуплены. Я думал только об одном — как бы сыграть «Бориса Годунова» возможно лучше.

Когда я вышел на сцену, четыре тысячи публики встретили меня каким-то каменным молчанием, но тотчас же, как только я пропел первый выход, весь зал изумительно дружно отозвался каким-то особенным, коротким и резким рукоплесканием. Воистину рукоплескало единое существо, и снова я почувствовал, что рабочая масса удивительно дисциплинированна и единодушна.

После этого, в антракте, я испытал реакцию, которая была естественна после целых суток напряжения: я заплакал и уже продолжал играть вполне легко, свободно и с большим подъемом. Рабочий народ не скупился на одобрения и каждый раз давал мне почувствовать свое единодушие. После спектакля счастливый Исай сказал мне, что публика просит меня выйти на сцену без грима. Я вышел и был дружески встречен криками — спасибо!

А выйдя из театра, я увидал толпу рабочих, чинно стоявших шпалерами. Ласково прощаясь со мною, они пропустили меня к автомобилю с такой деликатностью, которая положительно восхитила меня. Это мелочь? Нет! Эта деликатность свидетельствует об уважении рабочих к человеку-артисту. В той публике, которой я служу, это уважение не так развито. Моя обычная публика смотрит на меня, как на человека, которому она платит деньги и которого поэтому считает

принадлежащим ей, обязанным преклоняться пред нею.

Этот прекрасный спектакль был бесплатным, но рабочие заявили мне, что они не желают слушать меня даром, и предложили следующий спектакль сделать платным, а деньги отдать в фонд Народного университета имени Л. Н. Лутугина. Так мы и сделали. Второй спектакль для рабочих я устроил платным, и фонд получил, кажется, три тысячи рублей.

Не знаю, что будет, но повторю — мне искренно хочется ежегодно устраивать дешевые спектакли для рабочих, хотя это и сопряжено с огромными трудностями. Администрация по какому-то недоразумению относится к этим спектаклям неблагожелательно. Артисты оперы более или менее чужды этой идее, да и не легко для них участвовать в такого рода представлениях. Театр принадлежит антрепренеру, который его арендует, и не склонен отдать вечер дешево. Хлопоты по устройству таких спектаклей требуют большой затраты времени и сил: трудно преодолевать равнодушие и, часто, злое нежелание разных сил. Но все-таки я буду устраивать подобные спектакли. Они так радуют меня и, я надеюсь, не бесполезны для людей, трудом которых живет наша страна.

* * *

Отец мой пережил мать. В 1896 году, когда я пел в Нижнем, он приехал ко мне с братом, которому в то время было лет десять.

Худой, угрюмый, отец был молчалив и настроен как-то недоверчиво ко мне и ко всему, что окружало меня. Кажется, он не верил даже стулу, на котором сидел. Мой заработок казался ему баснословным. В это он тоже сначала не верил, но вскоре убедился, что мальчишка, которому он советовал идти в дворники, действительно зарабатывает сказочные деньги. Он стал ходить в театр на спектакли с моим участием, но никогда и ничего не говорил мне о своих впечатлениях. Только увидав меня в «Русалке» и в «Жизни за царя», он как-то за обедом, пристально посмотрев на меня, неожиданно сказал:

— Чёрт знает, кругом эдакие господа сидят и вообще... а ты им мужика в лаптях валяешь! Это ловко!

Другой раз он устроил в театре такую сцену. Когда публика стала вызывать меня, он почтительно — в трезвом виде он оставался таким же почтительным и вежливым, каким был,— обратился к сидевшему рядом с ним генералу:

— Ваше превосходительство!

Превосходительство удивленно и строго посмотрело на странного соседа в длинном сюртуке бутылочного цвета, в мягкой, измятой рубашке, с галстухом веревочкой.

— Что вам угодно?

— Слышите, ваше превосходительство, Шаляпина кричат!

— Ну, что же такое? Вызывают...

— Это моя фамилия, ваше превосходительство!

— Очень хорошо. Но вызывают не вас, как я понимаю, а Шаляпина-артиста...

— Так это — сын мой...

Генерал посмотрел на него и промолчал, но в антракте справился у кого-то, действительно ли он сидит рядом с отцом Шаляпина, и уже в следующий антракт беседовал с ним добродушно.

Отцу не нравилось жить у меня. Однажды, в пьяном виде, он откровенно заявил мне, что жить со мною — адова скука. Пою я, конечно, не плохо, мужиков изображаю даже хорошо, но живу скверно, водки не пью, веселья во мне никакого нет, и вообще жизнь моя ни к чёрту не годится.

Он часто просил у меня денег. Возьмет и исчезнет. Перезнакомился с мастеровщиной, сапожниками и портными, ходит с ними по трактирам и посылает оттуда ко мне за деньгами разных джентльменов, не твердо стоящих на ногах. Эти присылы скоро стали настолько частыми, что, боясь за здоровье отца, я перестал давать ему денег. Но тотчас вслед за этим услышал своими ушами, как он, остановив на улице прилично одетого человека, говорит ему:

— Господин, я родной отец Шаляпина, который

поет в театрах. Эта Скважина не дает мне на выпивку. Дайте на полбутылки отцу Шаляпина!

Я привел его домой и начал пенять: что он делает? Он угрюмо молчал.

Не раз приходилось ловить его на улицах пьяного за попрошайничеством и чуть не со скандалом везти домой. А однажды зимою я запер его в комнате, сняв с него сапоги, чтоб он не мог уйти из дома и в мое отсутствие. Он долго стучал в дверь, ругаясь и убеждая выпустить его. Потом умолк.

«Заснул! Слава богу!» — подумал я. Но каково было мое удивление, когда, отворив дверь в комнату, я никого не нашел там! Отец вылез в форточку окна, точно акробат, и, несмотря на мороз, снег, босиком ушел в трактир.

Как ни уговаривал я его воздержаться от пьянства или хотя бы пить дома, это не помогало. Да и сам я видел, знал всю бесполезность убеждений моих. Пьяный, отец становился общительным, ему необходима была компания, он должен был идти в трактир.

Наконец он сам заявил мне, что больше не может жить в Москве. Город и всё содержимое его не нравится ему. Он желает ехать к себе в деревню. Я согласился с ним, что в деревне ему будет лучше, и, оставив брата у себя, отправил отца в Вятку.

Но из Казани мне написали, что, добравшись туда, отец пропил деньги, одежду, купил на толкучем рынке солдатскую николаевскую шинель и пошел в Вятку пешком. Он почему-то очень любил николаевские шинели и, помню, еще в детстве моем, рассказывал мне, что шел из Вятки до Казани в солдатской николаевской шинели.

Ходило в этой шинели по Руси геройское горе, привлекая к себе сочувствие народа, понимающего толк в горьком житье, как никакой иной народ, и, видимо, с той поры николаевская шинель стала способна возбуждать больше сочувствия деревень и вызывать на щедрое даяние.

Добравшись до деревни, отец написал мне, что хочет строить избу и чтоб я прислал ему денег. Денег я ему

послал, но избу он не выстроил, а до конца жизни снимал у одного из мужиков ветхую хибарку.

Перед тем как мне пришлось впервые ехать в Милан играть «Мефистофеля», я получил от отца письмо. Он извещал, что чувствует себя очень плохо и хотел бы перед смертью повидаться со мною. Я тотчас же собрался и поехал к нему из Пензенской губернии в Саратов, пароходом до Казани и Вятки, а затем до Медведок сто верст на лошадях. Когда я нанял лошадей, какой-то земляк, с досады, что не его наняли, сказал характерным вятским говорком:

— Лико, он те дорогой те укокошит!

Другие ямщики запротестовали:

— Что вруны врешь! Лико, сам-от он не укокошил ба, эвона какой могуцей! Разок даст в толы-те, дак семеро дома подохнут!

Мне вспомнилось, как, бывало, в дни моего детства к отцу и матери приходили люди этого говора, называвшие глаза — толы и говорившие вместо «гляди-ко» — «лико».

По грустным полям, мимо жиденького хвойного леса приехал я в Сырцово, Шаляпинки тож, маленькую деревушку среди голых полей. Спросил какую-то бабу, где тут живет Иван Яковлев Шаляпин. Она ответила вопросом:

— А ты чьих будешь?

— Сын его.

— Дак иди в ту избу, чо ли...

В избе ужасно пахло гнилью, гудела туча мух, сновали тараканы, по полу ходили куры, безуспешно уничтожая их. Свет едва проникал сквозь стекла окон, измазанные грязью, засиженные мухами. В углу, на лавке, среди какого-то грязного тряпья, лежал отец, худой, как скелет, с заострившимся носом. Щеки его провалились, скулы высунулись. Кроме него, в избе была какая-то встрепанная баба, с равнодушными глазами на стертом деревянном лице. Когда она вышла, отец тихо, с натугой сказал:

— Воровка. Обирает, обкрадывает меня. Пока был здоров, еще ничего, а теперь плохо. Шабаш, Федор!

Я видел, что в этой обстановке невозможно жить. Тут и здоровый заживо сгниет. Тогда я тотчас же от-

правился в село, в земскую больницу, верст за восемь от Шаляпинки. Попал как раз на прием, застав огромную очередь баб с ребятишками, старух, стариков. Откуда-то явился полупьяный человек мещанского вида с подвязанной щекой, уперся в меня осоловевшими глазами и спросил:

— Ты за каким чёртом? Эдакий бычище, а по больницам ходишь!

— Я насчет отца.

— Какого отца? Шаляпина, Ивана? Знаю! Захворал он, да. Теперь пьянствовать не с кем мне. А ты кто ему?

— Да вот, он мне отец...

— Стало быть, ты ему сын? Гляди, пожалуйста!

Пьяный говорил громко, не стесняясь. Мужики и бабы окружили меня. Из их расспросов я понял, что отец рекомендовал меня деревне как «песельника». Кто-то спросил меня, правда ли, что в Москве есть зеленое «листричество», которое, бегая по проволоке, гоняет вагоны. Часа два, в ожидании моей очереди у доктора, я беседовал с земляками и, видимо, понравился им, потому что человек с подвязанной щекою задумчиво сказал:

— Ты гляди, ребята, шаляпинский, а какой выродок!

Врач принял меня довольно сухо, усталым голосом спросил, в чем дело, долго размышлял и наконец заявил мне, что завтра приедет взглянуть на отца. Приехал, посмотрел и сказал, что положение серьезно и едва ли есть смысл везти отца в больницу. Действительно, отец задыхался, кашлял непрерывно и всё выплевывал шматки чего-то, что издавало зловоние гнилого мяса. Но в конце концов доктор решил все-таки перевезти отца в больницу, где ему отвели отдельную комнату, очень приятную, чистую. Приказав сделать больному ванну, доктор позвал меня к себе пить чай и стал говорить, что, пожалуй, положение не так серьезно, как это показалось ему, и что, может быть, старик еще поживет.

Мне нужно было ехать в Милан. Я простился с отцом и поехал, а в Москве получил телеграмму доктора, что отец умер на другой же день после моего отъезда.

Брат говорил мне, что отец умер очень спокойно, до последней минуты разговаривал с ним, а потом повернулся на другой бок и как будто сразу уснул.

* * *

Странствуя с концертами, я приехал однажды в Самару, где публика еще на пароходе, еще, так сказать, авансом, встретила меня весьма благожелательно и даже с трогательным радушием.

Утром на другой день я отправился на кладбище, где лежала моя мать, умершая от непосильной работы и голода. Умерла она в земской больнице, и мне хотелось знать, где ее похоронили, чтобы хоть крест поставить над могилой. Но никто — ни кладбищенский сторож, ни причт церковный — не мог сказать мне, где хоронили бедных из больницы в год смерти матери. Только какой-то священник отвел меня в угол кладбища, заросший сорными травами, и сказал:

— Кажется, здесь.

Я взял комок земли, который храню и до сего дня, отслужил панихиду, поплакал о матери, а вечером, во фраке, с триумфом пел концерт. Как будто так и надо...

* * *

Из Лондона я переехал в Париж, предполагая потом перебраться в Карлсбад для отдыха и лечения. Это было 25 июля, и по улицам вечного города уже ходили толпы народа, жадно и тревожно читая телеграммы в витринах газет. Говорили о войне. В тот же день, обедая с одним видным банкиром, я спросил его, насколько серьезны слухи о войне. Он уверенно сказал:

— Войны не будет!

Так как, по общему мнению, международную политику делают банкиры и уж им-то надо знать, будут люди драться или нет, решительное заявление моего собеседника успокоило меня. Вечером я купил билеты и поехал в Германию. Но часа через два-три наш поезд остановился, и нам предложили очистить его; дальше он не шел. Война была объявлена. В Париж поезда тоже

не шли. Лошадей моментально мобилизовали, и я остался с моими чемоданами на какой-то маленькой станции, среди французов, деловито озабоченных и как-то сразу посеревших. Чтобы облегчить возвращение в Париж, я открыл мои сундуки и роздал все вещи, всё платье и покупки бедным людям, оставив себе только самое необходимое. Мелкие деньги моментально исчезли из обращения. У меня в кармане были только билеты по сто и по пятидесяти франков, но их никто не менял. В ресторане, куда я зашел поесть, меня первым долгом спросили:

— У вас какие деньги?

— Французские. Вот!

— Извините, мы не можем дать сдачи.

Но мне хотелось есть, и я предложил:

— Дайте кусок мяса, бутылку вина и возьмите 50 франков за это!

К такому дорогому способу питания мне пришлось прибегнуть не один раз на обратной дороге в Париж, куда я медленно передвигался то пешком, то на лошадях. Я нашел этот способ глупым и стал приглашать на мои завтраки и обеды людей с улицы, тех, которые похуже одеты и не очень упитаны. Знакомился с одним из таких людей и, поговорив с ним минут пять-десять о войне, приглашал его в ресторан. А так как на сто франков в маленьком городке Франции можно поесть и не вдвоем, а вдесятером, я предлагал своему новому приятелю позвать к завтраку его друзей и знакомых. Он устраивал это, и мы истребляли «неразменную бумажку» целиком.

Во время этих завтраков и обедов я убедился, что французы, которых принято считать хвастливыми и легкомысленными, относятся к войне с полным сознанием ее ужаса и в то же время говорят о ней вполне спокойно. Никто не грозил закидать немцев шапками; все сознавали, что война будет длительной и потребует крайнего напряжения сил всей страны.

Париж я увидал озабоченным и нервным. Толпы народа, заполняя улицы, шумели и жестикулировали, но когда немецкий аэроплан бросил первые бомбы и прокламации, в которых предлагалось сдать Париж, эта

прокламация все-таки вызвала бесчисленные остроты и громкий смех.

«Великая германская армия у ворот Парижа!» — возвещала прокламация.

— Войдите! — смеясь, предлагали парижане.

Однако, когда на улице лопнула шина автомобиля, две дамы впали в истерику, что, впрочем, не помешало публике наградить их остротами и смехом. Веселый галльский дух и тут не унывал, хотя каждый час грозил налетом цеппелинов и градом бомб.

В Париже мне нечего было делать, и страшно, впервые за всю жизнь, тянуло на родину. Я переехал в Бретань, на берег океана, в местечко Ла Боль, а оттуда решил перебраться через Ламанш в Англию.

Но в Кале, в английском бюро, где продавались билеты, меня спросили о моей национальности, и когда я сказал — русский, извинились предо мной, заявив, что не могут продать мне билета. Эта линия назначена исключительно для переезда подданным Великобритании.

Вернуться в Париж было невозможно. Оставалось только сообщение на Дьепп, которое тоже каждую минуту могло быть прервано. Я обратился к английскому консулу с просьбой дать мне пропуск на Дьепп и получил от него такой же ответ, как в бюро:

— Не могу. Сначала мы должны обслужить интересы граждан и подданных Англии, а потом будем работать для союзных наций!

Я подумал:

«Однако это очень удобно — быть подданным государства, которое так внимательно к своим людям!»

И только по представлению английского посланника консул Кале выдал мне пропуск на Дьепп, через Париж. Поезд, с которым я ехал, был последним; перед его отходом железнодорожное начальство, входя в вагоны, предупреждало публику, что, если явятся германские разъезды, пассажирам рекомендуется лечь на пол вагонов.

Мой слуга, китаец, служивший переводчиком во время русско-японской войны, страшно всем интересовался, суетился, выбегал на площадку вагона и всё смотрел в небо, в поля, желая увидеть немецкий аэро-

план или разъезд. У меня было с собой два револьвера. Один он взял себе и говорил:

— Дуа ливольвери — очини хороший!

Доехали наконец до Дьеппа. Город и порт был засыпан людьми, как снегом. Люди лежали на улицах, на земле, на грудах товара — всюду. На вокзале Дьеппа я видел солдата бельгийской армии. Выпив вина, предложенного ему французами, он немножко опьянел и всё старался говорить весело, желал рассмешить публику. Видимо, это стоило ему огромного напряжения воли, ибо, несмотря на смешные слова, глаза его были полны жуткой печали. Ободранный, грязный, только что вышедший из-под пуль и снарядов, он производил потрясающее впечатление своим смехом, за которым ему хотелось скрыть скорбь. Тут, глядя на него, я впервые понял, какая трагедия разыгрывается в мире, какую горечь должен испытать человек, родина которого захвачена и ограблена.

Ночью на пароход никого не пускали, и только утром на пристани выстроились в два ряда английские матросы, пропуская публику. Каждый пассажир должен был предъявить свой паспорт, и всё время кто-то возглашал:

— Подданные Англии идут первыми!

Если кто-нибудь из иностранцев пытался пройти раньше англичанина, его останавливали и, лишая очереди, отправляли в конец хвоста ожидавших. И точно так же, когда пароход остановился в английском порту, раздалась команда:

— Первыми сходят на берег подданные Англии!

Я смотрел на это и восхищался отношением государства к своим гражданам. Наверное, многим европейцам было очень неприятно видеть, что им предпочитают чернокожих, толстогубых негров, но негры были английские подданные, и они вошли на пароход первыми, как и ушли с него.

В Англии меня встретили очень сердечно. Мой приезд как раз совпал с нашим отступлением из Восточной Пруссии. Все тревожно и сочувственно спрашивали меня, кто такой Самсонов. Но я не знал, кто он, и, не успев прочитать газеты, не знал о нашем поражении. Чувствовал тревогу вопросов и ничего не понимал, но рисовалось

мне что-то ужасное, и еще более захотелось скорее быть на родине. Знакомые англичане любезно предлагали мне остаться в Англии, указывая на опасности пути, но я выписал телеграммой из России денег и решил ехать.

Чиновник английского банка спросил меня, когда я получал перевод:

— Вам золотом?

Я удивился. Во Франции золота давно уже не было.

— Дайте немного золотом,— неуверенно попросил я.

— Можете взять всю сумму.

Мне нужно было получить 2500 рублей. Чиновник взял совок, какие у нас употребляют в лавках для крупы или муки, зачерпнул им из ящика кучу монет, бросил их на весы и предложил мне. Когда я хотел пересчитать эти взвешенные деньги, он, улыбаясь, сказал:

— Не беспокойтесь, здесь ни на один золотник не меньше!

В Ньюховене, Лондоне и Глазго я с восхищением любовался работой бойскаутов. Эти ловкие мальчики являлись около каждого вагона, предлагая иностранцам свою умную помощь. Особенно трогательно было видеть их отношение к одной еврейской семье. Бойскауты суетились около нее точно муравьи, укачивали и утешали плачущих детей, успокаивали растерявшихся взрослых, шутили, смеялись, увязывали багаж, куда-то таскали его,— всё это делалось удивительно ловко и так человечно, что я расплакался от восхищения. И еще раз ужасы войны стали мне как-то особенно понятны, и еще раз подумалось:

«Какой удивительный народ эти англичане!»

В Глазго, рано утром, мы отправились в порт на пароход «Сириус», старенькое норвежское судно, водоизмещением не более 1000 тонн, узкое и длинное, похожее на яхту. Толпа давным-давно уже заняла все ходы на судно, облепила всю пристань; было ясно, что «Сириус» не может вместить и половину ее. Тогда кто-то, волнуясь, начал говорить, что это старое корыто обязательно перевернется вверх дном и утопит всех нас. Толпа начала редеть, таять, и благодаря этому я не

только попал на пароход, но даже занял место в отдельной каюте, впрочем, очень грязной и пропитанной каким-то убийственным запахом.

Поехали. Был конец сентября. В море стоял туман. Кто-то сказал, что два дня тому назад на нашем пути сел на подводный камень пароход из Северной Америки. Это несколько взволновало публику, но вскоре пароход начало качать и бросать во все стороны, и волнения страха уступили место морской болезни. Трепало нас трое суток, вплоть до Бергена. Заболели даже некоторые из команды, а в каюте стало так жутко и грязно, что я вышел на палубу. Вокруг маленького «Сириуса» вздымались огромные холмы серой воды. Непрерывно шел дождь, мелкий и отвратительный. Я устроился на носу парохода, куда захлестывала волна. Мое непромокаемое пальто моментально промокло, но это не мешало мне чувствовать себя столь же хорошо, как, бывало, на Волге.

Утром приехали в Берген, расположенный у подножья сухих задумчивых утесов. В порту под дождем спокойно работали норвежцы, коренастые, с огромными жилистыми руками, голыми до плеч. Все двигались не очень быстро, но споро, а главное, спокойно, как будто не было в мире никаких тревог. На следующий день я очутился в Христиании, более красивой и оживленной, чем Берген, осмотрел театр, очень красивый, построенный в честь Ибсена и Бьернсона, статуи которых помещены около него в саду. Невольно подумалось:

«Не успели люди умереть, а уж им памятники поставили!»

Спокойный народ норвежцы, а как торопятся почтить своих великих людей! Мы, русские,— люди беспокойные, но до сего дня у нас нет памятников Тургеневу, Достоевскому, Некрасову, да и Лермонтова с Пушкиным всё еще не успели достойно почтить...

Пошел на Промышленную выставку. В контурах ее странных зданий было что-то суровое, невеселое, но меня очень удивило чрезвычайно наглядное расположение экспонатов. Не понимая языка надписей, я совершенно ясно видел и понимал мельчайшие детали рыбного промысла, лесоводства, не только в их современ-

ных приемах, но и в постепенном развитии. Было сразу видно, что эта маленькая Норвегия — страна большой культуры.

Стокгольм веселее Христиании. Живее люди, ярче краски. В саду играет музыка. Какие-то молодые люди идут, распевая песни. На вокзале и на пристанях была удивительно организована помощь русским, возвращавшимся на родину. Всюду ходили девушки и женщины с плакатами, на которых по-русски были написаны разные справки; указывалось, где русское консульство, посольство, какие пароходы идут в Финляндию, с какого вокзала нужно ехать в Торнео. И публика и солдаты — все вели себя так, как будто главнейшей задачей текущего дня для них являлась помощь русским, и эту помощь они оказывали нам замечательно сердечно.

А в Торнео меня поразила веселая девушка финка. Она подавала чай в трактире, всё время мило улыбаясь и тихонько напевая какую-то странную песенку, в которой часто встречалось слово «ауринка». Я спросил, что такое «ауринка».

— Солнце, — сказали мне.

День был тусклый, небо плотно обложено тучами, а девушка поет о солнце. Это понравилось мне, и с этим впечатлением я доехал до Петербурга, который уже переименовался в Петроград.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Андреева — «М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы», изд. 3. М., «Искусство», 1968.

Архив $Г_{I-XIII}$ — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии, 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки, 1969; т. XIII. М. Горький и сын. Письма. Воспоминания, 1970.

Буренин — Н. Е. Буренин. Памятные годы. Воспоминания. Л., 1967.

Г, Материалы — М. Горький. Материалы и исследования. т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1939; т. IV. М.—Л., 1951.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Г Чтения, 1954—1959 — Горьковские чтения, 1949—1952. М., Изд-во АН СССР, 1954; Горьковские чтения, 1953—1957. М., Изд-во АН СССР, 1959.

Г, Статьи — М. Горький. Статьи. 1905—1916 гг. Пг., «Парус» (1918).

ЖЗ — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. X—XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XVI—XVII, 1916.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

Коцюбинский — М. М. Коцюбинский. Собрание сочинений в 4 томах. М., «Художественная литература», 1965.

ЛБГ — Личная библиотека М. Горького.

ЛЖТ$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., АН СССР, 1958—1960.

Лит Насл — Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. «Литературное наследство», т. 72. М., «Наука», 1965.

Луначарский — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.

Овчаренко — А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. М., «Советский писатель», 1965.

Ск ЖЗ — М. Горький. Сказки, т. XVII. Пг., Книгоиздательство «Жизнь и знание», 1915.

Ск Л — Максим Горький. Сказки. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1912>.

Ск КП — М. Горький. Сказки. М., Книгоиздательство писателей, 1913.

ПТ — первопечатный текст.

Шаляпин$_{57}$ — Федор Иванович Шаляпин. Том первый. Литературное наследство. Письма. И. Шаляпина. Воспоминания об отце. М., «Искусство», 1957.

Шаляпин, т. I—II. — Федор Иванович Шаляпин. Том первый. Литературное наследство. Письма. И. Шаляпина. Воспоминания об отце. Том второй. Статьи. Высказывания. Воспоминания о Ф. И. Шаляпине. М., «Искусство», 1959—1960.

В двенадцатый том настоящего издания вошли произведения, написанные Горьким в период с 1909 г. до февраля 1917 г. «Сказки об Италии» после первой публикации трижды выходили отдельным изданием и включались автором в собрания сочинений *ЖЗ* и *К*. Отдельным изданием выходили также «Русские сказки» и позднее включались автором в *К*.

Остальные произведения настоящего тома в собрания сочинений Горьким не включались. «Вездесущее» и «Сказка» были опубликованы при жизни автора. Незаконченное произведение ‹«Испорченная кровь — тот же яд...»› было напечатано после смерти автора.

Впервые в собрание сочинений Горького включаются «Страницы из моей жизни» — автобиография Ф. И. Шаляпина, по инициативе Горького продиктованная Шаляпиным стенографистке, затем обработанная и заново переписанная Горьким.

Тексты двенадцатого тома подготовили: *В. В. Григоренко* («Страницы из моей жизни» ‹Автобиография Ф. И. Шаляпина›; им же написан текстологический комментарий); *Л. А. Евстигнеева* («Русские сказки», «Сказка»; ею же написаны комментарии к этим произведениям); *Л. Н. Смирнова* («Сказки об Италии», «Вездесущее», ‹«Испорченная кровь — тот же яд...»›; ею же написан текстологический комментарий к этим произведениям). Историко-литературный и реальный комментарии к «Сказкам об Италии» написаны *Л. П. Быковцевой*. Вступительная часть комментария, посвященная творческой истории ‹«Автобиографии Ф. И. Шаляпина»›, написана *А. И. Овчаренко*, реально-исторический комментарий — *Е. А. Грошевой*; в комментарии использованы сведения, полученные от *И. Ф. Шаляпиной*.

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

Принципы распределения произведений в томах изложены в предисловии от Института (см. т. I, стр. 5—10).

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*.

I

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

(Стр. 9)

Впервые напечатаны под заглавием «Сказки» и с порядковыми номерами, не совпадающими с окончательной авторской нумерацией:

I, II — в газетах «Звезда», 1911, № 7, 29 января, и «Киевская мысль» *(КМ)*, 1911, № 29, 29 января;

III — в журнале «Новая жизнь», 1911, № 5, апрель;

IV — в газете «Звезда», 1911, № 21, 7 мая;

V, VI, VII — в журнале «Современник», 1911, № 6, июнь;

VIII — в газете «Звезда», 1911, № 29, 12 ноября;

IX — в газете «Киевская мысль», 1911, № 301, 31 октября;

X — в журнале «Путь», 1912, № 4, февраль;

XI — в журнале «Путь», 1911, № 2, декабрь;

XII — в журнале «Запросы жизни» *(ЗЖ)*, 1912, № 1, 6 января;

XIII — в газете «Звезда», 1912, № 1, 6 января;

XIV — в газете «Звезда», 1912, № 6, 2 февраля;

XV — в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1912 год», книга XXXVIII. СПб., 1912;

XVI — в журнале «Запросы жизни», 1912, № 5, 4 февраля;

XVII — в газете «Звезда», 1912, № 17, 13 марта;

XVIII — в журнале «Запросы жизни», 1912, № 23, 8 июня;

XIX — в журнале «Запросы жизни», 1912, № 16, 21 апреля;

XX — в журнале «Запросы жизни», 1912, № 19, 11 мая;

XXI — в газете «Киевская мысль», 1910, № 358, 28 декабря, под заглавием «Праздник»; под тем же заглавием — в газете «Одесские новости», 1910, № 8305, 29 декабря;

XXII — в газете «Русское слово» *(РС)*, 1913, № 1, 1 января, под заглавием «Нунча»;

XXIII — в газете «Русское слово», 1912, № 297, 25 декабря, под заглавием «Ночью»;

XXIV — в журнале «Просвещение», 1913, № 2, февраль (этот номер был конфискован), и в газете «Правда» *(Пр)*, 1913, № 58, 10 марта, как конец рассказа «Вездесущее» (см. выше, *стр. 254*);

XXV — в газете «Правда», 1913, № 87, 14 апреля;

XXVI — в газете «Русское слово», 1913, № 98, 28 апреля, под заглавием «Пепе»;

XXVII — в журнале «Запросы жизни», 1912, № 12, 23 марта.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная (неполная, стр. 4—9) машинопись сказки VIII, первый экземпляр с правкой и подписью автора (ХПГ-45-13-2). Эта машинопись служила наборным экземпляром для газеты «Звезда».

2. Ксерокопия авторизованной машинописи (стр. 1—6) сказки XIII, первый экземпляр с подписью автора (ХПГ-45-13-9). Оригинал машинописи хранится в Болгарском историческом архиве Национальной библиотеки им. Кирилла и Мефодия в Софии. Софийская машинопись служила наборным экземпляром для газеты «Звезда».

3. Авторизованная (неполная, стр. 1, 7, 8) машинопись сказки XIV, первый экземпляр с авторской правкой (ХПГ-45-13-8). Эта машинопись служила наборным экземпляром для газеты «Звезда».

4. Авторизованная машинопись *(АМ)* двадцати двух сказок (I—XXI и XXVII [1]), вторые и третьи экземпляры с авторскими поправками и с перенесением правки автора неизвестной рукой — видимо, с первого экземпляра не дошедшей до нас машинописи. Некоторые сказки — за подписью автора (ХПГ-45-13-1). Эта машинопись служила наборным экземпляром для издания: Максим Горький. Сказки. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, ‹1912› — *Ск Л*.

5. *Пр Ск Л* — печатный текст *Ск Л* (сказки I—XXI и XXVII), правленный автором для *К* (ХПГ-45-13-3).

6. *Пр Ск ЖЗ* — печатный текст *Ск ЖЗ* (сказки I—XXVII). На текст двадцати двух сказок (I—XXI и XXVII) неизвестной рукой перенесена авторская правка из *Пр Ск Л* (ХПГ-45-13-4).

Печатаются: сказки I—XXI и XXVII по тексту *Пр Ск Л*, сказки XXII—XXVI по тексту *Ск ЖЗ* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 49, строка 24: «вьется узкая тропа» вместо «вьется тропа» (по *АМ* и *ЗЖ*).

Стр. 56, строки 35—36: «ее сердце ∽ предки ее» вместо «это сердце с древними камнями, из которых ее предки» (по *Ск КП*).

Стр. 56, строки 38—39: «сердце матери» вместо «ее сердце» (по *Ск КП*).

Стр. 56, строка 40: «подобно весам» вместо «как весы» (по *Ск КП*).

Стр. 56, строки 40—41: «взвешивая ∽ не могло» вместо «взвешивая в нем любовь к сыну и городу, оно не могло» (по *Ск КП*).

Стр. 59, строка 21: «созидает города» вместо «создает города» (по *АМ* и *ЗЖ*).

Стр. 64, строка 38: «и плескал волны» вместо «и плескали волны» (по *АМ* и *ЗЖ*).

---

[1] Сказка XXVII в машинописи и ранних изданиях имела № 22.

Стр. 95, строка 36: «к усам» вместо «к устам» (*Ред.*).

Стр. 96, строка 14: «с сигарой в зубах» вместо «с сигарой в губах» (по *Ск КП*).

Стр. 97, строка 13: «а вообще» вместо «я вообще» (по *АМ* и *ЗЖ*).

Стр. 99, строка 20: «облаках зелени» вместо «облаках земли» (по *Ск КП*).

Стр. 102, строка 3: «Был ли бы ты доволен» вместо «Был ли ты доволен» (по *Ск КП*).

Стр. 112, строка 18: «изменяла мне» вместо «изменила мне» (по *АМ* и *ЗЖ*).

Стр. 117, строка 9: «необоримое желание» вместо «непоборимое желание» (по *АМ* и *Ск КП*).

Стр. 124, строки 19—20: «он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли» вместо «она казалась черной и возбуждала еще более мрачные мысли» (по *Ск КП*).

Стр. 131, строка 2: «кудрявые черные нумидийцы» вместо «кудрявые нумидийцы» (по *АМ* и *КМ*).

Стр. 145, строки 24—25: «огромный рост» вместо «огромный рот» (по *РС*).

Стр. 145, строки 37—38: «точно себе самому» вместо «что-то себе самому» (по *РС*).

Стр. 146, строка 3: «он просил ее» вместо «он спросил ее» (по *РС*).

Стр. 147, строка 24: «выпустив» вместо «выпустил» (по *РС*).

Стр. 148, строка 19: «а ниже ее» вместо «и ниже ее» (по *Пр*).

Стр. 149, строка 20: «пять часов пути до Рима» вместо «пять часов до Рима» (по *Пр*).

Стр. 154, строка 16: «чистил зубы» вместо «чистит зубы» (по *Пр*).

Стр. 163, строка 12: «словно старый злой патер» вместо «словно злой ветер» (по *ЗЖ*).

Стр. 163, строки 20—21: «группа музыкантов» вместо «труппа музыкантов» (по *АМ* и *ЗЖ*).

Стр. 164, строка 1: «ищет в ночи» вместо «ищет во тьме» (по *Ск КП*).

Стр. 164, строки 23—24: «как будто на секунду» вместо «будто на секунду» (по *АМ* и *ЗЖ*).

Стр. 166, строки 19—20: «сдвинулись в тесное кольцо» вместо «двинулись в теспое кольцо» (по *Ск КП*).

«Сказки об Италии» написаны Горьким в период его первого пребывания в Италии (1906—1913).

В этой стране имя Горького было хорошо известно задолго до его приезда. С 1901 г. в переводе на итальянский язык печатались его рассказы, с 1904 г. в театрах Палермо, Рима, Неаполя ставились его пьесы. Широко был известен он и как активный участник русского революционно-освободительного движения. Когда в 1905 г. писатель был заключен в Петропавловскую крепость, протест против этого ареста, вместе с деятелями культуры Франции, Англии, Германии, подписали и италь-

янские писатели Грация Деледда и Эдмондо де Амичис, композитор Джакомо Пуччини, философ Бенедетто Кроче. Группа депутатов итальянского парламента обратилась к своему правительству с предложением потребовать освобождения Горького.

13(26) октября 1906 г. итальянский народ горячо приветствовал великого русского писателя, ступившего на землю Италии в Неаполе. Руководитель Неаполитанской секции социалистической партии Луиджи Боттацци передал Горькому письмо от Энрико Ферри — одного из основателей и виднейшего деятеля Итальянской социалистической партии, главного редактора ее центрального органа — газеты «Avanti». От имени рабочего класса и социалистов Италии Энрико Ферри обращался к Горькому с братским приветом, выражал «солидарность пролетарской и социалистической Италии» («Avanti». Roma, 1906, 27 ottobre).

Сразу же по приезде Горький посетил неаполитанский Национальный музей. «Неподдельное восхищение, которое вызывало в нем то, что ему показывали, свидетельствует о его высочайшей культуре»,— писала о Горьком в связи с этим посещением местная газета («Don Marzio». Napoli, 1906, 26—27 ottobre).

15 (28) октября неаполитанская федерация Всеобщей итальянской конфедерации труда и Неаполитанская секция социалистической партии организовали в честь Горького митинг, на который собрались тысячи людей. Митинг открыл видный деятель Итальянской социалистической партии Джованни Бергамаско, заявив, что Горького «приветствует весь Неаполь» («Avanti». Roma, 1906, 29 ottobre). Вечером этого дня Горький уведомлял З. Пешкова: «Здесь меня встретили торжественно и тепло,— даже городские муниципии присылают телеграммы, поздравляют с приездом» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-46-1). 20 октября (2 ноября) 1906 г. он писал Е. П. Пешковой: «Здесь удивительно красиво всё — природа, люди, звуки, цвета. Тебе нужно быть в Италии. Принят я здесь — горячо. На второй день попал на митинг с Лабриола, мне устроили овацию, а когда мы возвращались с митинга, улицу загородили солдаты, раздался знакомый звук рожка — „готовься!“ — толпа закричала: „Долой милитаризм!“ — и раньше, чем солдаты успели выстрелить, смяла их <...> Загораживали дорогу трижды — без успеха. Подрались немного, конечно» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 19. См. также: *Буренин*, стр. 160—171).

20 октября (2 ноября) Горький приехал на остров Капри, где решил поселиться. «Тотчас же по его прибытии стихийно возникла грандиозная манифестация, в которой приняло участие все население острова» («Avanti». Roma, 1906, 4 novembre).

Природа Капри восхитила Горького, а сердечная встреча жителей — глубоко взволновала.

«Встретила меня Италия удивительно горячо,— повторял он в письме к Е. П. Пешковой с Капри от 6 (19) ноября 1906 г.,— но полиция — следит и переписка под контролем. Один город

предложил мне звание почетного гражданина, местное каприйское общество рабочих выбрало пожизненным членом и проч.»[1] (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 19—20).

Щедрая красота Капри, жизнерадостность и демократизм итальянцев вызвали у писателя творческий подъем. «Работаю — как тысяча чертей»,— писал он К. П. Пятницкому в феврале 1908 г. (*Г-30*, т. 29, стр. 52). «Я еще никогда не писал так охотно и легко, как теперь...»,— сообщал он тогда же Е. П. Пешковой (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 46). Вторая часть повести «Мать», «Последние», «Лето», «Исповедь», «Жизнь ненужного человека», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Жалобы», «Чудаки», «Зыковы», «Васса Железнова», «Сказки об Италии», «Хозяин», «По Руси», «Детство», «В людях» и многие другие произведения были написаны Горьким на Капри.

Горький встречался с представителями итальянской интеллигенции, среди которых были писатели Уго Ойэтти, Роберто Бракко, Ада Негри, Сибилла Алерамо, Джованни Чена, Матильда Серао, актер и драматург Эдуардо Скарпетто, актриса Элеонора Дузе, скульпторы Трентакоста и Компаньоли, общественные деятели Артуро Лабриола, Энрико Ферри и др. Писатель много ездил по Италии, изучал ее историю, архитектуру, скульптуру, живопись. 6 (19) марта 1907 г. он впервые увидел Рим. Осмотр города продолжался пять дней, после чего Горький писал Е. П. Пешковой:

«Только что — 26-е — возвратился из Рима — он произвел на меня удивительно сильное впечатление. Мне кажется, что я впитал в себя волну духовного здоровья, бодрости, вера в жизнь, в силу духа человеческого поднялась, всё в душе кипит, я чувствую себя крепким, энергичным, способным на многое» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 24).

Горячо любил Горький Флоренцию, неоднократно посещал ее. 19 ноября (2 декабря) 1907 г. он писал Е. П. Пешковой: «Флоренция меня страшно захватила и своей красотой, и обилием предметов искусства, и тем, что из-за каждого угла здесь смотрят тебе в лицо спокойные глаза Истории, возбуждая в душе такие светлые и бодрые надежды на будущее человечества. Чудесный город!» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 38). Горький знал и другие города Италии с их сокровищами искусства. Не раз признавался он в своей горячей любви к Италии, к итальянскому народу. «...я люблю эту страну и народ!» — писал он сыну 15 (28) декабря 1908 г. (*Архив Г*$_{XIII}$, стр. 54). «Завтра — именинник,— сообщал он Е. П. Пешковой 16 (29) марта 1909 г.,— итальянцы уже тащат какие-то таинственные узлы и ящики — подарки, значит! Любят меня здесь, да и я люблю этих людей — чудесный народ! Сколько чувства собственного достоинства у них, какая живая отзывчивость ко всему хорошему!» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 65).

---

[1] 5 (18) ноября 1906 г. каприйское общество взаимопомощи рабочих избрало Горького своим почетным членом и выдало диплом, который он бережно хранил.

Корреспондент газеты «Il giornale d'Italia» Анжело Флавио Гвиди в статье «Славянская колония в Неаполитанском заливе», рассказывая о русских, проживающих на Капри, о тех, которые на родине «были людьми дела и людьми мысли», подчеркивал, что «среди этих давних и больших друзей Капри первым идет Максим Горький». «Он очарован Италией, а каприйцы восторгаются им и питают к нему искреннее глубокое уважение, которое его радует» (1911, № 267, 27 luglio).

А. В. Амфитеатров, находившийся тогда в Италии, свидетельствовал: «Народный энтузиазм гонится за ним <Горьким> по пятам, как в старину за Гарибальди. Да итальянцы и воображают Горького чем-то вроде русского Гарибальди <...> Горький для Италии не только личность <...> но — живая идея, огромная, международная, высоко чтимая» (А. В. Амфитеатров. Разговоры по душе. М., <б. г.>, стр. 45—46).

Выражением любви Горького к итальянскому народу явились его «Сказки об Италии».

Спустя несколько лет после окончания работы над «Сказками об Италии» Горький утверждал, что они написаны в 1906—1913 годах (см.: *Г-30*, т. 10, стр. 515). На первый взгляд, это утверждение представляется неточным. Самая ранняя публикация одной из сказок относится к декабрю 1910 г. (январю 1911 г.): сказка была отослана в газеты «Киевская мысль» и «Одесские новости» и опубликована там под заглавием «Праздник», в «Киевской мысли» — 28 декабря 1910 г. (10 января 1911 г.), а днем позже — в «Одесских новостях». В этой последней публикации факсимильно воспроизведены подпись Горького и дата: 3/I, 911. В известных нам письмах Горького сказки упоминаются лишь с января 1911 г. 14—16 (27—29) января 1911 г. Горький писал члену редакционной коллегии большевистской газеты «Звезда» Н. И. Иорданскому, который был также редактором журнала «Современный мир»: «Посылаю рукописи для „Современного мира“ и для „Звезды“; нужным считаю сообщить, что „Сказки“ посланы мною также „Киевской мысли“ в ответ на любезность издателя, высылающего мне газету бесплатно» (*Г-30*, т. 29, стр. 153).

Но если учитывать время зарождения замысла и период накопления материала, то приведенное выше утверждение писателя будет вполне понятным. Уже в день приезда в Италию, 13 (26) октября 1906 г., Горькому был задан вопрос: намеревается ли он писать об Италии, подобно тому, как, находясь за океаном, писал американские очерки. Горький ответил: «У меня есть такое желание. Но прежде чем писать, я имею обыкновение долго наблюдать всё, что меня окружает. Только такое наблюдение дает мне правильные мысли. Писать ради того, чтобы писать,— этого я себе не представляю» («Il giornale d'Italia». Roma, 1906, 27 ottobre).

Первоначально сказки возникали как импровизации. «Алексей Максимович,— сообщала Е. П. Пешкова в комментариях к его письмам,— любил рассказывать сыну различные сценки

и эпизоды из итальянской жизни; мальчик с увлечением слушал рассказы отца. Некоторые из этих устных новелл Алексея Максимовича потом вошли в цикл „Сказки об Италии“» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 331—332). Это свидетельство подтверждается замечанием самого Горького в письме к Е. П. Пешковой, отправленном с Капри не позднее 4 (17) марта 1911 г.: «Посылаю для Максима „сказку“ — хотя это сцена с натуры, и я тебе, должно быть, рассказал уже ее» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 113). В этом письме Горький послал машинопись сказки III (по окончательной авторской нумерации).

Как правило, экземпляр очередной сказки, машинописный или печатный, Горький отправлял сыну. «Посылаю тебе, старикан,— писал он Максиму 4 (17) января 1911 г.,— мой рождественский рассказ: он напечатан сразу в четырех больших газетинах...» (*Архив Г*$_{XIII}$, стр. 83). Здесь речь идет о сказке, вошедшей позднее в цикл под номером XXI.

Сказки V, VI, VII создавались, видимо, в апреле — первой половине мая 1911 г. Затем перепечатывались и отсылались в «Современник».

В письме, написанном до 8 (21) мая 1911 г., Горький спрашивал А. В. Амфитеатрова: «Сказки мои чли? Как? Следует ли печатать их в „Современнике“? На сие жду ответа» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-149). 4 (17) июня 1911 г. Амфитеатров сообщал Горькому, что сказки уже набраны (Архив А. М. Горького, КГ-п-3-1-90).

К середине ноября 1911 г. было написано и отослано в газеты и журналы одиннадцать сказок. 9 (22) ноября 1911 г. редактор журнала «Путь» И. А. Белоусов благодарил Горького за присылку сказок IX и X и сообщал, в каких номерах журнала они появятся (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-7-11). Сказка, названная здесь девятой, по позднейшей авторской нумерации стала одиннадцатой.

Как видно из приведенных документов, над «Сказками об Италии» Горький особенно интенсивно работал в 1911 г. Писатель долго не мог определить масштабы собственного замысла. Уже девять сказок появились в печати, несколько было сдано в набор, но автор еще не видел конца работе: «...я не могу точно назначить срок их окончания»,— писал он в начале ноября 1911 г. Б. Н. Рубинштейну — ответственному сотруднику издательства Ладыжникова (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-8). И ему же 7(20) ноября 1911 г.: «Посылаю X и XI-ю сказки, как я уже говорил, их будет 20. Некоторые из следующих будут посвящены социалистам и социализму в будни» (там же, ПГ-рл-37-19-10). А 14 (27) декабря того же года в письме к Е. П. Пешковой сообщал: «Пишу „сказки“, Бунин очень хвалит и Коцюбинский, а я им верю, оба — люди со вкусом. Написал уже 14, будет 25, вероятно» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 131).

Сказку XV писатель передал 16 (29) февраля 1912 г. К. П. Пятницкому для очередного сборника издательства «Знание», о чем Пятницкий сделал запись в дневнике (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1912, л. 847). Но еще раньше, в де-

сятых числах января, была отослана в редакцию «Запросов жизни» сказка XVI (письмо Горького Р. М. Бланку — Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-18-5).

В первой декаде мая 1912 г. была завершена сказка XVIII. Под машинописным текстом ее — подпись и помета Горького: «12. V. 912. Capri».

Известна дата отсылки с Капри в редакцию «Русского слова» произведений «Нунча» и «Ночью» (сказки XXII и XXIII), поначалу не входивших в цикл. Об этом Горький писал Ф. И. Благову 23 ноября (6 декабря) 1912 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-2). В письме к тому же адресату 17 (30) марта 1913 г. он сообщал об отсылке в «Русское слово» еще одного пропзведения, видимо, «Пепе» (сказка XXVI) (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-3). 24 марта (6 апреля) 1913 г. Благов телеграммой благодарил Горького за присылку «Пепе» (Архив А. М. Горького, КГ-п-9-2-2).

Вся работа над сказками была завершена весной 1913 г. Окончательно цикл был составлен из 27 произведений. Последняя сказка увидела свет в апреле 1913 г.

По мере написания и отсылки сказок в русские газеты и журналы, оставшиеся экземпляры машинописи Горький направлял в берлинское издательство И. П. Ладыжникова, чтобы впоследствии выпустить их отдельной книгой. Перед отсылкой он еще раз просматривал машинопись, внося в текст стилистические исправления. Три первые сказки Горький, вероятно, лично передал Ладыжникову 9—12 (22—25) марта 1911 г., когда тот приезжал на Капри. Вскоре они вышли отдельным изданием: М. Горький. Сказки. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, ‹1911›. Затем в издательство Ладыжникова пересылалась машинопись последующих сказок, по 2—4 сказки сразу. Издание их, однако, задерживалось, так как писатель долго не мог определить, из скольких произведений будет состоять весь цикл и когда он будет закончен. «Вопрос об издании сказок,— писал Горький Рубинштейну осенью 1911 г.,— разрешите как вам удобнее: издавайте сейчас или же подождите конца им, но — нахожу нужным сказать, что я не могу точно назначить срок их окончания. Во всяком случае прошу все три сказки о матерях — т. е. IX, X, XI-ю — поставить в книге рядом» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-8).

В мае 1912 г., когда в редакции русских газет было отослано 20 сказок, Горький предпринял энергичные попытки найти в России издателя, который выпустил бы сказки отдельной книжкой.

21 апреля (4 мая) 1912 г. он писал И. Д. Сытину: «...не возьметесь ли Вы издать книжку моих „Сказок“ — очерков Италии?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-42-12-1). В июне того же года писатель предлагал «Сказки» петербургскому «Издательству товарищества писателей». 6 (19) июля 1912 г. к Горькому обратился И. А. Бунин с письмом: «Слышу от Александра Сергеевича ‹Черемнова›, что Вы хотели питерскому издательству дать

свои итальянские сказки. Как бы рад я был, если бы Вы передумали — и дали московскому» (*Г Чтения*, 1961, стр. 63).

Горький принял это предложение. Но еще до того, как был найден издатель в России, автор просил задержать выпуск книги в Берлине. 1 (14) апреля 1912 г. он писал Рубинштейну: «Против выпуска в продажу „Сказок“ на *немецком* языке — я, конечно, ничего не имею, но — весьма прошу: подождите выпускать на русском. Считая эти „сказки“ недурным материалом для чтения русских рабочих, я хотел бы сделать русское издание особенно тщательным, что и сделаю в течение лета» (*Г-30*, т. 29, стр. 233). 13 (26) июля 1912 г., уже получив через Бунина предложение Московского книгоиздательства писателей, Горький вновь писал Рубинштейну: «Уважаемый Борис Николаевич! Я пришлю вам „сказки“, когда подготовлю издание их в России отдельною книгой» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-22).

Русское издание Горький готовил весьма тщательно. В текст было внесено множество стилистических исправлений. Именно в этот период, в июле — августе 1912 г., Горький изменил концовку рассказа «Праздник», сделав его сказкой XXI. Всего для издания было подготовлено 22 сказки (I—XXI и XXVII), написанные к этому времени.

22 августа (4 сентября) 1912 г. Горький извещал В. В. Вересаева, который был одним из руководителей Московского книгоиздательства писателей, что рукопись сказок выслана в Москву в адрес Бунина (*Архив $Г_{VII}$*, стр. 110). В тот же день он отправил в издательство Ладыжникова машинопись оставшихся сказок, уведомив Рубинштейна: «Посылаю „сказки“, можете печатать книгу, в России она выйдет в начале октября. Если бы понадобилось переводить эти „сказки“ на иностранные языки — я очень прошу Вас пользоваться для этой цели тем изданием, которое выйдет в России: оно точней корректировано и в нем „сказки“ иначе распределены» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-28).

5 (18) ноября 1912 г. Рубинштейн, сообщая Горькому, что в Берлине его сказки уже напечатаны, писал: «...ожидаю завтра или послезавтра первые экземпляры из типографии и немедленно их Вам пошлю» (Архив А. М. Горького, КГ-п-66-14-3). Это было отдельное издание: М а к с и м Г о р ь к и й. Сказки. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1912>, *(Ск Л)*. В книгу вошли сказки I—XXI и XXVII.

Выпуск «Сказок об Италии» отдельной книгой в Москве задержался из-за цензурных препон. Получив от Горького тщательно отредактированную рукопись «Сказок», В. В. Вересаев 18 сентября (1 октября) 1912 г. писал автору: «А как хорош ансамбль сказок! Сколько в них света и солнца,— и физического и духовного, и как это нужно именно в нынешнее время. И как больше начинаешь любить Вас после такой книги» (*Архив $Г_{VII}$*, стр. 286). Вместе с тем Вересаев обращал внимание автора на отдельные фразы, которые могут вызвать цензурное запрещение; он опасался также, что с этой точки зрения сказки о рабочем движении, поставленные рядом, «дают аромат очень сильный»;

наконец, просил «выкинуть наиболее опасную сказку» —XVII — в окончательной нумерации XIV (Архив А. М. Горького, КГ-п-15-6-10).

25 сентября (8 октября) 1912 г. Горький писал Вересаеву: «Спасибо Вам, Викентий Викентьевич, за добрый отзыв о моих „сказках“ <...> Относительно цензуры: все сказки были напечатаны, сказка о Тамерлане одновременно в трех изданиях: в „Сибирской жизни“, „Киев<ской> мысли“ и еще где-то. Мне кажется, что фраза о царях, кои считают себя всегда мудрыми,— невинна <...> Относительно изъятия из книги сказки XVII-й я скажу: Вы сами знаете, как неприятно автору нарушать свой план. Нельзя ли сказки о рабочем движении не ставить рядом, а разбить по всей книге? М. б., это сделает их менее острыми?

Горько мне! За последнее время меня всё урезывают понемножку и всё более. А сердце — кипит» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 113—114).

И в следующем письме, от 15 (28) ноября 1912 г.:

«Что ж делать, Викентий Викентьевич,— пусть „сказки“ выходят с теми сокращениями, которые из<дательст>во нашло нужным сделать. Больше нечего сказать по этому поводу <...>

Если время не упущено, я попросил бы поставить на странице *за обложкой* три слова: Марии Федоровне Андреевой» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 115).

К концу ноября 1912 г. книга *(Ск КП)* была отпечатана. В нее вошли сказки I—XIII, XV—XXI и XXVII по окончательной нумерации. 24 ноября (7 декабря) 1912 г. Вересаев сообщил Горькому, что ему высланы авторские экземпляры (Архив А. М. Горького, КГ-п-15-6-12).

Таким образом, *Ск Л* и *Ск КП* печатались и вышли в свет почти одновременно. Но они значительно отличались по тексту, композиции и объему. *Ск Л* печатались с машинописи, в которую, независимо от журнальной публикации, Горький вносил некоторые стилистические поправки. *Ск КП* печатались с рукописи (вероятно, не дошедший до нас беловой автограф), в которую автор внес много исправлений и уточнений. Кроме того, текст *Ск КП* в процессе подготовки в издательстве претерпел некоторую «предварительную цензуру». Из книги была изъята сказка XIV, называемая в письмах Вересаева XVII-й, а в тексте других сказок были сделаны вычерки (изъятое набрано курсивом):

Стр. 15, строки 1—3: «...непрерывный мощный крик: „*Viva il Socialismo*“!»

Стр. 36, строки 22—23: «...мадонна *проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она* не грозит геенной...»

Стр. 37, строки 33—35: «...что не отдых нужен людям, а борьба, *что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ...*»

Стр. 45, строки 26—27: «Все засмеялись, *и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми!*». Здесь же (строка 33) «царь — враг мира» изменено на «Тимур — враг мира».

Стр. 46—47, строки 41—1: «...он <Христос> еще воскреснет *и придет судить живых и мертвых...*»

Стр. 53, строка 3: слова «...все мы живем и умираем для паразитов» заменены словами «...все мы живем и умираем для таких, как он».

Стр. 122, строки 33—35: «...они посажены в тюрьму. *Да здравствуют борцы за социальную справедливость!*»

Стр. 123, строки 7—11: «...и с каждым днем всё становился тяжелей. *Не однажды он хотел показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят: „Может быть, поп и говорит богу правду про людей, но людям правду — никогда“*».

Стр. 125, строки 31—35: «Нет,— сказал русский.— *Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только они захотят немножко добра*». Здесь же, строка 38: «что затеяно в жизни *ее честными* людьми».

Стр. 126, строки 19—23: «...они поняли думы отца. *Шесть долларов в неделю — это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними — этого мало для человека, который хочет хорошо жить...*»

В 1915 г. книгоиздательство «Жизнь и знание» выпустило «Сказки» *(Ск ЖЗ)* в составе собрания сочинений писателя (М. Горький. Сказки, т. XVII. Пг., 1915).

В основе этого издания — текст *Ск Л*, не подвергавшийся цензуре. Таким образом первое русское издание — *Ск КП* — осталось боковым. Текст его нигде не воспроизводился и позднее. Для *Ск ЖЗ* не велось работы над текстом (он просто был воспроизведен по *Ск Л* с рядом опечаток), но консультативное участие Горького в этом издании несомненно. Оно выразилось в новой композиции книги, отличной и от *Ск Л* и от *Ск КП*, и в расширении объема цикла. К двадцати двум сказкам, составлявшим цикл в первом отдельном издании, автор добавил еще пять произведений, которые публиковались в газетах в конце 1912 — начале 1913 годов: «Нунча», «Ночью», сокращенный вариант рассказа «Вездесущее», «Сказка» и «Пепе» (сказки XXII—XXVI). Текст этих последних произведений имеет некоторые стилистические разночтения с текстом первых публикаций.

Газетные и журнальные публикации всех сказок также остались боковыми.

В *Ск ЖЗ* Горький впервые дал полный и окончательно установленный им объем цикла — двадцать семь сказок. Издание это не проходило общей цензуры, но книга подверглась церковной (духовной) цензуре, в результате чего были сделаны купюры (изъятое набрано курсивом):

Стр. 46, строки 39—40: «Поклонимся женщине — она родила Моисея, Магомета *и великого пророка Иисуса...*»

Стр. 63, строки 38—41: «...ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, *только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи*».

Стр. 71, строки 21—23: «...точно мы дикари, а они — божьи ангелы, *которым невнаком вкус вина и рыбы и которые не прикасаются к женщине!*»

Стр. 130, строка 6: слова «...эту куколку из терракоты...» (об изображении младенца Иисуса) изменены на «...эту статую из терракоты...».

Стр. 135, строки 26—29:

«Это уж так водится:
Тогда весна была —
Сама богородица
Весною зачала».

Стр. 135, строки 36—37: «Наконец, мужчина — *не бог, а только богу нельзя изменить...*».

Стр. 138, строки 1—3: «...стаканом красного вина, которое, *подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и* учит любить и прощать...».

Следующее отдельное издание сказок готовилось в книгоиздательстве З. И. Гржебина. Оно должно было выйти в 1919—1920 годах, но осталось неосуществленным. Сохранилась рабочая корректура, которая позволяет судить о характере этого предполагавшегося издания (Архив А. М. Горького, ХПГ-45-13-5. Ниже условно — *К Гржб*). Автор принимал в нем самое активное участие. Для этой книжки Горький отобрал девять сказок и снабдил их заголовками: VII — Кое-что о людях; VIII — Церковь; IX — Мать; XI — Еще мать; XII — Отец; XIV — В деревне; XVII — Друзья; XX — Открытка; XXII — Соперницы. В текст их, набиравшийся по *Ск ЖЗ*, автор внес отдельные стилистические поправки. В некоторых случаях он восстанавливал, видимо по памяти, купюры, сделанные в *Ск ЖЗ* духовной цензурой. В частности, здесь впервые полностью воспроизводится четверостишие из сказки XXII:

«Это уж так водится:
Тогда весна была —
Сама богородица
Весною зачала».

Для этой книги Горький написал предисловие, в котором определил свое отношение к «Сказкам» и их значение для современного читателя (текст его см. ниже, стр. 552—553).

На титульном листе корректуры рукой неустановленного лица написано заглавие, ставшее для нас привычным — «Сказки об Италии». Здесь же стоит штамп с датой: «22 авг. 1919».

Книга была полностью подготовлена к печати, но не увидела света, так как договор с Гржебиным был аннулирован по взаимному согласию. Права на издание собраний сочинений Горького перешли к издательству «Книга». Возможно, что на расторжение договора повлияло то обстоятельство, что в 1919 г. вышли вторым изданием *Ск КП*.

В 1922 г. при подготовке собрания сочинений *К* Горький вновь вернулся к «Сказкам об Италии». За основу он взял текст *Ск Л* и тщательно отредактировал его. Правка носила преимущественно стилистический характер. На титульном листе *Пр Ск Л* воспроизведено название, появившееся в *К Грж*: «Сказки об Италии». Оно приписано к печатному заголовку красными чернилами неизвестной рукой.

Несмотря на то, что текст *Пр Ск Л* готовился специально для *К*, «Сказки об Италии» набирались в *К* не с этого экземпляра. Вероятно, Ладыжников обратил внимание на то, что в *Пр Ск Л* было только 22 сказки, тогда как в *Ск ЖЗ* — 27. Чтобы устранить этот изъян, корректор механически перенес авторскую правку 22-х сказок из *Пр Ск Л* на экземпляр *Ск ЖЗ*. Так возник экземпляр *Пр Ск ЖЗ*. В 22-х сказках корректор восстановил по *Ск Л* купюры, сделанные в свое время в тексте *Ск ЖЗ* церковной цензурой. Текст пяти позднейших сказок (XXII—XXVI), не входивших в *Ск Л*, естественно, не был в поле зрения Горького. Корректор не имел возможности восстановить цензорские купюры в этих сказках. Между тем по *Пр Ск ЖЗ* «Сказки об Италии» печатались в *К*. Текст *Пр Ск ЖЗ*, не авторизованный Горьким, так же, как и набранный с него текст *К*, не могут, таким образом, служить основными источниками. В настоящем издании за основной источник сказок I—XXI и XXVII принят текст *Пр Ск Л*, отразивший последнюю творческую волю автора и не подвергавшийся цензуре, а для сказок XXII—XXVI — текст *Ск ЖЗ*, освобожденный от цензурных искажений.

Определение цикла рассматриваемых произведений как «сказок» является в значительной степени условным. В письме от 23 ноября (6 декабря) 1912 г. писатель уведомлял редактора газеты «Русское слово» Ф. И. Благова, что послал ему «два очерка из серии „Итальянских сказок"...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-2). В письме к И. П. Ладыжникову от 11 (24) сентября 1912 г. «Сказки об Италии» названы «Итальянскими очерками» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 202); так же — и в письме к И. Д. Ситину от 21 апреля (4 мая) 1912 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-42-12-1). Жанровое определение «очерк» возникло не случайно,— оно указывает на реальную, жизненную основу «Сказок об Италии». Исследователям творчества Горького удалось выявить многие действительные факты, послужившие отправной точкой при создании Горьким этого цикла. Так, в книге К. Д. Муратовой «М. Горький на Капри» (Л., 1971, стр. 154) приводятся эпизоды стачечного движения итальянских рабочих, напоминающие события, изображенные Горьким.

Жизненная достоверность «Сказок об Италии» подтверждается свидетельствами знакомых и друзей Горького. Например, Ю. А. Желябужский, рассказывая об одной из поездок писателя к сыну в Аляссио, вспоминал: «...так как А. М. недостаточно хорошо говорил по-итальянски, я поехал проводить его до Генуи. Там мы остановились на несколько дней, чтобы осмотреть город, в котором ни он, ни я раньше не были. Жили мы в гостинице,

расположенной на площади вокзала, посреди которой стоит итальянский памятник Колумбу (уроженцу Генуи). И вот, однажды утром, выйдя на балкон, мы увидели, что к вокзалу стекаются толпы простого народа, с оркестрами музыки и знаменами. Конечно, А. М. заинтересовался <...> мы спустились и были свидетелями той суеты, которая вам хорошо известна по рассказу» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-7-52-1).

Сведения аналогичного характера содержатся и в книге: *Буренин*, стр. 182—184.

Творчески преобразованные реальные факты можно заметить в сказке XVI, где «забавный Жан» из группы русских ренегатствующих интеллигентов клевещет на народ и излагает чудовищный план усмирения деревни. За этим персонажем — конкретное лицо: И. А. Родионов, автор черносотенной книги «Наше преступление». «Прилагаю еще „сказку“,— писал Горький Р. М. Бланку в январе 1912 г.— На случай, если бы Вам показался невероятным проект истребления деревенских буянов и пьяниц, сообщаю имя автора проекта: Жан Родионов, автор книги „Наше преступление“. Этим я не говорю, что видел Родионова и „слышал мудрость его из уст его“, но — что он таковые проекты развивал истекшим летом в доме своих знакомых, это я знаю из источников достовернейших» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-18-5).

11(24) июля 1913 г. Горький писал В. Г. Короленко: «Крайне интересно следить, как быстро растет внимание юга Италии к России,— внимание умное и всестороннее. В его основе лежит, конечно, экономический интерес — нужда в дереве, хлебе, угле, в развитии транспортного судоходства, но вместе с этим растет и общий интерес к России» (*Г-30*, т. 29, стр. 311). Эти наблюдения нашли отражение в шестнадцатой сказке. Русский, слушая разговор итальянцев, переводит слова одного из них: «Он <...> говорит о торговле с нами хлебом и что они могли бы покупать у нас также керосин, лес и уголь».

В августе 1912 г. в письме к И. А. Бунину Горький рассказал о подлинном событии, которое легло в основу двадцать второй сказки:

«В Неаполе шестнадцатилетняя девица, приревновав свою мать, сказала ей:

— Довольно! Ты уже взяла всё, что могла, и ничего не можешь дать больше и лучше, чем я, у тебя плохое сердце.

А мать не согласилась с нею и предложила устроить бег взапуски, дабы испытать — чье сердце сильнее? Ночью они бежали по Санта Лючия в присутствии справедливых судей — соседей и — мать победила! Потом пошли в кантину, пили вино, танцевали, и мать умерла во время танца от паралича сердца! Хорошо? Вот вам и XX век» (*Г Чтения*, 1961, стр. 67).

Гибель рыбака из двенадцатой сказки показана с такой силой, может быть, потому, что ужасы бури пережил сам писатель. Как вспоминала служившая в доме Горького Кармела Аквилея, во время одной из поездок писателя на рыбную ловлю вместе с его постоянными спутниками — рыбаками, у берегов

Искии внезапно поднялся шквальный ветер. Он унес весла и руль. Только неожиданное улучшение погоды, наступившее также внезапно, как перед тем началась буря, дало возможность спастись (Pietro Zveteremich. Gorki a Capri. Realtà Sovietica, 1954, № 11, novembre, p. 7—8).

«Сказкам об Италии», как и «Русским сказкам», Горький придавал определенное социально-педагогическое значение (см. ниже примечания к «Русским сказкам») и поэтому заботился о том, чтобы они стали известны широкому кругу читателей. В письме к В. В. Вересаеву от 9 (22) августа 1912 г. он просил «назначить цену книге не дороже рубля» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 109).

Когда учительница из Ставрополя Т. Е. Зверева написала Горькому (в феврале — марте 1912 г.) о той радости, которую доставляют его произведения, он 13 (26) марта 1912 г. ответил ей:

«Спасибо Вам, Таисия Евгеньевна, за Ваше доброе письмо,— писателю очень важно непосредственное общение с читателем, как и вообще каждому из нас, людей, важно дружеское общение с подобными себе. Когда выйдет книжка моих итальянских „сказок“, я Вам пришлю ее, в надежде, что она, может быть, даст Вам кое-какое представление о духовной жизни той страны, где Вы уже были» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-16-37-1).

«...внести в трудную, быстро утомляющую людей русскую жизнь немножко бодрости...» — так сформулировал сам автор установку книги во время работы над ней (*Г-30*, т. 29, стр. 254). А в 1919 г., редактируя «Сказки» для предполагавшегося издания З. И. Гржебина, следующим образом определил сущность их в предисловии, написанном им от «редакции».

«Имя М. Горького достаточно известно, и нового о нем ничего не скажешь.

„Сказки“ написаны им в те годы — 906—913,— когда он жил в Италии, самой красивой стране Европейского материка.

В сущности своей — это не „сказки“, то есть не игра фантазии человека, которого слишком утомила, измаяла суровая действительность или тяжкая скука жизни, который, утешая сам себя и ближних силой своего воображения, создает другую жизнь, более яркую, праздничную, более милую и ласковую или даже хотя бы и более страшную; эти сказки и не „выдумка“ писателя, в которой скрыто поучение или притаилась резкая правда, как в чудесных, умных сказках знаменитого Вольтера, Лабулэ, Салтыкова-Щедрина и других писателей. „Сказки“ М. Горького — это картинки действительной жизни, как она показалась ему в Италии; он назвал эти картинки сказками только потому, что и природа в Италии, и нравы ее людей, и вся жизнь их — мало похожи на русскую жизнь и русскому простому человеку действительно могут показаться сказками.

Возможно, что автор несколько прикрасил итальянцев, но — природа их страны так хороша, что и люди ее невольно кажутся, может быть, лучше, чем они есть на самом деле. Но и вообще — немножко прикрасить человека — не велик грех; людям слишком

часто и настойчиво говорят, что они плохи, почти совершенно забывая, что они — при желании своем — могут быть и лучше.

Если всегда говорить людям только горькую правду об их недостатках,— этим покажешь их такими мрачными красавцами, что они станут бояться друг друга, как звери, и совершенно потеряют чувства доверия, уважения и интереса к ближнему,— чувства, не очень пышно развитые у них. Правда — необходима. Огонь ее, закаляя крепкую душу, делает ее еще более сильной, но ведь крепких душ немного среди нас, а в слабой душе от ожогов правды появляются только болезненные пузыри злобы, ненависти, заводится чесотка раздраженного самолюбия. Кроме огромных недостатков в людях живут маленькие достоинства, и вот именно эти достоинства, выработанные человеком в себе самом очень медленно, с великими страданиями,— эти достоинства необходимо — иногда — прикрасить, преувеличить, чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить! — со временем разрастутся пышно и ярко.

Мы любовно ухаживаем за цветами, мы пламенно любим множество других прекрасных бесполезностей, таких же, как цветы, а вот за душой человека, за сердцем его,— не умеем так ласково ухаживать, как следовало бы.

Надо научиться этому,— ведь человек, несмотря на всю его неприглядность, все-таки — самое великое на земле.

Если люди знают, как они плохи,— это верный залог, что они станут лучше.

Хула на человека — нужна, но похвала ему того более необходима и, вероятно, полезнее хулы» («Известия», 1946, № 142, 18 июня).

Социально-педагогическое значение «Сказок об Италии» Горький подчеркивал и позднее. При этом он особенно часто выделял сказки о Матерях [1].

В ответ на просьбу редакции тверской губернской комсомольской газеты «Смена» рекомендовать те из своих произведений, которые он считает наиболее подходящими для молодежи, Горький 18 ноября 1927 г. писал: «...может быть, подойдет „Человек“, „Песня о Соколе“, „Буревестник“? Пожалуй, рекомендовал бы „Мать“ из „Итальянских сказок“. Мне кажется, что теперь перед матерями стоят новые и огромные задачи по отношению к детям и что девицам из комсомола следует подумать и над этой своей ролью в жизни. Возможно, что моя „Мать“ заставит подумать над этим» (Б. Полевой и Г. Куприянов. Письма из Сорренто. Калинин, 1936, стр. 11).

Об этой же сказке Горький 11 января 1928 г. писал Н. В. Чертовой: «Читали Вы мою „сказку“ — „Мать“? Это — в „Итальянских сказках“. В этой поэме я выразил „романтически“, и как

[1] Писателя обрадовало то, что сказкой «Мать» заинтересовался его сын Максим. 17 января 1925 г. Горький писал о Максиме Е. П. Пешковой: «Он изумительно сделал — иллюстрировал — мою сказку „Мать“» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 239).

умел, мой взгляд на женщину. Не понимайте мой титул „мать" чисто физиологически, а — аллегорически: мать мира, мать всех великих и малых творцов „новой природы", новой жизни. Мне кажется, что женщина должна отправляться к свободе от этой точки, от сознания мировой своей роли» (*Г-30*, т. 30, стр. 62).

О глубоком философском смысле образа Матери и в «Сказках об Италии», и в повести «Мать», и в других произведениях, развивающих эту сквозную в творчестве Горького тему, говорится в его письме к М. Шкапской (январь 1923 г.): «...женщина — Родоначальница, и в деле строения мира приоритет за нею. Здесь речь идет не о „Прекрасной Даме", Энойе [1] и прочем в этом роде, что является уже производным, частностями, тут говорится о Судьбах, о „Матерях" Гёте, о той глубине, которую скорее чувствуешь, чем понимаешь<...> Мир населен вашими детьми — не смейте трогать их, не смейте бессмысленно уничтожать. А детей — хотя бы это были Толстые, Достоевские и вообще так называемые „великие люди" — Вы, Мать, имеете законнейшее право отшлепать, если они дурят безобразно» («Работница», 1968, № 3, стр. 1).

«Сказки об Италии» вызвали многочисленные отклики как писателей, критиков, так и читателей.

7 (20) января 1911 г. Горькому написал И. А. Бунин: «Вчера читали <...> Ваш „Праздник" (в „Киевск<ой> мысли"). Захотелось на Капри страшно, слова Ваши, золотое сердце Ваше растрогало до щипанья в глазах» (*Г Чтения*, 1961, стр. 57).

Одним из первых откликов большевистской прессы был отзыв газеты «Звезда». где печатались первые сказки Горького. Отзыв, написанный на бланке газеты, датирован 15 (28) декабря 1911 г. и подписан И. Гладневым:

«Дорогой товарищ!

Пишу Вам по поручению всех товарищей по редакции. Большое Вам спасибо за Вашу IX сказку. Ее хоть и с меньшим энтузиазмом, нежели I—IV, но все же с огромным интересом читали...»

Подчеркнув, что сотрудники газеты обращаются к Горькому «как к доброму и сочувствующему товарищу», автор письма продолжал: «Не как вывеска, не как реклама нужно нам Ваше сотрудничество, а как таковое,— Вы, мы это знаем, внимательно следите за происходящим на родине, чутко откликаетесь на всё, здесь происходящее. Вы, надеемся, не откажетесь по-прежнему, но еще чаще и усерднее, нежели доселе, работать для „Звезды". Мы очень были бы Вам признательны за возможно более регулярное сотрудничество, а равно очень бы Вас просили высказать нам (для нас самих) свое мнение о „Звезде" в том виде, какой она

[1] *Эпойя* (Эннойя) — по учению гностиков (секта в раннем христианстве), первоначальная идея, порожденная богом и ставшая, в свою очередь, источником, матерью других идей, более частных отражений «ума божия». Некоторые гностики представляли Эннойю в виде женщины необычайной красоты.

приняла с осени — боевой рабочей газеты...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-20-8-1).

24 ноября (7 декабря) 1912 г. В. Вересаев писал Горькому о «Сказках»: «Я думаю, пойдут они очень сильно. Перечитал их еще раз,— и еще больше понравились,— какая-то светлая радость охватывает, и умиление, и любовь к людям» (Архив А. М. Горького, КГ-п-15-6-12).

Ю. А. Желябужский, вспоминая свою встречу весной 1912 г. в Киеве с М. М. Коцюбинским, возвратившимся с Капри, писал: «С особым восторгом он рассказывал о том, что Алексей Максимович только что закончил свои „сказки“ об Италии <...> Михаил Михайлович горячо рассказывал об этой книге, о том, как в ней прекрасно переданы не только колорит, но самый дух и аромат Италии <...> Восхищался он и высокосовершенной и глубоко поэтической формой этих итальянских новелл. Особый восторг вызвали у него две сказки о матерях: „Это настоящий гимн женщине,— ее героизму и огромному сердцу“» (Архив А. М. Горького, МоГ-4-17-4, л. 20).

Незадолго до смерти, находясь в клинике, сам Коцюбинский написал Горькому: «Спасибо за Ваше хорошее письмо и за „Сказки“. Оба издания получил беспрепятственно и сейчас же прочитал с редким наслаждением. Сколько там любви к человеку, сколько знания его души и понимания природы. Чудесная, солнечная книга!» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 362).

Поэт Д. Семеновский 1 (14) октября 1913 г. писал Горькому: «Сейчас дочитал Ваши „Сказки“ <...> и под первым впечатлением пишу Вам. Какая прелесть! Это — маленькие поэмы, сотканные из лучей, цветов и любви, кусочки солнца, которое, наверно, так ярко и горячо над Италией. Особенно мне понравились — сказание о Тамерлане, которое звучит гимном женщине-матери и жизни, рассказ о трамвайной забастовке, о том, как рабочие рыли туннель; вообще все „сказки“ превосходны, все они — красота, слава жизни и живущему» (Архив А. М. Горького, КГ-п-70-1-8).

Поэт и редактор-издатель московского литературного журнала «Путь» И. А. Белоусов, которому Горький предоставил для публикации сказки IX и X, сообщил автору, что опубликованная во втором номере «Пути» (декабрь 1911 г.) девятая [1] сказка перепечатана многими провинциальными газетами с очень лестными для автора и произведения заметками. Спрашивая мнение писателя по этому поводу, Белоусов замечал: «Может быть, следующую сказку оговорить, что перепечатка воспрещается? По мне так ничего: пусть перепечатывают — заслонять света не следует» (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-7-14).

Писатель И. Д. Сургучев уведомлял Горького в декабре 1911 г.: «Сказку <IX> матери прочту, как только приедет она: сейчас ее нет. Старуха она неграмотная,— но художник большой в душе, и я люблю с ней разговаривать...» (там же, КГ-п-74-6-5).

---

[1] Сказка, названная Белоусовым девятой, по окончательной нумерации значится XI.

И через несколько дней, в следующем письме: «Приехала мать, и читал я ей Вашу сказку. Она ничего не сказала — и только гордо и молчаливо улыбнулась — и улыбку такую я видел у ней за 31 год первый раз. Хорошая, должен сказать, сказка, а стихи в конце просятся в музыку — и у меня уже вышел первый куплет» (там же, КГ-п-74-6-6). Это письмо доставило настоящую радость Горькому 28 декабря 1911 г. (10 января 1912 г.) он писал Сургучеву: «А Вашей маме — поклон почтительный за ее улыбку» (*Архив Г* VII, стр. 105).

Ю. Е. Золотарева — мать писателя А. А. Золотарева, жившего одно время на Капри, сердечно благодарила Горького за присланные ей с дарственным автографом «Сказки об Италии». Письмо ее не имеет даты, но, судя по содержанию, относится к 1914—1915 годам. Старая женщина, мать, в страшные для всех матерей годы войны желала Горькому «пожить подольше, на утешение нам, горемычным и обездоленным русским матерям, но настоящее время много матерей-горемык и не только русских...» И далее — о книге «Сказок об Италии»: «...большим утешением она мне служит в разлуке с моими любимыми детьми. Так много мне хотелось написать Вам по поводу этой книжки, но что ни пиши, все-таки того не выразишь, что я чувствовала, когда читала 〈...〉 Извините за мою старушечью болтовню, но мне так приятно, что я пишу человеку, который так душевно и тепло относится к матерям земли» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-2-12-2).

Участник болгарского и российского революционного движения, член большевистской партии Р. П. Аврамов писал Горькому 11 (24) марта 1911 г.: «Получил „Сказки“. Из них только третья была мне неизвестна. Первые две Вы рассказывали нам, Ивану Павловичу и мне, на Капри; кроме того, я читал их по-немецки в Vorwärts'е. Оттуда здешние товарищи перевели и напечатали их в партийной газете „Рабочая Болгария“. Еще когда я слушал их от Вас, они произвели на меня глубокое впечатление — неловко мне говорить Вам теперь о том, как они дороги сердцу всех тех, кому ясна назревшая необходимость пролетарской литературы, социалистической беллетристики. Неловко потому, что опять пришлось бы повторять то, что говорилось во многих частных разговорах и спорах: до сих пор единственно Вы дали возможность верить и думать, что уже появился большой поэт, который хочет и *может* — это самое главное — писать как рабочий для рабочих, как социалист для социалистов. Для меня эти рассказики — новый вклад в дело, начатое (в большом масштабе) „Матерью“. Для меня эти рассказики — новый шаг к реализации давно лелеянной мечты многих. Пусть имя этих рассказов Ваших будет легион — современная жизнь говорит давно уже социалистическим языком; пора и литературе научиться этому языку. Какое будущее открывается перед теми, которые вовремя освоятся с этим языком!» (Архив А. М. Горького, КГ-п-1-40-10).

И он же 20 мая (2 июня) 1911 г. писал М. Ф. Андреевой по поводу сказки «Симплонский туннель»: «Получил вчера IV-ую

„сказку“ Алексея Максимовича; как и предыдущие, она очень хороша: все великие дела и все великие радости даются трудом человечества!» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-1-48-1).

В 1928 г. Горький получил письмо от группы учащихся — членов литературного кружка школы № 10 им. В. Г. Короленко в Полтаве. Сердечно поздравляя юбиляра с сорокалетием литературной деятельности, юные читатели называли «Сказки об Италии», наряду с «Песней о Буревестнике», «Песней о Соколе», повестью «Мать», книгой, которая произвела на них наиболее сильное впечатление. «От них так веет бодростью, молодостью, так и влечет вдаль, ввысь...» (Архив А. М. Горького, КГ-коу-9-32-1).

Большевистская печать, на страницах которой появились лучшие из «Сказок об Италии», гордилась сотрудничеством Горького. Активные участники революционного подполья рассматривали эти произведения как часть «общепролетарского дела». Их высоко оценил В. И. Ленин: «Не напишете ли майский листок? Или листовочку в таком же майском духе? Коротенькую, „духоподъемную“, а?, — призывал он Горького в феврале 1912 г.— Тряхните стариной — помните 1905 год — и черкните пару слов <...> В России есть 2—3 нелегальные типографии, и ЦК перепздаст, вероятно, в нескольких десятках тысяч. Хорошо бы иметь *революционную* прокламацию в типе „Сказок“ „Звезды“. Очень и очень рад, что Вы помогаете „*Звезде*“». И в следующем письме, от февраля — марта 1912 г.: «Очень рад, что Вы согласились попробовать написать майский листок <...> „*Звезда*“ будет продолжаться либо еженедельная, *либо в виде копейки ежедневной*. Великолепными „Сказками“ Вы очень и очень помогали „Звезде“, и это меня радовало чрезвычайно...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 47).

В письме к Горькому от 22—23 декабря 1912 г. Ленин вновь говорил о «Сказках», уже в связи с другой большевистской газетой—«Правдой»: «Надеюсь, Вы тоже примете участие в агитации за подписку, чтобы помочь „вывезти“ газету. В какой форме? Ежели есть сказка или что-либо подходящее,— тогда объявление об этом будет очень хорошей агитацией» (там же, стр. 137).

На появление первых сказок Горького откликнулся большевик С. Г. Шаумян. В статье «О Горьком» он писал:

«...Горький составляет красу и гордость пролетарской литературы!

И разбираемая статья Горького („О писателях-самоучках“) в общем и другие его новые произведения <...> „Жалобы“ и „Мордовка“, а также его прекрасные миниатюры о неаполитанских стачечниках и встрече детей забастовщиков в Генуе, появившиеся под заглавием „Сказки“, еще более приблизили Горького к рабочим.

И рабочие с гордостью могут заявить: „Да, Горький наш! Он наш художник, наш друг и соратник в великой борьбе за освобождение труда!“» (Журнал «Современная жизнь». Баку, 1911, № 1, 26 марта, стр. 7).

23 февраля 1914 г. в газете «Путь правды» (одно из названий «Правды») была напечатана рецензия за подписью М. Калинин (по-видимому, псевдоним) на «Сказки об Италии».

«Главный „герой“ сказок, тот, кто своей богатой жизнью и всеми своими стремлениями окрашивает жизнь сказочными лучами,— народ,— писал критик-правдист.— О нем только Горький и говорит. Все чувства, повседневные стремления, своеобразные переживания различных групп трудящегося итальянского народа любовно охарактеризованы М. Горьким в ряде ярких очерков. Пастухи, крестьяне, моряки, рабочие проходят стройными рядами и восхваляют жизнь, красоту ее. Отчаяния, глубокого пессимизма мы не видим. И это несмотря на то, что народу итальянскому живется нелегко, несмотря на тяжелые экономические условия <...> Порой кажется, что этот народ близок нам и давно знаком, ибо слишком родственны переживания, стремления его и русскому народу <...> В своих сказках Горький очень часто является проповедником новой правды <...> Он как бы рисует или пытается начертить некоторые особенности психики „новых людей“, борющихся в современном обществе за новую правду <...> Его проповедь жизнерадостного мировоззрения и братской любви ярко окрашивает определенными тонами все его сказки» («Путь правды», 1914, № 20, 23 февраля, стр. 6).

В связи с появлением «Сказок об Италии» многим либерально-буржуазным критикам и критикам из меньшевистских и эсеровских органов печати пришлось делать новый поворот в своем отношении к Горькому. Лишь самые беспринципные из них не постеснялись солидаризироваться с реакционной печатью и идти против истины. Большинство же вынуждено было говорить о несомненных достоинствах новых произведений Горького. Первые их выступления появились после выхода в свет шестого номера журнала «Современник» за 1911 г., в котором были напечатаны сказки V, VI и VII (по окончательной нумерации).

Э. А. Серебрякову особенно понравилась сказка о свадьбе бедняков. По мнению критика, она «наиболее интересна и тепло написана...» («Вестник знания», 1911, № 8, стр. 748).

А. А. Измайлов, напротив, считал эту сказку, а также сказку о юноше-музыканте мало удачными; положительно он оценивал сказку, повествующую о двух рыбаках, ведущих на берегу моря разговор о красавице-иностранке. Критик отметил поэтичность новых произведений Горького, свободу и простоту их языка («Биржевые ведомости», 1911, № 12448, 12 июля).

В связи с выходом «Сказок» отдельной книгой Измайлов выступил вторично. Он признавал жизненность сказок: «...здесь нет ни одной сказки в условном литературном смысле,— это простые картинки жизни, те вымыслы действительности, про которые Андерсен сказал, что это самые лучшие сказки...» Критик говорил также о полном овладении материалом, глубоком проникновении Горького в жизнь. «Теперь уже эти впечатления итальянской жизни не мимолетны. Он усвоил язык, насмотрелся типов. И вот виденным и слышанным в Италии делится сейчас

с читателем» («Биржевые ведомости», 1913, № 13377, 1 февраля).

Две обзорные статьи 1912 г., подводившие итоги литературы за 1911 год, по-разному определяли место Горького в литературном процессе и давали различную оценку его сказкам. Критик-меньшевик М. Неведомский (М. П. Миклашевский) считал прошедший год в целом бесплодным и выделял лишь Горького — как писателя, проявившего «ярость и силу», «тяготение к реализму». Достижением литературы он считал «Сказки» Горького и особенно отмечал «удивительный, весь залитый солнцем пленэр — миниатюру из итальянской жизни, появившуюся в „Новой жизни“», т. е. сказку III по окончательной нумерации («Наша заря», 1912, № 1, стр. 44).

Р. Иванов-Разумник в обзорной статье, отчетливо обнаруживая занимаемую им реакционную общественно-литературную позицию, отрицательно оценил сказки Горького и свое неприятие их представил как мнение читателей. «...без успеха прошли неудачные „Сказки“ М. Горького»,— утверждал он («Русские ведомости», 1912, № 1, 1 января).

И. Игнатов, искажая идейно-художественный смысл сказок, обвинял Горького в идеализации человека, в неискренности, приписывал сказкам «характер поучительного повествования, нравственной басни, предназначенной автором для исправления морали читателей» («Русские ведомости», 1912, № 286, 12 декабря).

Обвинение в идеализации персонажей, в перегрузке их «всяческими добродетелями свыше мыслимой меры» предъявил Горькому и не назвавшій своего имени автор рецензии в «Русском богатстве». Впрочем, он не смог не признать жизненности сказок и того, что в них проявилась «искренняя и сильная любовь автора к итальянскому народу» («Русское богатство», 1913, № 2, стр. 410—411).

В. В-ий из «Утра России» ставил в заслугу автору прежде всего жизненную достоверность, правдивость сказок. «Это — сказки жизни. Чужой и родной нам жизни. Чужой — по природе, нравам, обычаям; родной — по общечеловеческим чувствам, мыслям, идеям, желаниям, устремлениям и достижениям» («Утро России», 1913, № 10, 12 января). Критик подчеркивал действенный гуманизм Горького. «Лейтмотив поэтических сказок Горького,— писал он,— труд, энергия, борьба, настойчивость, вера в себя и в людей, солидарность, любовь к родине до самоотверженья» (там же). Наиболее «выпукло и любовно выписанными» он находил образы женщин-матерей.

Гуманистический пафос «Сказок об Италии» критик, назвавший себя Бор. Гу-н, определял как основополагающую черту творчества писателя. «Любовь к родине, любовь к свободе, вот что одухотворяет тех людей, что один за другим проходят перед нами в сказках Горького»,— писал он в заключение («Журнал журналов», 1915, № 30, стр. 17).

В связи с выходом «Сказок» в *ЖЗ* (1915), где впервые были все 27 сказок цикла, в газете «Речь» появилась статья

Александра Тимякова. Положительно оценивая том в целом, критик особенно выделил сказку о Нунче: «...едва ли не впервые прозвучало в литературе так громко и искренне *братское* слово о женщине, как прозвучало оно в сказке Горького <...> чувствуется, что к женщине подошел в данном случае не судья, не тайный раб и явный властелин — мужчина, но человек, носящий в душе великую свободу и редкостный дар братского сочувствия. Это умение мужественно, подчас сурово, сочувствовать, наряду со способностью к протесту, является наиболее характерной и глубокой чертой в таланте Горького <...> Автор победоносно справился с одной из самых трудных тем <...> Эта книга должна быть признана книгой отрадной и светлой» («Речь», 1915, № 351, 21 декабря).

В 1920 г. в издании библиотеки детского журнала «Северное сияние» были опубликованы четыре итальянские сказки Горького: «Стачка», «Цветок», «Тоннель» и «Пепе»; они вышли отдельной книжкой, под заголовком «Сказки», с иллюстрациями А. Маковского. В связи с этим изданием на страницах журнала «Книжный мир» появился следующий отзыв:

«Сказки эти — особые сказки. В них нет ничего волшебного, фантастического в обычном сказочном стиле.

Это всё — картинки из жизни трудовой Италии <...> Но хотя в этих „сказках“ — не „сказка“, а „быль“, тем не менее в них есть то очарование, которое мы испытываем, читая сказку. „Сказочен“ этот энтузиазм товарищеского чувства рабочих, который внедряет в голову рабочего мысль о непобедимости рабочих. Сказочна эта несокрушимая вера в могущество человеческого труда, побеждающего мир. И разве не сказочен весь этот итальянский фон, согретый благодатным южным солнцем?» («Книжный мир», 1920, № 1, стр. 6).

Особый интерес представляет отзыв итальянского писателя-коммуниста Джованни Джерманетто:

«Много прекрасных страниц написано об Италии, об ее небе, ее солнце и цветах, о Венеции, Неаполе, Риме, Флоренции, но как мало сказано там об ее народе. Максим Горький <...> сумел показать нам в очаровательной рамке прекрасной природы Италии, в правдивых словах весь быт, нищету, бедность, страдания, героическую борьбу итальянского народа <...> Горький никогда не жил в Италии чужестранным гостем,— он жил жизнью страны, жизнью ее народа. Рабочие любили его, молодежь зачитывалась его книгами. Я как-то спросил одну молодую девушку, кто ее любимый итальянский автор; она ответила мне: Горький.

Я знал очень много итальянцев, которые, пользуясь железнодорожными 75-процентными скидками на период религиозных празднеств в Риме, вместо того, чтобы являться целовать туфлю папы Римского, ездили в Неаполь, а оттуда на Капри повидаться со знаменитым русским писателем.

Его влияние на итальянский народ было очень велико» (Дж. Джерманетто. Воспоминания о Горьком.— «Вестник Академии наук СССР», 1942, № 7—8, стр. 41—42).

С т р. 7. *Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.* — По-видимому, Горький перефразировал высказывания Андерсена о жизни — «чудеснейшей из сказок»,— часто встречающиеся в произведениях и мемуарах датского писателя.

С т р. 10. *Карабинер* — солдат или офицер военной полиции, выполняющей функции жандармерии.

С т р. 14. *...гимн Гарибальди...*— Походный марш волонтеров-краснорубашечников Дж. Гарибальди в период войны за национальное освобождение и объединение Италии. Написан в 1860 г.; слова Л. Меркантини, музыка А. Оливьери.

С т р. 16. *Факкино* — грузчик, носильщик.

С т р. 17. *...бухнула пушка...*— В ряде городов Италии полдень отмечается орудийным выстрелом.

С т р. 18. *Фьяска* — оплетенная соломой бутыль для вина.

С т р. 20. *Симплонский туннель* — туннель, соединяющий Швейцарию и Италию; проложен в Альпах в 1898—1906 годах (район перевала Симплон). Длина туннеля — 19,7 метра, ширина 5 метров.

С т р. 22. *...те, что идут с другой стороны...*— швейцарцы.

С т р. 42. *Тимур-ленг* (Тамерлан) — прозвище Тимура (1336—1405).

С т р. 42. *Джетты* — жители Моголистана, включавшего в себя Восточный Туркестан, Семиречье и Джунгарию.

С т р. 42. *...до часа встречи со Смертью в Отраре...*— Тимур умер во время похода к границам Китая, когда его армия прибыла в Отрар.

С т р. 43. *...Гургана-Тимура...*— Тимур носил титул Гургана — «зятя», который давался тому, кто женился на женщине из рода Чингисхана, или, получив власть в борьбе, женился на наследнице двух ханских родов.

С т р. 43. *Кермани* — придворный поэт Тимура.

С т р. 44. *Баязет-султан* — Боязид I, по прозвищу Йылдырым — «Молния» (1347—1402). В битве Тимура и Боязида при Анкаре 20 июля 1402 г. османское войско Боязида было разгромлено, Боязид захвачен в плен, где вскоре и умер.

С т р. 45. *«Сила — в справедливости»...*— В автобиографии Тимура, в числе двенадцати принципов, которым он всегда следовал, называется прежде всего беспристрастие — справедливость. «Я ко всем относился одинаково строго и справедливо, не делая никакого различия...» («Автобиография Тамерлана». Ташкент, 1894, стр. 5; см. также: «Уложение Тимура (Тамерлана)». Казань, 1894, стр. 29).

С т р. 45. *Сарацины* — древнее название жителей Аравии, а позднее, в период крестовых походов,— всех арабов-мусульман.

С т р. 46. *Шерифэддин* — по-видимому, Шериф-Эддин-Али, персидский историк XV века.

С т р. 47. *Искандер* — арабизированное имя Александра Македонского.

С т р. 49. *...лиловый остров, одинокая скала среди моря...*—

Остров Капри, площадью в 10,4 кв. км; расположен у южного входа в Неаполитанский залив (Тирренское море).

С т р. 50. *Дебора* (точнее: Девора) — мифическая героиня; согласно библейской легенде, объединила разрозненные израильские племена в Палестине и возглавила борьбу с хананеями.

С т р. 50. *Юдифь* (или Иудифь) — героиня ветхозаветного апокрифа, вошедшего в «Книгу Иудифи». Согласно апокрифу, Юдифь, чтобы спасти иудейский город Ветлуя, осажденный войском вавилонского царя Навуходоносора, проникла во вражеский лагерь, прельстила своей красотой ассирийского полководца Олоферна и отрубила ему голову его же мечом.

С т р. 67. *Амальфи* — город на побережье Салернского залива.

С т р. 71. *Чентезимо* — мелкая монета.

С т р. 73. *Кантина* — погребок-закусочная.

С т р. 74. *...вспыхнул к жизни весь восток!* — Имеется в виду революция 1905—1907 годов в России и ее влияние на развитие освободительного движения среди восточных народов.

С т р. 74. *Болонья* — центр области Эмилия-Романья, которая считается традиционно «красной зоной» Италии. В описываемый период здесь, как и на севере страны (в Ломбардии и Пьемонте), Итальянская социалистическая партия пользовалась наибольшим влиянием.

С т р. 75. *Абруцезец* — житель Абруцци, горной области Италии, расположенной к Востоку от столичной области Лацио.

С т р. 76. *Салертинец* — житель города Салерно или провинции того же названия.

С т р. 81. *Гогарт* Вильям (1697—1764) — английский художник, в картинах которого проявились острая наблюдательность, тонкое понимание натуры и склонность к сатире.

С т р. 97. *...я вспоминаю Мессину...* — См. комментарий к очерку «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», т. XI наст. изд.

С т р. 97. *Помните, как мы встречали матросов в Неаполе?* — См. там же.

С т р. 100. *...очень древний закон...* — Закон, изданный Екатериной II в 1796 г., устанавливал так называемую черту еврейской оседлости, в которую входили Белоруссия, Екатеринославское наместничество и Таврическая губерния. За пределами черты оседлости разрешалось проживать евреям, имеющим высшее образование, специалистам в области медицины, ремесленникам высокой квалификации и купцам 1 и 2-й гильдий.

С т р. 100. *А у нас, в Риме — мэр иудей ∞ И ловко бьет папу-портного!* — Имеется в виду выступление мэра Рима Эрнеста Натана с резкой антиклерикальной речью 20 сентября 1910 г.— в сороковую годовщину со дня присоединения Рима и области Лацио к Итальянскому королевству и лишения папы светской власти. 1903—1914 годы — время пребывания на папском престоле Пия X, Джузеппе Сарто, уроженца Тревизо.

С т р. 101. *Базилида* — по-видимому, Базилина — вторая жена Юлия Констанция и мать римского императора Юлиана

(Отступника). Умерла в 331 году в Константинополе при рождении Юлиана.

С т р. 111. *Фрина* — греческая гетера, натурщица скульптора Праксителя (IV в. до н. э.). Ее идеальная красота запечатлена Праксителем в статуе Афродиты Книдской, а также Апеллесом в статуе Афродиты, выходящей из моря.

С т р. 127. *Монте-Соляро* — высшая горная точка острова Капри, 585 м. над уровнем моря.

С т р. 127. *...заброшенный маленький монастырь...*— Санта Мария ди Четрелла.

С т р. 128. *...красное око Капо-ди-Мизена...* — маяк Мизенского мыса.

С т р. 134. *Квартал святого Якова...*— в Неаполе.

С т р. 134. *Сальватор Роза* — итальянский художник (1615—1673), уроженец Неаполя; участвовал в неаполитанском народном восстании 1647 г.

С т р. 134. *Томазо Аниелло* — Мазаниелло (1623—1647), рыбак, возглавивший восстание неаполитанского народа против политического и экономического гнета неаполитанского короля. На десятый день восстания он погиб от руки наемного убийцы. Горький упоминает о нем в «Фоме Гордееве» (см. т. IV наст. изд., стр. 430).

С т р. 136. *Форестьер* — иностранец.

С т р. 144. *...почти каждые пять лет в Неаполе новые правители...*— Горький, как можно предполагать, имел в виду бурную историю Неаполя на протяжении многих веков, когда норманнских завоевателей (1136—1194) сменяли солдаты германского императора Генриха VI, Анжуйскую королевскую династию (1266—1442) — Арагонская (1442—1501); свыше двухсот лет продолжалось испанское господство (1503—1707); вслед за австрийскими оккупантами приходили французские, вторгались войска Наполеона под предводительством Мюрата (1808—1815); 7 ноября 1860 г. в город вступили краснорубашечники во главе с Гарибальди, и Неаполь с округой вошел в состав Итальянского королевства.

С т р. 155. *Маршал* — здесь фельдфебель карабинеров.

С т р. 157. *...добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.*— Колониальная экспансия Италии в Африке настойчиво провоцировалась кайзеровской Германией. В 1885—1887 годах Италия захватила Эритрею и Сомали. Итало-эфиопская война 1895—1896 годов закончилась поражением итальянских войск под Адуа и приостановила их продвижение в Африку. Следующим этапом колониальной политики Италии явилась война с Турцией в 1911—1912 годах. Военный успех Италии в значительной степени был предопределен дружественным нейтралитетом России и Франции. Италия захватила турецкие провинции в Африке — Триполитанию и Киренаику. Дипломатическая поддержка Италии Францией и Россией повлекла дальнейший отход Италии от Тройственного Союза (союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, заключенный в 1882 г.), резкое ухудшение итало-германских отношений, а впоследствии вступ-

ление Италии в империалистическую войну на стороне противников Германии.

С т р. 158. *Сольдо* — мелкая монета.

С т р. 161. *Фиорино* — цветочек.

С т р. 164. *Изида* (точнее Исида) — одна из самых почитаемых богинь Древнего Египта, дочь бога солнца Ра, сестра и жена бога Озириса, растерзанного злым богом Сетом. Изида нашла и с помощью магических заклинаний оживила Озириса.

С т р. 166. «*Христос воскресе*»... — Из пасхальных песнопений православной церкви («Молитвослов». Пг., 1915, стр. 94).

РУССКИЕ СКАЗКИ

(Стр. 167)

Впервые напечатано в издании: М. Г о р ь к и й. Русские сказки. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1912> (сказки I, II, IV—XI); а также: в журнале «Современный мир» (*СМ*), 1912, № 9, стр. 1—33 (I, II, IV—X), под заглавием «Сказки»; III — в газете «Русское слово», 1912, № 290, 16 декабря; XI — в газете «Правда», 1912, № 131, 30 сентября; XII — в газете «Свободные мысли», 1917, № 1, 7 марта; XIII — в газете «Новая жизнь» (*НЖ*), 1917, № 1, 18 апреля; XIV — там же, № 5, 23 апреля; XV — там же, № 7, 26 апреля; XVI — там же, № 68, 7 июля. В 1917 г. сказки I—XVI вышли отдельной книгой: М а к с и м Г о р ь к и й. Русские сказки. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag, <1917>.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопись сказок I, II, IV—XI с авторской правкой и подписью. Заглавие «Русские сказки» вписано Горьким. Правка незначительная. Машинопись — $АМ_1$ послужила наборным экземпляром для первого отдельного издания И. П. Ладыжникова ($Л_1$) (ХПГ-45-6-1).

2. Машинопись сказки III с авторской правкой — $АМ_2$. Заглавие и подпись (машинописные) зачеркнуты синим карандашом. Машинопись прислана Горькому в 1915 г. из редакции газеты «Русское слово» (ХПГ-45-6-2).

3. Машинопись сказки VII с авторской правкой синим и красным карандашами для журнала «Колхозник» (1935) и подписью «М. Горький» — $АМ_3$. Правка фиолетовыми чернилами — редакторская (ХПГ-45-6-3).

4. Машинопись сказки XIII с незначительной авторской правкой, отражающей раннюю стадию работы — $АМ_4$ (ХПГ-45-6-4).

5. Машинопись сказки XIV с незначительной авторской правкой. Отличается от окончательного текста — $АМ_5$ (ХПГ-45-6-5).

6. Печатный текст второго отдельного издания И. П. Ладыжникова ($Л_2$) с авторской правкой для *К* (ХПГ-45-6-6).

7. Печатный текст сказки VII из собрания сочинений *Гр*, стр. 173—176, без помет (ХПГ-45-6-7).

8. Печатный текст сказки VII *Гр*, стр. 173—176. Заглавие — «Сказка» (рукой неустановленного лица) (ХПГ-45-6-8).

Сказки I, II, IV—VI, VIII—XVI печатаются по *К*, а сказки III и VII по $АМ_2$, $АМ_3$ со следующими исправлениями:

Стр. 185, строка 16: «фамилию министра — Коковцев» вместо «фамилию министра» (по $Л_2$ и *К*).

Стр. 186, строки 28—29: «с надеждой и со страхом спросил он» вместо «с надеждой спросил он и со страхом» (по тем же источникам).

Стр. 189, строка 39: «Простился с ним писатель» вместо «Простился с ним» (по $АМ_1$ и *СМ*).

Стр. 190, строка 35: «Кто-то от публики» вместо «Кто-то из публики» (по $АМ_1$, *СМ*, $Л_1$).

Стр. 193, строка 17: «шишки вскочили» вместо «шишки выскочили» (по *СМ*).

Стр. 193, строка 31: «Браллиант вы мой» вместо «Бриллиант вы мой» (по $АМ_1$, *СМ*, $Л_{1,2}$).

Стр. 194, строка 12: «Хотя Некрасов» вместо «Некрасов» (по $АМ_1$ и *СМ*).

Стр. 194, строка 28: «Да потом еще» вместо «а потом еще» (по *СМ* и $Л_{1,2}$).

Стр. 196, строка 20: «что-нибудь духоподъемное» вместо «что-нибудь худоподъемное» (по $АМ_1$ и *СМ*).

Стр. 204, строка 4: «для них недосягаемы» вместо «для них недосягаемые» (по всем другим источникам).

Стр. 232, строка 41: «с миллионом исделаю» вместо «с миллионом и сделаю» (по всем другим источникам).

Стр. 234, строки 28—29: «Пьянство вокруг бабы» вместо «Пьянство вокруг, бабы» (по *НЖ*).

Горький начал работать над «Русскими сказками» в конце 1911 г.[1] 14 (27) декабря он сообщил Е. П. Пешковой: «Пишу „сказки"...» (*Архив $Г_{IX}$*, стр. 131). В то же время он уведомил Н. А. и Т. В. Румянцевых: «...начал писать „русские сказки", кои будут печататься в питерском журнале „Запросы жизни"» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-29-13).

С замыслом «Русских сказок» связаны письма Горького Е. П. Пешковой от 17 (30) января и от 30 января (12 февраля) 1912 г. В первом из них дана резкая характеристика некоторых писателей, в частности, Арцыбашева; во втором говорится об общественно-политической атмосфере в России: «События слагаются таким кольцом, что их угрожающий характер должен бы и мертвых воскресить, а у нас — всё спокойно. Никто ничего не чувствует, кроме мерзавца Струве, который метит на роль Каткова. Вот она „эволюция" русской души от Герцена к Каткову! Очень тяжело и жутко» (*Архив $Г_{IX}$*, стр. 135).

[1] В письме к Н. В. Яковлеву от 25 октября 1934 г. Горький ошибочно указал более раннюю дату (см. *Г-30*, т. 30, стр. 364).

Судя по этим письмам, Горький, вероятно, уже написал сказку о «барине», ищущем свое «национальное лицо» (прототипом «барина» был П. Б. Струве). Несколько раньше созданы сказки о пессимисте, приспособившемся к требованиям времени, продажном поэте и честолюбивом писателе, сказка о двух жуликах и о «философе»-непротивленце. 13 (26) февраля М. М. Коцюбинский сообщил жене с Капри: «Горький написал очень хороший рассказ „Три дня“, а кроме того, семь русских сказок, очень ядовитых, но остроумных и хороших. Вообще он чудесно пишет теперь» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 348).

Сохранились две записи в дневнике К. П. Пятницкого. 10 (23) февраля 1912 г.: «Г<орький> присылает „Русские сказки“, № I—X. Читаю». 11 (24) февраля 1912 г. Пятницкий отметил в разделе «Рукописи»: «М. Горький. Русские сказки.

1. Философ.
2. Поэт.
3. Смерть писателя.
4. Национальное лицо.
5. Помещик.
6. Еврей.
7. Два жулика.
8. Оропгий.
9. Непротивление злу.
10. Личность»

(Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1912, л. 835, 867).

Это соответствует I, II и IV—XI произведениям цикла «Русские сказки». Вероятно, об этих же сказках говорил И. А. Бунин в интервью, данном сразу же по приезде в Россию, сообщая, что Горький «...за эту зиму написал повесть „Три дня“ и несколько мелких вещей под общим заглавием „Русские сказки“. В сатирическо-символическом изложении сказки эти затрагивают различные стороны современной русской действительности. При мне он написал десять таких сказок, но думаю, что из них добрую половину придется напечатать за границей...» (А. Ар<енберг>. У И. А. Бунина.— «Одесские новости», 1912, № 8659, 1 марта). Бунин пробыл на Капри с 1 (14) ноября 1911 г. до 17 февраля (1 марта) 1912 г. Стало быть, первые десять сказок Горький написал за период с конца 1911 г. до начала февраля 1912 г.

Намерение Горького отдать «Русские сказки» в петербургский журнал «Запросы жизни», где печатался цикл его статей «Издалека», не осуществилось. Летом 1912 г. писатель решил отказаться от какого-либо сотрудничества в этом журнале, заявив его редактору Р. М. Бланку: «„Беспартийность“ „З<апросов> ж<изни>“ становится постепенно своеобразной партийностью без программы — худшим видом партийности...» (*Г-30*, т. 29, стр. 250). 3 (16) января 1912 г. он сообщил Е. П. Пешковой, что будет печататься в «Современном мире» (см.: *Архив Г*$_{IX}$, стр. 132).

И действительно, не позднее 15 (28) февраля 1912 г. Горький отправил экземпляр машинописи десяти сказок Б. Н. Рубинштейну, в Берлин, для публикации в издательстве И. П. Ладыжникова, а второй, идентичный экземпляр — в Петербург, в редакцию журнала «Современный мир». В середине февраля Горький писал сотруднику журнала В. Л. Львову-Рогачевскому: «Вчера же послал на имя Марии Карловны <Иорданской — издательницы

журнала „Современный мир“> десяток юмористических „русских“ сказок, думаю, что они своевременны» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-9). Иорданская отозвалась сразу же: «Дорогой Алексей Максимович, спасибо за сказки. Кое-какие места в цензурном отношении не благополучны, но это Вам виднее будет в корректуре» (там же, КГ-п-31-10-2).

Весной 1912 г. издательство Ладыжникова выпустило отдельное издание «Русских сказок» в том составе, который зафиксирован в дневнике Пятницкого. Книга вышла, по-видимому, в марте 1912 г., так как 1 (14) апреля Горький уже договаривался с Рубинштейном относительно ее нового издания за рубежом (см.: *Г-30*, т. 29, стр. 233). В том же письме он сообщил, что к осени даст еще 10 «русских сказок», а 9 (22) апреля писал: «Извините, что беспокою: будьте добры, пришлите мне „Русские сказки“ — очень нужно. Пошлите экспрессом» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-18). Следовательно, в апреле книга уже была отпечатана[1].

В России первая публикация «Русских сказок» задержалась. Один из редакторов «Современного мира», В. П. Кранихфельд, извиняясь за долгое молчание, писал Горькому 4 (17) июня 1912 г.: «Вот и теперь, рискуя навлечь на себя Ваше справедливое неудовольствие, мы попридерживаем в портфеле Ваши прелестные „Русские сказки“, рассчитывая при Вашем снисходительном попустительстве дотянуть их до осени <...> в интересах журнала нам было бы желательнее использовать в летних книжках залежавшийся материал иной ценности. Надеюсь, что Вы снизойдете к интересам журнала...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-39-16-2).

В июне 1912 г. Горький ответил:

«Полгода я ждал ответа на мое письмо и — получил „полемику“, понуждающую меня на возражения.

Посылая сказки, которые Вы называете „прелестными“, я просил, если они понравятся, поместить их в весенних книжках, и через три месяца получаю ответ, что их лучше напечатать осенью.

Сказки эти для меня — новый жанр, мне было бы очень полезно знать, в какой мере они удачны; я не самолюбив, со мной можно говорить просто и откровенно. Мне кажется, что, если бы сказки оказались достаточно удобными для журнала и ценными с точки зрения социально-педагогической, их можно бы давать два раза в год, частью как фельетон на темы современности, частью же „вообще“ на русские темы» (там же, ПГ-рл-21-7-1).

Ответное письмо Кранихфельда датировано 7 (20) июля 1912 г. «Теперь о „Сказках“. Называя их „прелестными“, я вы-

---

[1] Возможно, что об этом же издании писала Рубинштейну М. Ф. Андреева 30 апреля (13 мая) 1912 г.: «Алексей Максимович просит Вас прислать ему <...> 5 экз. „Сказок“» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-4-1-17).

сказал о них свое искреннее мнение и даже не только свое: такого же мнения о них Мария Карловна <...> Конечно, они не равноценны, и слабее всех остальных показалась мне последняя сказка: она оставляет впечатление некоторой незаконченности <...> Если Вы доверяете моему опыту, то, может быть, Вы согласились бы или переместить последнюю сказку, поставив ее где-нибудь среди других, или даже совсем устранить ее из первой серии, обработав ее для второй серии. Последнее мне кажется более целесообразным <...> В сентябре, и никак не позже, сказки <...> появятся в печати, и при таких условиях Ваше желание давать их два раза в год вполне осуществимо, несмотря даже на то, что мы были вынуждены обстоятельствами попридержать их в редакционном портфеле. В декабре,— стало быть, с перерывом в три или два месяца — появление второй серии сказок было бы очень и очень желательно, и мы будем Вам весьма признательны, если Вы выполните Ваше намерение и заблаговременно к декабрю пришлете нам вторую серию» (там же, КГ-п-39-16-3).

Горький, по-видимому, был недоволен тем, что публикация сказок откладывается до осени. Летом 1912 г. он попытался договориться с Пятницким и включить их в XXXVIII сборник «Знания». В июне он писал Пятницкому: «Пожалуйста, Константин Петрович, ответьте мне завтра же, насколько уместно и возможно ли с цензурной точки зрения печатать эти сказки в сборнике?» (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 276). На письме — пометка рукой Пятницкого: «О „Русских сказках“ для XXXVIII». Однако в этом сборнике «Знания» появилась лишь одна из «Сказок об Италии».

На письмо Кранихфельда Горький ответил коротко: «Со „сказками“ поступайте, как Вам удобнее» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21-7-5), а в другом письме распорядился:

«Десятую сказку — отбросьте, я пришлю другую на место ее, а если не успею — печатайте девять. Но, наверное, успею. Вторую серию — к декабрю — пришлю» (там же, ПГ-рл-21-7-6).

Письмо датируется июлем 1912 г., и уже в конце июля — начале августа Горький писал Кранихфельду: «Посылаю „сказку“ в замену прежде посланной десятой, которую прошу вернуть мне» (там же, ПГ-рл-21-7-7).

На основании этих писем можно установить, что в июле 1912 г. Горький написал сказку о советнике Оном и трех его сыновьях, послав ее в редакцию «Современного мира» взамен той, которая условно была названа им «Личность».

В сентябрьском номере «Современного мира» появился первый цикл русских сказок — под заглавием «Сказки» и с рядом редакторских поправок в тексте. 13 (26) сентября Кранихфельд писал Горькому: «На днях выйдет в свет несколько запоздавшая сентябрьская книга „Совр<еменного> мира“. На первом месте — Ваши „Русские сказки“, которые я, напуганный штрафами и конфискациями, позволил себе *в последнюю минуту* перекрестить просто в „Сказки“. В соответствии с этим в трех случаях, где действие происходит в „некотором царстве, в некотором государстве“, я заменил вкрапленные в текст слова „Россия“, „рус-

ский“ — страной, отечеством, подданным» (там же, КГ-п-39-16-4).

Горький ответил 19 сентября (2 октября): «Уважаемый Владимир Павлович! Внесенные Вами поправки вызваны опасением за судьбу книги — значит, так тому и быть <...> Ту „сказку“, которая осталась не напечатанной, я просил послать мне. Теперь усердно прошу: *когда выйдет книжка*, пошлите, пожалуйста, оставшуюся ненапечатанной сказку газете „Правда“» (там же, ПГ-рл-21-7-8).

Сказку о «мудрейших жителях», которые пытались создать нового человека («Личность»), Кранихфельд после выхода сентябрьской книжки журнала передал в большевистскую газету «Правда». Можно думать, что она не устраивала редакцию «Современного мира» по идейным соображениям, так как доводы Кранихфельда о ее художественном несовершенстве несостоятельны. В сказке высмеивались веховские идеологи, с которыми меньшевистско-кадетская редакция журнала была в добрых отношениях.

Летом 1912 г. у Горького налаживается связь с газетой «Правда». 28 июня (11 июля) Ладыжников сообщал ему об успехе газеты среди рабочих, но жаловался на отсутствие сил и средств, мешающее работе (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-3). 19 июля (1 августа) 1912 г. В. И. Ленин писал Горькому: «А в России *революционный* подъем, не иной какой-либо, а именно революционный. И нам удалось-таки поставить ежедневную „Правду“...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 81). В следующих письмах Ленин просил Горького сотрудничать в газете и тем самым помочь росту ее популярности. В начале октября 1912 г. он сетовал: «В „Правде“ Вас все нет да нет. Жаль. А надо бы поддержать газету» (там же, стр. 97). Откликаясь на просьбы Ленина, Горький и решил передать в «Правду» сказку, не опубликованную в «Современном мире».

4 (17) октября 1912 г. Ленин писал Горькому: «На днях получил из редакции „Правды“ в Питере письмо, в котором они просят меня написать Вам, что чрезвычайно рады бы были постоянному Вашему сотрудничеству. „Хотим-де предложить Горькому 25 коп. за строчку, да боимся, чтобы он не обиделся“,— так они мне пишут» (там же, стр. 100). В ответ Горький послал Ленину письмо, адресованное редакции «Современного мира», с просьбой передать «Правде» десятую сказку. Ленин в тот же день сообщил правдистам:

«Писал, по Вашей просьбе, Горькому и получил от него сегодня ответ. Он пишет: „Пошлите прилагаемую записку «Правде». О гонораре не может быть и речи, это чепуха. Работать в газете я буду, скоро начну посылать ей рукописи. Не мог сделать этого до сих пор лишь потому, что отчаянно занят, работаю часов по 12, спина трещит“.

Как видите, настроен Горький очень дружественно».

Ниже — приписка Ленина: «Прилагаю письмо Горького в „Современный мир“ о выдаче Вам „Сказки“. *Скорее берите*» (там же, стр. 105—106).

Однако письмо Горького не понадобилось: редакция «Современного мира» уже передала сказку «Правде», и она была напечатана 30 сентября (13 октября) 1912 г., в воскресном номере газеты. За два дня до этого «Правда» сообщала: «В воскресном номере „Правды“ будет помещена „Сказка“ М. Горького» («Правда», 1912, № 129, 28 сентября).

Ленин высоко оценил выступление Горького на страницах «Правды». В декабре 1912 г., убеждая писателя принять участие в агитации за подписку на газету, он писал: «В какой форме? Ежели есть сказка или что-либо подходящее,— тогда объявление об этом будет очень хорошей агитацией» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 137).

К декабрю 1912 г. Горький собирался прислать «Современному миру» вторую серию «Русских сказок». Для нее были предназначены сказки: о советнике Оном, о «мудрейших жителях» и о Смертяшкине.

Одним из поводов для создания сказки о Смертяшкине послужил выпад писателя-декадента Федора Сологуба против Горького. Весной 1912 г. в кадетской газете «Речь» появились «ненапечатанные эпизоды» из романа Сологуба «Мелкий бес» под заглавием «Сергей Тургенев и Шарик» («Речь», 1912, № 102, 15 апреля; № 109, 22 апреля; № 116, 29 апреля). В образе Шарика был высмеян Горький, а под именем Сергея Тургенева — Скиталец.

В связи с этим Горький писал Л. Андрееву в мае 1912 г.: «Началась в литературе русской какая-то новая — странная — портретная полоса: только что вышла повесть Ш. Аша, где прегрубо нарисованы Волынский, Чириков, Дымов, Бурдес и Ходотов и еще куча людей. Недавно читал рукопись, посвященную Арцыбашеву, имею препоганый рассказ о Куприне, старичок Тетерников размалевал меня, Дымов,— как говорят,— Мережковского, у Рощина тоже портретики. Что это значит?» (*Лит. насл.*, т. 72, стр. 345). О том же писал Горький Р. М. Бланку в конце мая 1912 г.: «Писать на тему о необходимости объединения для нашей интеллигенции пробовал, но — выбит из позиции, потерял нужное настроение, прочитав ряд последних книг — что за „новая полоса“ в русской литературе?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-18-7). Наконец, сообщая тогда же о сологубовском шарже А. В. Амфитеатрову («Сологуб раскрасил меня»), Горький заметил, что зачинатели «новой полосы» «дадут очень солидный материал гасителям духа и тем, кто любит плясать на могилах». И добавил с иронией: «...я сижу и сочиняю длинную поэму, коя начинается так:

Если б я, положим, удавился —
То-то бы читатель удивился! и т. д.»

(там же, ПГ-рл-1-25-162).

Сказка о Смертяшкине продиктована стремлением дать отповедь тем, «кто любит плясать на могилах». Поэтому было бы неправильно связывать возникновение ее замысла только с указанными выступлениями Федора Сологуба, О. Дымова, Б. Рощина

и др. Мысль о создании такого произведения родилась у Горького значительно раньше этих выступлений.

Еще в апреле 1907 г. он писал И. П. Ладыжникову с Капри: «Здесь много русских писателей — Вересаев, Айзман, Леонид ‹Андреев›,— это мрачные люди, они сидят, нахмурив лбы, и молча думают о тщете всего земного и ничтожестве человека, говорят же они о покойниках, кладбищах, о зубной боли, насморке, о бестактности социалистов и прочих вещах, понижающих температуру воздуха, тела, души» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 159).

В письме Горького Л. Андрееву от 12 (25) августа 1907 г. содержится резкая характеристика Сологуба: «Старый кокет Сологуб, влюбленный в смерть, как лакей влюбляются в барынь своих, и зангрывающий с нею, всегда с тревожным ожиданием получить от нее щелчок по черепу» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 287).

Для Горького проповедь смерти в литературе была одним из отличительных признаков мещанина, испугавшегося размаха революционной борьбы и спрятавшегося в узкий личный мирок. Эта мысль отчетливо выражена в статье «Разрушение личности» (1908), где впервые появился образ Смертяшкина (см.: *Г-30*, т. 24, стр. 70).

О некоей «модерн-девице», послужившей одним из прототипов Нимфодоры Заваляшкиной, Горький сообщил А. С. Черемнову в августе — сентябре 1912 г.: «...девица надела неотразимо прозрачную кофту и всё прочее; приходит куда-нибудь, садится на собственную ногу и всех убеждает, что смерть совершенно непзбежна. Душится какими-то кладбищенскими духами и цитирует в доказательство этого неизвестных поэтов на двух языках, не считая русского» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 111). В образе Нимфодоры угадываются гротескно заостренные черты писательниц — З. Н. Гиппиус, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, А. Н. Чеботаревской (жены Сологуба). В 1911 г. вышла книга «О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки». Ее составительница Анастасия Чеботаревская включила в сборник только положительные отзывы о творчестве своего мужа. Горький тогда же писал В. Львову-Рогачевскому: «Что Вам за охота писать о Сологубах и прочих „живых трупах“, „мертвых душах“? Они и сами про себя напишут, а если не хватит времени — жен попросят» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-12).

Непосредственная работа над сказкой относится, вероятно, ко второй половине сентября — началу октября 1912 г. 17(30) августа Ладыжников сообщил Горькому: «С Сытиным я говорил. Он очень просит Вас писать для „Русского слова“. Будет помещено всё, что Вы пришлете» (там же, КГ-п-42-1-4). Горький ответил 11 (24) сентября: «„Русскому слову“ я дам фельетон в конце сентября, когда выйдет книжка „Совр‹еменного› мира“ с „Русскими сказками“. Было бы хорошо, если бы Сытин или Благов написали точно, каковы их условия?» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 202) [1].

[1] О переговорах Ладыжникова с Сытиным см. также письмо Горького Ладыжникову от сентября (после 11-го) 1912 г. (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 205) и письма Ладыжникова Горькому от 4 (17) сен-

19 октября (1 ноября) Горький сообщил Ладыжникову, что «фельетон» о Смертяшкине готов. Он писал: «...могу сейчас же прислать беллетристический очерк со стихами „Смертяшкин“ — в жанре русских сказок» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 208—209). Но только 22 ноября (5 декабря) сказка была отправлена Ладыжникову (см. там же, стр. 210). Узнав, что Ладыжников собирается в Берлин, Горький в следующем письме напомнил: «Третьего дня послал Вам в Питер рукопись фельетона для „Рус‹ского› слова“...» (там же, стр. 211).

Ладыжников ответил Горькому из Берлина 29 ноября (12 декабря): «Рукопись о „Смертяшкине“ я получил в Петербурге перед отъездом сюда и тотчас же отправил ее вместе со своим письмом Сытину в Москву» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-11). 16 (29) декабря 1912 г. сказка о Смертяшкине появилась в газете «Русское слово».

Горький был заинтересован в том, чтобы сказка стала известна не только в буржуазно-либеральных кругах, где ее старались обойти молчанием. В ответ на просьбу А. Н. Тихонова дать материал для газеты «Правда» он писал 19 декабря 1912 г. (1 января 1913 г.): «Предлагаю Вам перепечатать из „Рус‹ского› слова“ „Сказку“ о Смертяшкине...» (*Г Чтения*, 1959, стр. 27). И несколько дней спустя — ему же: «Вот,— перепечатайте в „Правде“ эту сказку,— веселая» (там же, стр. 28). 31 декабря (13 января) Тихонов ответил: «Перепечатывать сказки из „Русского слова“ неудобно: уж очень они всем известны» (там же, стр. 79).

Текст сказки Горький правил после первой публикации. Сохранилась переписка Горького с сотрудничавшим в «Русском слове» писателем И. М. Касаткиным. В конце января — начале февраля 1915 г. Горький обратился к Касаткину с просьбой: «Весною 13-го года в „Рус‹ском› слове“ был напечатан мой фельетон „Смертяшкин“, мне очень нужна эта вещь, черновика у меня нет, и я прошу Вас: будьте любезны, закажите напечатать этот фельетон на машинке в двух экземплярах...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-18-59-26). Касаткин ответил в начале февраля 1915 г.: «Заказной бандеролью посылаю 2 экземпляра Вашей вещи. Напечатана она не весною 13-го года, а 16 декабря 12-го года. И заглавие — иное» (там же, КГ-п-34-16-29). Получив машинопись, Горький отозвался 12—13 февраля 1915 г.: «Сердечно благодарю Вас за то, что нашли и прислали „Смертяшкина“!» (там же, ПГ-рл-18-59-25).

Горький выправил эту машинопись (ХПГ-45-6-2), по-видимому, намереваясь включить весь цикл «Русских сказок» в *ЖЗ*. Правка касалась большей частью характеристики общественно-политических явлений в стране, заостряла сатирическую направленность основных образов, усиливала разоблачительное значение сказки. По сути дела эта машинопись зафиксировала последний этап творческой работы автора над

тября, 27 октября (9 ноября) и 3 (16) декабря 1912 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-5, КГ-п-42-1-7, КГ-п-42-1-10).

текстом сказки (готовя $Л_2$ и $К$, Горький не сделал существенных изменений в тексте).

Таким образом, из задуманного Горьким второго цикла «Русских сказок» в 1912 г. были написаны только три — о советнике Оном, «мудрейших жителях» и поэте Смертяшкине. Однако в Архиве А. М. Горького сохранилось несколько черновых набросков, тематически связанных с «Русскими сказками»; один из них примыкает к сказке VI:

«Один веселый мужик глядел-глядел на окружающее и — сочинил песню:

Рóссия, Россúя, бедная страна,
Горькая, грустная участь твоя!

Сочинил и — поет, бездельник.

Прислушалось начальство, привлекло и спрашивает:

— Это почему?

А мужик, оправляя волосья, изъясняет:

— Погода, ваше благородие, беззаконна очень у нас: то — дожди, то — вовсе нет дождей...

— В этом случае, дурак, надобно богу молиться, а не песни петь...

Пошел мужик в свою трущобу, научился богу молиться по псалтырю, бормочет:

— Услыши, боже, глас мой, внегда молитимися к тебе, от страха вражия изми душу мою...

Услыхало начальство — опять привлекло:

— Это как?

— Приказано, чтобы молиться, ну я и...

— А какой такой страх?..

— Вообще...

— А чем он тебе мешает?

— Страх-от? Живем в трущобе, лешие там, конечно, и всякая нечистая сила...

Ударил по шее и советует:

— Леших — нет, а страх надобно чувствовать только пред начальством...

— Ну ладно,— согласился мужик...

И так как делать ему было нечего, стал частушки выдумывать — выдумает и орет:

Живи — не тужи,
Туже брюхо подвяжи,
[Учись, паря, смолоду,
Как подохнуть с голоду...]

Привлекли за волосья, осведомляются:

— Это что за сатиры?» («Литературная газета», 1970, № 37, 9 сентября).

Можно предположить, что набросок является черновиком неоконченной сказки, которая должна была следовать за шестой.

Другой черновой набросок озаглавлен «Три дурака. Огонь. Смерть. Зачем»: « — И ваше начальство ничего не понимат, и

наше ничего не понимат, надобно бы нам самим, братишка, понимать чего-нибудь.

— Давно пора, дядя!

— Ну, ступай. А то тебя пристрелят или повесят.

— Тебе что <?>

— Ничего. Только — жаль все-таки. Шея у тебя для виселицы тонка — ты себе иди шею нагуляй» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 58—59). Возможно, этот замысел связан со сказками, написанными в 1916—1917 гг. Близок к ним также набросок «Случай с Мишей» (см. варианты).

Еще об одном замысле сказки можно судить по письму Горького киевскому фельетонисту Н. Иванову. В 1912 г. Горький уговаривал его сотрудничать в реформируемом журнале «Современник» и предложил тему, родившуюся, по-видимому, в процессе работы над «Русскими сказками»: «Житель, которого с кашей сожрали,— это очень хорошая тема. А вот не улыбнется ли Вам положение инородцев на Руси? Состряпать бы эдакую дружескую беседу еврея, татарина, финна, армянина и т. д. Сидят где-нибудь, куда заботливо посажены, и состязаются друг с другом, исчисляя, кто сколько обид понес на своем веку. А русский слушает и молчит. Долго молчал, всё выслушал, молвил некое слово — да завязнет оно в памяти на все годы, пока длится эта наша безурядица и бестолочь» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-17-4-2; см. также: *Г*, *Материалы*, т. I, стр. 279).

Частично эта идея была использована Горьким в сказке V, но полностью ее замысел не развернулся — вероятно, по цензурным условиям.

К работе над вторым циклом «Русских сказок» Горький вернулся в 1916 г. А. А. Демидов, вспоминая о встречах с ним в редакции журнала «Летопись», писал: «...как много ему приходилось пропускать через свою голову других рукописей, и в то же время он усиленно писал сам известные его „сказки“ по поводу войны...» (Демидов А. А. Из встреч с Максимом Горьким. (Воспоминания).— Архив А. М. Горького, МоГ-4-5-1).

Речь, видимо, идет о сказках XIII и XIV, которые могли быть написаны в 1916 г. Писатель попытался тогда же опубликовать одну из них. В Архиве А. М. Горького хранится следующее письмо редактора журнала «Новый колос» Н. П. Огановского от 15 (28) марта 1916 г.: «Премного благодарны Вам за статью и прелестную сказочку. Статья пойдет в следующем же номере [1], что же касается сказки, то у нас возникли сомнения насчет ее цензурности — мы подвергнем этот вопрос обсуждению в редакционном комитете» (Архив А. М. Горького, КГ-п-55-1-2). В журнале сказка не появилась.

Следующая по времени создания сказка — XII — написана в конце февраля 1917 г. Публикуя произведение в первом номере, газета «Свободные мысли» поместила следующее примечание

---

[1] Имеется в виду статья Горького «О современности», напечатанная в журнале «Новый колос», 1916, № 11.

от редакции: «Сказка написана М. Горьким для „Журнала журналов“ за два дня до революции и запрещена цензурой уже в те дни, когда все „точки над i“ были поставлены и революционный народ овладевал Петроградом» («Свободные мысли», 1917, № 1, 7 марта).

Последние сказки — XV и XVI — отразившие положение в России после победы Февральской революции в том виде, как оно представлялось тогда писателю, созданы, по-видимому, в конце июня — начале июля 1917 г. Немного раньше Горький перепечатал сказки XIII и XIV в журнале «Свободный солдат» (1917, № 1, стр. 10—11), сделав ряд небольших изменений в их тексте.

Осенью 1917 г. Горький собрал все сказки воедино и передал их издательству Ладыжникова, где они вышли отдельной книгой в том же году. В основу издания легли десять «Русских сказок», выпущенных Ладыжниковым в 1912 г., и машинопись (либо первопечатный текст) сказок III и XII—XVI. Сказка III печаталась по «Русскому слову»: правка Горького, сделанная в 1915 г., осталась неучтенной. В издании $Л_2$ она помещена под номером XI.

Последний этап авторской работы над «Русскими сказками» относится к 1923 г., когда Горький готовил их по тексту $Л_2$ для собрания сочинений *К*. Правка на этот раз была незначительной и носила главным образом стилистический характер. В этом издании Горький переместил сказку о Смертяшкине, сделав ее третьей.

Писатель неоднократно переиздавал «Русские сказки», но заново переработал только одну из них — VII. В 1932—1933 годах был задуман сборник рассказов и статей о евреях, куда вошла эта сказка Горького. Сохранились гранки сборника (издание не осуществилось) с незначительными авторскими поправками (ХПГ-42-16-5).

В 1935 г. Горький вновь обратился к сказке VII, в связи с тем, что у редакции журнала «Колхозник» возникла мысль сделать один из очередных номеров тематическим, посвятив его еврейскому вопросу в дореволюционной России. Для этого номера Горький заново отредактировал свой рассказ «Погром» (1901) и VII сказку. В Архиве А. М. Горького хранятся две машинописи с авторской правкой, посланные им в редакцию «Колхозника». Но сказка в журнале не была опубликована. Возможно, она показалась трудноватой для восприятия читателей «Колхозника»: расшифровка многочисленных намеков требовала специального комментария. 20 марта 1935 г. В. Я. Зазубрин сообщил Горькому: «Из материалов о еврейских погромах, по-моему, следует пустить только Ваш рассказ» (*Архив Г*$_{х}$, кн. 2, стр. 413).

В первом цикле «Русских сказок» (1912) изображена российская действительность периода столыпинской реакции.

Обращаясь к злободневной сатире как «новому для себя жанру», Горький, по его собственным словам, преследовал «со-

циально-педагогическую цель» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21-7-1). Впоследствии писатель подчеркнул, что в литературном плане его сказки связаны с сатирическими традициями М. Е. Салтыкова-Щедрина (см. письмо Горького Н. В. Яковлеву от 30 сентября 1934 г.— *Г-30*, т. 30, стр. 360). «В наши дни,— говорил Горький в 1909 г. слушателям Каприйской партийной школы,— Щедрин ожил весь, и нет почти ни одной его злой мысли, которая не могла бы найти оправдания в переживаемом моменте. Вновь воскресли Молчалины и Хлестаковы, Митрофанушки — заседают в Государственной думе, а ренегатов — еще больше, чем в 80-х годах» (*Архив* $Г_{I}$, стр. 274). Тогда же он писал С. Я. Елпатьевскому: «Щедрина надо бы нам в эти шалые дни» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 75).

Сатира представлялась Горькому одним из наиболее действенных средств борьбы с реакцией. «От вас, из России,— писал он Н. А. и Т. В. Румянцевым,— веет такой тяжелой грустью, таким мраком и общей растерянностью, что поставил я себе цель — да будет вам от меня весело! Так и ждите!» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-29-13).

Воскрешая традиции революционно-демократической сатиры XIX в., Горький тесно соприкасался с большевистской прессой, которая именно в этот период начала широкую пропаганду наследия Салтыкова-Щедрина. В. И. Ленин писал в 1912 г.: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в „Правде“ Щедрина...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 89; см. также т. 22, стр. 84—85).

В «Русских сказках» Горький изобразил тех, кто осуществлял политику насильственного успокоения России. Таковы правитель Игемон, в образе которого угадываются черты премьер-министра П. А. Столыпина; наемный «усмиритель» Оронтий Стервенко; губернатор фон дер Пест; полицейский пристав фон Юденфрессер, что в переводе с немецкого означает «пожиратель евреев»; сановный министр из сказки I, чей облик явно напоминает реакционного министра просвещения Л. А. Кассо. В образе «фуэгийца» Оронтия Стервенко Горький дал обобщенный сатирический портрет озверевших «усмирителей» России (А. А. Рейнбот, Д. Ф. Трепов, Ф. В. Дубасов, И. Н. Толмачев и др.).

Изображению многоликого врага демократии посвящено большинство «Русских сказок» (I—VIII, X—XII). Некоторые из них отражают борьбу Горького с реакционными философскими течениями, в том числе с проповедью «самоусовершенствования» и толстовской идеей «непротивления злу насилием». В статье «О прозе» Горький заметил, что «в классовом обществе любить „вообще человека“ — невозможно, ибо это привело бы к „непротивлению злу“ и — далее — ко всемирной вшивости, как сказано в одной из „Русских сказок“...» (*Г-30*, т. 26, стр. 392).

Горьковский житель из сказки X, который пытался одолеть зло терпением и видел зло «в сопротивлении оному»,— блестящая пародия на веховцев и толстовцев. Можно предположить,

что одним из прототипов этого образа был писатель Иван Наживин, книга которого «Моя исповедь» вышла в 1912 г. Критикуя ее, Горький писал в цикле статей «Издалека»: «В чем задача жизни по Наживину? Очистить душу от „временного", приблизить ее к „вечному", „а потом душа будет безмолвно даже очищать и освещать других",— как учил Л. Н. Толстой. „В борьбе обретешь ты свое право" — „нет! — кричит Наживин,— борьба есть лучшее средство не обрести, а потерять свое право и право другого..."; „Только не борись,— учит он,— только уйди из этой злой сутолоки страстей человеческих..."» (*Г, Статьи*, стр. 128—129).

Комические фигуры «мудрейших жителей», углубившихся в созидание «нового человека», Горький рисует в сказке XI. В «мудрейших» угадываются идеологи веховства: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, П. Б. Струве и др.[1]

Сатирический портрет одного из «мудрейших» Горький дал в сказке V. Барин, который старательно искал свое «национальное лицо», многими чертами напоминает П. Б. Струве. В 1911 г. вышел сборник его статей «Patriotica». Отстаивая идею «Великой России», Струве по существу солидаризировался с премьер-министром П. А. Столыпиным, который сказал о революционерах: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» («Государственная дума». Стенографический отчет. Сессия II, заседание 36, 10 мая 1907 г.).

На практике идея «Великой России» означала защиту империализма, великодержавный шовинизм и угнетение «малых наций». В письме к редактору «Запросов жизни» Р. М. Бланку в июне 1912 г. Горький заметил: «Особенно пугает и тяготит несомненный рост внимания к проповеди зоологического национализма, к идее „Великой России" — пагубнейшая идея <...> Надобно возможно чаще и понятнее говорить о грозном для России международном положении ее, о тех несчастиях, коими эта позиция грозит народу» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-18-3).

Высмеивая лозунг «Великой России», Горький в сказке V подверг критике позицию кадетов в спорах по национальному вопросу. Здесь есть намеки на политическую и литературную карьеру Струве: «и социалистом был, и молодежь возмущал, а потом ото всего отрекся...» (см. реальный комментарий к стр. 192). Однако значение сатирического образа «барина» неизмеримо шире. Это образ националиста, идеолога российского империа-

---

[1] В декабре 1911 — январе 1912 г. Горький писал М. П. Миклашевскому (Неведомскому): «...для того чтобы родился Человек,— необходимо оплодотворить людей семенем живым свободы, необходимо соитие инертной материи с творческой волею. Как воспитаете оную, превыспренно мечтая и, подобно серебряным паучкам, вытягивая из себя тоненькие и липкие нити паутины, в чаянии уловить некое важное и тайное? Единственная муха, коя всегда и аккуратно попадает в паутину эту,— ты сам же, российский градожитель» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-25-32-1).

лизма, вобравший в себя конкретные черты многих кадетских и октябристских деятелей тех лет.

Многие сказки Горького разоблачали вдохновителей реакции на идеологическом фронте. Еще весной 1910 г. Горький писал Л. А. Никифоровой: «Страна наша состоит сплошь из разнесчастных Ванек, не помнящих родства, не чувствующих своей связи с родиной, с миром и людьми. Именует ли себя оный Ванька Петром Струве или Федором Сологубом — всё едино — в существе его нет двух основных человеческих свойств: любви к жизни, уважения к самому себе. Он всю жизнь возится с некиим мыльным пузырем, своим „я“, надувается, пыжится, хочет создать из своей пустоты „неповторяемую, единственную индивидуальность“ и — создает жалчайшее нечто <...> Боязливо играя в прятки с жизнью, он холопски преклоняется пред нею, когда она его находит...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-28-4-13).

Боязнь жизни, проповедь пессимизма приобрели в годы столыпинской реакции большое распространение. Типические особенности проповедника такого рода «философии» запечатлены в гротескном образе Смертяшкина.

Впоследствии Горький признавался: «Вероятно, когда я писал Смертяшкина, то „в числе драки“ имел в виду и пессимизм Сологуба. Не отрицаю, что издание Чеботаревской книги только положительных рецензий о Ф<едоре> К<узьмиче> очень развеселило меня» (*Г-30*, т. 30, стр. 275).

В сказке III Горький пародирует художественную манеру Ф. Сологуба, его тяжеловато-«возвышенные» периоды, воспевающие вечность, космос и смерть (см., например, рассказ Сологуба «Алая лента», напечатанный в «Биржевых ведомостях», 1912, № 12768, 3 февраля).

Однако, создавая образ Смертяшкина, Горький стремился к широкому художественному обобщению. В той же сказке пародируются стихи З. Гиппиус «О, ночному часу не верьте!» и другие произведения «кладбищенской» литературы. Поэтому, когда Ф. Сологуб узнал в сказке III себя и свою жену, Горький с ним не согласился. 18 (31) декабря 1912 г. Ф. Сологуб направил Горькому письмо, в котором говорилось:

«Алексей Максимович, Вы, как искренний и большой человек, не станете отрицать, что Ваша „сказка“, помещенная в „Русском слове“ 16 декабря, метит в меня. Если бы это было только против меня, я и не возражал бы. Но Вы захотели говорить и о жене Смертяшкина <...> Я не понимаю, зачем Вы это сделали?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-73-8-1; см. также: *Г*, *Материалы*, т. I, стр. 198).

Горький ответил 23 декабря 1912 г. (5 января 1913 г.): «Милостивый государь! Я очень удивлен письмом Вашим: какие основания имеете Вы полагать, что фельетон мой о Смертяшкине „метил“ именно в Вас?

Считая меня „искренним человеком“, Вы должны верить, что если б я хотел сказать Вам: „Да, Смертяшкин — это Вы, Ф. Сологуб“,— я бы это сказал. Я отношусь отрицательно к идеям, которые Вы проповедуете, но у меня есть известное чувство

почтения к Вам, как поэту; я считаю Вашу книгу „Пламенный круг“ образцовой по форме и часто рекомендую ее начинающим писать, как глубоко поучительную с этой стороны. Уже одно это делает невозможным знак равенства Смертяшкин = Сологуб. Разницу в моем отношении к Вам и, например, Арцыбашеву Вы могли бы усмотреть в моей заметке о самоубийствах — „Запр<осы> жизни“, № 27-й.

Прочитав мой фельетон более спокойно, Вы, вероятно, поняли бы, что Смертяшкин — это тот безымянный, но страшный человек, который всё,— в том числе и Ваши идеи, даже Ваши слова,— опрощает, тащит на улицу, пачкает и которому, в сущности — всё, кроме сытости, одинаково чуждо.

Вышесказанное, надеюсь, позволяет мне обойти молчанием Ваши совершенно нелепые обвинения в том, что я „оклеветал женщину“ и питаю какую-то злобу к Вашей супруге <...> Я могу объяснить Ваше письмо только так: вероятно, нашлись „догадливые толкователи“ и немножко побрызгали в Вашу сторону грязной слюною <...> Мне трудно представить, чтоб Вы сами, изнутри, без толчков извне, отождествили себя со Смертяшкиным» (*Г-30*, т. 29, стр. 289—290).

В ответном письме 28 декабря (10 января) Сологуб писал Горькому: «Само собою разумеется, что я принимаю с совершенным доверием Ваши объяснения того, что Вы имели в виду сказать Вашею „сказкою“ <...> Но Вы напрасно удивляетесь тому, что русский писатель способен отождествлять себя с героями сатирических и юмористических рассказов: в России не принято очень ласково обращаться с писателями, и мы привыкли ко многому» (Архив А. М. Горького, КГ-п-73-8-2).

В том же письме Сологуб отрицал факт существования у него «догадливых толкователей». «Весьма обрадован Вашим письмом,— отозвался Горький,— а особенно Вашим заявлением, что „догадливых толкователей“ — нет <...> Мне приятно, что это печальное недоразумение окончилось без шума» (там же, ПГ-рл-40-15-2)[1].

Собирательный сатирический образ Смертяшкина действительно нельзя считать личным выпадом против Сологуба и Чеботаревской. В сказке пародируются стихи Ф. Сологуба, З. Гиппиус и Вяч. Иванова, а также высмеиваются статьи критиков-декадентов о творчестве Сологуба. Говоря о «поэзах» Смертяшкина, Горький намекает на изысканно-претенциозные стихи И. Северянина. Описывая убранство стильной квартиры Смертяшкина, высмеивает быт многих интеллигентских семей.

Сатира Горького направлена не только против российского декаданса. Еще в статье «Поль Верлен и декаденты» (1896) Горький саркастически описывал повальное увлечение «культом смерти» во Франции, где действовал «Кабачок смерти». Его посетители смаковали мистические идеи, «сидя в гробах, заменяю-

[1] Отзыв Горького о Сологубе см. также в его письме М. Ф. Андреевой (см.: *Андреева*, стр. 296).

щих столы, и попивая вино из черепов, играющих роль бокалов» (*Г-30*, т. 23, стр. 129).

«Русские сказки», созданные в 1911—1912 годах, едины по своей философской и идейной концепции: они разоблачают политическую и общественную реакцию во всех ее проявлениях (политика — идеология — литература — быт).

Второй цикл составляют сказки, большинство которых написано в 1916—1917 годах. Их объединяют темы: война, проблема русского национального характера, судьбы России, народ — интеллигенция — революция. О настроениях Горького в период создания этих сказок можно судить по его письмам к Е. П. Пешковой. 1(14) марта 1917 г. он писал: «Происходят события внешне грандиозные, порою даже трогательные, но — смысл их не так глубок и величественен, как это кажется всем. Я исполнен скептицизма <...> Много нелепого, больше, чем грандиозного» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 194). В письме от 11 (24) марта того же года: «Сколько смешного вокруг! Сколько глупости и пошлости!» (там же, стр. 195).

Горький не преувеличивал значения Февральской буржуазно-демократической революции в России. Но в то же время, недооценивая силы пролетариата, он с тревогой следил за ростом обывательских настроений, его пугал анархизм несознательных слоев крестьянства. Всё это отразилось в последних сказках, придав раздумьям Горького о национальном характере русского народа некоторую односторонность.

Тем не менее в сказках велика разоблачительная сила сатиры, направленной против буржуазии и либеральной интеллигенции. В сказке XII высмеивается Государственная дума и пустая игра либеральных партий в законодательство. Сказка XIII дает сатирическое изображение империалистической войны между русскими (Кузьмичи) и немцами (Лукичи).

В сказке XIV отразились мысли Горького о русском народе, его национальном характере. Она исполнена глубокой любви писателя к своему народу, продиктована желанием побудить его к активному протесту против войны. Видимо, сказка была создана в тот период, о котором Горький писал Касаткину: «Я хожу по всей длине общественной лестницы от рабочих — снизу до графья и князья — наверху. Внизу — поярче, вверху — помертвее, но каких-либо душерадостных впечатлений — не испытываю. Приходится самому создавать их. Стараемся» (цит. по кн.: *Овчаренко*, стр. 344).

Сложнее по идейной концепции сказка XV, в которой высмеивается дремучая российская обывательщина, «проживающая» в Мямлине, Дремове и Воргороде. Освобожденный от нечистой силы (царизма) солдатом (Февральская революция), герой сказки Микешка «шлендает по улицам день и ночь <...> фордыбачит, хвастается,— шапка набекрень, мозги — тоже». Было бы неверно видеть в этом образе пародию на русский народ. В одной из статей цикла «Издалека» Горький заметил: «Схватив <...> мысли Достоевского, не задумываясь, чем они вызваны у него, наши русские бездельники прикрывают ими свое неуменье жить,

нежелание работать и, хвастаясь своим великим назначением проводить в мир начала „всечеловеческого единения, братской любви", орут на всю улицу: „Всё или ничего! Гармонии мировой, или я не приемлю мира!"» (*Г, Статьи*, стр. 131—132). И, высмеивая Микешку, Горький критиковал «крикливый, а потому оглушающий молодое поколение, заразный нигилизм» (там же, стр. 132).

Последняя сказка цикла написана накануне Октябрьской революции — в момент, наиболее сложный в политическом отношении (конец июня — начало июля 1917 г.). Она рисует Россию (баба Матрена), освобожденную от царизма (дядя Никита с разной челядью), разочаровавшуюся в буржуазной революции, но, как казалось Горькому, не имевшую необходимых объективных предпосылок, чтобы «перейти на следующую стадию культуры» (социалистическая революция). В сказке есть намеки на «двоевластие», на попытки лишить рабочих их революционных завоеваний, на стремление Керенского и других деятелей установить в стране военную диктатуру. Хотя «герой» и «спас» Россию, он не изменил жизни народа: «воры — воруют, купцы — торгуют, всё идет по-старому, как в дядины времена...»

«Русские сказки» вызвали немногочисленные, но характерные отклики в печати. Большинство реакционных, буржуазных и либерально-буржуазных критиков попытались «убить» их молчанием. Те же из них, кто счел необходимым откликнуться, снова стали твердить о падении таланта Горького.

«„Сказки" не представляют явления значительного,— заявлял не назвавший себя рецензент на страницах „Биржевых ведомостей".— Соседство Салтыкова для Горького трагично. Если что удалось ему, то только отдельные меткие выражения, не лишенные юмора» («Биржевые ведомости», 1912, № 13181, 6 октября).

На страницах полицейско-черносотенной газеты «Россия» неистовствовал А. Б-н, задетый сказкой о двух жуликах. Верно уловив своим классовым инстинктом связь «Русских сказок» с идеологией русской социал-демократии, критик предпринял попытку возродить старую выдумку буржуазно-декадентских литераторов о «конце Горького»: «„Сказки" г. Горького — упражнение в политической сатире, достаточно ярко говорящее о полном оскудении горьковского таланта» («Россия», 1912, № 2119, 20 октября).

Чтобы умалить значение «Русских сказок», многие критики, не стесняясь, перетолковывали замысел Горького, уверяя, например, что сказка о двух жуликах всего лишь «бичует мерзость современного практицизма, сделавшего предметом торговли те явления жизни, которым, казалось бы, следовало быть охраною порядочности» («Биржевые ведомости», 1912, № 13181, 6 октября). Сказку Х о советнике Оном, ядовито высмеивающую черносотенцев, та же газета трактовала как произведение «на довольно общую тему о том, как в жизни всегда, а сейчас в особенности, преуспевают пошляк и нахал», хотя выше критик уверял, что

все сказки Горького «имеют политический характер, некоторые бьют в гнусно-практическое настроение века» (там же).

По тому же «принципу» построена рецензия А. А. Измайлова в журнале «Новое слово». Признавая родство сатиры Горького и Салтыкова-Щедрина, он отметил политический характер сказок-аллегорий: «Горький делает здесь вылазки против лжепатриотов, черносотенцев, гонителей национальности, современных спекулянтов, промышляющих торговлей убеждениями и мыслью» («Новое слово», 1912, № 11, стр. 128). Но приведя текст наиболее безобидной сказки Горького о поэте и кнуте, Измайлов сделал неожиданный вывод: «Сказки просто не удались Горькому. Их юмор груб и натянут, мысль примитивна, задор не выше того, каким нас угощали сатирические „красные“ журналы недавней поры» (там же).

К мнению названных критиков присоединился Иванов-Разумник, заявив в годовом обзоре: «...без успеха прошли неудачные „Сказки“ М. Горького» (приложение к газете «Русские ведомости», 1913, № 1, 1 января, стр. 56).

Злобными выпадами против Горького реакционная и либерально-буржуазная критика, а также интеллигентные обыватели встретили сказку о Смертяшкине. В Архиве А. М. Горького хранится анонимный пасквиль с частями текста сказки, вырезанными из газеты «Русское слово». Текст снабжен рукописными «комментариями». Наверху надпись: «По поводу глупого и бессмысленно оскорбляющего слух читателя рассказа „Сказка“». В текст вкраплены негодующие восклицания, обращенные к Горькому: «Простой булочник», «булочник Максим», «пек бы только баранки, а не писал бы глупости в стихах...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-40-15-1).

Лишь очень немногие критики из буржуазных газет решились объективно оценить «Русские сказки». Один из них, И. Н. Игнатов, в статье «Литературные отголоски» отдал должное «Русским сказкам» Горького как «умным, нравоучительным, пропитанным тенденцией» («Русские ведомости», 1912, № 98, 23 апреля). Сочувственно отозвались «Одесские новости»: «Украшением девятой книжки „Современного мира“, которая выйдет 20 сентября, несомненно, явятся „Сказки“ Максима Горького, затрагивающего в них в иносказательной форме все больные вопросы русской жизни». Газета признавала, что сказки Горького написаны «в чисто щедринском духе» («Одесские новости», 1912, № 8812, 1 сентября).

В первые годы Советской власти появились две рецензии на «Русские сказки», выпущенные издательством «Парус» (1918).

Критик, выступивший под псевдонимом «Имярек», сравнивая сказки Горького с произведениями А. Амфитеатрова, В. Дорошевича и Ф. Сологуба, пришел к заключению: «Сказки Горького ближе других народу по своему содержанию, так как проникнуты духом глубокой демократичности» («Рабоче-крестьянский нижегородский листок», 1918, № 207, 21 сентября). Отметив, что сказки написаны великолепным языком, критик особо выделил последнюю сказку — XVI.

Вторая рецензия подписана псевдонимом Дм. В ней дан более подробный анализ книги. Критик писал: «Политические сказки — фельетоны Горького, созданные им большею частью в эпоху безвременья, в годы гнетущего царского режима. Необходимость тогда выражать свои мысли, делать жгучие обличения, которых просила душа, эзоповским нарочито темным языком напоминает в данном случае притчи и басни Салтыкова-Щедрина, *интересные* теперь главным образом с исторической точки зрения». Критик остановился на последних сказках Горького, из которых, по его мнению, «особенно блещут печатью подлинного мощного таланта» три — о Лукичах и Кузьмичах (XIII), о Ваньке (XIV) и о Микешке (XV). Микешка — это, по определению критика, русский обыватель, стосковавшийся «сейчас же после своего освобождения от нечистой силы (старого режима) по городовому» («К свету». Самара, 1919, № 1—2, стр. 24).

Стр. 174. *...в кольца Смерти-Змеи...*— Образ пародиен по отношению к нескольким стихотворениям Ф. Сологубa: «В недосягаемом чертоге», «Злая ведьма чашу яда», «Безжизненный чертог» и т. п.

Стр. 177. *...редакция нового беспартийного и прогрессивного журнала...*— К 1912 г. «беспартийный прогрессизм» вошел в «моду» среди буржуазной интеллигенции. Многие вновь возникавшие издания («День», «Русская молва», «Голос земли», «Газета чиновника», журнал «Запросы жизни») объявляли себя «беспартийными и прогрессивными органами». Большевистская «Звезда» неоднократно высмеивала беспринципность «беспартийных чудаков». В статье «Либерализм и демократия» Ленин заметил: «Попытки или потуги обнять разные классы „одной партией" свойственны как раз буржуазному демократизму...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 243).

Стр. 177. *...редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопа и мыловара Антипы Говорухина...*— Сатирический намек на зависимость от буржуазного «денежного мешка» многих органов печати, издававшихся в начале XX века. В частности, имеются в виду меценаты П. П. Рябушинский и С. И. Мамонтов, на средства которых издавались журналы «Золотое руно» и «Мир искусства».

Стр. 177. *...подобно аргонавту Герострату...*— Комический эффект создается сочетанием несоединимых образов: аргонавты — герои древнегреческого эпоса, отправившиеся в трудное и опасное путешествие; Герострат — честолюбец, пожелавший оставить о себе память в веках сожжением единственного в своем роде великолепного храма Артемиды Эфесской (356 г. до н. э.).

Стр. 180. *...у Николы на Тычке...*— Церковь Николы Чудотворца в Москве у Красного пруда; название Тычок произошло от старинного питейного дома, находившегося тут же.

Стр. 182. *...«с непостижимой углубленностью...»* — Горький высмеивал стиль панегирических статей о Ф. Сологубе, в частности, статьи С. Городецкого «На светлом пути», А. Измайлова «Чарования красных вымыслов», А. Белого «Истлевающ-

щие личины». Так, А. Белый писал: «Он певец смерти: но он воспевает смерть всею нежностью молитвы, всем жаром страсти; он говорит о смерти, как страстно влюбленный о возлюбленной» (сб. «О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки». СПб., 1911, стр. 96).

Стр. 183. «*...некоторые утверждали же, будто гении — полоумные...*» — Имеется в виду учение итальянского психиатра Чезаре Ломброзо (1835—1909) (см.: Ч. Ломброзо. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1892). Идеи Ломброзо, направленные к дискредитации человеческого разума, пользовались популярностью среди декадентов.

Стр. 183. *Калло* Жак (1592—1635) — французский гравер и рисовальщик. Наибольшей известностью в России начала XX в. пользовались две серии его картин «Бедствия войны».

Стр. 183. *Вюрц* — вероятно, немецкий художник Германн Вюрц (Würz) (1836—1899).

Стр. 185. *Прославить смерти власть...*— См. в стихотворении Ф. Сологуба «Венком из руты увенчали...» — «И смерть бесстрастно я прославлю» (Собр. соч. Ф. Сологуба, т. V. СПб., 1910, стр. 159).

Стр. 185. *Коковцев* — В. Н. Коковцов (1853—1943) — реакционный государственный деятель, с 1904 по 1914 г.— министр финансов, с 1911 г.— одновременно председатель совета министров.

Стр. 187. *Так все и возвратились на стези своя.*— Перефразировка библейского текста: «Возвращается ветер на круги своя» (Книга Екклесиаста, гл. 1, стих 6).

Стр. 192. «*Да воскреснет бог и расточатся враги его...*»— начало торжественного песнопения, совершаемого в день «воскресения» Христа (Псалтырь, псалом 67, стих 2).

Стр. 192. *...и социалистом был, и молодежь возмущал, а потом ото всего отрекся...*— Имеется в виду ренегатство буржуазных интеллигентов типа П. Б. Струве (1870—1944), совершившего, по словам Горького, эволюцию «от Герцена к Каткову» (*Архив Г. I X*, стр. 135). В феврале 1912 г. Горький писал В. Львову-Рогачевскому: «Следите Вы за „Русской мыслью“ и деяниями Струве? Воистину этот человек — лакей за совесть, и бездарен он, как лакей» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-9).

Стр. 193. *...у меня же национального лица нет!* — В статье «Интеллигенция и национальное лицо» Струве нападал на интернационализм русской социал-демократии, противопоставляя ему национализм и великодержавный шовинизм. Горький пародирует следующее высказывание Струве: «В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство, оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо» («Слово», 1909, № 732, 10 марта).

Стр. 194. *Хотя Некрасов и плохой поэт...*— Горький иронизирует по поводу отношения веховцев к революционным и

демократическим традициям русской поэзии XIX в. В феврале 1912 г. он писал Львову-Рогачевскому о кадетском деятеле Ф. И. Родичеве: «Отношение Родичева к Некрасову — это вполне в линии современного стремления к перекраске старых ярких репутаций в новые серенькие — или даже черные цвета» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-9).

Стр. 194. *Даром ничто не дается...*— Из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).

Стр. 194. — *Мицхалэс саклэс мингрулэ-э...*— Искаженное грузинское: «Пожалей дом мингрельца!».

Стр. 194. *Добре було нашим батькам...* — Украинская народная песня. Известна в нескольких вариантах (см.: П. А. Лукашевич. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб., 1836, стр. 80; Б. Д. Гринченко. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III. Чернигов, 1899, стр. 634—635).

Стр. 194. *...будьте любезны отныне употреблять еры...*— Горький критикует мысль Струве о необходимости «завоевательного национализма», предполагающего насильственное «приобщение к русской культуре» всех национальностей (см. «Patriotica», стр. 301—303).

Стр. 196. *Хабеас корпус* — Habeas-Corpus-Act, основы английской конституции (1679).

Стр. 196. *На святой Руси петухи поют...*— Строки «На святой Руси петухи кричат...», вероятно, принадлежат поэту и переводчику Н. В. Бергу (1823—1884) (см. об этом: В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 3. М., 1954, стр. 58, 456, а также очерк Горького «В. Г. Короленко» в т. XVI наст. изд.).

Стр. 198. *...еще до Иисуса Христа некоторые справедливцы знали это?* — В 23 псалме Давида: «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и всё живущее в ней» (Псалтырь, псалом 23, гл. 1).

Стр. 201. *«Не о хлебе едином...»* — цитата из Библии: «Не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст божиих» (Пятая книга Моисеева, Второзаконие, гл. 8, стих 3; Евангелие от Матфея, гл. 4, стих 4).

Стр. 202. *...в третьем году, после Успенья, англичане просились...*— Летом 1909 г. была организована поездка членов Государственной думы и Государственного совета в Англию и Францию. В составе делегации были октябристы и кадеты, на многочисленных приемах всячески восхвалявшие русскую «конституцию». 10 июня на торжественном обеде премьер-министр Англии Асквит произнес речь, приветствуя сооружение «русского конституционного здания» («Биржевые ведомости», 1909, № 11151, 11 июня). Горький высмеивает неумеренные восторги буржуазной прессы по поводу результатов поездки в Англию. По словам председателя Государственной думы Н. А. Хомякова, входившего в делегацию, англичане сказали ему: «У вас есть всё то, чего нет у нас, у нас есть то, что вам нужно...» (там же, № 11172, 23 июня).

Стр. 202. *...водку станем пить по двенадцать ведер в*

год на брата...— С 1907 г. по 1911 г. вопрос о мерах борьбы с пьянством обсуждался на заседаниях Государственной думы и Государственного совета. Горький иронизирует по поводу постановлений, принятых Думой: увеличить емкость посуды, в которой продаются спиртные напитки (не менее $^1/_{20}$ ведра), ограничить дни и часы торговли, снизить крепость водки и т. д. (см. «Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва», ч. I. СПб., 1912, стр. 352—353; ч. II, стр. 538 и 546; «Биржевые ведомости», 1907, № 10238, 6 декабря и № 10244, 9 декабря).

Стр. 203. *...под 1001-ю статью пишут...*— В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» эта статья называлась «О противных нравственности и благопристойности сочинениях, изображениях, представлениях и речах» («Свод законов Российской империи», т. XV. СПб., 1912, стр. VII).

Стр. 204. *...нынче даже литераторы учат: «Живи как хошь, всё равно — помрешь»...*— Наиболее откровенными проповедниками подобных настроений в литературе периода реакции были Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Арцыбашев.

Стр. 205. *Приказано всем — «будьте спокойны»...*— Имеется в виду политика П. А. Столыпина (1862—1911) и его лозунг: «Сначала успокоение, потом — реформы». Вступив на пост премьер-министра, он сказал в беседе с корреспондентами столичных газет 10 (23) июля 1906 г., что «во время революционного террора трудно действовать обыкновенными судами». И тут же пообещал: «...все либеральные реформы будут проведены, когда для этого будет подготовлена почва» («Биржевые ведомости», 1906, № 9892, 14 июля).

Стр. 206. *Ныне сотрудники сами себя живьем в премии предлагают подписчицам...*— Горький высмеивает отделы объявлений в газетах и журналах, которые, привлекая подписчиков, обещали им в качестве бесплатной премии сочинения тех или иных авторов.

Стр. 207. *Фуэгиец* — сатирический неологизм, произведенный, по-видимому, от испанского слова fuego — огонь, стрельба.

Стр. 211. *«Не стану сопротивляться злу...»* — Христианская заповедь: «А я говорю вам: не противься злому» (Евангелие от Матфея, гл. 5, стих 39) — была положена в основу учения толстовцев.

Стр. 214. *«Всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желаниям...»* — Это высказывание характерно для философии стоицизма. См.: «О счастливой жизни» Л. А. Сенеки (в русском переводе было опубликовано в приложении к журналу «Гермес». СПб., 1913, т. 12, январь — май, стр. 1—30) и его «Избранные письма к Люцилию». СПб., 1893.

Стр. 217. *...нет у нас личности.*— Эта мысль выражена во многих статьях сборника «Вехи». С. Н. Булгаков писал: «Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катаклиз-

мов и побеждает лишь упорная самодисциплина...» Ему вторил М. О. Гершензон: «Личностей не было — была однородная масса...» («Вехи». СПб., 1909, стр. 59, 84).

Стр. 217. *Это, сударь мой, идеология, и пора бросить!..*— Теоретики веховства, уверяя, что «тирания общественности искалечила личность», призывали отказаться от социалистической идеологии и заняться самоусовершенствованием.

Стр. 218. *...распродавать отечество иноземцам...*— В начале XX в. в России возрос удельный вес иностранного финансового капитала. В. И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», говоря о господстве иностранного капитала в петербургских банках, указал на следующие пропорции: французские банки — 55%, английские — 10%, немецкие — 35% (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 350).

Стр. 219. *...как кондор в «Детях капитана Гранта»...*— Сын капитана Гранта, Роберт, во время путешествия по Кордильерам был унесен орлом-кондором (см.: Жюль Верн. Дети капитана Гранта, ч. 1, гл. XIV).

Стр. 220. *«Прощай, возношусь в небеса, яко Илия и Енох...»*— По библейским легендам, пророк Илья живым вознесся на небо на огненной колеснице (Третья книга царств, гл. 17; Четвертая книга царств, гл. 2); праведник Енох, проживший 365 лет, также был взят живым на небо (Бытие, гл. 5, стихи 18—24).

Стр. 222. *...заняли большой дом в саду...*— Имеется в виду Государственная дума, заседания которой происходили в Таврическом дворце в Петербурге.

Стр. 223. *Наших-то избранных опять лишили дара слова!* — Дума могла лишать голоса тех депутатов, которые выступали с речами, неугодными самодержавию, или нарушали «порядок заседаний». Так, например, кадет Ф. И. Родичев был исключен на 15 заседаний за то, что назвал виселицы «столыпинскими галстуками». Постоянным репрессиям подвергалась социал-демократическая фракция Думы.

Стр. 224. *...как пошехонцы в анекдоте...*— См. книгу В. С. Березайского «Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев. Издание новое, поправленное, с прибавлением повестей о Щуке и о походе на Медведя и с присовокуплением Забавного словаря». СПб., 1821. *Пошехонье* — уездный город Ярославской губернии, а также местность, прилегающая к реке Шексне.

Стр. 229. *Поляк обижает!* — Имеется в виду агрессия польско-литовских и шведских феодалов против русского государства (1604—1612 годы).

Стр. 229. *...Болотников кричит ему...*— Руководитель крестьянского восстания 1606—1607 годов Иван Болотников распространял воззвания, в которых призывал крестьян и холопов уничтожать бояр и помещиков, а землю обещал отдать крестьянам.

Стр. 229. *...Бонапарт нашептывает ему...*— До похода на Россию Наполеон I Бонапарт отменил феодальные привиле-

гии в Пруссии и других европейских странах. После Отечественной войны 1812 года усилилось крестьянское движение в России за отмену крепостного права. Выступали не только крестьяне, но и передовая часть дворянства. Царизм вынужден был пойти на уступки: в 1816—1819 годах крепостное право было упразднено в Прибалтике.

Стр. 231. *...солдат пришел.*— Намек на Февральскую буржуазную революцию в России 1917 г. Решающую роль в свержении самодержавия сыграли солдаты Волынского и Литовского полков, перешедшие на сторону восставших рабочих Выборгского района Петрограда. К ним присоединились войска других частей.

Стр. 234. *...на Никиту...*— Имеется в виду царское самодержавие, в частности император Николай II (1868—1918).

Стр. 234. *Многострадальная ты наша, убогая!* — Измененные слова песни «Русь» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Стр. 234. — *Тебя,— говорят,— даже аршином измерить невозможно...*— Ср. стихотворение Ф. И. Тютчева (1866):

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...»

Стр. 235. *И вдруг — герой пришел.*— Намек на Февральскую буржуазную революцию.

Стр. 235. *...вроде Георгия Победоносца со старой копейки!*— Изображение «святого великомученика» Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона, было выбито на монете в царствование Федора Иоанновича. Эту монету давали воинам за храбрость для ношения на шапке или рукаве.

Стр. 235. *И зажили они, трое...*— Намек на двоевластие, установившееся в России после свержения самодержавия в феврале 1917 г. «В чем состоит двоевластие? — писал В. И. Ленин 9 (22) апреля 1917 г.— В том, что рядом с Временным правительством, правительством *буржуазии*, сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее *другое правительство*: Советы рабочих и солдатских депутатов» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 145).

Стр. 235. *Ялуторовск с Нарымом объявили себя Соединенными Штатами...*— Сатирический намек на сепаратистские тенденции, порожденные великодержавной политикой Временного правительства (см.: «История гражданской войны в СССР», т. I. М., 1939, стр. 114—116).

Стр. 236. *И всё строже...*— Стремясь подтолкнуть Временное правительство к организации контрреволюционного

переворота в России, идеологи реакции призывали его к твердости и жестокости. В речи на заседании «думцев» Маклаков заявил, что «Россия оказалась недостойной той свободы, которую она завоевала», что теперь это «страна празднеств, митингов и разговоров,— страна, отрицающая власть и не хотящая ей повиноваться» («Правда», 1917, № 50, 6 мая). В ответ военный министр А. Ф. Керенский провозгласил «железную дисциплину» в армии.

С т р. 236. *...воры — воруют, купцы — торгуют...*— «Промышленники всю Россию ограбили за два месяца после революции. Капитал наживал сотни процентов прибыли, каждый отчет говорит об этом»,— подчеркивал В. И. Ленин в лекции «Война и революция» 14 (27) мая 1917 г. (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 96).

II

СКАЗКА

(Стр. 239)

Впервые напечатана с сокращениями в газете «Одесские новости», 1912, № 8812, 1 сентября; полностью — в журнале «Современный мир», 1912, № 9, стр. 28—33, в составе первого цикла «Русских сказок», под номером X.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопись с авторской правкой — $АМ_1$. Заглавия нет. Цифра X исправлена карандашом на XI (ХПГ-45-10-1).

2. Авторизованная машинопись с незначительной правкой — $АМ_2$, по-видимому, предназначавшаяся для $Л_2$. Вместо заглавия цифра XI (ХПГ-45-10-2).

Печатается по $АМ_2$ с исправлением по «Современному миру»: «старшой брат» *(стр. 242, строка 5)* вместо «старший брат».

Сказка написана Горьким на Капри, во второй половине июля 1912 г. (см. примечания к «Русским сказкам», стр. 568).

Текст сказки перед опубликованием ее в сентябрьском номере «Современного мира» подвергся редакторской правке, сделанной по цензурным соображениям.

Сопоставление журнального текста с $АМ_1$ и $АМ_2$ позволяет выявить изъятия, сделанные редактором (даны курсивом в квадратных скобках).

Стр. 240, строки 31—34: ...там греческие нравы начинаются... [— «*Всё равно — везде изнасилуют,— меланхолически сознался средний.*»]

Стр. 241, строки 4—5: [*Человек исконно русский,*] он всегда, как приступала необходимость...

Стр. 243, строка 6: [*истинно русский человек*] Хам фон Жужелица.

Стр. 244, строка 14: Спасай [*Русь!*] [1]

Стр. 244, строка 19: стало на [*Руси*] [1]

В настоящем издании сказка впервые печатается без указанных изъятий и изменений.

Горький, по-видимому, намеревался включить сказку в издание $Л_2$. В $АМ_1$ цифра X (номер сказки в публикации «Современного мира») переправлена на XI. $АМ_2$ уже имеет номер XI, вместо

[1] Изъятое здесь заменено соответственно словами: «отечество» и «родине».

заглавия. Это свидетельствует о том, что писатель думал напечатать произведение в числе других русских сказок, после сказки о «непротивлении злу насилием». Однако в издании $Л_2$ (1917) и в книге, изданной «Парусом» (М. Горький. Русские сказки. Пг., 1918), одиннадцатой является сказка о Смертяшкине. При подготовке собрания сочинений *К* Горький сделал ее третьей, а сказка о советнике Оном так и осталась за пределами цикла «Русских сказок».

По идейной направленности сказка близка к таким злободневным произведениям Горького, как «Письмо монархисту» и статья <«О Союзе русского народа»>, посвященным борьбе с черносотенством.

Сатирический образ Борьки — «борца с крамолой» и новоспеченного министра просвещения — ассоциируется с фигурой Л. А. Кассо, назначенного министром народного просвещения в 1910 г., а образ «истинно русского человека», мексиканского румына Хам фон Жужелицы, высмеивает черносотенных «деятелей» В. М. Пуришкевича, И. А. Думбадзе и др.

Критик «Биржевых ведомостей» пытался извратить смысл сказки, выдавая ее за произведение на общую тему об извечном торжестве пошлости (см.: «Биржевые ведомости», 1912, № 13181, 6 октября).

Прогрессивно настроенный критик из «Одесских новостей», напротив, подчеркивал, что сказка о советнике Оном и его сыновьях дает читателю возможность понять содержание всего цикла и свидетельствует о «силе сатирического бича Горького» («Одесские новости», 1912, № 8812, 1 сентября).

Стр. 239. *Веспасиан* Тит Флавий (9—79) — римский император (69—79).

Стр. 239. «*Продуголь*» — синдикат донецких углепромышленников, одна из крупнейших капиталистических монополий в царской России.

Стр. 239. *Тушинский вор* — Лжедимитрий II (ум. 1610) — самозванец, претендент на русский престол, ставленник польско-шляхетских интервентов и Ватикана; военный лагерь Лжедимитрия был под Москвой у села Тушино.

Стр. 239. *Сигизмунд* III Ваза (Зыгмунт III, 1566—1632) — польский король; в его правление произошла военная интервенция польско-литовских феодалов в Россию.

Стр. 241. *Игнациус Лойола* — Лойола Игнатий (Иниго Лопес де Рекальдо, 1491—1556), основатель «Общества Иисуса» (ордена иезуитов). Его имя стало синонимом жестокости и хитрости («иезуитства»).

Стр. 244. *...назначаю вас министром народного просвещения...*— После подавления революции 1905 г. на пост министра народного просвещения был назначен реакционер А. Н. Шварц, в 1910 г. его сменил Л. А. Кассо, близкий к черносотенным кругам.

ВЕЗДЕСУЩЕЕ

(Стр. 245)

Впервые напечатано в журнале «Просвещение», 1913, № 2, стр. 3—14.

«В только что вышедшем № 2 журнала „Просвещение“,— писала „Правда“ 5 марта 1913 г.,— наибольший интерес представляет статья М. Горького „Вездесущее“. Автор описывает, с обычным своим искусством и жизненностью, уличную сутолоку больших городов — Берлина, Парижа, Нью-Йорка и др. Вместе с М. Горьким <...> всюду наталкиваешься на то „вездесущее“, что объединяет пролетариат всего мира,— на социализм <...> Как жаль, что, изгнанный из России, М. Горький не может наблюдать жизнь современного русского пролетария! Как жаль, что рядом с картиной чтения немецкой рабочей газеты „Вперед“ он не может дать картины чтения русским рабочим своей рабочей „Правды“!» («Правда», 1913, № 53, 5 марта).

Сразу же после выхода из печати № 2 журнала «Просвещение» был конфискован цензурой, а рассказ Горького перепечатала на своих страницах газета «Правда», 1913, № 58, 10 марта.

В 1915 г. заключительная часть рассказа была включена автором в цикл «Сказки об Италии» (сказка XXIV).

В 1919 г. Горький пересмотрел весь рассказ по тексту журнала «Просвещение», 1913, № 2, и внес в него небольшую стилистическую правку. Экземпляр журнала с поправками хранится в Архиве А. М. Горького (ХПГ-5-5-1). Текст, выправленный Горьким, вышел отдельным изданием: М а к с и м Г о р ь к и й. Вездесущее. Издание Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Пг., 1919.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту названной книги.

С т р. 246. *Старый Карл* — очевидно, Карл Каутский.

С т р. 246. «*Вперед!*» — «Vorwärts!», ежедневная газета, выходившая с 1876 г. С 1891 до 1933 г. была центральным органом германской социал-демократической партии.

С т р. 250. *Бриан* — Аристид Бриан (1862—1932), реакционный французский политический деятель.

«ИСПОРЧЕННАЯ КРОВЬ — ТОТ ЖЕ ЯД...»

(Стр. 259)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 58—59.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф — ЧА (ХПГ-49-1).

По содержанию произведение примыкает к циклу «Сказок об Италии». В идейно-тематическом плане оно близко к сказке XXV. В отрывке встречается и персонаж по имени Лукино.

Печатается по последнему слою ЧА.

IV

СТРАНИЦЫ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
<АВТОБИОГРАФИЯ Ф. И. ШАЛЯПИНА>

(Стр. 265)

Впервые, под заглавием «Автобиография. Страницы из моей жизни», за подписью «Ф. Шаляпин», первая половина произведения (кончая фразой: «Любил этот редкий человек русское искусство и глубоко верил в его мощь» — стр 423 наст. тома) была напечатана с двумя цензурными изъятиями в журнале «Летопись», 1917, №№ 1—12. Полностью опубликовано в издании: Федор Иванович Шаляпин. Том первый. Литературное наследство. Письма. И. Ш а л я п и н а. Воспоминания об отце. М., «Искусство», 1957, стр. 31—230. С дополнением раздела, посвященного жизни Шаляпина после 1914 г. и рядом коррективов, внесенных в ранее написанный текст, издавалось отдельной книгой: S h a l i a p i n F. Pages From My Life. Translated by H. M. Buck. Revised, enlarged and edited by K. Wright. Harper. New York, 1926, 345 p. (Ш а л я п и н Ф. Страницы из моей жизни. Перевод Г. М. Бак. Переработано, расширено и отредактировано К. Врайт. Харпер. Нью-Йорк, 1926, 345 стр.).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф, написанный от начала до конца рукой Горького, с его же правкой чернилами и синим карандашом (ХПГ-50-1-1).

2. Машинопись, с которой делался набор для «Летописи», на 300 листах (из них не сохранились листы 1—64 и 102—180); листы 65—100 служили оригиналом набора текста, напечатанного в № 7—8 журнала; листы 181—300 (нет 196-го) содержат неопубликованный текст автобиографии — *АМ* (ХПГ-50-1-2).

3. Черновой набросок предисловия к <«Автобиографии Ф. И. Шаляпина»>, сделанный рукой Горького (ПРГ-2-17-1).

Первая часть, кончая словами: «верил в его мощь» (стр. 423 наст. тома), печатается, с восстановлением цензурных изъятий, по журналу «Летопись», остальная — по *АМ* [1] со следующими исправлениями по автографу:

Стр. 301, строки 1—2: «Я объяснил» вместо «Я объявил».

Стр. 334, строка 7: «раза по два в день» вместо «раза по два».

Стр. 334, строка 19: «поглядел на реку» вместо «поглядеть на реку».

Стр. 379, строка 2: «не знал ни одной оперы целиком» вместо «не знал ни одной оперы».

[1] Текст 196-го листа воспроизведен по автографу.

Стр. 406, строка 33: «они сказали» вместо «она сказала».

Стр. 448, строка 20: «настолько же» вместо «настолько».

Стр. 448, строки 32—33: «Вышел Таманьо с певицей и, действительно, с красивым человеком» вместо «Вышел Таманьо с певицей и, действительно, красивым человеком».

Стр. 455, строки 23—24: «но не всегда помню» вместо «не всегда помню».

Стр. 456, строка 12: «в газетах появилось сообщение» вместо «в газетах явилось сообщение».

Стр. 459, строка 38: «испанские дворяне» вместо «итальянские дворяне».

Стр. 487, строка 9: «это им не понравилось» вместо «им не понравилось».

Стр. 491, строки 29—30: «исполняющий обязанности ее» вместо «исполняющий обязанности».

Стр. 502, строка 21: «пел я и соло и с хором» вместо «пел и я соло, и с хором».

Стр. 504, строка 36: «Ехали» вместо «Ехал».

Стр. 507, строка 32: «режиссер» вместо «дирижер».

Стр. 513, строки 3—4: «безграничие власти» вместо «безграничные власти».

Стр. 517, строка 27: «но даже» вместо «и даже».

Стр. 518, строки 26—27: «предложил разрешить спектакль» вместо «предложил запретить спектакль».

Стр. 520, строки 29—30: «настроен как-то недоверчиво» вместо «настроен как-то недовольно».

Стр. 531, строки 13—14: «задачей текущего дня для них являлась» вместо «задачей текущего дня является».

Изучение взаимоотношений Горького и Шаляпина, их переписки, высказываний друг о друге в статьях и беседах с современниками приводит к заключению, что замысел книги о великом русском артисте первоначально возник у Горького. Писатель рано понял символический смысл жизни Шаляпина и не раз говорил об этом самому артисту. Первая встреча Горького с Шаляпиным произошла в Москве осенью 1900 г. Через год они встретились в Нижнем Новгороде и подружились. В эту встречу Горький сказал слова, на всю жизнь запомнившиеся Шаляпину: Вы «наш брат Исакий» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 355 и 361). Он подарил Шаляпину свою фотографию с надписью: «Простому, русскому парню Феде от его товарища по судьбе А. Пешкова» (*Г Чтения*, 1954, стр. 72). А на первом томе своих «Рассказов» написал: «Милый человек Федор Иванович! Нам с тобой нужно быть товарищами, мы люди одной судьбы. Будем же любить друг друга и напоминать друг другу о прошлом нашем, о тех людях, что остались внизу и сзади нас, тогда как мы с тобой ушли вперед и в гору. И будем работать для родного русского искусства — для славного нашего народа, мы — его ростки, от него вышли и — ему всё наше! Вперед, дружище! Вперед, товарищ, рука об руку» («Огонек», 1968, № 13, стр. 21).

В письме К. П. Пятницкому от 13 (26) сентября 1901 г. Горький еще отчетливее сформулировал мысль, которая позднее легла в основу <«Автобиографии Ф. И. Шаляпина»>: «Шаляпин — это нечто огромное, изумительное и — русское. Безоружный, малограмотный сапожник и токарь, он сквозь терния всяких унижений взошел на вершину горы, весь окурен славой и — остался простецким, душевным парнем. Это — великолепно!» (*Г-30*, т. 28, стр. 172). Тогда же, в письме к В. А. Поссе, Горький попытался очертить эту огромную фигуру, выделив в качестве определяющей особенности характера Шаляпина его органический демократизм: «Лично Шаляпин — простой, милый парень, умница <...> Фрак — прыщ на коже демократа, не более. Если человек проходил по жизни своими ногами, если он своими глазами видел миллионы людей, на которых строится жизнь, если тяжелая лапа жизни хорошо поцарапала ему шкуру — он не испортится, не прокиснет оттого, что несколько тысяч мещан улыбнутся ему одобрительно и поднесут венок славы» (там же, стр. 185).

Хорошо зная не только достоинства, но и недостатки своего друга, Горький, естественно, взволновался, когда узнал от Пятницкого о намерении Шаляпина заняться автобиографией.

«Милый мой Федор,— писал он в сентябре 1909 г. с Капри,— Константин Петрович — он здесь — сообщил мне, что ты хочешь написать и издать свою автобиографию — меня это сообщение очень взволновало и встревожило! Спешу наскоро сказать тебе, дружище, следующее.

Ты затеваешь дело серьезное, дело важное и общезначимое, то есть интересное не только для нас, русских, но и вообще для всего культурного — особенно же артистического мира! <...> Будет очень печально, если твой материал попадет в руки и зубы какого-нибудь человечка, неспособного понять всю огромную — национальную — важность твоей жизни, жизни символической, жизни, коя неоспоримо свидетельствует о великой силе и мощи родины нашей, о тех живых ключах крови чистой, которая бьется в сердце страны под гнетом ее татарского барства. Гляди, Федор, не брось своей души в руки торгашей словом! <...> Я предлагаю тебе вот что: или приезжай сюда на месяц-полтора, и *я сам напишу твою жизнь под твою диктовку*, или — зови меня куда-нибудь за границу,— я приеду к тебе, и мы вместе будем работать над твоей автобиографией часа по 3—4 в день.

Разумеется — я ничем не стесню тебя, а только укажу, что надо выдвинуть вперед, что оставить в тени. Хочешь — дам язык, не хочешь — изменяй его по-своему.

Я считаю так: важно, конечно, чтобы то, что необходимо написать, было написано превосходно! Поверь, что я отнюдь не намерен выдвигать себя в этом деле вперед, отнюдь нет! Нужно, чтобы *ты* говорил о себе, *ты сам*!

О письме этом никому не говори, никому его не показывай! Очень прошу!

Ах, чёрт тебя возьми, ужасно я боюсь, что не поймешь ты *национального-то*, русского-то значения автобиографии твоей!

Дорогой мой, закрой на час глаза, подумай! Погляди пристально — да увидишь в равнине серой и пустой богатырскую некую фигуру гениального мужика!

Как сказать тебе, что я чувствую, что меня горячо схватило за сердце?

Спроси Константина Петровича — лучшего, честнейшего из людей, которых знаю! — спроси его, как важна и дорога мне твоя прекрасная мысль, он тебе скажет.

По праву дружбы — прошу тебя — не торопись, не начинай ничего раньше, чем переговоришь со мной!

Не испорчу ничего — поверь! — а во многом помогу — будь спокоен!

Ответь хотя телеграммой» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 375—376).

Ответ Шаляпина на это письмо неизвестен. Но, судя по всему, сказанное Горьким было принято во внимание. Видимо, Горький и Шаляпин договорились о совместной работе. Однако вначале инцидент 1911 г.[1], а затем другие события отодвинули реализацию совместно выработанного плана. Впрочем, те же события помогли глубже осознать всю сложность, противоречивость и вместе с тем символический характер жизни великого русского артиста. Именно в связи с инцидентом 1911 г. Горький

[1] Во время представления оперы «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра в Петербурге 6 января 1911 г. хористы и артисты, не предупредив Шаляпина, устроили своеобразную демонстрацию протеста против «тяжких притеснений от дирекции». Зная, что на спектакле присутствует Николай II, они в конце спектакля стали на колени и запели «Боже царя храни». Растерявшийся Шаляпин хотел покинуть сцену, но был удержан хористами. Не понимая, что происходит, он присел у кресла, стоявшего в глубине сцены. На следующий день бульварная пресса, а за ней большинство «солидных» газет подняли шум вокруг «коленопреклонения» Шаляпина, утверждая, что он участвовал в верноподданнической манифестации. Поверив сообщениям газет, Горький послал Шаляпину суровое письмо, но, получив от него ответ с подробным описанием того, что произошло, написал ему: «И люблю и уважаю я тебя не меньше, чем всегда любил и уважал; знаю я, что в душе — ты честный человек, к холопству — не способен, но ты нелепый русский человек и — много раз я говорил тебе это! — не знаешь своей настоящей цены, великой цены» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 382—383). А Н. Е. Буренину Горький писал: «Шума, поднятого вокруг Шаляпина,— не понимаю, а вслушиваясь — чувствую, что в этом шуме звучит много фарисейских нот: мы-де не столь грешны, как сей мытарь<...> Обрадовался всероссийский грешник и заорал при сем удобном для самооправдания случае: бей Шаляпина, топчи его в грязь. А как это случилось, почему, насколько Шаляпин действовал сознательно и обдуманно, был ли он в этот момент холопом или просто растерявшимся человеком — над этим не думали, в этом не разбирались, торопясь осудить его» (там же, стр. 419).

дал следующую характеристику Шаляпину, которая позднее получила образное выражение в «Автобиографии». «Ф. Шаляпин,— писал он в сентябре 1911 г. Буренину,— лицо символическое; это удивительно целостный образ демократической России, это человечище, воплотивший в себе всё хорошее и талантливое нашего народа, а также многое дурное его. Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его, человек, своими силами прошедший сквозь терния и теснины жизни, чтобы гордо встать в ряд с лучшими людьми мира, чтобы петь всем людям о России, показать всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и крупна, обаятельна. Любить Россию надо, она этого стоит, она богата великими силами и чарующей красотой.

Вот о чем поет Шаляпин всегда, для этого он и живет, за это мы бы и должны поклониться ему благодарно, дружелюбно, а ошибки его в фальшь не ставить и подлостью не считать.

Любить надо таких людей и ценить их высокою ценою, эти люди стоят дороже тех, кто вчера играл роль фанатика, а ныне стал нигилистом.

Федор Иванов Шаляпин всегда будет тем, что он есть: ослепительно ярким и радостным криком на весь мир: вот она — Русь, вот каков ее народ — дорогу ему, свободу ему!» (там же, стр. 420) [1].

Два года спустя Горький написал самому Шаляпину: «И позволь еще раз сказать тебе то, что я говорил не однажды <...> помни, кто ты в России, не ставь себя на одну доску с пошляками, не давай мелочам раздражать и порабощать тебя <...> Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой.

Это говорит тебе не льстец, а искренно любящий тебя русский человек,— человек, для которого ты — символ русской мощи и таланта <...> в русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин» (там же, стр. 396—397).

---

[1] Первоначально предполагалось, что Буренин передаст это письмо в газеты для публикации. Вероятно, это же письмо имел в виду Горький, когда сообщал Е. П. Пешковой: «Я уже послал в Россию умного парня с письмом, кое должно распространиться в публике Питера, Москвы и т. д. <...> Для меня Федор дорог не только сам по себе, а как некий символ» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 121). Посоветовавшись с Шаляпиным и Д. В. Стасовым, Буренин не стал публиковать письмо Горького. Сам Шаляпин тоже решил не выступать с письмом, объясняющим подлинное существо «инцидента с коленопреклонением». Им казалось, что инцидент стерся в памяти людей. Горький не считал это решение правильным. В октябре 1911 г. он писал Буренину: «Верно ли вы сделали, отговорив Федора от объяснения с публикою? Пожалуй — нет; ведь публика злопамятна и долго носит камень за пазухой...» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 421).

Обширные письма, которые Шаляпин писал Горькому, задушевные беседы, в которых артист не раз подробно рассказывал писателю свою жизнь, «исповедовался» другу, а также размышления Горького о жизни Шаляпина подготовили их к совместной работе над «Автобиографией».

Непосредственная работа над ней относится к лету 1916 г. В апреле, стремясь под любым предлогом заставить Горького отдохнуть, Шаляпин предложил ему начать совместную работу над «Автобиографией». Вот как писал он об этом 14 (27) апреля 1916 г. своей дочери И. Ф. Шаляпиной:

«В Питере пробуду до 16 мая, всё время буду занят спектаклями в Народном Доме, а затем возможно, что поеду с тем же Максимом в Крым. Он чувствует себя, в смысле здоровья, отвратительно и должен обязательно побыть в тепле на солнце, но по своей беспечности и по увлечению разными общественными делами никогда, конечно, этого не сделает,— вот я и решил прибегнуть к — так сказать — военной хитрости — то есть предложить ему следующее.

Я, мол, буду писать книгу моих воспоминаний, а он будет написанное редактировать. Печатать же написанное будем в его журнале (он издает журнал под названием „Летопись“).

Идея эта ему очень понравилась, и он решил поехать со мной в Крым,— если ничто не помешает и ничего особенного не случится, то, вероятно, в мае месяце мы прискачем в Ялту или куда-нибудь на побережье...» (там же, стр. 518—519).

В связи с этим 22 мая (4 июня) 1916 г. Горький сообщал Е. П. Пешковой: «...завершив некоторые дела, поеду в Форос к Шаляпину,— это случится числа 10-го июня. В Форосе проживу месяц...» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 184). И ей же — в самом конце мая или начале июня 1916 г.:

«Сколько времени пробуду в Форосе — не знаю, сие зависит от Федора. Если он не станет лениться — в месяц кончим...» (там же, стр. 185).

13 (26) июня 1916 г. Горький прибыл в Форос. По его просьбе сюда же приехала стенографистка Е. П. Сильверсван, захватившая с собой пишущую машинку. Работа началась вскоре после приезда в Форос.

29 июня (12 июля) 1916 г. Шаляпин сообщал дочери Ирине из Фороса:

«Каждый день купаюсь и очень усиленно работаю с Алексеем Максимовичем, с которым вместе, может быть, и приедем к Вам в гости.

Работа идет, кажется, недурно, и Вы прочитаете, может быть, в будущем интересную книжку о жизни Вашего Папули» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 521).

Днем позже Горький писал И. П. Ладыжникову: «В 9 является Федор и Ев‹докия› Петр‹овна›, занимаемся до 12, приблизительно. Могли бы и больше, но Е. П. не успевает расшифровывать стенограмму. Дело идет довольно гладко, но — не так быстро, как я ожидал. Есть моменты, о которых неудобно говорить при барышне, и тут уж должен брать

перо в руки сам я. Править приходится много <...> Пока — я еще не представляю, когда мы кончим,— материала много, он очень любопытен. В день мы делаем листа два, даже — три, после моих поправок остается $^2/_3$» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 234).

На медленное продвижение работы Горький сетовал и в дальнейшем — в письме к Ладыжникову от 16 (29) июля: «Работа — расползается и вширь и вглубь, очень боюсь, что мы ее не кончим. Напечатано 500 страниц, а дошли только еще до первой поездки в Италию! Я очень тороплюсь, но — существует непобедимое техническое затруднение: барышня может стенографировать не более двух часов, а всё остальное время дня, до вечера, у нее уходит на расшифровку. Править я, конечно, не успеваю. Федор иногда рассказывает отчаянно вяло, и тускло, и многословно. Но иногда — удивительно! Главная работа над рукописью будет в Питере, это для меня ясно. Когда кончим? Все-таки, надеюсь,— к 20, 22-му...» (там же, стр. 235).

В начале третьей декады июля 1916 г., завершив вчерне работу над «Автобиографией», Горький покинул Форос. 2 (15) августа он писал из Петрограда К. А. Тимирязеву: «Только вчера возвратился из Крыма, где жил в Форосе у Федора Шаляпина, помогая ему в работе над его автобиографией» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 422).

Видимо, еще в Форосе Горький пришел к убеждению, что ему придется от начала до конца переписать «Автобиографию». Эта работа и была им выполнена, по всей вероятности, осенью 1916 г. Как свидетельствует дошедшая до нас рукопись, всего три с половиной страницы и полстраницы, да и то с существенными исправлениями, Горький использовал из стенограммы в неперецисанном виде. Сличение рукописи с машинописью, послужившей наборным экземпляром для «Летописи», показывает, что, перепечатав рукопись, Горький и, видимо, Шаляпин заново правили ее с начала до конца. В текст были внесены исправления стилистического порядка, частично изменена пунктуация. Уточнялись некоторые имена и названия (например, «в деревне Ометовой» вместо «в деревне Мячево», «брат его Дормидонт» вместо «дядя его Дормидонт», «Бирплов» вместо «Верилов», «в городской управе» вместо «в земской управе»). Вносились и более существенные фактические поправки. Например, текст рукописи: «мы переехали в Казань на Вятскую улицу, в дом Лисицына, в котором я родился» — в окончательной редакции (стр. 274) звучит так: «мы переехали в город на Рыбнорядскую улицу, в дом Лисицына, в котором отец и мать жили раньше и где я родился в 1873 году». В рукописи: «Секретарем управы был черноглазый человек, носивший странную фамилию — Пифнев»,— в окончательной редакции (стр. 305): «Секретарь управы был Дудкин, милый молодой человек, сменивший прежнего секретаря, который носил странную фамилию — Пифиев».

Небольшое дополнение к рассказу о Якове Мамонове полнее и ярче раскрывает самобытный образ этого балаганного «паяца» и «маслепичного деда»: может быть, замечает Шаляпин, «именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обя-

зан рано проснувшимся во мне интересом к театру» (стр. 279). Другое дополнение связано с рассказом о встрече юного Шаляпина с оперным театром. Опера заворожила его, открыла перед ним «царство чудес», пробудила в его душе непреоборимую любовь к театру. «Театр стал для меня необходимостью,— говорит Шаляпин,— и роль зрителя, место на галерке уже не удовлетворяли меня, хотелось проникнуть за кулисы...» Достигнув желаемого, он «очутился во сне наяву», всё производит «чарующее впечатление, незабвенное во веки веков!» (стр. 300). Существенна вставка, повествующая о печальной судьбе «кумира публики» тенора Закржевского (см. стр. 301—302).

Сокращение текста рукописи исчерпывается исключением «проходного» эпизода гибели собачонки Фильки.

По всей вероятности, с текста, исправленного Горьким и, возможно, Шаляпиным, были сняты две машинописные копии, с одной из которых делался набор для «Летописи» и которая потом поступила в распоряжение Ладыжникова, а вторая — хранилась у Шаляпина.

С октября 1916 г. стали появляться объявления о подписке на журнал «Летопись», в которых сообщалось: «В течение 1917 года в „Летописи“ будет напечатано:

Ф. Шаляпин. Автобиография.
Редактированная М. Горьким.

(Во всех книжках журнала; всего около 20 печ. листов)» («Летопись», 1916, октябрь, вкладка). Это объявление повторялось в ноябрьском и декабрьском номерах журнала за 1916 г., а также в №№ 1—4 и 7—8 за 1917.

Объявление сразу же после его опубликования вызвало протесты со стороны тех, кто, поверив в свое время сообщениям буржуазной печати, был убежден, что коленопреклонением 1911 года Шаляпин навсегда порвал с демократией, непоправимо скомпрометировав себя в ее глазах. 10 (23) декабря 1916 г. редакция «Летописи» получила письмо, подписанное группой (32 человека) сотрудников рабочей прессы. Они протестовали против намерения журнала опубликовать автобиографию «человека, который запятнал себя коленопреклонением перед царем» (*ЛЖТ*$_{II}$, стр. 585—586). Аналогичного содержания письма-протесты поступили от политических ссыльных из Нарыма. А. Шотман, Н. Авилов и еще 25 человек квалифицировали намерение «Летописи» напечатать автобиографию Шаляпина как «открытый вызов демократии». «Мы,— говорилось в обращенном к Горькому письме, — хотели бы по-прежнему видеть в Вашем лице чуткого выразителя лучших стремлений демократии и выражаем надежду, что „Летопись“ останется верной своему знамени и, сознав ошибку, снимет со страниц журнала записки человека, совершенно порвавшего с демократией» (письмо от 1/14 января 1917 г.— Архив А. М. Горького, КГ-коу-1-57-1).

Столь же резким было и другое письмо, подписанное Н. Воеводиным, В. Худокормовым и Д. Бобковым. «Появление на

страницах „Летописи“ рекламного характера объявления о печатании автобиографии Ф. Шаляпина,— писали они Горькому,— изумило весьма и весьма многих постоянных читателей и друзей „Летописи“». Сославшись далее на «инцидент» 1911 г., они заканчивали свое письмо выражением «глубокого сожаления по поводу ложного шага редакции журнала в связи с недопустимым рекламированием на страницах демократического органа имени человека, достойного не поощрения, а всяческого осуждения демократическими кругами» (письмо от 5/18 января 1917 г.— Архив А. М. Горького, КГ-коу-1-58-1).

Аналогичные письма-протесты были получены «Летописью» от группы рабочих Васильевского острова (там же, КГ-коу-1-60-1).

Ознакомившись с ними, Горький решил предварить публикацию «Автобиографии» следующим предисловием, написанным от имени Шаляпина:

«Я считаю нужным предупредить читателя, что автобиография написана и печатается мною не в целях саморекламы,— я вполне достаточно и всюду рекламирован моею четвертьвековой работой на сценах русских и европейских театров.

Я написал и печатаю правдивую историю моей жизни и не в целях самооправдания.

Я знаю: никто не поверит мне, если я скажу, что не так грешен, как обо мне принято думать. И если порою у меня невольно вырывалась жалоба или резкое слово — я извиняюсь. Что делать? Я — человек и чувствую боль, как все.

Я написал эти, может быть, несколько скучные страницы для того, чтоб люди, читая их в это трудное время угнетения духа и тяжких сомнений в силе своей, подумали над жизнью русского человека, который хотя и с великим трудом, но вылез, выплыл с грязного дна жизни на поверхность ее и оказал делу пропаганды русского искусства за границей услуги, которые нельзя отрицать.

Забудьте, что этого человека зовут Федор Шаляпин, и подумайте о тех сотнях и тысячах, которые по природе своей даровиты не менее Шаляпина, Горького, Сурикова и множества других, но у которых не хватило сил победить препятствия жизни, и они погибают, задавленные ею, погибают, может быть, каждый день.

Мне хочется, чтоб книга моя внушила читателям несколько иное отношение к простому человеку низов жизни, возбудила бы больше внимания и уважения к нему. Я думаю, что только внимание и уважение к ближнему может создать для него те условия, в которых он, с наименьшим количеством бесполезно затраченной энергии, привнесет в жизнь наибольшее количество красивого, доброго и умного.

Вот искреннее мое желание.

На этом я кончу.

В книге моей многое недосказано, о многом я нарочито умолчал. Это сделано не из желания спрятать себя,— я ведь не исповедовался, а рассказывал; это сделано по силе некоторых

внешних причин, и пока я лишен возможности устранить их своей волей.

Я просил бы верить, что мне нет надобности кривить душою, прятать свои недостатки, оправдываться и вообще выставлять себя лучше, чем я есть» (Архив А. М. Горького, ПРГ-2-17-1).

Но это предисловие не было напечатано. Вместо него в журнале появилось следующее разъяснение редакции:

«За последнее время среди части наших читателей возникло недоумение по поводу предполагаемого появления в „Летописи" автобиографии Ф. Шаляпина,— недоумение, выразившееся в форме устных запросов, писем и протестов в газетах.

В ответ на это редакция считает нужным заявить, что факт появления на страницах „Летописи" автобиографии Ф. Шаляпина отнюдь не знаменует собою какой-либо перемены ни в составе редакции, ни в той общественно-политической позиции, какую журнал до сих пор занимал. Точно так же факт этот никоим образом не должен быть рассматриваем, как попытка журнала воздействовать на общественное мнение в смысле той или иной оценки личных и общественных качеств Ф. И. Шаляпина.

Помещая его мемуары, редакция рассматривает Ф. Шаляпина исключительно как великого артиста, деятеля искусства. В глазах редакции его автобиография, рассказанная им устно М. Горькому и обработанная этим последним в форме художественного произведения, является ценным и поучительным документом из истории русской жизни, русского искусства.

Редакция находит, что если все слои русского общества полагают для себя допустимым посещать спектакли Ф. Шаляпина и придают им большое художественное значение, если наиболее чуткая в общественном отношении рабочая демократия считает возможным принимать участие в качестве зрителей в спектаклях, специально для нее устраиваемых самим Ф. Шаляпиным[1], то журнал не только не делает ничего предосудительного, но исполняет одну из своих культурных задач, сообщая читателям, как и откуда пришел на сцену артист Шаляпин и при каких условиях создалась и развилась его художественная индивидуальность. Никакими иными мотивами редакция, печатая автобиографию Ф. Шаляпина, не руководилась» («Летопись», 1916, № 12, стр. 9).

Однако и эти строки вызвали возражения со стороны ряда подписчиков журнала.

В декабре 1917 г. журнал «Летопись» прекратил свое существование. «Автобиография» не была напечатана до конца:

---

[1] Здесь в журнале сноска: «Ф. Шаляпин устроил в Петрограде два спектакля для рабочих: весной 1915 и 1916 гг. Оба спектакля прошли при переполненном рабочими зале. Билеты на спектакли распространялись чрез больничные кассы и другие рабочие организации, причем в 1915 г. были случаи отказа некоторых рабочих групп идти в театр отчасти ввиду отрицательного отношения к Ф. Шаляпину, отчасти ввиду благотворительного характера спектакля. В следующем, 1916 г. протестов и отказов, насколько нам известно, уже не было.— *Ред.*»

в вышедших в течение 1917 г. пяти книжках удалось напечатать немногим больше половины произведения.

В 1926 г. опубликованная в «Летописи» часть «Автобиографии» вышла отдельной книгой в СССР: Ф. И. Шаляпин. Страницы из моей жизни. Л., изд. «Прибой». В 1927 г. книга была переиздана. Хотя советские издания лишь повторяли текст, опубликованный в «Летописи», Шаляпин 7 сентября 1926 г. обратился к Горькому с письмом, в котором утверждал, что советское издательство якобы посягнуло на его, Шаляпина, авторские права, напечатав без его ведома еще не опубликованный текст. «Меня огорчает это по двум соображениям,— писал Шаляпин Горькому,— во-первых, я выжидал время, чтобы подороже продать их ⟨американскому⟩ издателю, а во-вторых,— там есть кое-какие вещи, которые я хотел переделать прежде, чем пустить их в печать. Прошлой зимой я был так рад услышать предложение в N. York'е их напечатать за цифру подходящую, о чем тебе и сообщил ныне при встрече в Неаполе. Я рад был тому, что эта продажа дала бы достаточно денег, а в твоем положении с разными литературными неурядицами и затруднениями дало бы тебе временно хорошую материальную поддержку, так как сам я денег брать никаких не хотел да, говоря по совести, и не считал себя вправе» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 405).

Руководители издательства «Прибой» заверили Шаляпина, что без его согласия неопубликованная часть «Автобиографии» печататься не будет. Соответственно, и Шаляпин письменно заявил, что претензий к издательству иметь не будет, но обещания своего не сдержал. Горький, судя по ответному письму Шаляпина от 19 июля 1927 г., счел его протесты бестактными, необоснованными, а для него, Горького, оскорбительными. Он напомнил также, что издатель «Летописи» А. Н. Тихонов заплатил Шаляпину гонорар. Отвечая Горькому, Шаляпин писал: «Гонорар от Тихонова, если ты хорошенько припомнишь, я получил в размере, кажется, 600 рублей и то по твоему же настоянию, потому что я, как и сейчас, считал совершенно неуместным брать деньги за книгу. Это меня никогда не интересовало. Тихонов несколько раз говорил мне потом, что он должен заплатить мне еще какие-то деньги, но я никогда ничего больше не получал и также никогда ему не напоминал.

На днях m-lle Врайт из Америки сообщила, что имеет от проданной книги чистой выручки 5000 долларов, и я ей послал телеграмму, чтобы она перевела тебе 2500 долларов.

Тон твоего письма показался мне обидным. Если я заботился и беспокоился о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые, как я предполагал, для тебя, вероятно, были бы не лишними.

Когда нынче зимой выйдет в Америке эта книга, ты сам увидишь тогда разницу между тем, что было сделано тобой и m-lle Врайт.

Я, чтобы ты мог получить какие-нибудь деньги с этой книги, согласился напечатать и с последующими за 1914 годом воспоминаниями. Знаю, что всё, написанное теперь без тебя, очень

слабо,— но что ж делать! Ни один издатель книги, законченной 14-м годом, не принимал...» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 407).

Хотя в письмах к Горькому Шаляпин постоянно утверждал, что считает себя не вправе брать деньги за «Автобиографию», тем не менее он поручил своему адвокату предъявить иск к Советскому правительству. В июне 1930 г. такой иск и был предъявлен адвокатом Д. Печориным в парижском суде. Материальные убытки Шаляпин в этом иске определил в 2 миллиона франков.

Горький был вынужден сначала в письме к Груздеву от 23 марта 1927 г. (см. *Архив Г*$_{XI}$, стр. 109—110), а затем и публично раскрыть действительную историю написания <«Автобиографии Ф. И. Шаляпина»>. Но предварительно он дважды обращался с письмами к самому Шаляпину, доказывая, что тот затеял нелепое и постыдное дело, и уговаривал его: «...не позорь себя, Федор!» «Я совершенно уверен,— писал Горький Шаляпину 9 августа 1930 г. из Сорренто,— что дрянное это дело ты не сам выдумал, а тебе внушили его окружающие тебя паразиты, и всё это они затеяли для того, чтоб окончательно закрыть пред тобою двери на родину». И продолжал:

«Не знаю, на чем твой адвокат построил иск, но — позволь напомнить тебе, что к твоим „Запискам“ я тоже имею некоторое отношение: возникли они по моей инициативе, я уговорил тебя диктовать час в день стенографистке Евдокии Петровне, диктовал ты всего десять часов, не более, стенограмма обработана и редактирована мною, рукопись написана моей рукой, ты, наверное, не забыл, что „Записки“ были напечатаны в журнале „Летопись“, за что тебе было заплачено по 500 рублей за лист. Я, конечно, тоже помню, что с американского издания в 26 г. ты прислал мне 2500 долларов. Каюсь, что принял эти деньги! Но из них я уплатил долг мой тебе 1200 долларов.

Всё это я напоминаю тебе для того, чтоб сказать: „Записки“ твои на три четверти — мой труд. Если тебе внушили, что ты имеешь юридическое право считать их своей собственностью,— морального права твоего так постыдно распоряжаться этой „собственностью“ я за тобой не признаю.

По праву старой дружбы я советую тебе: не позорь себя! Этот твой иск ложится на память о тебе грязным пятном. Поверь, что не только одни русские беспощадно осудят тебя за твою жадность к деньгам. Много вреда принесла твоему таланту эта страсть накоплять деньги, последний ее взрыв — самый постыдный для тебя. Не позволяй негодяям играть тобой, как пешкой. Такой великий, прекрасный артист и так позорно ведешь себя!» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 411)[1].

Шаляпин не внял совету друга, передал дело в суд. И тогда

[1] Еще в 1923 г. в письме к Д. А. Лутохину Горький признавался: «Записки написаны мною, Федор же по моему настоянию и в моем присутствии только продиктовал кое-что — 8 часов — стенографистке» (С. Д. Балухатый. Горьковский семинарий. Л., изд. ЛГУ, 1946, стр. 67).

Горький направил следующее письмо полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому:

«Дорогой товарищ Довгалевский!

Слышу, что Федор Иванович Шаляпин предъявил к Советскому правительству иск за издание его рукописи.

Мне кажется, что я должен сообщить Вам историю возникновения этой рукописи. История такова.

В течение нескольких лет я безуспешно пытался уговорить Шаляпина написать автобиографию. Наконец, в 915 г.[1] мне удалось осуществить это таким образом: я приехал в Крым, в Форос, где жил Шаляпин, и вызвал туда служившую ⟨потом⟩ в издательстве „Всемирная литература" Евдокию Петровну Сильверсван — стенографистку. В течение некоторого времени Ф. И. Шаляпин рассказывал ей — по часу в день — свою жизнь, а я обрабатывал и редактировал текст стенографистки, дополняя его тем, что — в разное время — рассказывал Шаляпин мне. Так что „Записки" Шаляпина написаны моей рукой.

Затем, зимой 15—16 [2] „Записки" были напечатаны в журнале „Летопись", за что Ф. И. Шаляпин получил по 500 р. за лист. Это был, конечно, невысокий гонорар, но примите во внимание мой труд. Да и журнал был небогат.

Сказанное хорошо известно бывшему редактору „Летописи" Александру Николаевичу Тихонову, ныне он работает в Москве, издательство „Федерация", Тверской бульвар 25, „Дом Герцена". Е. П. Сильверсван живет в Финляндии, адрес более точный мне не известен. Должен прибавить следующее: факт появления „Записок" Шаляпина в журнале „Летопись", казалось бы, лишает автора прав на оплату гонораром иностранных изданий записок. Но года четыре тому назад Шаляпин издал „Записки" в Америке и предложил мне за работу мою 2500 д⟨олларов⟩. Я нуждался в деньгах, незадолго пред этим занимал у Шаляпина 1200 д⟨олларов⟩, которые и уплатил ему из суммы в 2500.

Полагаю, что все это Вам небезынтересно знать, а м. б., и полезно» (*Г Чтения*, 1954, стр. 60—61).

Одновременно Горький направил в газеты «Правда» и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» следующее открытое письмо (написано 11 декабря 1930 г. в Сорренто, напечатано в «Правде» и «Известиях» 20 декабря 1930 г.):

«Уважаемый тов. редактор!

В отчете одной из белоэмигрантских газет по делу о взыскании Федором Шаляпиным с Советской власти двух миллионов франков за издание его „Записок" сказано, что издательство „Прибой" „издало часть его" — Шаляпина — „интимного дневника", переданного им М. Горькому для просмотра и исправления.

Это — неправда. Ни целого, ни части интимного дневника своего Шаляпин не передавал мне „для просмотра и исправле-

---

[1] Ошибка памяти; нужно — в 1916.

[2] Ошибка памяти; нужно — в 1917.

ния". Более того, я утверждаю, что до отъезда своего из России дневника он не вел. Издательство „Прибой" перепечатало „Записки" Шаляпина, напечатанные в 1916 году [1] в журнале „Летопись".

„Записки" эти возникли по моей инициативе и при непосредственном моем участии. В 1915 г.[2] я уговорил Шаляпина рассказать мне его жизнь в присутствии стенографистки Евдокии Петровны Сильверсван. Он это сделал в несколько сеансов, затратив на рассказы не более 10 часов. После того как эти хаотические рассказы были стенографисткой расшифрованы, я придал им связность, переписал, добавив всё то, что знал раньше по рассказам Шаляпина. В 1916 г. он разрешил печатать их в „Летописи", за что ему уплачено было 6500 рублей.

Sorrento, 11.XII.30.

М. Горький».

В 1930 г. парижский суд рассмотрел претензии Шаляпина. На суде было доказано, что издательство «Прибой» перепечатывало лишь текст, опубликованный в «Летописи», что никакого ни материального, ни морального ущерба автору оно не причинило. На суде была оглашена переписка Шаляпина с издательством «Прибой». Суд учел также утверждения, содержащиеся в письмах Горького, и в иске Шаляпину отказал.

Эта печальная история омрачила взаимоотношения Горького и Шаляпина, привела к прекращению переписки между ними. По-прежнему оценивая Шаляпина как гениального артиста, Горький с сокрушением говорил о его социальном невежестве (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 412). Положение еще более ухудшилось с выходом в свет книги: Ф. Ш а л я п и н. Маска и душа (Мои сорок лет на театрах). Париж, изд. «Современные записки», 1932. Книга очень не понравилась Горькому. По его мнению, те, кто помогал Шаляпину написать и напечатать эту книгу, умышленно стремились к тому, чтобы великий артист сам себя скомпрометировал.

Несмотря на разногласия с Шаляпиным, Горький до последних дней своей жизни не оставлял попыток вырвать великого артиста из его окружения и помочь ему вернуться на родину. Шаляпин же сохранил любовь и уважение к Горькому. Узнав о его смерти, он написал статью «Об А. М. Горьком», закончив ее так:

«Нет, не корысть руководила Алексеем Максимовичем. Я говорил о его вечной боли за народ. Скажу о другой его главной страсти — о любви к России. Вот я вспоминаю, как этот вопрос стал между нами. Было это много, много лет позже. Российская буря разметала нас в разные стороны. Я жил в Париже, Горький приезжал из Сорренто в Рим на пути в Москву. Должен теперь сказать, что во время моего отъезда из России Горький

---

[1] Ошибка памяти; нужно — в 1917.

[2] Ошибка памяти; нужно — в 1916.

ему сочувствовал: сам сказал — тут, брат, тебе не место. Когда же мы, на этот раз в 1928 году, встретились в Риме, когда, по мнению моего друга, в России многое изменилось и оказалась возможность для меня (опять-таки, по его мнению) работать, он мне говорил сурово:

— А теперь тебе, Федор, надо ехать в Россию.

Тут не место говорить о том, почему я тогда отказался следовать увещеваниям Горького. Честно скажу, что до сих пор не знаю, кто из нас был прав, но я знаю твердо, что это был голос любви и ко мне и к России. В Горьком говорило глубокое сознание, что мы все принадлежим своей стране, своему народу и что мы должны быть с ними не только морально,— как я иногда себя утешаю, но и физически,— всеми шрамами, всеми затверднениями и всеми горбами» (*Шаляпин*$_{57}$, стр. 364).

Стр. 265. *...моя мать...*— Авдотья (Евдокия) Михайловна Шаляпина, урожденная Прозорова (1844—1891). И. Ф. Шаляпина в письме от 1 августа 1969 г., присланном в ИМЛИ, свидетельствует: «Мой отец считал Авдотью Михайловну самым близким и дорогим ему человеком, только ей поверял он в детстве свои мечты. Авдотья Михайловна замечательно пела русские народные песни, и хотя голос у нее был, по воспоминаниям Ф. И. Шаляпина, „простой, деревенский", пела она необычайно музыкально и задушевно, умея привлекать своим исполнением сердца людей. Надо думать, что талант Ф. И. Шаляпин унаследовал от матери».

Стр. 265. *Лутошки* — липовые палочки (без коры).

Стр. 266. *Иван — это мой отец.*— Иван Яковлевич Шаляпин (ум. 1901), выходец из крестьян деревни Сырцы (Сырцово), она же Шаляпинка, б. Вятской губернии. Служил писцом в уездной земской управе в Казани.

Стр. 268. *...братом моим Василием...*— В. И. Шаляпин (1886—1915); умер от сыпного тифа.

Стр. 272. *Сикеаникма...*— Эту шутливую песню, состоящую из татарских слов, искаженных почти до неузнаваемости, можно перевести приблизительно так:

Гривенник ли?	Еще десятка,
Четвертак ли?	Пятак ли?
Крепки ли?	Скажи, скажи,
Здоровы ли?	Скажи, скажи.

Стр. 273. «*Здесь нет ни страданий со жизнь бесконечная*». — Несколько видоизмененный текст из молитвы об усопшем («Молитвы при божественной литургии». СПб., 1851, стр. 244).

Стр. 273. *Семик* — праздник поминания умерших, отмечавшийся в четверг седьмой недели после Пасхи.

Стр. 273. *Спас* — народное название церковного праздника «преображения Христа» (отмечался 6-го августа ст. ст.). Православная церковь объединила этот день с языческими празднествами сбора плодов земли.

Стр. 276. *Бова Королевич* — герой популярной русской сказочной повести, широко распространявшейся в лубочных изданиях XVIII и XIX веков.

Стр. 280. *Фомина неделя* — неделя, следующая за пасхальной.

Стр. 284. *Исполатчик* — мальчик, принимающий участие в качестве певчего (альт или дискант) при богослужении.

Стр. 284. *...концерт Бортнянского...*— Д. С. Бортнянский (1751—1825), украинский и русский композитор, автор многих опер и инструментальных произведений. Считается классиком церковной музыки.

Стр. 284. *...идти обязательно в терцию...*— Терция (лат. tertia — третья)— музыкальный интервал, образующий расстояние в полтора тона (малая терция) или в два тона (большая терция). Расположение голосов на расстоянии терции — наиболее легкое; особенно распространено в бытовой музыке.

Стр. 284. *...не знал, что существует квинтовый круг...*— Квинтовый круг — наглядное изображение соотношения тональностей в музыке, расположенных друг от друга на расстоянии квинты (пяти соседних нот).

Стр. 284. *Трио было написано лиловыми чернилами, что напоминает мне чью-то шутку...*— Следующие за этим стихи ср. со стихами М. Горького в т. I наст. изд., стр. 441. Там же, на стр. 569—570, см. примечание к стихам.

Стр. 285. *...Беранже в переводе Курочкина.*— Курочкин В. А. (1831—1875) — русский поэт, общественный деятель, основатель сатирического журнала «Искра». Своей популярностью в прогрессивных кругах русского общества песни Беранже во многом обязаны блестящим переводам Курочкина. На стихи Беранже в переводе Курочкина написан ряд произведений русскими композиторами, среди них «Старый капрал» и «Червяк» Даргомыжского, входившие в основной концертный репертуар Ф. И. Шаляпина.

Стр. 292. *Шар-мазло* — игра, заключающаяся в том, что небольшой деревянный шар перегоняют палкой из одной лунки в другую (нечто вроде гольфа).

Стр. 294. *Руга* — годичное содержание священнику, дьякону и псаломщику от прихода — деньгами, хлебом и припасами.

Стр. 294. *Царские дни* — годовые праздники царской семьи (день рождения царя или одного из членов его семьи и т. п.).

Стр. 294. *...речь Цицерона против Катилины.*— Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.), древнеримский оратор, философ и политический деятель, принимал активное участие в борьбе против развернувшегося в 63—62 годах движения оппозиционных элементов, возглавлявшихся Катилиной. Цицерон выступал в сенате с речами против Катилины. Текст одной из этих речей, как образец древнеримской прозы, изучался в русских гимназиях и духовных училищах.

Стр. 295. «*Попеджой ли он?*» — роман английского писателя Энтони Троллопа, СПб., 1878.

С т р. 295. «*Феликс Гольд, радикал*» — роман английской писательницы Мэри Анн Эвенс, писавшей под псевдонимом Джордж Элиот, СПб., 1867.

С т р. 295. «*Фиакр № 14*» — По всей вероятности, «Фиакр № 13», роман французского писателя Ксавье де Монтепена(1823—1902). Этого романиста читал в отроческие годы и Горький (см.: *Г-30*, т. 24, стр. 138, 485).

С т р. 295. ...*на башне церкви Сен-Жермен Л'Оксерруа*...— Церковь в Париже, памятник готической архитектуры. Построена в XIII веке, перестраивалась в XV—XVI вв.

С т р. 296. «*Русская свадьба*...» — Полное название: «Русская свадьба в исходе XVI века», драматическое представление И. П. Сухонина (1821—1884).

С т р. 296. ...*медведевский занавес*...— Медведев П. М. (1837—1906), антрепренер, актер, режиссер. Многие годы держал антрепризу в Казани и других волжских городах. По свидетельству И. Ф. Шаляпиной, «медведевский занавес», на котором было изображено знаменитое «Лукоморье» из поэмы «Руслан и Людмила», навсегда стало для Шаляпина символом чего-то сказочного, желанного. «И впоследствии, когда он огорчался, когда жизнь приносила ему какие-нибудь разочарования, он грустно восклицал: „А где же у Лукоморья дуб зеленый?!“» (цит. выше письмо И. Ф. Шаляпиной в ИМЛИ).

С т р. 297. *Вечером давали «Медею»*.— Популярная в те годы пьеса В. П. Буренина и А. С. Суворина на тему древнегреческого мифа о царице Медее.

С т р. 297. *Пальчикова* Н. В.— драматическая актриса.

С т р. 297. *Стрельский* М. К. (1844—1902) — драматический актер широкого диапазона.

С т р. 298. «*Золотое руно*» — шкура золотошерстного барана, которого, как рассказывается в древнегреческом мифе, принесли в жертву богу Зевсу. Золотое руно было похищено Язоном, которому помогла волшебница Медея, ставшая затем его женой.

С т р. 298. *Колхида* — историческое название западной Грузии, распространенное в древнегреческой литературе. Согласно мифу, в Колхиде хранилось золотое руно до его похищения Язоном.

С т р. 300. *Васко де Гама* (Васко да Гама) — португальский мореплаватель (1469—1529), открывший морской путь в Индию; в данном случае речь идет о нем как о герое оперы французского композитора Дж. Мейербера «Африканка».

С т р. 303. *Расскажите вы ей*...— Начальные слова арии Зибеля из оперы «Фауст» Ш. Гуно.

С т р. 304. *Все эти короли, Ахиллы, Калхасы и Ламбертучьо, цыганские бароны и губернаторы*...— Персонажи из классических оперетт «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха (1864), «Цыганский барон» И. Штрауса (1885) и «Перикола» Ж. Оффенбаха (1868).

С т р. 306. *Понсон дю Террайль* Пьер Алексис (1829—1871) — французский писатель, автор многочисленных авантюрных романов.

С т р. 308. *На том ли поле серебристом...*— Романс. См. «Полный сборник либретто для граммофона», ч. II. СПб., 1904, стр. 204.

С т р. 309. *«Дама с камелиями»* — популярная драма А. Дюма-сына (1824—1895).

С т р. 309. *...«в муках рождают детей».*— Библия. Книга бытия, гл. 3, стих 16.

С т р. 310. *«Во лузях»* — народная песня плясового характера. Варианты ее см. в кн.: «Великорусские народные песни, изданные проф. А. И. Соболевским», т. 2. СПб., 1896, стр. 245—252.

С т р. 315. *Еруслан Лазаревич* — богатырь, герой сказки, широко распространявшейся в лубочных изданиях XVIII и XIX веков.

С т р. 320. *«Жандарм Роже»* — Шаляпин имеет в виду французскую мелодраму «Бродяги» (перевод П. Востокова), одним из персонажей которой является жандарм Роже.

С т р. 322. *Экзекутор* — чиновник, ведавший хозяйством в учреждениях дореволюционной России.

С т р. 322. *...говорил он великолепным голосом Киселевского...*— И. П. Киселевский (1839—1898) — актер; в 1871 г. вступил в труппу Курского театра, затем играл во многих городах, в том числе в Казани.

С т р. 325. *«Зевеке»*— Так называли пароходы, принадлежавшие пароходному товариществу А. А. Зевеке.

С т р. 327. *...Как на площадь соберутся...*— начальные слова мужского хора, открывающего первое действие оперы Жоржа Бизе «Кармен» (1875) по мотивам новеллы Проспера Мериме.

С т р. 329. *...«дым отечества».*— Художественный образ, восходящий к «Одиссее» Гомера, воспринятый Овидием, который придал ему форму афоризма (лат. «dulcis fumus patriae» — сладок дым отечества). Образ этот, ставший крылатым, был, в частности, употреблен Державиным в стихотворении «Арфа»; наибольшую популярность в России он приобрел после того, как был использован А. С. Грибоедовым в «Горе от ума» (д. I, явл. 7).

С т р. 330. *Духовная консистория* — церковно-административный и церковно-судебный орган при архиерее в дореволюционной России.

С т р. 331. *«Нищий студент»* — популярная оперетта австрийского композитора К. Миллекера (1882).

С т р. 332. *...молодой человек, видимо кавказец...*— И. П. Пеняев, певец, режиссер, друг Шаляпина. «Будучи уже стариком, Пеняев жил у нас и ведал библиотекой отца»,— вспоминала И. Ф. Шаляпина (см.: *Шаляпин*, т. I, 1959, стр. 560).

С т р. 332. *«Травиата»* — популярная опера Джузеппе Верди (1813—1901), в которой использован сюжет драмы А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Премьера состоялась в 1853 г. в Венеции.

С т р. 332. *«Корневильские колокола»* — популярная оперетта французского композитора Р. Планкета (1877).

С т р. 333. *Талия и Мельпомена* — музы, олицетворявшие в древнегреческой мифологии искусство комедии (Талия) и трагедии (Мельпомена).

С т р. 333. *...через три года я буду петь Демона!* — Заглавная роль в опере А. Г. Рубинштейна (1871) по одноименной поэме М. Ю. Лермонтова (либретто П. Висковатова). Премьера оперы состоялась в Петербурге в 1875 г. Шаляпин впервые выступил в партии Демона 16 января 1904 г. в своем бенефисном спектакле на сцене Большого театра.

С т р. 333. *...пел ↄ Мефистофеля.*— Впервые Шаляпин полностью спел партию Мефистофеля в опере «Фауст» Ш. Гуно на сцене тифлисского казенного театра 29 сентября 1893 г.

С т р. 334. *Ах ты,ноченька, ночка темная* — русская народная песня.

С т р. 335. *До свидания, Геннадий Демьянович!* — Имеется в виду актер Несчастливцев, персонаж из драмы А. Н. Островского «Лес».

С т р. 336. «*Певец из Палермо*» — комическая опера австрийского композитора А. Замара.

С т р. 338. «*Галька*» — опера польского композитора Станислава Монюшко (1819—1872), либретто В. Вольского по его одноименной поэме.

С т р. 340. «*Трубадур*» — опера Дж. Верди, либретто С. Каммарано по испанской драме А. Гарсия Гутьерреса.

С т р. 343. «*Прощеное воскресенье*», или «прощеный день» — последнее воскресенье перед великим постом, когда, согласно ритуалу православной церкви, верующие просят друг у друга прощения.

С т р. 343. «*Аскольдова могила*» — опера А. Н. Верстовского (1819). Либретто М. Загоскина по его же произведению «Аскольдова могила. Повесть времен Владимира Первого».

С т р. 344. «*О поле, поле*» — начальные слова речитатива перед арией Руслана в опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки.

С т р. 344. «*Чуют правду*» — начальные слова речитатива перед арией Сусанина в опере «Иван Сусанин» М. И. Глинки.

С т р. 344. «*В старину живали деды*» — начальные слова арии Неизвестного из оперы «Аскольдова могила».

С т р. 345. «*Синяя борода*» — оперетта Ж. Оффенбаха.

С т р. 347. *...от хрипоты помогает гоголь-моголь...*— Этот эпизод лег в основу произведения А. Куприна «Гоголь-моголь (по рассказу Шаляпина)». С Шаляпиным А. Куприна связывала долголетняя дружба. Шаляпину посвящены замечательные строки в том же рассказе (см.: А. К у п р и н. Собр. соч., т. III. М., 1954).

С т р. 356. «*Куковала та сиза зозуля*», «*Ой, у лузи*» — украинские народные песни.

С т р. 357. *...в «Невольниках» пел...*— По-видимому, в драме М. Л. Кропивницкого, которую часто ставили в прошлом веке украинские труппы.

С т р. 358. *Деркач* — Любимов-Дергач Т. О.— антрепренер украинской труппы.

С т р. 360. *...играя Петра в «Наталке-Полтавке»...*— По всей вероятности, речь идет о «малороссийской опере» И. Котляревского. Впоследствии эта пьеса уступила место опере Н. Лысенко на текст И. Котляревского того же названия, поставленной впервые в Одессе в 1889 г.

С т р. 363. *«Кавказ и Меркурий»* — пароходное общество на Волге.

С т р. 364. *«Норма»* — популярная в прошлом веке опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835).

С т р. 364. *...я с честью пел Кардинала в «Жидовке»...*— Партия для баса, одна из главных в опере французского композитора Ф. Галеви (либретто Э. Скриба).

С т р. 368. *...у местного профессора пения Усатова...*— Д. А. Усатов (1847—1913), певец (тенор), первый исполнитель партии Ленского в «Евгении Онегине» Чайковского на сцене Большого театра в Москве (1881), вокальный педагог.

С т р. 372. *Комаровский* И. Н. (ум. 1917) — певец, впоследствии помощник режиссера в Большом театре.

С т р. 372. *Агнивцев* П. А.— певец (баритон).

С т р. 373. *«Фенелла»* — опера французского композитора Ф. Обера (1782—1871), известная также под названием «Немая из Портичи» (1828).

С т р. 376. *...третий акт «Русалки»...*— «Русалка» — опера А. С. Даргомыжского(1856) по одноименной поэме А. С. Пушкина.

С т р. 376. *...сравнивал меня со знаменитым Петровым.*— Петров О. А. (1806—1878) — русский певец (бас), ученик М. И. Глинки, артист Мариинского театра в Петербурге, первый исполнитель ведущих басовых партий в операх Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова; основоположник русского оперно-сценического реализма.

С т р. 376. *Карганов* — В. Д. Корганов (1865—1934), музыковед, музыкальный критик.

С т р. 377. *Вейки* — извозчики-финны, промышлявшие в Петербурге во время гуляний на масленицу.

С т р. 379 *«Жизнь за царя».*— По указанию Николая I, под этим названием шла первая опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

С т р. 379. *...строгий выговор рецензента...*— в статье В. Д. Корганова «Наша опера» («Кавказ», 1894, 25 февраля).

С т р. 379. *...весь басовый репертуар лег на мои плечи...*— С октября 1893 г. по февраль 1894 г. Шаляпин пел в 62 спектаклях, выступив в 14 ролях.

С т р. 379. *«Паяцы»* — опера Руджеро Леонкавалло (1858—1919) на его же либретто (1892).

С т р. 382. *Барцал* А. И. (1847—1927), певец, артист Большого театра, с 1882 г. по 1903 г.— главный режиссер; профессор Московской консерватории.

С т р. 384. *«...я с Левиным играла!»*— Вероятно, И. А. Левин (1874—1944), русский пианист.

С т р. 386. *...Авраменко* — по-видимому, У. И. Авранек

(1853—1937), виолончелист, с 1882 г.— главный хормейстер и дирижер Большого театра в Москве, народный артист РСФСР.

С т р. 386. *...в театральное бюро Рассохиной.*— Е. Н. Рассохина (ок. 1860—1920), театральный деятель и антрепренер.

С т р. 387. *Лентовский* М. В. (1843—1906) — актер, режиссер, антрепренер.

С т р. 387. *...арию из «Дон-Карлоса»...*— Ария Филиппа II, короля Испании, одного из главных персонажей оперы Дж. Верди «Дон-Карлос» (1867).

С т р. 387. *«Сказки Гофмана»* — лирическая опера Ж. Оффенбаха (1881), либретто Ж. Барбье и М. Карре.

С т р. 388. *...в Казань, к Унковскому...*— Н. В. Унковский (ок. 1857—1904) — артист оперы, режиссер.

С т р. 389. *...вступить в оперное товарищество...*— Оперное товарищество возглавлялось дирижером И. А. Труффи и певцами Миллером и Поляковым-Давыдовым. Для спектаклей был снят Панаевский театр в Петербурге.

С т р. 390. *Спектакли пошли у нас удачно.*— Сезон в оперном товариществе открылся 18 (30) сентября 1894 г. оперой «Фауст» Гуно. Шаляпин пел партию Мефистофеля.

С т р. 390. *...я пою Бертрама...*— Главная басовая партия в опере Дж. Мейербера (1831).

С т р. 390. *В. В. Андреев* (1861—1918) — русский музыкант, виртуоз игры на балалайке, организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов.

С т р. 390. *«Заклинание цветов»* — сцена Мефистофеля в третьем акте оперы Гуно «Фауст».

С т р. 390. *...в присутствии директора.*— Директором петербургских императорских театров был тогда И. А. Всеволожский (1835—1909).

С т р. 390. *Мельников* И. А. (1832—1906) — один из крупнейших представителей русской вокально-сценической школы (баритон), артист Мариинского театра.

С т р. 391. *Фигнер* Н. Н. (1857—1918) — лирико-драматический тенор; с 1887 по 1907 г.— солист Мариинского театра.

С т р. 391. *Дальский*—М. В. Неелов (1865—1918), актер-трагик; с 1890 г. артист Александринского театра в Петербурге.

С т р. 391. *«Два гренадера»* — романс Р. Шумана на слова Г. Гейне, вошедший в основной концертный репертуар Шаляпина.

С т р. 393. *Первый дебют мне дали в «Фаусте».*— 5 (17) апреля 1895 г.

С т р. 393. *...петь Цунигу в «Кармен».*— Это был не второй, а третий дебютный спектакль Шаляпина в Мариинском театре, состоявшийся 19 апреля 1895 г.

С т р. 394. *...наступил день спектакля.*— 17 (29) апреля 1895 г. Это был второй дебютный спектакль Шаляпина на сцене Мариинского театра.

С т р. 394. *Вольф-Израэль* Е. В. (1872—1956) — виолончелист, артист оркестра Мариинского театра, профессор Ленинградской консерватории.

С т р. 395. *М. Ф. Волькенштейн* (1861—1934) — адвокат, друг Шаляпина.

С т р. 396. *Корякин* М. М. (1850—1897) — с 1878 г. артист Мариинского театра (бас).

С т р. 396. *«Рогнеда»* — опера А. Н. Серова (1865).

С т р. 396. *Чернов* А. Я. (1858—1904) — с 1886 г. артист Мариинского театра (бас).

С т р. 397. *...привел меня к Тертию Филиппову...*— Филиппов Т. И. (1826—1899) — крупный чиновник, писатель, знаток и собиратель русских народных песен.

С т р. 397. *И. Ф. Горбунов* (1831—1895) — актер, писатель, рассказчик.

С т р. 397. *«Ночевала тучка золотая»* — трио А. С. Даргомыжского на слова М. Ю. Лермонтова.

С т р. 398. *Гофман* Иосиф (1876—1957) — польский пианист и композитор.

С т р. 398. *Кондратьев* Г. П. (1834—1905) — певец (баритон); с 1864 г. по 1900 г.— главный режиссер Мариинского театра.

С т р. 399. *«Ночь под Рождество»* — опера Н. А. Римского-Корсакова. Премьера состоялась 28 ноября 1895 г. в Мариинском театре. Шаляпин был дублером Ф. И. Стравинского в роли Панаса.

С т р. 399. *«На земле весь род людской»* — начальные слова куплетов Мефистофеля во 2-м акте оперы Гуно «Фауст».

С т р. 399. *...спеть в концерте «Трепак» Мусоргского.*— Из вокального цикла «Песни и пляски смерти» (1875—1877), на слова А. А. Голенищева-Кутузова.

С т р. 399. *...я встретил известного в то время музыкального критика.*— По-видимому, М. М. Иванова (1849—1927), заведующего музыкальным отделом газеты «Новое время».

С т р. 400. *Длусский* Э. Я.— композитор, пианист, аккомпаниатор.

С т р. 400. *Это — Пале-Рояль, приют артистической богемы Петербурга.*— О периоде жизни Шаляпина в «Пале-Рояле» см.: Н. Н. Ходотов. Близкое и далекое. М.— Л., Academia, 1932, стр. 91—94.

С т р. 400—401. *«Убежище для артистов»* — Убежище для престарелых артистов (1896), ныне Дом ветеранов сцены Всероссийского театрального общества. Организатором этого учреждения была артистка Александринского театра М. Г. Савина (1854—1915).

С т р. 402. *Соколов* И. Я. (1857—1924) — артист Русской частной оперы С. И. Мамонтова, затем Большого театра.

С т р. 402—403. *...на Всероссийскую выставку в Нижний.*— Официальное открытие Всероссийской промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде состоялось 28 мая 1896 г.

Стр. 403. *Круглов* А. Н. (ум. 1904) — артист Русской частной оперы (баритон).

Стр. 403. *Винтер* К. С. (1860—1924) — официальный антрепренер Русской частной оперы во втором периоде ее существования (1896—1899).

Стр. 403. *Савва Иванович Мамонтов* (1841—1918) — крупный промышленник, меценат, театральный деятель.

Стр. 403. *Мельников* П. И.— режиссер Русской частной оперы, с 1909 г.— в Мариинском театре. Сын И. А. Мельникова (см. примеч. к стр. 390).

Стр. 405. *Сезон шел весело, прекрасно.*— Летний сезон Русской частной оперы в Нижнем Новгороде открылся 14 (26) мая 1896 г. в помещении Нового городского театра оперой М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Партию Сусанина пел Шаляпин.

Стр. 407. *Торнаги* И. И. (1873—1965) — прима-балерина Русской частной оперы, первая жена Шаляпина (см.: *Шаляпин*, т. I, 1959, стр. 525—530).

Стр. 408. *Первый спектакль...*— Первое выступление Шаляпина в Москве на сцене Русской частной оперы состоялось 22 сентября 1896 г. в партии Сусанина.

Стр. 408. *Кругликов* С. Н. (1851—1910) — музыкально-общественный деятель, критик, друг Н. А. Римского-Корсакова, редактор музыкальных отделов в журнале «Артист» и газете «Новости дня», профессор музыкально-драматического училища Московского филармонического общества.

Стр. 408. *Мы отправились в магазин Аванцо...*— Аванцо и Дациаро — компаньоны, владельцы известных в те годы магазинов художественных вещей в Петербурге и Москве.

Стр. 408. *Каульбах* Вильгельм (1805—1874) — немецкий художник; создал цикл иллюстраций к произведениям Гёте.

Стр. 410. *В. В. Васнецов* — видимо, описка. В Русской частной опере работал Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926), художник, декоратор.

Стр. 410. *Якунчикова* М. В. (1870—1902) — художница.

Стр. 412. *Опера была написана, кажется, в 74-м году, а в 97-м ставилась впервые.*— Опера Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка» была написана по драме Л. Мея в 1870—1872 годах. Имеет три авторские редакции. Премьера оперы в первой редакции состоялась 1 января 1873 г. в Петербурге, на сцене Мариинского театра, с О. А. Петровым в роли Грозного. Там же были показаны и другие редакции, последняя — в 1895 г.

Стр. 412. *«Псковитянка» имела решительный успех...*— Премьера «Псковитянки» на сцене Русской частной оперы состоялась 12 (24) декабря 1896 г. Профессор Н. Д. Кашкин писал о постановке: «Главным украшением был г. Шаляпин, исполнивший роль Грозного. Он создал очень характерную фигуру и один между всеми исполнителями выказал настоящее умение говорить речитативы внятно, музыкально и выразительно...» («Русские ведомости», 1896, 17 декабря). Римский-Корсаков отзывался о Шаляпине как об артисте, «несравненно создавшем

царя Ивана» (Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955, стр. 276).

Стр. 412. *Мазини* Анджело (1844—1926) — итальянский оперный певец (лирический тенор).

Стр. 412. *Таманьо* Франческо (1851—1905) — итальянский оперный певец (драматический тенор).

Стр. 412. *Ван-Занд* (по мужу Чернова) М. Я. (1861—1919) — американская певица (лирико-колоратурное сопрано).

Стр. 413. «*Фаворитка*» — популярная в XIX веке опера (1840) итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797—1848).

Стр. 413. *Т. С. Любатович* (1859—1932) — певица (меццо-сопрано), артистка Русской частной оперы, была другом Шаляпина и Рахманинова.

Стр. 415. *Шкафер* В. П. (1867—1937) — тенор, с 1904 г. артист и режиссер Большого театра в Москве, затем — Государственного Академического театра оперы и балета в Ленинграде, заслуженный артист РСФСР.

Стр. 415. *Наступил день спектакля.*— Премьера оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» на сцене Русской частной оперы состоялась 7 (19) декабря 1898 г. Шаляпин исполнял партию Бориса Годунова.

Стр. 416. *В следующий сезон мы поставили «Хованщину».*— Здесь, как и далее, Шаляпин не придерживается точной последовательности в изложении событий. «Хованщина» Мусоргского была поставлена на сцене Русской частной оперы раньше «Бориса Годунова»,— в ноябре 1897 г. Шаляпин исполнял партию Досифея.

Стр. 416—417. *...рассказал мне о Хованских, князе Мышецком...* — Хованский И. А.— князь, руководитель стрелецкого движения при царевне Софье; пытался использовать бунт стрельцов 15 мая 1682 г. для захвата власти. Казнен со своим сыном Андреем в том же году. Мышецкий — прообраз главы раскольников Досифея в опере «Хованщина» (см.: М. П. Мусоргский. Письма и документы. М.— Л., 1932, стр. 221).

Стр. 417. *...в «Садко», декорации для которого писал Врубель...*— Согласно премьерной афише «Садко», авторами декораций были К. А. Коровин и С. В. Малютин. М. А. Врубелю принадлежит эскиз костюма Волховы для артистки Н. И. Забелы-Врубель. Однако возможно, что Врубель помогал расписывать декорации «морского дна».

Стр. 418. *...приспел момент играть Сальери...*— в опере Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», написанной на текст одноименной трагедии Пушкина. Премьера состоялась 25 ноября 1898 г. Критика восторженно встретила новую работу Шаляпина.

Стр. 419. *...опера Мамонтова переехала в Петербург...*— Гастроли Русской частной оперы с 22 февраля по 19 апреля 1898 г. вызвали широкий интерес и многочисленные отклики в прессе. Самым значительным из них явилась статья В. В. Ста-

сова «Радость безмерная» («Новости и биржевая газета», 1898, № 56, 25 февраля).

С т р. 421. *В «Новом времени» появилась «разносная» статья.* — В 1898 г. в газете «Новое время» (№ 89, 30 марта) была опубликована статья «Музыкальные наброски... („Псковитянка“ и г. Шаляпин в роли Ивана Грозного)». Статья была написана критиком М. М. Ивановым, известным своей беспринципностью и нападками на прогрессивные явления русской музыки.

С т р. 421. *На следующий день в «Новостях» была напечатана под заголовком «Куриная слепота» статья Стасова.*— В названной статье содержится резкая отповедь «пововременскому» критику и высоко оценено реалистическое мастерство Шаляпина («Новости и биржевая газета», 1898, № 89, 31 марта).

С т р. 422. *Братья Блюменфельд* — Ф. М. Блуменфельд (1863—1931) — пианист, композитор, дирижер Мариинского театра, профессор Киевской, Петербургской и Московской консерваторий, заслуженный деятель искусств РСФСР. С. М. Блуменфельд (1852—1920) — композитор, пианист, певец.

С т р. 422. *Кюи* Ц. А. (1852—1920) — композитор, музыкальный критик член «Могучей кучки».

С т р. 422. *...затем «Раешника»...*— Так Шаляпин называет сатирическое произведение М. П. Мусоргского «Раек» — вокальный монолог, ведущийся от лица раешника.

С т р. 423. *Эскуриал* — дворец-монастырь, резиденция испанских королей, выдающийся памятник испанской архитектуры XVI в.

С т р. 424. *Теляковский* В. А. (1861—1924) — с 1898 г. управляющий Московской конторой императорских театров; с 1901 по 1917 г. директор императорских театров; автор книги «Воспоминания. 1898—1917 гг.». Пг., «Время», 1924.

С т р. 426. *Габорио* Эмиль (1835—1873) — французский писатель, автор авантюрных романов.

С т р. 427. *...к одному профессору, даме...*— Итальянская певица Бертрами.

С т р. 427. *«Юдифь»* — опера А. Н. Серова (1863, Петербург). Премьера «Юдифи» на сцене Русской частной оперы с Шаляпиным — Олоферном состоялась 23 ноября 1898 г.

С т р. 430. *...С. И. Мамонтов арестован...*— В сентябре 1899 г. Мамонтов, возглавлявший акционерное железнодорожное общество, сделал превышавший законную допустимость краткосрочный заем из кассы Ярославской железной дороги для субсидирования вагоностроительных заводов. Этот поступок использовал министр юстиции Н. В. Муравьев, интриговавший против министра финансов С. Ю. Витте, покровителя Мамонтова. Мамонтов был арестован, разорен кредиторами, но оправдан судом присяжных, так как следствие установило, что недостающая сумма присвоена Мамонтовым не была.

С т р. 430. *Мой первый выход на сцене императорских театров состоялся в «Фаусте».*— После первого выступления Шаля-

пина (24 сентября 1899 г.) в Большом театре В. А. Теляковский записал в своем дневнике: «Шаляпин певец не Большого и не Мариинского театра, а певец — мировой <...> Я страшно рад — я чувствую гения, а не баса» (ГЦТМ имени А. А. Бахрушина, фонд В. А. Теляковского, тетрадь 1).

Стр. 432. *...или жреца в «Лакме»...*— В опере Л. Делиба «Лакме» (1883) Шаляпин исполнял ведущую басовую партию Нилаканты, верховного брамина.

Стр. 434. *...ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.*— Из вступления к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 436. *Бойто* Арриго (1842—1918) — итальянский композитор и поэт.

Стр. 438. *Тосканини* Артуро (1867—1957) — итальянский дирижер, ряд лет руководивший театром «La Scala».

Стр. 444. *...весь спектакль прошел с большим успехом.*— Первое выступление Шаляпина за границей состоялось в Миланском театре «La Scala», в опере Бойто «Мефистофель» 16 марта (н. ст.) 1901 г. Партию Фауста пел Энрико Карузо (см.: *Шаляпин*, т. II, 1960, стр. 30—40).

Стр. 445. «*Любовный напиток*» — популярная комическая опера итальянского композитора Г. Доницетти (1832).

Стр. 447. *Масканьи* Пьетро (1863—1945) — итальянский композитор и дирижер.

Стр. 454. *...я прочитал в «Новом времени» письмо Мазини.* — В письме Мазини говорится о миланском дебюте Шаляпина: «...этот вечер был настоящим триумфом для русского артиста, вызвавшего громадный энтузиазм слушателей и бурные овации» («Новое время», 1901, 15/28 марта). См.: *Шаляпин*, т. II, 1960, стр. 41.

Стр. 461. *...«в пустыне» — увы! — не безлюдной!* — Из стихотворения Н. Минского «Прокаженный» (1885).

Стр. 463. *Рено* — французский певец (бас), артист «Гранд-Опера».

Стр. 463. «*Гибель Фауста*», или «Осуждение Фауста» — драматическая легенда (оратория) французского композитора Гектора Берлиоза (1846).

Стр. 468. *...дирижировал некий славянин...*— Имеется в виду главный хормейстер и дирижер Большого театра У. И. Авранек.

Стр. 469. *...ряд симфонических концертов...*— С 16 по 30 (н. ст.) мая 1907 г. в Париже состоялось пять концертов русской музыки.

Стр. 469. *Никиш* Артур (1855—1922) — венгерский дирижер.

Стр. 472. *Витали*—Эдоардо Витале (1872—1937) — итальянский дирижер и педагог.

Стр. 474. *...в день спектакля...*— Премьера «Бориса Годунова» в «La Scala» состоялась 14 января 1909 г. (н. ст.).

Стр. 476. *Шуйского пел довольно известный тенор...*— С. И. Гарденин (Коваленко).

С т р. 477. «*Риголетто*» — опера Дж. Верди по драме В. Гюго «Король забавляется» (1851).

С т р. 477. «*Мадам Баттерфляй*», или «Чио-Чио-сан» — опера Дж. Пуччини по драме Д. Беласко «Гейша» (1904).

С т р. 478. ...*спеть панихиду по Мусоргскому.*— Панихида состоялась не в день генеральной репетиции, как можно заключить из воспоминаний Шаляпина, а накануне второго представления оперы, 10 (23) ноября 1911 г.

С т р. 478. ...*захотелось поставить ее в Москве...*— Премьера «Хованщины» в Большом театре состоялась 12 (25) декабря 1912 г.

С т р. 480. ...*получил предложение петь в Нью-Йорке.*— Первые гастроли Шаляпина в Нью-Йорке состоялись в ноябре 1907 — январе 1908 г. на сцене театра «Метрополитен-опера».

С т р. 480. ...*статуя Свободы, благородный и символический подарок Франции...*— Статуя Свободы при входе в гавань Нью-Йорка, создана французским скульптором Августом Бартольди и подарена американцам Францией в 1886 г. по случаю столетия со дня провозглашения независимости США.

С т р. 485. *Приехал знаменитый венский дирижер Малёр* — Густав Малер (1860—1911).

С т р. 485. *Начали репетировать «Дон-Жуана».*— Премьера оперы Моцарта состоялась на сцене «Метрополитен-опера» 23 января (н. ст.) 1908 г. Шаляпин исполнил партию Лепорелло.

С т р. 487. *Вскоре я получил приглашение в Южную Америку.*— Шаляпин гастролировал в Южной Америке летом 1908 г.

С т р. 490. ...*я оказался вынужденным ехать в Лондон.*— Летом 1905 г.

С т р. 492. *Колонн* Эдуард (1838—1910) — французский дирижер и виолончелист.

С т р. 492. *Мунэ* Поль (1847—1922) — французский актер, брат выдающегося трагика Жана Мунэ-Сюлли.

С т р. 494. *И вот я в Лондоне...*— Первый сезон Русской оперы в Лондоне открылся в театре Дрюри Лейн 24 июня (н. ст.) 1913 г. спектаклем «Борис Годунов» М. П. Мусоргского.

С т р. 494. *Бигэн* — Бичем Томас (1879—1961), английский дирижер, оперный и балетный антрепренер.

С т р. 496. *Чупрынников* М. М. (1866—1918) — певец, артист Мариинского театра, участник Петербургского вокального квартета.

С т р. 500. *Купер* Э. А. (1879—1960) — русский оперный и симфонический дирижер. Работал в Большом и Мариинском театрах.

С т р. 502. *Похитонов* Д. И. (1878—1957) — русский дирижер; с 1909 г. работал в Мариинском театре; народный артист РСФСР.

С т р. 502. *Роза Номарш* — Номарч или, вернее, Ньюмарч (1857—1940) — английский музыковед, писательница, пропагандистка русской музыки; автор книги «Русская опера», посвященной Шаляпину.

С т р. 504. *...поехал в Берлин...*— ранней весной 1907 г. с труппой Рауля Гинзбурга.

С т р. 505. *Первым шел «Мефистофель»* — 5 апреля (н. ст.) 1907 г. Заглавную роль пел Шаляпин, партию Фауста — Л. В. Собинов. 9 апреля Шаляпин выступил в роли короля Филиппа («Дон-Карлос»).

С т р. 506. *Барнай* Людвиг (1842—1924) — немецкий драматический актер (трагик) и режиссер.

С т р. 507. *Вы поете Вагнера? — Только в концертах...*— По воспоминаниям дирижера А. Б. Хесина, Шаляпин с большим искусством исполнял в концертах монолог («Прощание») Вотана из оперы Вагнера «Валькирия».

С т р. 512. *Дворищин* И. Г. (1876—1942) — хорист, затем певец и режиссер Государственного академического театра оперы и балета в Ленинграде (бывш. Мариинского), заслуженный артист РСФСР; секретарь Шаляпина до его последнего отъезда за границу.

С т р. 516. *Аверьино* Н. К.— скрипач и альтист; принимал участие в концертах Шаляпина.

С т р. 516. *Корещенко* А. Н. (1870—1921) — композитор, пианист, дирижер и педагог.

С т р. 525. *Странствуя с концертами, я приехал однажды в Самару...*— осенью 1909 г.

С т р. 528. *Мой приезд как раз совпал с нашим отступлением из Восточной Пруссии. Все спрашивали меня, кто такой Самсонов.* — Вскоре после начала первой мировой войны, 17—19 августа 1914 г., две русские армии — генерала Ренненкампфа и генерала Самсонова — вторглись в Восточную Пруссию и нанесли ряд поражений германским войскам. Германия, которой грозила потеря всей Восточной Пруссии, срочно перебросила туда значительные силы с Западного фронта, что облегчило положение Франции и способствовало отражению германского наступления на Западе. Однако преступная медлительность Ренненкампфа привела к тому, что два корпуса армии Самсонова в конце августа оказались в окружении и погибли. В первой половине сентября кайзеровские войска отбросили и армию Ренненкампфа.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Капри, 1910 г. 4

«**Сказки об Италии**». Страница машинописи с правкой М. Горького 25

«**Русские сказки**». Страницы машинописи с правкой М. Горького 171

«**Испорченная кровь — тот же яд...**» Из автографа . . . 260

А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин с друзьями. Мустамяки, 1914 г. 384

<«**Автобиография Ф. И. Шаляпина**»>. Страницы машинописи с правкой М. Горького 460, 467

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
I		
Сказки об Италии	7	537
Русские сказки	167	564
II		
Сказка	239	590
Вездесущее	245	592
III		
«Испорченная кровь — тот же яд...»	259	593
IV		
Страницы из моей жизни ‹Автобиографпя Ф. И. Шаляпина›	265	594
Примечания	533—621	
Условные сокращения	535	
Вступительная заметка	537	
Список иллюстраций	622	

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. В. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
Л. П. Быковцева, В. В. Григоренко, Е. А. Грошева,
Л. А. Евстигнеева, Н. Н. Жегалов, А. И. Овчаренко,
Л. Н. Смирнова, И. Ф. Шаляпина

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор двенадцатого тома *А. А. Волков*

*

Редакторы издательства
А. И. Корчагин и *М. Б. Покровская*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 3/V 1971 г. Подписано к печати 4/XI 1971 г.
Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1
Усл. печ. л. 32,97. Уч.-изд. л. 30,2
Тираж 299 300 экз. (1-ый завод 1—150 000). Тип. зак. № 2040
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28

1950